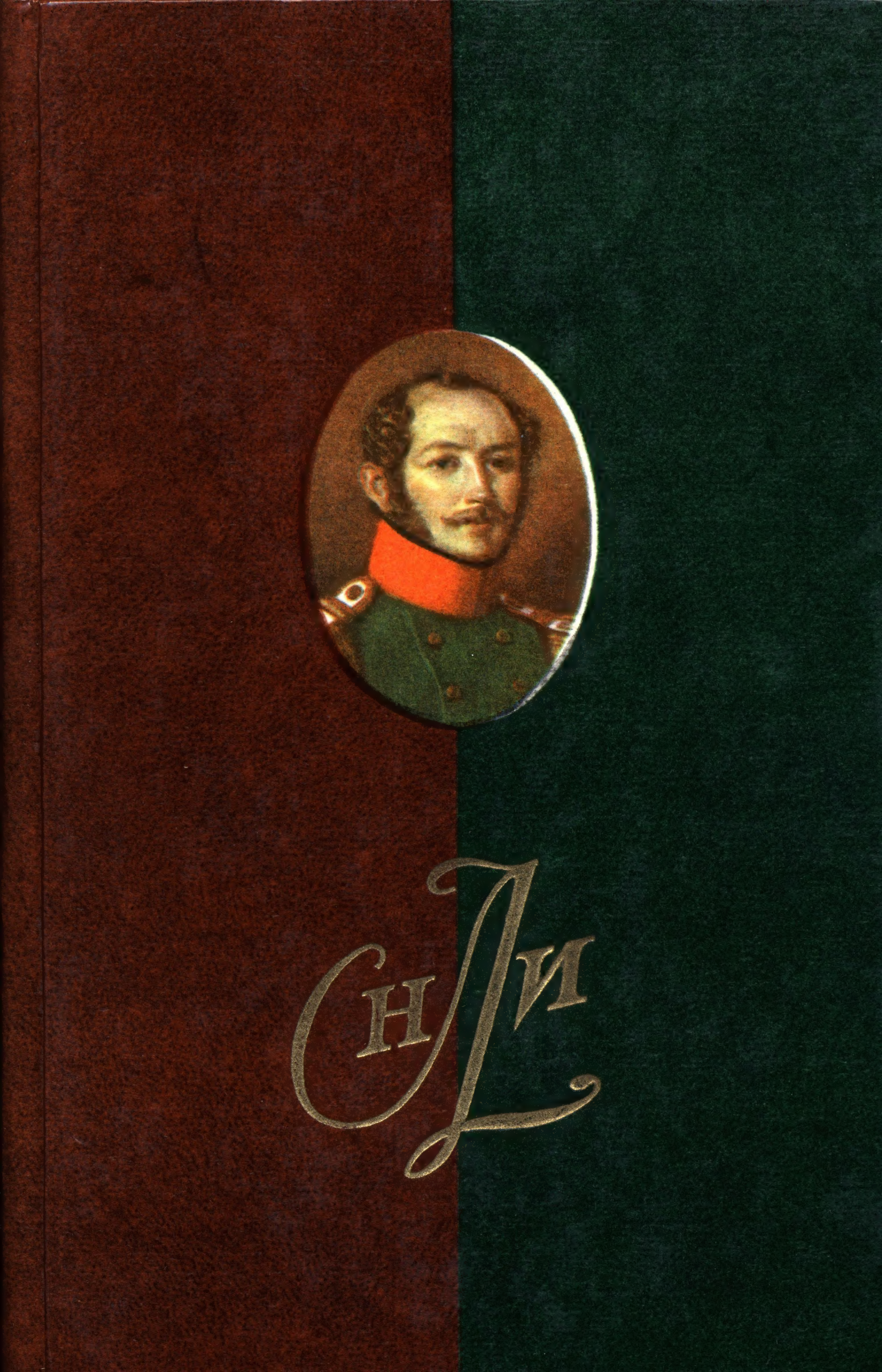

СНЛИ





Н. И. ЛОРЕР

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство
1984

Издание второе,
подготовлено
М. В. НЕЧКИНОЙ

ДЕКАБРИСТ Н. И. ЛОРЕР И ЕГО «ЗАПИСКИ»

Как ни труден для обработки и как ни спорен мемуарный материал, он много дает для изучения восстания декабристов при условии строго критического к нему отношения. Время, естественные ошибки памяти, а подчас и тенденциозность автора заставляют с большой осторожностью подходить к мемуарной литературе и проверять ее данные более достоверным материалом, но было бы неправильно поэтому *игнорировать* мемуары. Между тем с мемуарами членов Южного общества неблагополучно: казнь Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина унесла возможность появления воспоминаний этих выдающихся членов Южного общества, а такие значительные члены, как Юшневский, Крюковы, Барятинский, не оставили своих мемуаров. Мемуары рядового члена — Фаленберга написаны, к сожалению, исключительно на ту тему, что к Южному обществу он не принадлежал (что неверно). Интереснейшие воспоминания А. В. Поджио, по существу, являются не воспоминаниями, а политическими (весьма эмоциональными) рассуждениями *по поводу* декабристов и царизма, да и самое изложение автор начинает с момента следствия, сейчас же бросая его для рассуждений о гнусности царского правосудия и не возвращаясь больше к истории декабристов. В разрозненном мемуарном материале Матвея Муравьева-Апостола, как и в записанном со слов Вадковского рассказе «Белая церковь», из всей истории Южного общества освещается исключительно восстание Черниговского полка[1]. Владимир Раевский, арестованный в 1822 г.,

---

[1] Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и

естественно, ничего не мог рассказать в своих воспоминаниях[2] о важнейшем периоде жизни Южного общества — 1822—1825 гг., а декабрист Е. Е. Лачинов в своей небольшой «Исповеди»[3] остановился исключительно на кавказском периоде. Остаются мемуары Н. И. Лорера, Н. В. Басаргина и С. Г. Волконского[4]. Последние двое никак не могут идти в сравнение с Лорером, хотя они дают рассказ о самом интересном для нас моменте жизни Южного общества: авторы этих мемуаров стояли гораздо дальше от дел тайного общества, чем Н. И. Лорер. Лорер был ближайшим другом Пестеля и ближайшим его соратником. Он участвовал во всех самых важных делах Южного общества, и поэтому его мемуары представляют особый интерес[5].

Мемуары Лорера давно широко используются исследователями. Такой знаток истории декабристов, как В. И. Семевский, использовал «Записки» Лорера для изучения самых важных вопросов декабризма — восстания Семеновского полка, деятельности Южного общества, для характеристики отношения декабристов к восстанию в Греции, «настроения умов» после заграничных походов, для характеристики Пестеля[6]. Заметим, что мемуары Лорера могут быть привлечены и для изучения такого важного вопроса, как колониальная политика царизма: вто-

---

письма/Предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. Пг., 1922. Мемуары и записки П. И. Фаленберга, А. В. Поджио, Ф. Ф. Вадковского, опубликованные первоначально в разных изданиях 1870—1910-х годов, вошли в кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931, т. 1.

[2] Рус. старина, 1873, № 7; Современник, 1912, № 12; Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко. СПб., 1913; Лит. наследство, т. 60, кн. 1.

[3] Лачинов Е. Е. Отрывок из «Исповеди».— В кн.: Кавказский сборник. Тифлис, 1876—1877, т. 1—2.

[4] Басаргин Н. В. Записки /Ред. и вступ. статья П. Е. Щеголева. Пг., 1917 (ср.: Неизданная рукопись декабриста Н. В. Басаргина/Сообщ. Е. Е. Якушкин. — Каторга и ссылка, 1925, кн. 5); Записки С. Г. Волконского (декабриста). Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1902.

[5] Начало «Записок» Н. И. Лорера впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1904, № 3, 6, 7; конец напечатан задолго до начала в «Русском архиве», 1874, № 2, 9. Отдельное издание вышло уже в советское время: Записки декабриста Н. И. Лорера/Пригот. к печати и коммент. М. В. Нечкина. М., 1931.

[6] Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. О Н. И. Лорере см. по указателю имен.

рую часть своей ссылки Лорер провел солдатом на Кавказе и активно участвовал в «замирении горцев». Поэтому его мемуары дают интересный материал и о Кавказе. Мемуары Лорера чрезвычайно ценны и для историка литературы. Конечно, от воспоминаний современника А. С. Пушкина, родного дяди А. О. Смирновой-Россет и друга брата А. С. Пушкина Льва можно ожидать ценных материалов для истории литературы — и действительно эти ожидания не обманываются.

Мемуары Лорера были крайне искажены цензурой. В публикации «Русского богатства» и «Русского архива» выброшен целый ряд важнейших мест. Мы отсылаем читателя к подробному перечню цензурных купюр, который помещен в конце издания, сейчас же отметим лишь наиболее бросающееся в глаза. При обработке рукописи в редакциях «Русского архива» и «Русского богатства» из цензурных соображений были выброшены такие важные тексты, как часть характеристики восстания Семеновского полка, отдельные места характеристики деятельности Южного общества до восстания и характеристики Пестеля, выброшено также изложение отдельных моментов следствия и значительное по объему описание казни декабристов. Кроме того, рукопись Лорера потерпела при старом издании большой ущерб и для историка русской литературы. Выброшен ряд интереснейших мест относительно А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, друга Пушкина Николая Раевского, брата Пушкина Льва, фрейлины А. О. Смирновой-Россет, племянницы Лорера, а также большое, неизвестное ранее стихотворение А. П. Барятинского «Стансы в темнице» и т. д.

Кроме этого, в ряде выброшенных мест о кавказском периоде жизни Н. И. Лорера для историка литературы погиб ценный вспомогательный материал для прототипа доктора Вернера в «Герое нашего времени» Лермонтова, которым был, как известно, друг декабристов, и в том числе Лорера, — доктор Н. В. Мейер. Поэтому потребность в новом издании «Записок» Лорера, которое было бы сверено с рукописью и давало бы полный, не искаженный цензурой текст, была вполне очевидна.

Случай представил для этого легкую возможность. Среди рукописного материала, находившегося в распоряжении библиотеки Коммунистической академии, имелась рукопись «Записок» декабриста Лорера с его многочис-

ленными личными исправлениями. Каким образом эта рукопись попала в Коммунистическую академию, с точностью не удалось установить. Напрашивается правдоподобное предположение, что она входила в состав архива В. И. Семевского (и Мельгунова), переданного в распоряжение Комакадемии. Но в полной описи, составленной при приемке этого архива, рукопись «Записок» Н. И. Лорера не значится. Есть сведения, что она поступила в Комакадемию из одной национализированной замоскворецкой частной библиотеки. В настоящее время рукопись находится в московском отделении Архива Академии наук СССР (ф. 646, оп. 1, № 364—365).

Рукопись «Записок» Н. И. Лорера, хранящаяся в Архиве Академии наук, исключительно интересна. Мало того, что она содержит многочисленные исправления самого Н. И. Лорера, — ее ценность повышается тем, что на полях ее имеются замечания лиц, которым Лорер давал свои «Записки» для прочтения и критики. В числе этих лиц укажем М. В. Юзефовича, декабриста П. Н. Свистунова, а также Д. Н. Свербеева, П. И. Бартенева. Часто заметки на полях превращаются в живой разговор современников между собой, и живость всей рукописи и насыщенность ее фактическим материалом от этого чрезвычайно увеличиваются.

Заметим также, что «Записки» Н. И. Лорера — замечательный бытовой документ. В них удивительно ярко запечатлелся быт крепостническо-дворянской России времени Александра I и Николая I через призму дворянского либерализма. Тут и картины быта солдат Семеновского полка, столь непохожего на быт других полков: у каждого «солдатика» — самовар, а в спальнях даже отсутствуют нары! Тут откровенное и «добродушное» описание взяточничества и протекционизма, возмущение самодержавным деспотизмом. Некоторые сценки, описанные Н. И. Лорером, замечательно характерны и ярки: чего стоит, например, курносый цесаревич Константин, «таврящий» кадет мелом перед производством в офицеры, старушка, молящаяся о ниспослании богом очередного чина своему доброму знакомому, или граф А. Х. Бенкендорф, лежащий ничком на шее своей лошади во время казни декабристов.

«Записки» Н. И. Лорера много дают и для изучения Южного общества декабристов. Об этом уже говорилось выше в начале статьи. Цель нашего издания — обеспе-

чить основным документальным материалом монографическое изучение отдельного типичного рядового члена Южного общества, каким и является Н. И. Лорер. Поэтому в настоящем томе читателю предложены не только «Записки», но и ряд других материалов, характеризующих этого декабриста. После «Записок» в их первом издании (1931) было помещено следственное дело декабриста Н. И. Лорера, нужды в этом теперь нет, поскольку данное следственное дело полностью издано в кн.: Восстание декабристов. М., 1969, т. 12, с. 23—54. Здесь публикуются 12 писем Н. И. Лорера к М. М. Нарышкину, дающие богатый материал как для политической характеристики Н. И. Лорера, так и для событий его жизни после ссылки.

Начнем с личной характеристики Н. И. Лорера. Его предки — французы, переселившиеся вследствие религиозных гонений в Германию, где быстро онемечились. Отец декабриста — Иван Иванович Лорер — женился на грузинке, княжне Екатерине Евсеевне Цициановой. Смешение различных национальностей ярко отразилось на характере Лорера и всей его семьи. Племянницу Лорера А. О. Смирнову-Россет исследователь творчества Гоголя В. И. Шенрок характеризует так: «От Россетов она унаследовала французскую живость, восприимчивость ко всему и остроумие, от Лореров — изящные привычки, любовь к порядку и вкус к музыке, от грузинских своих предков — лень, пламенное воображение...»[7]. К этому необходимо добавить, что все свои «французские» качества А. О. Смирнова-Россет могла с тем же успехом «заимствовать» также и от своих французских предков со стороны матери: по крайней мере, декабрист Н. И. Лорер, в жилах которого не текло крови Россетов, многими качествами (кроме красоты, конечно) походил на племянницу.

Лорера называли неисправимым оптимистом, «пламенным романтиком»[8], «веселым страдальцем»[9]. Чрезвы-

---

[7] Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма. М., 1929, с. 13.

[8] Так называет Н. И. Лорера Б. Л. Модзалевский (Декабристы. Неизд. материалы и статьи. М., 1925, с. 128).

[9] Так называет Н. И. Лорера М. Ф. Федоров, знавший его по кавказским походам (Федоров М. Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г.— В кн.: Кавказский сборник. Тифлис, 1879, т. 3).

чайная живость и многосторонняя одаренность Лорера бросаются в глаза исследователю. Про него также можно сказать, что многие черты он унаследовал и от грузин, и от французов. Лорер писал стихи, сочинял рассказы, был музыкально одарен, тонко чувствовал природу. Он был изумительным рассказчиком и чрезвычайно веселым, остроумным, живым собеседником, одаренным незаурядным литературным талантом.

Декабрист М. Бестужев говорит в своих «Записках»[10], что брат его Николай был дружен с Н. И. Лорером, часто посещавшим его каземат. Это находит подтверждение и в «Записках» Н. И. Лорера, поместившего в них восторженную характеристику Николая Бестужева, выпущенную при печатании текста в «Русском архиве», вероятно, из цензурных соображений. «Надо сказать, — пишет М. Бестужев, — что Лорер был такой искусный рассказчик, какого мне не случалось в жизни видеть. Не обладая большою образованностью, он между тем говорил на четырех языках (французском, английском, немецком и итальянском), а ежели включить сюда польский и природный русский, то на всех этих шести языках он через два слова в третье делал ошибку, а между тем какой живой рассказ, какая теплота, какая мимика!.. Самый недостаток, т. е. неосновательное знание языков, ему помогал как нельзя более: ежели он не находил выражения фразы на русском, он ее объяснял на первом попавшемся под руку языке и, сверх того, вставляя и в эту фразу слова и обороты из других языков. Иногда в рассказе он вдруг остановится, не скажет ни слова, но сделает жест или мину — и все понимают. Аудитория была всегда полна, когда присутствовал Лорер или Абрамов[11], тоже прекрасный рассказчик, но в другом роде». Далее, охарактеризовав своеобразную манеру Аврамова, рассказывавшего «чистым русским, военным языком и часто просто солдатским, коротким, сильным, энергическим», М. Бестужев сообщает, что его брат (Н. Бестужев) в повести «Русские в Париже» «пытался передать почти буквально соединение этих двух рассказчиков, но, кажется, это плохо удалось, как всякое подражание».

Приведем еще одну, гораздо менее известную харак-

---

[10] Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 263—264.
[11] Речь идет о П. В. Аврамове. — М. Н.

теристику Н. И. Лорера, подтверждающую только что сказанное. Она принадлежит М. Ф. Федорову, встречавшемуся с Н. И. Лорером на Кавказе. «Лорер и Черкасов были нрава веселого, особенно первый; он знал много старинных анекдотов из жизни придворной и высшего круга, умел рассказывать их чрезвычайно любезно, приправляя фразами из французского, немецкого и английского языков. Рассказывая что-нибудь из времени пребывания своего на каторжной работе или на поселении в г. Кургане (Тобольской губ.), он вел рассказ свой шутками, иронически. Например, он говорил: «Нас заставляли ручными мельницами молоть муку, и мы выходили с работы напудренными камергерами»[12]. Далее М. Ф. Федоров вспоминает, как Н. И. Лорер рассказывал анекдоты о Фаддее Булгарине.

Художественные и чрезвычайно живые рассказы Н. И. Лорера «Из воспоминаний русского офицера» и «Лейб-кучер Илья Байков» дают почувствовать манеру Н. И. Лорера-рассказчика. Но редакционная правка «Русской беседы» и «Русского архива», где они были впервые опубликованы, уничтожила, конечно, характернейшую лореровскую орфографию, отражающую особенности его произношения. В приложениях к настоящему тому публикуются двенадцать писем Н. И. Лорера к М. М. Нарышкину. Живость и жизнерадостность, острая наблюдательность, подчас добродушная насмешливость чувствуются в каждой строке. Обильные, не вполне грамотные французские фразы, вкрапленные в безграмотный русский текст, сохраняют любопытный колорит своеобразной среднедворянской культуры эпохи. В написании многих слов сказалось их неправильное произношение Лорером — следствие его нерусского происхождения. Однако в настоящем издании, имеющем исторический, а не историко-лингвистический характер, эти особенности его языка не воспроизводятся; текст дается по современным правилам правописания, как это принято в археографии для письменных источников XIX в.

Имущественное положение семьи Лорера было далеко не блестяще. Отец Лорера был помещиком Херсонской губернии. После ареста Н. И. Лорера правительство собра-

---

[12] Федоров М. Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г., с. 152—153.

ло сведения об имущественном состоянии его семьи; данные новороссийского генерал-губернатора говорили следующее: «Домашнее положение фамилии Лорера со стороны нравственности есть самое благородное, но насчет имения, которое у ротмистра Лорера общее с сестрами, состоит в 50 душах крестьян и земле 4500 десятинах в Херсонском уезде, довольно тягостное по причине долгов в Херсонский приказ общественного призрения до 18 тыс. руб., а, сверх того, в казну незаплаченных податей и долгов частным лицам до 5 тыс. руб., притом же и имение по неурожайным годам не представляет никакой возможности к уплате сих сумм, кроме разве с потерею самого имения, не упоминая еще о разных взысканиях, отнесшихся на счет сосланного майора Лорера»[13]. Читателя не должно удивлять, что при имении в 4500 десятин мы сравниваем семью Лореров со средним дворянством: эти десятины были в значительной степени фикцией, «впусте лежащими» землями: для организации хозяйства на такой огромной площади отсутствовали как технические, так и экономические предпосылки. Разительно противоречие 50 крепостных и 4500 десятин земли. Техника обработки была самым примитивным перелогом, скотоводство было незначительно. Положение немногим изменилось в 60-х гг., когда Н. И. Лорер уже вернулся из ссылки и жил в имении своего брата, сельце Водяном. Это сельцо после смерти брата Лорера, Дмитрия Ивановича, перешло по наследству к декабристу Лореру и его семье. В приложениях к Трудам редакционных комиссий, в сведениях о помещичьих имениях значится, что в сельце Водяном «крестьян — 154, дворов — 21, надел крестьян неограничен, пространство земли удобной — 900 десятин, система хозяйства — переложная». Перед нами типичный разоряющийся дворянин, бьющийся в тисках кризиса крепостного хозяйства.

После смерти отца семья Лорера впала в такую бедность, что мальчика взяли почти из милости знакомые — Капнисты. Будущий декабрист Н. И. Лорер переселился в семью П. В. Капниста и провел свое детство в его имении Турбайцы Полтавской губернии, где воспитывался вместе с его сыном. Таким образом, детство Лорера про-

---

[13] Имущественное положение декабристов.— Красный архив, 1926, т. 2 (15), с. 183.

текло в дворянской украинской семье, тесно связанной с украинской культурой и бытом. Отсюда, вероятно, и частые украинизмы в говоре Лорера, привычка употреблять слово «запомнить» в смысле русского «забыть», своеобразное произношение слов «Меттерных» и «термын» и т. д. Лорер очень любил «благословенную Малороссию», но считал себя русским — он подчеркивает это в своем рассказе «Из воспоминаний русского офицера»[14]. Воспитателем Лорера и его товарища Капниста был гернгутер Нидерштеттер, принадлежавший к мирной коммунистической секте «Моравские братья», в коммунизме которых не было ничего революционного. Лорер до конца жизни сохранил глубокую симпатию к гернгутерам, о чем сам говорит в своей переписке с М. М. Нарышкиным[15].

О своей дальнейшей жизни, службе в дворянском полку, «покровительстве» цесаревича Константина Павловича и заграничных походах 1813—1814 гг. Н. И. Лорер сам рассказывает как в своих «Записках», так и в самостоятельном рассказе «Из воспоминаний русского офицера». Эти воспоминания интересны не только как материал для биографии Лорера и не только как образец его живого, остроумного и художественного рассказа, они дают обильный материал для критики легенды о решающем влиянии заграничных походов на миросозерцание декабристов. В переживаниях самого Лорера «заграница» не была связана с каким-либо идеологическим переворотом. Он жадно впитывал заграничные впечатления, живо относился ко всему, что его окружало, но никакого резкого перелома в его мировоззрении заграница не произвела — она могла лишь положить начало его «вольнодумству». Этот резкий перелом произвело в нем восстание Семеновского полка в 1820 г. Единственное, на что нужно еще указать, говоря о заграничном периоде жизни Лорера, — это на вступление его в масонскую ложу в городе Оффенбахе. Мы имеем об этом собственноручное свидетельство самого Лорера. В списке военных чинов, давших подписку о неучастии в масонских ложах по требованию правительства, числится и Лорер, написавший: «Принадлежал к братству масонов в городе Оффенбахе». Об этом вступлении в

---

14 См. приложение I.

15 См. письмо к М. М. Нарышкину от 19 февраля 1841 г. из Фанагории, наст. изд., с. 348.

масонскую ложу Лорер ничего не говорит в своих «Воспоминаниях русского офицера», этот факт устанавливается из других источников[16]. Есть сведения, что Лорер принадлежал к масонской ложе «Палестина»[17].

Чрезвычайно характерно для этого же периода жизни Лорера его пылкое увлечение Наполеоном. Весь рассказ «Из воспоминаний русского офицера» проникнут культом Наполеона. Это же настроение отражено и в стихотворении Лорера «Наполеон» (см. приложения).

Мы уже упомянули об огромном влиянии восстания Семеновского полка на Лорера. Обычно Следственная комиссия спрашивала каждого декабриста, что оказало влияние на его революционные замыслы. Лореру также был задан вопрос: «С которого времени и откуда заимствовали первые вольнодумческие и либеральные мысли, т. е. от внушений ли других или от чтения книг и каким образом мнения сего рода в уме вашем укоренились?»[18] Лорер в ответе указал не только на заграничные походы, но и на «времена смутные 1821 и 1822 гг., когда всякий молодой человек желал слыть либералом и каждый не был доволен своим состоянием».

В своих «Записках» Лорер дал очень краткое описание восстания Семеновского полка, но и в нем чувствуется, какую большую роль оно сыграло в его мировоззрении. Вскоре после этого и произошло вступление Лорера в тайное общество декабристов. И. Д. Якушкин в своих воспоминаниях дает об этом не совсем точные сведения. Он пишет: «Бурцов, перед отъездом своим в Тульчин, принял Пущина, Оболенского, Нарышкина, Лорера и многих других»[19] в Союз благоденствия. Речь идет, следовательно, о 1818—1819 гг. Но дело Лорера опровергает эту версию. По показаниям его самого и перекрестным показаниям других декабристов видно, что он вступил в Южное общество в 1823 г. Он был принят Оболенским в северное

---

16 Соколовская Т. Материалы по истории масонства в прежней русской армии.— Рус. старина, 1907, № 8, с. 425. В приведенном списке давших подписку офицеров Н. И. Лорер числится под № 359.

17 Декабристы: 86 портретов. Пояснительный текст П. М. Головачева. М., 1906, с. 127.

18 Восстание декабристов, т. 12, с. 51 (далее: ВД).

19 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 24.

отделение Южного общества и сейчас же вслед за этим поехал на юг. Его назначили в Вятский полк, где служил и Пестель.

Южное общество сейчас же охватило Лорера атмосферой кипучей революционной деятельности. Он является одним из деятельных членов. В одном из вопросов Следственной комиссии Лореру значится: «Из показаний, взятых от некоторых членов сего общества, открылось, что вы находитесь в оном с давнего времени и по особенной привязанности к цели его сделались одним из деятельнейших членов оного». Как ни старается Н. И. Лорер опровергнуть эти показания, ему не удается этого сделать. Предатель Майборода дает большой материал об его активной деятельности как члена общества. Майборода упоминает его имя на первом месте в перечисленных им сообщниках Пестеля, подозревает, что Лорер всячески за ним подсматривал и пытался выведать у Майбороды его предательство и уличить его, указывает и на то, что видел Лорера ежедневно в доме Пестеля. В сообщении об аресте Лорера генерал-адъютанты Чернышев и Киселев указывают на необходимость арестовать его «по важности подозрений, открывшихся насчет майора Лорера»[20]. Следственные дела членов Южного общества подтверждают эту характеристику. Деятельность Лорера связана с важнейшими моментами жизни Южного общества. Когда командующий 3-м резервным кавалерийским корпусом и начальник военных поселений граф И. О. Витт предложил тайному обществу принять его в члены, обещая выставить в случае восстания на помощь декабристам воинские силы, во главе которых он стоял, Пестель отправляет Лорера к Юшневскому с этим важнейшим сообщением, и именно Лорер привозит ответ, что Витта принимать не надобно, что у него цели провокатора, что он выдаст общество, чтобы купить этим у правительства прощение одной крупной денежной растраты, и всех заговорщиков тогда «заберут, как курей». Лорер в курсе острых столкновений Пестеля и Никиты Муравьева и знает подробно мнение первого о последнем. В 1824 г. Лорер ездил в Петербург по поручению Южного общества к Матвею Муравьеву-Апостолу узнать о положении дел в Северном обществе. Лорер в курсе переговоров южан с тайным Поль-

---

[20] ВД, т. 4, с. 19—21, 24, 41 (Дело П. И. Пестеля).

ским обществом. Он привлекает новых членов: известно по собственному его сознанию, что он принял полковника Канчиялова; Майборода приписывает еще Лореру принятие в члены Лемана. По доносу, — совершенно в данном случае точному, — того же Майбороды, Лорер всецело «предан Пестелю». Эта дружба, облегченная к тому же службой в одном полку, объясняет нам ближайшую осведомленность Лорера о всех намерениях и действиях Пестеля. Пестель сообщает Лореру о своих переговорах с Северным обществом и передает свою знаменитую фразу: «Так будет же республика!». Лорер в курсе цареубийственных планов и подготовки восстания. Лорер — свидетель того, как в последние моменты жизни общества, когда стало уже известно, что общество открыто правительством, Пестель передает «Русскую правду» Крюкову и Заикину для зарытия в землю. Вся деятельность Лорера — это деятельность преданного тайной организации активного и точного выполнителя ее заданий.

Его близость к Пестелю странным образом сослужила ему службу во время следствия: он показался совсем «маленьким» рядом с Пестелем, так сказать, померк в лучах его славы. Следственная комиссия все внимание обратила на Пестеля, а не на его верную тень — Лорера. Даже сводка «сила вины», составленная тщательнейшим Боровковым, довольно поверхностно составлена им для Лорера: даже предшествовавший «силе вины» свод показаний о данном лице в делах других «государственных преступников» брошен неоконченным. Лорер был осужден по IV разряду, т. е. по «опасности» своих действий поставлен ниже С. Г. Волконского, осужденного по I разряду.

С самого начала своей деятельности в Южном обществе Лорер оказывается в ядре республикански настроенных членов общества. Эта группа была руководящей в Южном обществе. Лорер вошел именно в нее.

Приехав на юг, Лорер сразу попал в атмосферу «республиканского духа». Его показание об этом Следственной комиссии чрезвычайно характерно: «С которого времени предприняло ввести тайное общество Республиканское правление, я не знаю, но знаю то и утверждаю, что, приехав в армию, застал общество Южное совершенно в

республиканском духе — в истреблении[21] всех святейших особ августейшей царствующей фамилии. Кто первый предложил, я не могу сказать, ибо мне неизвестно. Но главным членам было трудно ввести Республиканское правление, потому что многие члены, коих имени я не знаю, не были согласны и держались одному Монархическому-конституционному правлению. Для сего случая и была написана полковником Пестелем «Русская правда» совершенно в республиканском духе. В какое же время они положили между собой о исполнении оного, они мне не открывали; знаю только, что Пестель говорил, что мнение его было принято членами с.-петербургскими, но отставной Муравьев, брат Сергея Муравьева, говорил мне, что это неправда, что общество осталось при прежнем своем мнении и желают только, чтоб государь дал свободу крестьянам и сим бы они довольны были»[22]. В этом показании Н. И. Лорера говорится не только о борьбе Северного общества с Южным, но и о течениях внутри Южного общества.

Примыкая к центральной, руководящей группе южных декабристов, выполняя ее ответственнейшие поручения, Лорер подчас проявлял и колебания. Выбор двух путей — либерально-дворянского и радикального — не был решен им окончательно. Те откровенные разговоры с Пестелем с глазу на глаз, которые он передает так живо в своих «Записках», ярко рисуют эти колебания. Самим Лорером эта борьба воспринималась со стороны внешней политической формы: республика или конституционная монархия? Первая вела за собой «американский путь» развития, вторая — сохранение крепостнических пережитков.

Однако Лорер в своих показаниях не скрывает требования освобождения крестьян: «Насчет же будущего правления, сколько я понимаю, единственное желание сего общества [т. е. Южного. — *М. Н.*], цель была та — освободить крестьян и сделать их вольными и предложить новые гражданские права. Вот базис, в чем заключалось общество»[23].

Лорер ненавидел александровский деспотизм, деспо-

---

[21] Так в подлиннике; у Лорера крайне своеобразная манера согласования слов.

[22] См. следственное дело Н. И. Лорера — ВД, т. 12, с. 46.

[23] ВД. т. 12, с. 33.

тизм Меттерниха и Священного союза. «После виленских маневров мы возвратились в Петербург. Дела Италии устроились: водворился страшный абсолютизм. Страшные преследования и гонения обрушились на головы бедного народа. Тюрьмы были переполнены. И вот тот Священный союз, которым надеялись облегчить участь человечества! Как непрочны дела человеческие! Союз обратился в пользу одних самовластных монархов»[24], — говорит Лорер в своих «Записках». Эпоха реакции вызывает в нем резкий протест. «О, Меттерних! Какой ответ дашь ты пред престолом предвечного за все жертвы твоего утонченного деспотизма и тирании, за жертвы, которые страдали и умирали с голоду по твоим повелениям? Франц I был добрый государь, но ты сумел и его сделать себе подобным. Народная ненависть в 1848 году заставила тебя бежать, как преступника. Но наказания божеские еще ждут тебя в загробном мире»[25]. Описывая следствие над декабристами и участь М. Орлова, как известно, получившего помилование, Лорер пишет в «Записках», что подобный исход дела можно приписать лишь капризу самодержавной власти, и с восторгом передает великолепный ответ царю Бестужева, который протестовал против собственного помилования, если оно будет основано исключительно на капризе монарха: «И это человек, над которым висит карательный меч правосудия!». Лорер находит, что ответ достоин древнего римлянина. По линии того же протеста против самодержавия, деспотизма идет и восторженное преклонение Лорера перед республиканизмом Пестеля. Рассказывая о том, как была открыта «Русская правда», Лорер указывает, что Пестель, признавшись на следствии в том, что она спрятана, и указав на лиц, знающих место, где она зарыта, этим самым подписал свой смертный приговор, «не изменив своим *правым* убеждениям до самой смерти». Наряду с этим столь же показательна характеристика А. П. Юшневского: «Он был, по моему мнению, добродетельнейшим республиканцем, никогда не изменявшим своих мнений, убеждений, призвания. Он много способствовал своим советом Пестелю к составлению «Русской правды». Вспоминая о трагической судьбе А. Одоевского, поэта, в молодых летах по-

[24] Наст. изд., с. 58.
[25] Там же, с. 94.

гибшего на Кавказе, Лорер восклицает, что Одоевский был сослан в Сибирь не из-за ребячества, а из-за любви к отечеству и стремления «на развалинах деспотизма, самого самодурного, самого пагубного для общества, построить благо России».

«Про себя скажу откровенно, — пишет Лорер в своих «Записках», — что я не был ни якобинцем, ни республиканцем, — это не в моем характере. Но с самой юности я ненавидел все строгие насильственные меры! Я всегда говорил, что Россия должна остаться монархией, но принять конституцию. Члены общества знали жизнь, понимали недостатки старого времени, но нельзя отнять у них и того, что [они] были знакомы [и] с хорошими сторонами ее, поэтому желали *прогресса* под другим именем. Я мечтал часто о монархической конституции и был предан императору Александру как человеку, хотя многие из членов, так, как и я, негодовали на него за то, что он в последнее время, усталый от дел государственных, передал все управление Аракчееву, этому деспоту необузданному». Это рассуждение сопоставим с показаниями Н. И. Лорера Следственной комиссии: «Я никогда не был заговорщиком, якобинцем. Всегда был противник республики, любил государя императора и только желал для блага моего отечества коренных правдивых законов». Это — передача допроса на следствии в «Записках», а вот подлинное собственноручное показание следствию: «Я никого не возмущал, не подговаривал ни к бунту, ни к возмущению, а вел себя тихо, скромно, был завсегда почтителен к моему начальству, свойственно моему характеру, который от природы кроток и покорный, — сие показание засвидетельствуют начальники 2-й армии. В душе и в мыслях никогда не был республиканцем»[26].

Ряд других свидетельств, однако, противостоят сказанному. Лорер — участник всех совещаний Южного общества о «Русской правде» Пестеля — документе яркого республиканизма. Он голосовал со всеми членами во всех заседаниях, где все положения «Русской правды» были приняты единогласно. В «Записках», которые Лорер надеялся издать в послесибирский период, он не открывает этого. Противореча приведенным выше «умеренным» показаниям о себе, он все же сохраняет основные лозунги

---

[26] ВД, т. 12, с. 49.

декабризма — борьбу с самодержавием и требование освобождения крестьян. Он остается сторонником ликвидации самодержавия, требуя представительного конституционного правления, и противником крепостного права. Что же касается утверждения позднейшего времени, что он «никогда не был заговорщиком», оно не соответствует объективной действительности: он был реальным и активным членом несомненного антиправительственного заговора, живым участником конспиративной деятельности Южного общества. Поэтому его позиция в дни деятельности общества не соответствует тем скромным формулировкам, которыми он закрывает смысл своей деятельности во время тайной работы в Южном обществе.

Надо заметить, что подобная позиция чрезвычайно характерна не для одного Лорера. Оценкам своей деятельности и идеологических позиций в годы конспиративной работы, помещаемым во многих декабристских мемуарах, нельзя верить на слово. Чаще всего они, вернувшись из Сибири и учитывая цензурные требования 1850—1860 гг., умаляли и прикрывали ее. Основывать характеристику их деятельности в бытность членами тайного общества на мемуарах иногда никак нельзя, надо базироваться на фактах деятельности декабриста в эпоху существования самого тайного общества. Лишь немногие мемуары (например, Якушкина, Николая и Петра Бестужевых и членов Славянского общества) содержат оценки деятельности декабристов, адекватные действительности.

На следствии Н. И. Лорер с вершин полного гордого отрицания падает вниз до молящих о помиловании писем, адресованных то Следственной комиссии, то генерал-адъютанту Чернышеву. Сначала Н. И. Лорер упорно и гордо отрицает свою причастность к обществу — он о нем ничего не знает. «Какое лучшее правление — Монархическое-конституционное или Республиканское, я о сем ничего не могу сказать, ибо я не принадлежу их [Пестеля и Н. Муравьева. — *М. Н.*] сословию, и потому мне ничего о сем неизвестно». «Наименовать мне известных членов мне невозможно, ибо я никого не знаю». Затем, видя из вопросов следствия, что ему уже почти все известно, Лорер падает духом и начинает сознаваться[27].

Ссылка в Сибирь и жизнь Лорера на Кавказе также

[27] ВД, т. 12, с. 28, 29.

описаны им в его «Записках». Описания эти свидетельствуют об острой наблюдательности Лорера и об его художественных способностях. Они насыщены интересным материалом по истории колониальной политики царизма на Кавказе. Мы встречаем здесь описание боев с горцами, указание на таинственную роль английского агента Белла, проводника английской колониальной политики, руководящего снабжением горцев оружием в борьбе против русских, встречаем картины взятия отдельных крепостей и областей, населенных кавказскими народами. В этих описаниях мы не встречаем протеста против колониальной политики России. Отголоски настроения Южного общества, не признававшего права за русским самодержавием на «покорение» кавказских народностей, все же — хотя редко и слабо — звучат у Лорера. В следственных делах Соединенных славян имеется интересное свидетельство об отношении радикальной части членов Южного общества незадолго до восстания к колониальной политике царизма на Кавказе. «Швейковский[28] начал говорить о смерти генерала Лисаневича, — показывал на следствии И. И. Горбачевский, — что якобы на его были сердиты прежде грузинцы и что генерал, приехавши, призвал[29] к себе их старшин по какому-то делу и что из них один тут заколол генерала, который успел добежать только до окошка и дать знать, что его ранили смертельно, и что сих разбойников всех русские тут изрубили. Когда сие он сказал, я, стоявши тогда в углу комнаты, не в дальнем расстоянии от полковника Враницкого, слышал, как он сказал Сергею Муравьеву, что тех называют разбойниками, которые сражаются и защищают свою вольность».

Описывая свое пребывание в Керчи и давая сведения о подготовке экспедиции на Анапу для борьбы с шапсугами, Н. И. Лорер пишет в своей слегка иронической манере: «Попробую и я сделать этот сухопутный поход, пойду воевать a ma manière с бедными горцами, которые мне ничего не сделали и против которых я ничего не имею...» (Действительно, Н. И. Лорер воевал с «горцами» очень своеобразно. Лорер по большей части шел на перестрелку... с палкой.) Но наряду с этим в Н. И. Лоре-

---

[28] Член Южного общества.

[29] ВД, т. 5, с. 200. В оригинале: «призвав».

ре мирно уживается признание некоей законности за действиями царского правительства.

Наряду с этим у Н. И. Лорера заметен чрезвычайно реалистический подход к героизму русских солдат. В своей беседе с М. Ф. Федоровым Н. И. Лорер указывает на то, что этот героизм имеет чрезвычайно жизненные корни. Приведем тут этот довольно длинный рассказ, — во-первых, он затерян в малоизвестном издании, а во-вторых, очень характерен.

Дело происходит на Кавказе после одной перестрелки с горцами, удачной для русских. М. Ф. Федоров пишет: «<...> я увидел в стороне стоявшего под деревом, опершегося о ружье, в суме на перевязи и с патронташем через плечо, видимо утомленного и облитого потом старого ветерана Отечественной войны Н. И. Лорера. Он с приветливою улыбкою протянул мне руку. Я рассказал ему в коротких словах, что делается в нашей цепи; он по обыкновению одобрял наших солдат в бою, остроумно подшучивал над их храбростью и между прочим заметил: «Отнимите у знака отличия Георгиевского креста преимущество, избавляющее солдата от телесного наказания без суда, — и вы увидите, что удальство наших героев сократится наполовину». — Мне кажется, — возразил я ему, — нельзя не признавать в простом солдате, как и в личностях, подобных мне, чувств патриотизма и понятия о своей чести. — «Нет, дорогой М. Ф., — сказал он, — пока у нас звание солдата будет составлять наказание, пока рекрутам, как преступникам, будут брить лбы и заковывать их в кандалы — до тех пор понятия русского солдата о патриотизме и о своей чести сомнительны». Я, хотя и не совсем согласился с этой мыслью, но не возражал ему. О себе же он сказал, что далее полугоры, по причине усталости, с ротою он идти не мог и по совету ротного командира отправился в колонну и рад, что встретился со мною, добавив иронически: «Вероятно, и без моей храбрости рота разобьет неприятеля». Мы расстались»[30]. Кавказский период дает интересный материал для историка литературы. Как раз в это время Лорер встречается с М. Ю. Лермонтовым, присутствует при его погребении, знакомится с Львом Пушкиным и Николаем Раевским, дает

---

[30] Федоров М. Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г., с. 160—161.

ряд интересных сведений о жизни поэта А. Одоевского. бывшего его товарища по ссылке.

«Записки» Лорера доведены лишь до конца кавказского периода его жизни.

Окончив свой «термын» ссылки и службы в кавказских войсках, Н. И. Лорер оказался в конце концов в сельце Водяном, Херсонской губ., принадлежавшем его брату Дмитрию. Сельцо Водяное описано в известных «Записках» А. О. Смирновой. Это было, по-видимому, довольно унылое степное место, но его все же можно было горячо любить за воспоминания детства, своеобразную южную красоту и степную ширь. «На станции Водяное, — пишет А. О. Смирнова, — которое так значится на карте Новороссийского края, жила моя бабушка Екатерина Евсеевна Лорер (урожденная княжна Цицианова[31]). Тогда эта деревушка называлась Грамаклея, и речка, которая там протекает, тоже называлась Грамаклея. За домом был ключ, которым пользовалась вся деревня. Через этот ключ переезжали вброд по большой дороге в Одессу... В самых красивых местах за границей мне всегда мерещилась Грамаклея и казалось, что всего приятнее в этой бедной деревушке<...>. К большой дороге стоял господский дом, каменный, в один этаж, выкрашенный желтой краской и крытый железом под черной краской; перед домом был палисадник, в котором росла павилика и заячья капуста. Рядом с домом был сарай, крытый в старновку. На этот сарай прилетали вечером журавли при самом захождении солнца, самец поднимал одну красную лапку и трещал несколько минут своим красным же носом. «Журавли богу молятся, — говорили дети и люди, — пора ужинать». Против дома была станция, т. е. белая хата, тщательно вымазанная[32], тоже крытая в старновку, а за этим виднелась только гладь да даль <...>»[33].

«Если бы Гоголь стал описывать Грамаклею, — продолжает А. О. Смирнова, — не знаю, что бы он мог сказать о ней особого, разве только то, что у въезда в деревушку был ключ самой холодной и сребристой воды[34] да

---

[31] Мать Н. И. Лорера.

[32] Т. е. выбеленная.

[33] Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма, с. 164—165. Старновка — особый вид соломенной крыши, состоявшей из цельных снопов (см. примеч. Л. В. Крестовой, с. 405).

[34] Вероятно, отсюда позднейшее название — Водяная.

что речка, которая протекала около сада, была темная, глубокая и катилась так медленно меж тростника, что казалась неподвижной <...>. Сад был, ежели можно так назвать место, где росли кусты и кукуруза, вдоль по этой речке. Самое замечательное в Грамаклее, конечно, была ничем не возмущаемая тишина, которая в ней царствовала, особенно когда в деревушке замолкал лай собак и водворялась синяя, как бархат, теплая ночь. Звезды зажигались вдруг с незаметной быстротой. Окна были открыты настежь. Воздух неподвижный, казалось, входил в домик, по деревне стлался легкий и душистый запах, вероятно, от топлива бурьяном. Крестьяне ужинали, и все погружалось в сон»[35].

В этих-то местах, через двадцать с лишним лет после того, как маленькая Сашенька Россет покинула Водяное, поселился ее дядя — вернувшийся из изгнания декабрист Н. И. Лорер. Водяное принадлежало, как мы уже говорили выше, брату Лорера — Дмитрию Ивановичу. После возвращения декабристов из Сибири многие их родственники, унаследовавшие после приговора их имения, под давлением дворянского общественного мнения отдали эти имения обратно декабристам и тем восстановили их имущественное положение. Но, ясное дело, не всем хотелось эти имения отдавать. В иных случаях отдача имений происходила даже под непосредственным давлением властей. В глухом провинциальном углу Херсонской губ. давить на Дмитрия Лорера было некому, и он спокойно оставил за собой имение брата, полученное после его ссылки и лишения имущественных прав. Единственное, на что пошел Дмитрий Лорер, это на уплату декабристу 1500 р. в год, что, конечно, было недостаточно при большой семье Лорера, которой он вскоре обзавелся.

Жизнь в Водяном отчетливо рисуется по письмам Лорера к М. М. Нарышкину и к А. Ф. фон дер Бриггену[36].

Наиболее ранние из сохранившихся писем относятся к тому же периоду, что и конец «Записок» Н. И. Лорера, и с этой стороны интересны как материал, помогающий анализу последних. То же надо сказать об относящихся к этому же периоду письмах к А. Ф. фон дер Бриггену и

---

[35] Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма, с. 165.

[36] Хранятся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее: ОР ГБЛ).



А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ, ПЛЕМЯННИЦА Н. И. ЛОРЕРА.
П. Ф. Соколов. Акварель
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

об отрывке письма к М. Ф. Федорову. Первое из дошедших до нас писем к М. М. Нарышкину любопытно, например, тем, что в нем дается несколько расходящаяся с текстом «Записок» характеристика Николая Раевского: «<...> что же касается до самого генерала, то он тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ». В том же письме Лорер пытается утешить М. М. Нарышкина, не получившего, в отличие от него, производства в следующий чин (для разжалованного по-

лучение чина было важно — особенно офицерского чина, дававшего дворянство), и всячески затушевывает роль А. О. Смирновой-Россет, которая ходатайствовала за Н. И. Лорера. В тексте «Записок» он прямо говорил о роли Смирновой, в письме же отрицает ее, чтобы не обидеть своего друга М. М. Нарышкина, также надеявшегося на ходатайство А. О. Смирновой, для доказательства он приводит в копии довольно значительную выдержку из письма племянницы к нему[37].

Письмо от 20 июля 1843 г. сообщает о назначенной женитьбе Н. И. Лорера на Надежде Васильевне Изотовой. Вскоре после этого мелькают сообщения о детях, усложнивших и без того затруднительное материальное положение декабриста.

В конце концов в 1851 г. Лореру удалось добиться от брата Дмитрия обещания завещать после смерти сельцо Водяное брату Николаю в потомственное владение. Это и было имущественным обеспечением дочери Лорера Екатерины, вышедшей впоследствии замуж за барона Гротгуса[38].

Лореру пришлось даже поссориться со своим закадычным другом М. Нарышкиным на денежной почве. Еще в г. Кургане, в Сибири, Лорер задолжал 2000 р. М. Нарышкину и не мог никак их отдать. Нарышкин был на него в обиде за это и просил ему напомнить об этом долге. Отсюда — интересное письмо Лорера к Нарышкину от 29 апреля 1849 г. из Водяной, рассказывающее о его тяжелом имущественном положении. Видимо, Н. И. Лорер был очень огорчен этой ссорой и тяжело ее переносил. Из этого же письма мы узнаем об его отношениях с братом: «Скажу еще несколько слов о брате Дмитрии Ивановиче — он человек благородный, добрый, но самоуправный и тяжел в семейной жизни. К несчастию, он меня не по-

---

[37] См. приложение IV, письмо от 19 февр. 1841 г., наст. изд., с. 349—350.

[38] Федоров Д. В. На царском пути. — Ист. вестник, 1898, № 4, с. 118—119. Ответ на статью Д. В. Федорова: Бутакова В. По поводу статьи «На царском пути». — Ист. вестник, 1898, № 8, с. 750—751. Ответ Д. В. Федорову дочери Лорера: Гротгус (урожд. Лорер) Е. Н., баронесса. По поводу статьи «На царском пути». — Ист. вестник, 1898, № 10, с. 413—415. В указанных выше статьях освещается, между прочим, вопрос о приданом дочери Лорера, помогающий выяснить имущественное положение декабриста.

нял, во мнениях мы с ним не сходны, и он видит во мне не брата и друга, а бедного родственника».

Сейчас же после этого письма идет другое письмо, от 30 августа 1849 г., извещающее о новом несчастье, свалившемся на Н. И. Лорера: у него умерла жена, и он остался вдовцом с тремя детьми на руках. «Живу я хотя с братом, но все одинок», — пишет он в следующем письме.

Дочь Лорера Китти воспитывалась в Киеве, в институте. Из писем М. А. Назимова к Бриггену мы узнаем, что он подолгу живал в Киеве, пока она там училась. Время от времени он наезжал и в Москву — разрешение приезжать туда он получил в 1851 г.; здесь Лорер познакомился с П. И. Бартеневым и через его посредство поместил в журнале «Русская беседа» (1857) свой рассказ «Из воспоминаний русского офицера». Его восторженное письмо к Бартеневу от 19 мая 1857 г. по поводу полученных за этот рассказ 25 р. помещено в приложениях.

Последнее письмо Лорера к М. М. Нарышкину от 15 октября 1860 г. чрезвычайно интересно. Лорер рассказывает о том, что он задумал писать свои «Записки». В это время они рисуются перед ним еще совсем не в тех очертаниях, какие они получили позже на самом деле. Он думает писать только о Читинском остроге и жизни там, которая является полной противоположностью жизни юга «как в климатическом, так и в нравственном смысле». Из этого замысла и выросли потом «Записки» Лорера.

Заметим, что Лореру, очевидно, не раз случалось рассказывать друзьям о своей жизни. Из письма Сергея Оболенского к М. И. Семевскому[39] мы узнаем даже о существовании целых Записок, писанных со слов Лорера: «Небольшое собрание мое сведений про декабристов заключается в рассказах, записанных со слов П. Н. Свистунова, Н. И. Лорера, равно и лиц, близко знакомых со многими деятелями. Равно имею Записки, писанные А. И. Арнольди, со слов Н. И. Лорера (его дяди), заключающие в себе повествование, начиная с образования Южного общества, доведенные до перевода его на Кавказ рядовым в Тенгинский полк», — пишет С. Оболенский.

Время написания Н. И. Лорером «Записок» можно установить с большой точностью. Первая же фраза «Запи-

---

[39] Азадовский М. К. К вопросу о сочинениях Лунина.— Каторга и ссылка, 1930, № 1, с. 101.

сок» дает точную дату начала их составления: «<...>, 1812 года 23 генваря, *ровно*[40] 50 лет тому назад», — начинаются «Записки». Отсюда можно заключить, что Лорер начал писать «Записки» 23 января 1862 г. В конце же «Записок» стоит дата: 5 августа 1867 г.

По всей вероятности, Лорер всю рукопись «Записок» написал от руки, но, не обладая хорошим почерком и грамотностью, он пожелал, чтобы рукопись была переписана.

«Штаба 14-й пехотной дивизии писарь Артемьев» и, видимо, еще какой-то другой переписчик выполнили желание Лорера. Так появилась на свет рукопись «Записок», текст которых мы воспроизводим. С этого момента рукопись начала жить своей особой жизнью, не менее богатой событиями, чем жизнь декабриста Лорера.

Конечно, эти события были совершенно иного порядка. Они состояли главным образом в активности читателей рукописи. А читателей этих было чрезвычайно много. И после каждого из них рукопись меняла свой вид: на полях ее все гуще и гуще собирались заметки, текст все чаще дополнялся, исправлялся, перечеркивался, непонравившиеся замечания стирались, вновь восстанавливались по стертому, опять дополнялись, перечеркивались — в иных местах рукопись превращалась в спутанный клубок почерков, в иных — в настоящий палимпсест...

Конечно, первым читателем рукописи был сам Н. И. Лорер.

Переписчик оставил в рукописи довольно значительное количество пустых мест, в которых Лорер собственноручно вставил неразобранные слова, иностранный текст, а также кое-где между строк или на полях сделал свои добавления. В примечании, сделанном при публикации редакцией «Русского богатства», сказано: «Помещаемая в «Русском богатстве» часть «Записок» печатается с некоторыми сокращениями с переписанной рукописи, исправленной автором и доставленной редакции г-жою Константиновой»[41]. Не наша ли это рукопись? Или — что тоже не исключено — был переписан не один, а несколько экземпляров «Записок».

Фамилия Константиновых выплывает вторично в свя-

---

[40] Курсив мой. — М. Н.

[41] Русское богатство, 1904, № 7, с. 53.

зи с рукописью Лорера: в 1926 г. С. Мельгунов в зарубежном эмигрантском издании «Голос минувшего на чужой стороне»[42] опубликовал маленькую цензурную купюру из «Записок» Н. И. Лорера (анекдот о Назимове, сказавшем при свозе арестованных декабристов в Зимний дворец, что из Зимнего «сделали съезжую») и заметил при этом, что печатает купюру «с копии Записок, находящейся в Париже и принадлежащей г. Константинову». Известен также экземпляр рукописи «Записок», принадлежавший П. Е. Щеголеву, — Б. Л. Модзалевский пользовался им при комментировании «Архива Раевских» и цитировал некоторые цензурные купюры. Об этих двух последних экземплярах нельзя достоверно сказать, плод ли они позднейшей переписки или возникли еще при жизни автора, внесшего в них свои исправления. Что касается последнего известного нам экземпляра рукописи «Записок» Лорера, то он является результатом именно такой позднейшей переписки: это — рукопись, переписанная в редакции «Русского архива», по которой впервые был набран текст «Записок»[43]. Подчеркиваю — набран, а не опубликован: половина набора была, очевидно, разрушена, так как «Русский архив», как известно, опубликовал лишь вторую половину «Записок», относящуюся к кавказскому периоду жизни декабристов.

Лорер не думал еще в то время печатать «Записки», а хотел лишь дать их для прочтения своим друзьям. Может быть, решение «не печатать» было не совсем искренно, к тому же нужда в деньгах могла толкать Лорера на литературный труд. Но все же ясные указания на то, что «Записки» пишутся не для печати, мы имеем в тексте самих «Записок», в одном из примечаний на полях.

После переписки «Записок» писцом они были переплетены в два больших тома в зеленых матерчатых переплетах с кожаным корешком. По переплету шла золотая тисненая рамка и крупные цифры, нумерующие тома «Записок»: 1 и 2. В таком аккуратном, вполне «оформленном» виде «Записки» поступили в распоряжение Лорера, который отдал их на прочтение своим друзьям.

Вероятно, вскоре после переписки рукописи писцом, ее

---

42 1926, кн. 1/14, с. 222.

43 Этот экземпляр хранится в ОР ГБЛ. Мы пользовались им для настоящего издания, как и когда — оговорено в примечаниях.

исправления Лорером и окончательного внешнего оформления (переплета, тиснения) она была дана автором для прочтения и замечаний одному знакомому. Этот знакомый набросал на полях множество интереснейших замечаний. Он не оставил своей подписи, но в самом тексте замечаний дал много «особых примет», тщательное исследование которых позволило напасть на его след, а вслед за тем дополнительно проверить имя носителя этих «особых примет» через сличение почерка его замечаний на полях рукописи Лорера с почерком подписанных им писем к другим лицам. При выявлении этих «особых примет» сейчас же бросилось в глаза, что мы имеем дело с человеком военным, в чинах, явным монархистом. Неизвестный автор заметок на полях знаком с Ермоловым, Паскевичем, «благородным князем Васильчиковым», хорошо осведомлен в делах высшего командования, знает о истинных причинах служебных перемещений А. Ермолова, исправляет ошибку Лорера, сделавшего губернатора Михаила Муравьева председателем военного суда («Начальники никогда не бывают сами председателями судов, потому что они конфирмуют военные приговоры»). Неизвестный читатель Лорера знает уехавшего для помощи восставшим грекам Райко и вспоминает, что слышал, что Райко — незаконный сын, кажется, Воронцова; знает, что у одного из любимых приближенных Николая I, Д. Г. Бибикова, были «глаза самого черного цвета», презрительно называет Левашова «генералом-пустозвоном», удивленно спрашивает: «А куда же в это время девался граф Бенкендорф?», прочтя в тексте «Записок» замечание Лорера, что некоторое время графа заменял в управлении 3-м отделением Леонтий Васильевич Дубельт; знает, что комендант Петропавловской крепости Сукин никогда не получал графского достоинства, а Захар Чернышев не был в родстве с А. Чернышевым; он исправляет ошибки в фамилиях и чинах упомянутых в рукописи Лорера крупных представителей чиновного дворянского мира, замечает, что Мордвинов никогда не был председателем Государственного совета, а лишь департамента законов, а Краснокутский, если и был в родстве с Кочубеем, так разве по матери, урожденной Томарà.

Все эти приметы уже дают общее направление поисков имени автора. Это направление еще более уточняется, когда мы узнаем из текста заметок на полях, что автор их

отлично знаком со всеми перипетиями кавказских войн 1826—1827 гг., что он сам служил в это время в войсках, что палатка его была местом сборища декабристов и что он сам слышал от Захара Чернышева рассказ об его знаменитом ответе А. И. Чернышеву на вопрос последнего: «Comment, cousin, vous êtes aussi coupable?» — «Coupable, peut-être, mais cousin—jamais»[44]. Если сюда прибавить личное знакомство с А. С. Пушкиным и передачу его отзывов о Николае I, дружбу с Н. Н. Раевским и близкое знакомство со Львом Пушкиным на Кавказе, то круг лиц, среди которых можно найти неизвестного автора заметок, сузится еще больше. Но этот «кто-то», очевидно, должен, кроме всего этого, быть близким знакомым Н. И. Лорера и должен находиться в пределах его досягаемости за последние 5 лет жизни, которые отделяют момент окончания «Записок» от момента смерти декабриста («Записки» кончены в 1867 г., а умер Лорер в 1873 г.).

Текст примечаний неизвестного на полях рукописи «Записок» Лорера показывает, что неизвестный знал об отношении Пушкина к Николаю I, не раз слышал от Пушкина восторженные отзывы о Николае. Свидетельство на полях «Записок», что Пушкин стал «новым» после «прощения» его Николаем I, заслуживает большого внимания. Живые впечатления неизвестного о Пушкине сохранились и в других замечаниях на полях рукописи «Записок» Лорера, встречается даже указание на то, какой был у Пушкина нос и какого цвета были его волосы[45].

Все эти фактические мелочи важны для аргументации гипотезы об имени неизвестного автора заметок. Дополнительные данные дает нам анализ почерка. Кто же является наиболее вероятным кандидатом на авторство заметок на полях рукописи «Записок» Лорера? Это — Михаил Владимирович Юзефович, сверстник декабристов (1802—1889), участник войны 1827—1828 гг., адъютант Н. Н. Раевского и автор хорошо известных воспоминаний о Пушкине на Кавказе. Юзефович — из родовитой дворянской семьи, крупный украинский помещик.

Окончив в 1819 г. курс в «благородном пансионе» при

[44] «Как, кузен, вы тоже виновны?» — «Виновен, может быть, но кузен — никогда» (франц.).

[45] Архив Раевских, т. 1, с. 495.

Московском университете, Юзефович поступил на военную службу и получил ряд отличий в русско-турецкой войне 1827—1828 гг. Как раз в годы этой войны М. В. Юзефович и познакомился с Пушкиным. Последний в своем «Путешествии в Арзрум» вспоминает о своем подъеме на Топ-Даг с «поэтом Юзефовичем». Комментатор «Архива Раевских» Б. Л. Модзалевский недоумевает, почему Юзефович назван поэтом. Однако это название справедливо — Юзефович писал стихи, один образец его творчества будет приведен ниже. Лишь в 1839 г. Юзефович вышел в отставку, занявшись хозяйственной и административной деятельностью: в 1845 г. он стал помощником попечителя Киевского учебного округа, а в 1852-м был назначен председателем Киевской археографической комиссии.

В молодости Юзефович, по собственному признанию, был близок к мировоззрению декабристов, и «вольнодумствовал». В своих воспоминаниях о Пушкине он говорит, что был «ярым спорщиком» и «щеголял тогда демократизмом»[46]. Юноша Юзефович вместе со своим другом — известным А. В. Никитенко — увлекается чтением Руссо[47].

В дальнейшем ходе исторических событий «демократизм» Юзефовича сильно бледнеет и переключается на преклонение перед «охранительным» началом самодержавия, глубокой «православной сущностью русской народности» и пр. Об этом отчетливо говорят переписка Юзефовича с М. П. Погодиным[48] и ряд его выступлений в печати. По свидетельству Ф. Ромера, хорошо знавшего М. В. Юзефовича, последний был близким человеком Хомякова, Киреевских, Аксаковых[49]. Разделяя многие воззрения славянофилов, Юзефович расходился с ними в оценке Петра I и его реформ. Славянофилы резко отрицательно относились и к тому и к другому, а Юзефович буквально преклонялся перед петровской эпохой и особен-

---

[46] Юзефович М. В. Памяти Пушкина. Воспоминание М. В. Юзефовича о Пушкине.— Рус. архив, 1880, кн. 3, ч. 2, с. 432, 439.

[47] Никитенко А. В. Записки и дневник (1826—1877). СПб., 1905, т. 1, с. 133.

[48] Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1899, кн. 13, с. 86, 109.

[49] Ромер Ф. По поводу одной книги. — Ист. вестник, 1894, № 5, с. 103.

но перед личностью Петра. Этот пункт разногласия нашел отражение в стихотворной форме: большое стихотворение Юзефовича «Петр Великий»[50] написано в ответ на утверждения славянофилов.

Среди веков и поколений
Блуждая мыслию своей,
Ищу, где был подобный гений
Среди прославленных людей.
Но всех величий молкнут клики!
Во всем судьбою отличен,
Наш Петр, наш русский, наш великий,
Во всех веках всех выше он!

Даже сравнение Петра I с Наполеоном приводило автора к выводу в пользу первого.

Велик, кто был судьбою тронов
И вел о целом мире спор,
Но всех мечей Наполеонов
Славней петровский наш топор.

Своеобразие «демократизма» М. В. Юзефовича сказывается на каждом шагу. Он как будто возмущается российской цензурой, но лишь в связи с запрещением... одной из статей М. П. Погодина. За это цензоры, которые «бессмысленно губят отечественную мысль и разрушают опоры отечественному чувству», получают название «бегемотовских лбов»[51]. В одной из своих публицистических статей 1862 г. он, всячески подчеркивая свое народолюбие и «демократизм», все же находит нужным успокоить читателя: «Успокойтесь, наш демократизм не только не революционен, но даже очень консервативен». Юзефович приписывал своему кумиру — Петру I — некое самоограничение царской власти, монарх якобы «первый» падал «пред властью общего закона». Общий же вывод гласил:

Пусть души царствуют такие!
Кого их власть обременит?
Их благодарная Россия
Как божий дар благословит.

---

[50] Хранится в ОР ГБЛ. Стихотворение содержит 105 строк; вверху листа, на котором оно написано,— остроумное замечание автора, обращенное к какому-то читателю, на суд которого отдавались стихи: «Я кончил, как умел, своего Петра; прочтите и скажите, не вышел ли у меня Петр длинный вместо Великого»?

[51] Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, с. 219.

Кроме данных почерка чрезвычайно характерны совпадающие тексты в воспоминаниях Юзефовича о Пушкине и в примечаниях на полях «Записок» Лорера.

Лорер, видимо, доставляет Юзефовичу большое удовлетворение, говоря о себе, что никогда не был ни республиканцем, ни якобинцем. Когда на следующих страницах он вдруг называет убеждения Пестеля «правыми» (справедливыми), автор заметок возмущенно восклицает: «Как так? Вы сами говорите, что не были *республиканцем и якобинцем*, а называете *правыми убеждения* человека, сочинившего свою нелепую республику для России!»[52]. Вообще автор заметок считает Пестеля «хуже даже Робеспьера».

В том месте, где Лорер патетически описывает свое заключение в Петропавловской крепости и вспоминает о звуке захлопнувшейся за ним двери, автор заметок с ехидством пишет на полях после слова Лорера «Свершилось!»: «Еще бы! любезнейший Николай Иванович!» Воспоминание о польской революции 1831 г., в усмирении которой М. В. Юзефович принимал активное участие, вызывает реплику, что польская революция была «самой бессмысленной из всех революций». Стремление декабристов к освобождению крестьян и протест против «самодурного деспотизма» вызывает нашего автора на сравнение с эпохой 60-х гг., и он пишет на полях соответствующего места «Записок» Н. И. Лорера: «А этот самодурный деспотизм освободил 20 миллионов крестьянских душ и положил такие основания русской жизни, о каких и не мечталось русским европейцам 1825 года».

Кроме Юзефовича читателем рукописи при жизни Лорера оказался его хороший знакомый Д. Н. Свербеев. Он был современником декабристов и в своих записках оставил ряд интересных сообщений о их движении, но он остался ему чужд. Его «прекраснодушная» половинчатость в политических вопросах чрезвычайно ярко характеризуется тем эпиграфом, который родственники поставили во главе его записок, как любимое изречение Свербеева:

In moderation placing all my glory,
While Tories call me Whig and Whig a Tory,

что можно приблизительно перевести следующими стихами:

---

[52] Подчеркнуто в подлиннике.— М. Н.

В умеренности истинной велик,—
Для вигов — тори я, для тори — виг.

Д. Н. Свербеев сам свидетельствует в приложении к своим запискам, что он читал рукопись Лорера до ее напечатания; упомянув о намерении П. И. Пестеля пойти с повинной к Александру I, Свербеев пишет: «О таковом намерении Пестеля пишет еще в неизданных своих «Записках» Николай Иванович Лорер, служивший в армии, в полку которого Пестель был командиром»[53]. Но, к сожалению, Свербеев оставил лишь одно примечание на полях и примечание о столь важном вопросе, как... может ли быть в октябре мороз в 18 градусов? — по мнению Свербеева, не может. Он не забыл подписать это замечание. Это единственный случай подписи под замечанием на полях рукописи декабриста Лорера.

Трудно с точностью сказать, когда рукопись Лорера попала к П. И. Бартеневу, по всей вероятности незадолго до смерти Лорера (1873). В жизни рукописи Лорера это был чрезвычайно важный этап. Если до того, как она попала в руки Бартенева, ее можно было довольно легко прочесть со всеми замечаниями читателей, то после этого она превратилась в иных местах в совершенно спутанный клубок различных набегающих друг на друга текстов — в результате редакционной правки «Русского архива».

Существует широко распространенное мнение, что П. И. Бартенев всю редакционную работу для журнала «Русский архив» вел сам. Это неверно. В моих руках были две рукописи, опубликованные Бартеневым, — рукопись «Записок» И. И. Горбачевского и рукопись «Записок» Н. И. Лорера. В огромной редакционной работе «Русского архива», проделанной над этими рукописными текстами, у Бартенева, безусловно, были сотрудники[54]. Знаменателен тот факт, что рукопись после тщательной редакционной правки была переписываема перед тем, как идти в печать. Редакционная же правка рукописи, как показывает случай с рукописью Лорера, была делом нескольких лиц. Конечно, возможно, что эти лица были просто хоро-

[53] Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826). М., 1899, т. 2, с. 423. В части тиража на титульном листе ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева.

[54] Ср. Каллаш В. Памяти П. И. Бартенева.— Голос минувшего, 1913, № 1, с. 276—278.

шими знакомыми Бартенева, а может быть, и знакомыми декабристов и выполняли свою работу для редакции безвозмездно. Эта безвозмездность работы, между прочим, чрезвычайно характерна для «Русского архива» на всем протяжении его существования (свидетельство В. Каллаша). Над рукописью Лорера кроме самого П. И. Бартенева работало не менее трех человек; их число устанавливается количеством почерков, производивших редакционную выправку. В числе этих почерков один почерк (чернилами) сходствует с почерком переписчика рукописи Лорера после ее редакционной выправки для печати. Второй почерк — дрожащий, старческий — имеет полное сходство с почерком декабриста Матвея Муравьева-Апостола, как раз в конце 60-х гг. переселившегося в Москву. Этот старческий дрожащий почерк производил главным образом фактическую выправку «Записок», кропотливую сверку различных дат, имен и т. д., а также выправку стиля. Но последней работой специально был занят третий редакционный «правщик»[55], тщательно и вместе с тем безжалостно «выправивший» лореровский стиль и орфографию рукописи, заменивший архаические выражения более современными и т. д. Если прибавить к работе этих редакторов работу самого П. И. Бартенева над рукописью Н. И. Лорера, мы получим полную картину подготовки рукописи к печати в редакции «Русского архива». Были выправлены орфография, стиль, украинизмы, столь характерные для декабриста «архаические» выражения, как «оный», «играть ролю», «термин» службы и т. д. Ряд иностранных слов был заменен русскими — П. И. Бартенев, как известно, возмущался даже таким словом, как «анонимный», и переправлял его на «безымянный»; на этом же основании лореровское «моральный» было заменено словом «нравственный» и т. д. А главное — была произведена огромная цензурная выправка: было выброшено большое количество «опасных» мест, некоторое представление о которых дает помещенный в конце настоящего издания список цензурных сокращений в части, касающейся текста «Русского архива». В первой же части «Записок»

[55] К сожалению, изложить здесь полностью результаты моей работы над почерками «редакционных работников» и весь ход их анализа, приведшего меня к излагаемым общим выводам, мне не позволяет место.

(рассыпанной в наборе) «Русский архив» произвел еще большее количество подобных изъятий.

Последний и самый интересный момент редакционной работы «Русского архива» — это привлечение к ней декабриста П. Н. Свистунова. Как известно, редакция считала его авторитетным знатоком фактической истории первых русских революционеров и помещала его обстоятельную критику на вновь появившиеся работы о декабристах[56]. В результате работы П. Н. Свистунова над рукописью появилось на полях несколько интересных его замечаний и две крупные интерполяции, которыми редакция решила заменить две «семеновские истории» — рассказ о восстании Семеновского полка в 1820 г. и рассказ о декабристе Семенове. Таким образом, подлинный текст Н. И. Лорера исказился до неузнаваемости. Нашей задачей было восстановить его и этим дать материал как для истории общества декабристов, так и для истории «пушкинской эпохи».

Состав предлагаемой книги и основные принципы публикации текста и комментария таковы:

Книга состоит из текста «Записок» Н. И. Лорера, приложений к ним и комментария. «Записки» публикуются полностью по рукописи, собственноручно исправленной Н. И. Лорером, и вторично выпускаются отдельным изданием. Первоначально они были опубликованы частями и в разное время — конец «Записок» в «Русском архиве» (1874, кн. 2, 9), начало в «Русском богатстве» (1904, № 3, 6, 7). Сличение подлинника с этим текстом позволяет насчитать не менее 1803 купюр и разночтений, сделанных в значительной части из цензурных соображений. В Приложениях дается ряд подлинных текстов Н. И. Лорера, значительно расширяющих и дополняющих сведения «Записок»: три произведения Н. И. Лорера — «Из воспоминаний русского офицера», «Лейб-кучер Илья Байков», стихотворение «Наполеон» и все письма Н. И. Лорера, числом 18, которые удалось собрать; из этих 18 писем шесть опубликовано ранее в других изданиях, ставших

---

[56] Свистунов П. Н. Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах.— Рус. архив, 1870, кн. 8—9; Он же. Отповедь...— Рус. архив, 1871, кн. 2.

теперь библиографической редкостью, а 12 писем к М. М. Нарышкину публикуются по подлинникам, хранящимся в ОР ГБЛ (133.5820.1).

Комментарий публикуемых документов делится на три части: 1) список важнейших цензурных купюр в тексте «Записок», 2) примечания и 3) указатель имен.

В нашем распоряжении имелись две рукописи «Записок» Н. И. Лорера: одна — раньше принадлежавшая Коммунистической академии, а теперь находящаяся в Архиве Академии наук СССР (сокращенно: рукопись ААН[57]), и другая — хранящаяся в ОР ГБЛ (сокращенно: рукопись ОР ГБЛ). Первая переписана по заказу Н. И. Лорера переписчиком и исправлена и дополнена самим автором. На ее полях имеются многочисленные замечания лиц, которым Н. И. Лорер давал рукопись для прочтения, — М. В. Юзефовича, Д. Н. Свербеева, П. И. Бартенева. Позже к этим запискам на полях присоединилась обильная и часто варварская редакционная правка «Русского архива», куда рукопись была сдана для печати, и еще позже — вставки двух текстов декабриста П. Н. Свистунова. После этой редакционной правки рукопись была вновь списана уже по заказу редакции «Русского архива», и этот именно экземпляр, дающий не подлинный текст Н. И. Лорера, а искаженный правкой, и хранится в ОР ГБЛ. Мы публикуем подлинный текст рукописи ААН, учитывая лишь исправления, сделанные рукою самого Н. И. Лорера, которые мы всюду оговариваем в примечаниях, — совокупность всех подобных примечаний дает картину работы самого автора над рукописью. Все исправления текста Н. И. Лорера, сделанные редакцией «Русского архива», не приняты во внимание и в примечаниях не учтены: мы ограничились их общей характеристикой, данной в настоящей статье. Лишь некоторые замечания помощников Бартенева[58] (на полях «Записок» по поводу текста), интересные по смыслу, перенесены нами в примечания позади текста. Рукопись ОР ГБЛ использована нами главным образом для примечаний.

Текст публикуется по новой орфографии; орфографические ошибки подлинника, явные описки и транскрипция,

---

[57] Там, где в примечаниях сказано просто: «рукопись», подразумевается рукопись Архива АН СССР.

[58] Но не самого П. И. Бартенева (о них см. выше).

отражающая произношение автора и переписчика, исправлены без оговорок, остальные редакционные исправления заключены в квадратные скобки[59], которые всюду принадлежат нам, а круглые — подлиннику. Пунктуация подлинника не сохранена и заменена современной, то же относится к прописным буквам. Крайне беспорядочное подчеркивание слов в подлиннике не сохранено и лишь в случаях бесспорного смыслового значения передано курсивом; сохранить его во всех случаях было явно нецелесообразно, так как в подчеркиваниях, очевидно, участвовал не только Н. И. Лорер и переписчик рукописи, но и каждый из ее довольно многочисленных читателей, в том числе тех, кто помогал Бартеневу в работе над рукописью. Для удобства чтения введены новые красные строки. Деление рукописи на главы принадлежит нам — рукописи ААН и ОР ГБЛ представляют собою один сплошной текст, делимый лишь на две части «Записок» — 1 и 2. Подзаголовки глав даны нами, текст их преимущественно взят из текста самих «Записок».

Замечания М. В. Юзефовича, Д. Н. Свербеева, П. И. Бартенева и декабриста П. Н. Свистунова, сделанные ими на полях рукописи, воспроизведены нами внизу страницы в подстрочных примечаниях. Чтобы сохранить впечатление живого разговора, остающееся у каждого, кто знаком с подлинной рукописью ААН, мы внесли фамилию лица, делающего замечание, перед текстом самого замечания, подобно текстам драматических произведений. Это, кроме того, облегчает чтение. Некоторые авторы заметок на полях довольно свободно обращались и с текстом «Записок» — «выправляли» слог, исправляли орфографические ошибки, делали «пояснительные» вставки внутри текста. Все подобные случаи в примечаниях не отражены.

Комментатор благодарит Г. П. Георгиевского и М. А. Цявловского за ценные советы. При подготовке первого издания в сверке текста и составлении указателя имен помогали Н. Н. Нечкина и Я. Н. Щербаков.

Приношу сердечную благодарность Р. Г. Эймонтовой и С. А. Селивановой за помощь при подготовке второго издания.

М. Нечкина

---

[59] Некоторые, довольно редкие, из этих исправлений совпадают с редакционной правкой «Русского архива».

ЗАПИСКИ МОЕГО ВРЕМЕНИ

Воспоминание о прошлом[1]

Il faut écrire aves sa conscience, en présence de Dieu, dans l'intérêt de l'humanité*[2]

Глава I

Я покидаю благословенную Малороссию. — Воспитание в доме П. В. Капниста. — Приезд в Москву. — Московские веселости и удовольствия. — Отъезд в Петербург к брату. — Поступление в гвардию. — Цесаревич Константин Павлович. — Дворянский полк. — Весть о сдаче Москвы французам. — Производство в офицеры.

1812 года 23 генваря, ровно 50 лет тому назад, я оставил благословенную Малороссию, простился с родною кровлею, под которой счастливо и беспечно провел первые годы моего детства. Мне было 18 лет, когда судьба бросила меня, неопытного юношу, в бурное житейское море... Я отправился на службу, напутствованный благословением близких моему сердцу, с небольшими денежными средствами, но полный юношеских надежд.

Я ехал в Москву! Надобно знать, что я был принят как сын в доме П[етра] В[асильевича] Капниста (брата нашего поэта В[асилия] В[асильевича] [Капниста]), который давно уже философом жил в своем поместье в Малороссии после долгих путешествий по Европе. В Англии он женился на англичанке, и, возвратясь с нею вскоре после этого брака, он поселился в своей деревне Т[урбайцах][3], где и прожил безвыездно 30 лет, расточая благо-

* Надо писать вместе со своей совестью, пред лицом бога, в интересах человечества (франц.).

деяния на всех его окружающих и не щадя своего большого состояния. После 15-летнего бесплодного брака бог наградил его сыном, который, быв моим однолетком, сделался товарищем по воспитанию[4] и другом на всю жизнь.

Связанный тесною дружбой с моим покойным отцом в продолжение 40 лет и желая помочь матери моей, обремененной большим семейством, он, вскоре после смерти батюшки, предложил отдать ему на воспитание одного из сыновей ее, и жребий пал на меня. Так я сделался товарищем и другом его первого сына. Вскоре нам с юным К[апнистом] выписали гувернера из общества Братьев Моравии (гернгутера)[5], человека высокоморального, доброго и кроткого, к тому же славного математика, преподававшего нам науки на немецком языке. Он впоследствии сделался другом дома и, дожив до маститой старости, провел с нами все время до той минуты, как судьба и служба нас с ним разлучили. Мне приятно почтить теперь память этого человека, который много передал нам хорошего и которого советы, правила и пример собственной нравственной, религиозной жизни сделали и нас, может быть, людьми хорошими.

Домашнее воспитание и первые семейные впечатления были, однако, таковы, что [я] всю жизнь свою придаю [им] большое значение. Если я чего-нибудь стою, этим я обязан прежде всего моему воспитанию и тем примерам правды, простоты и чести, которыми я был окружен с моего появления в мир до моего вступления в свет. Я обязан моим благодетелям более чем существованием.

Приехав в Москву, я остановился у своего дяди по матери, князя Д. Е. Цицианова. Он был известен в то время своею роскошью и в особенности обедами, за которыми угощал тогдашних знаменитостей большого света, и кончил впоследствии тем, что проел свои 6 тысяч душ.

Я застал Москву в веселостях и удовольствиях. Тогда наша старушка не предвидела, что через несколько месяцев будет обращена в пепел... Да и кому могла прийти в голову мысль, что неприятельская армия будет гостить в ее стенах?.. А. Л. Нарышкин (обер-камергер) только что приехал в первопрестольную с многочисленною свитою молодых людей. Помню красавицу трагическую актрису, mademoiselle George, которая играла и в доме моего дяди. Обеды, балы, вечера не прекращались, но мне все это казалось странным, я был застенчив, даже чересчур, мо-

жет быть, скромен, а петербургская молодежь, камер-юнкера, смотрели на меня как на провинциала и еще более удаляли меня от своего общества. Тут-то я увидал в первый раз многих отличных офицеров, которые так резко отличались в царствование императора Александра: молодого светлейшего князя Лопухина, светлейшего Меншикова (ныне адмирал) и других. Последний был тогда лет 20, капитаном артиллерии и флигель-адъютантом...

Наконец начали разъезжаться, и я отправлен был в Петербург, чтоб поступить на службу. В то время старший брат мой А. И. Л[орер] проживал в Петербурге, и под его-то крылышко торопился я. Не оттого, что он приходится мне братом, а по всей справедливости я должен сказать, что он в то время пользовался репутацией ловкого, умного, образованного человека и отличного штаб-офицера, служившего с большим отличием кампанию 1805 года, где был взят в плен со многими другими офицерами лейб-уланского полка под Аустерлицем, когда, как известно, полк этот был почти уничтожен, даже с полковым командиром своим Меллер-Закомельским.

Из г. Брюна[6], где пленные содержались, они были возвращены только по заключении мира. Потом брат участвовал в битве под Прейсиш-Эйлау и, наконец, сделал шведскую кампанию 1809 года. По болезни он должен был выйти в отставку, женился и проживал в Петербурге. После его смерти уже товарищ его по службе Булгарин, бывший у брата в эскадроне корнетом, написал его некролог, который можно найти в первом издании его сочинений 1824 года.

Явившись в дом брата на Садовой, я у него поселился и тут только, попав снова в тихий родственный круг, отдохнул после шумной Москвы. Тогда-то начались хлопоты о поступлении моем на службу. Так как первые шаги неопытного юноши всегда играют главную роль в будущей его жизни, то об этом надобно было подумать. Хотя гвардия была тогда уже в походе, но брат мой, служа прежде в ней под начальством в[еликого] к[нязя] Константина Павловича и пользуясь его благоволением, основал на старинном знакомстве мысль определить меня в один из полков гвардии. К тому же брат мой имел много знакомых и приятелей между адъютантами его высочества: он был короток с Кудашевым, убитым впоследствии под Лейпцигом, он знал Сталя, Потапова, Лагоду, Куруту,

Шперберга и на их ходатайство надеялся... Я же с детства моего много наслышался о цесаревиче как о человеке страшно строгом и суровом, и потому мысль поступить под его начальство меня пугала. Но делать было нечего, я повиновался и скрепя сердце вошел в роковой момент в карету за своим братом.

С страшным замиранием сердца подъезжал я к Мраморному дворцу. По большой лестнице, показавшейся мне грязною, не быв встречены ни швейцаром, ни даже лакеем, взошли мы в огромную залу. Тут мы нашли уже многих адъютантов великого князя, знакомых брата, которые все обступили нас, и помню, что Кудашев между прочим сказал мне:

— Я знаю, что ты знаком со многими иностранными языками, но ежели его высочество спросит тебя, чему ты учился, то скажи — русскому.

Вскоре все засуетились, водворилась тишина и великий князь вошел. Он прямо подошел к брату, хриплым[7], но отрывистым голосом поздоровался с ним, сказал, что давно с ним не видался, взглянул на меня, наморщил свои огромные брови и спросил:

— Это брат твой?

Тогда брат мой представил меня его высочеству и изложил свое желание и просьбу. Великий князь, окинув меня своим быстрым взором, тотчас же решил: «В конную гвардию! Димитрий Димитриевич Курута, посадить его на барабан и обстричь эти белокурые кудри» — и пошел. Скоро вернувшись, однако, в[еликий] к[нязь] примолвил: «Я раздумал: полк в походе, на него наденут кирас, каску, переходы большие, он пропадет, наживет себе чахотку... потому что, кажется, вскормлен на молоке... Я определю его [в] Дворянский полк к полковнику Энгельгардту и даю слово, — сказал он, взяв брата за руку, — через 5 или 6 месяцев, когда он втянется немного, произведу его в офицеры гвардии».

Брат мой благодарил его высочество и поцеловал его в плечо. Великий князь тогда спросил меня: «Чему ты учился?» — и я, помня наставления Кудашева, скромно сказал: «Русскому...» — «Довольно», сказал в[еликий] к[нязь], поклонился и удалился в свои апартаменты. И вот как решилась моя будущая судьба.

Никогда мне не забыть этого моего первого свидания со странным человеком, который, быв наследником рус-

ского престола, отказался впоследствии от него, чтоб жениться на польке дворянке, и был невольно причиной бедствий России, заблудших моих товарищей и меня самого[8]. Цесаревич был среднего роста, немного сутуловат, но строен, лицо имел очень некрасивое, брови густые, рыжие и нос чрезвычайно малый (курносый), носил постоянно конногвардейский мундир как шеф полка этого. Главными его качествами и недостатками были вспыльчивость, непомерная строгость, а часто и грубость в обращении с подчиненными, но сердце он имел доброе, как воспитанник Лагарпа. Многие науки знал он отлично, но, к сожалению, все это пропало даром, а служба и фронт поглотили все его хорошие качества и доброе направление, так что он ни о чем не мог говорить, как о службе. Впоследствии он сделался деспотом, каких мало, но рыцарем по тогдашним понятиям остался навсегда. Имея честь служить под его начальством в Варшаве в продолжение 6 лет, я узнал его коротко и буду со временем говорить о нем очень часто, а теперь стану продолжать мои воспоминания.

На другой день моего представления великому князю меня отвезли на Петербургскую сторону в дом полковника Энгельгардта, который содержал 8 молодых людей, так называемых пансионеров, и я с самого начала моего военного поприща был, к счастию, окружен его семейством, а корпуса и не знал.

Дворянский полк (что ныне Константиновское училище) был тогда составлен из двух баталионов, первым командовал полковник Голтеер, вторым — Энгельгардт. Дворянский полк в то время состоял из разного сброда людей уже взрослых... Помню, тут были и шляхта, и бедные дворяне разных губерний, даже в одно время находились в нем отец с сыном и служили в одном баталионе. Образования молодые люди никакого не получили, многие не умели даже читать; но зато маршировка, ружистика, военные эволюции процветали, и кадеты на смотрах равнялись в выправке с гвардиею, а цесаревич забавлялся нами, часто приезжал к нам, выводил на площадь, нередко в ненастную погоду, и учил нас, учил, учил, приправляя все это самою неприличною бранью. Так текли несколько месяцев моей службы... По воскресеньям нас отпускали по домам, и я с нетерпением ожидал всегда этой минуты, так как меня крепко возмущала наша однообраз-

ная, скучная, грустная жизнь. Помню, что в один из воскресных дней я посетил старика Гаврила Романовича Державина, с домом которого семейство наше было давно знакомо. Гостей никого не было, как вдруг в комнату вбегает какой-то напудренный старичок со звездою и, задыхаясь от волнения, говорит:

— Гаврило Романович, соберитесь с духом... Москва отдана... и третий день пылает в огне...

Державин, как услыхал это роковое известие, закрыл обеими руками лицо свое... и в комнате сделалась тишина... мы не смели прерывать безмолвной горести старца... Наконец от отнял свои руки от лица, омоченного слезами, и просил меня сходить к Дашеньке (супруге его) и велеть приготовить ему одеться.

— Я еду во дворец к императрице Марье Федоровне, — промолвил он.

Вскоре и я поспешил домой к брату, предполагая, что он не знает еще этого прискорбного для всякого русского известия, но застал уже весь наш дом в большом горе и смущении. Страшная весть быстро облетела Петербург, и он казался мне тогда в каком-то тумане... Кого ни встретишь, все с потупившими[9] глазами, с поникшими головами. Страшная пустота какая-то сделалась в городе.

А между тем моя жизнь текла по-прежнему однообразно. Но вот в одно утро наш почтенный полковник собрал нас всех в зал и объявил, что накануне получено приказание его высочества по недостатку офицеров в полках гвардии назначить из нас достойнейших к производству. «Я, — прибавил он, — представлю к производству вас всех, исключая г-на Лорера, для которого не могу этого сделать, потому что он еще не унтер-офицер, — всего только пять месяцев в корпусе...» Обратившись ко мне, он в мое утешение прибавил: «Но так как вы и определены в корпус по особенной милости великого князя, то советую вам похлопотать у ваших покровителей в сем важном случае, авось вам и это удастся». Я побежал к брату, рассказал, в чем дело; сели в карету и поскакали к полковнику Лагоде, управляющему канцелярией великого князя, и сообщили ему наше затруднительное обстоятельство.

Выслушав нас, Лагода улыбнулся и сказал: «Передайте Александру Николаевичу (так звали Энгельгардта), чтобы непременно в списке представленных к производст-

ву поместил и вас, и уверьте его, что за успешные последствия я отвечаю».

Обнадеженный словами этого почтенного человека, я поскакал в корпус и сообщил милостивое решение Энгельгардту, который вскоре поместил таким образом и меня в список счастливцев.

Однажды, рано утром, выпускных изо всех корпусов собрали в залы 1-го кадетского корпуса и построили в шеренгу. Вскоре приехал великий князь; ему подали мел, и он, проходя по шеренге, стал нас таврить разными гиероглифами, которых мы, конечно, тогда не понимали. Кому поставит крест, кому круг, кому четвероугольник и укажет особое место, где стать. Я с трепетом ждал своей очереди, как вдруг в[еликий] к[нязь], дойдя до меня, остановился и, спросив мою фамилию, вскричал: «Рано! еще не унтер-офицер». Но благодетельный Лагода что-то шепнул ему на ухо, и тогда его высочество, шутя уже, спросил меня:

— Знаешь ли службу?

— Знаю, в[аше] в[ысочество].

— Можешь ли командовать баталионом?

— Могу, в[аше] в[ысочество], — смело отвечал я.

Тогда и на моей груди появился какой-то мелом начерченный крестик, и я присоединился к другим, таким же знаком отмеченным счастливцам. Наконец таинственное распределение кончилось, и в[еликий] к[нязь] громко произнес:

— Дети мои, подойдите ко мне поближе!

И, когда мы, теснясь, окружили его, он продолжал:

— Государю императору угодно было назначить из трех кадетских корпусов лучших по своему поведению и знанию службы кадет на места товарищей офицеров, павших за отечество; я избрал вас и надеюсь, что вы оправдаете мой выбор, мои ожидания. Завтра же я вас представлю государю во дворец, в 6 часов утра. Прощайте, дети.

Тут он уехал, а мы возвратились по корпусам.

Целый день и ночь, конечно, провели мы в приготовлениях — стриглись, мылись, чистились, прихорашивались.

На другой день, при восемнадцатиградусном морозе*, в

* Д. Н. Свербеев: В октябре морозов в 18 гр[адусов] не бывает[10].

одних мундирчиках, в 6 часов утра, бежали мы через Неву во дворец, а ветер холодный продувал нас насквозь... Но при таких обстоятельствах и в таких летах кровь греет как-то особенно, и я не ощущал особенного холода. Во дворце почти все еще спало, когда мы вошли в залы и при тусклых нескольких свечах стали у камина ожидать дальнейших с нами распоряжений. День только начинал прокрадываться в огромные окна... Петропавловский шпиц стал обозначаться на небе, как в[еликий] к[нязь] уже приехал и стал расставлять нас по корпусам. Вскоре вышел и государь, которого здесь я в первый раз имел счастье видеть [и] разглядеть. Он был в мундире Семеновского полка, столь им любимом, и показался мне грустным, печальным. Да и было отчего, ибо в то время Наполеон гостил уже в Москве, будущность была неизвестна, а государь уже сказал себе[11]: [to be or not to be] — быть или не быть?

Государь осмотрел нас и тихо своим приятным голосом поздравил нас офицерами, прибавив:

— Вы заместите ваших павших братий, служите же мне так же ревностно, с тем же неукоризненным отличием, как и они служили.

После этого нас распустили по домам для предстоящей нам обмундировки.

В своей семье, конечно, очень радовались моему скорому производству, осыпали меня поздравлениями, за обедом в этот день пили шампанское за здоровье новоиспеченного прапорщика.

Тогда же, в доме у брата, я познакомился со внучкой светлейшего князя Кутузова, Яхонтовой. Она была очень мила и дружна с моей невесткой, а мне, я помню, было ужасно совестно представиться ей с коротко выстриженной головой. Благосклонный читатель простит мне мою болтовню, но мне она дорога по воспоминаниям, да к тому же и нужна будет впоследствии, при дальнейшем развитии моих приключений. Скажу вкратце, что всех нас, новопроизведенных, на первых порах распределили по полкам резервной дивизии, составленной из рекрут, и мы ревностно принялись передавать им наши фронтовые и служебные знания: прапорщики командовали ротами, поручики — баталионами.

Вскоре пошли мы в поход, на укомплектование гвардии, узнав, что французы оставили Москву, а Россия и

Петербург оживились и ликовали. Я видел, как светлейший Кутузов, отъезжая в армию прямо от государя (который жил тогда на Каменном острову), с дочерью своею Опочининой подъехал к Казанскому собору и служил там молебен. При выходе его из собора бесчисленная толпа народа его окружала, и неистово гремело «ура!». Маститый старец, с непокрытою головой, громко сказал народу: «Даю вам слово, я выгоню неприятеля из России, будьте покойны». Народ долго провожал его дорожную коляску, уверенный в нем; и не прошло года, как князь выполнил свое предсказание!..

Вскоре государь уехал в армию, а мы, как я уже сказал, тянулись на соединение с гвардиею, под командою г. Башуцкого, с.-петербургского коменданта, который лишь по недостатку тогда генералов был назначен нашим командиром, но скоро сдал команду полковнику Траскину.

Глава II

Заграничный поход. — Возвращение в Варшаву. — Необычайная речь государя. — Выход в отставку и поступление в Московский полк. — Новое поколение офицеров. — Невыносимость военной службы. — Ученье и мученье солдат. — Великие князья. — Восстание Семеновского полка. — Гвардия выступает в поход. — Примирение гвардии с государем. — Удивительная встреча с приятелем моим И. Щербатовым. — Рассказ снисходительного фельдъегеря. — Распространение либерализма и вольнодумства. — Федор Петрович Уваров

Не стану описывать достопамятной войны и случаев со мною в это время, потому что описал уже это время в моих *«Воспоминаниях русского офицера»** в «Русской беседе», а скажу только, что после Бауценского дела при Рейхенбахе мы вошли в состав гвардейского корпуса.

После трехмесячного квартирования в Париже мы выступили обратно в Россию. Гвардейская первая дивизия отправилась морем в Кронштадт; вторая и кавалерия — сухим путем в Берлин, где прусский король собирался достойно угостить своих верных союзников, и мы уже рассчитывали на всевозможные веселости, как вдруг нашему баталиону Литовского полка, впоследствии переименованному из Московского, в котором я имел честь служить, приказано было, не доходя 20 миль до Берлина, идти пря-

* См. приложения.

мо в Варшаву. С нами потянулся один баталион Финляндского полка, один эскадрон лейб-уланского и батарея конной артиллерии.

Таким образом нам не удалось принять участия в развлечениях наших товарищей, и мы, простившись с ними, тянулись в Варшаву, в неизвестности, что нас там ожидает.

Парадом вступали мы в Варшаву. Великий князь Константин Павлович встретил нас с огромной свитой польских генералов. Тут я видел старика генерала Домбровского, князя Сулковского, генерала Красинского, который во всех кампаниях Наполеона командовал отрядом его телохранителей (officiers d'ordonnance), Участь Польши еще не была решена окончательно; об ней трактовали на Венском конгрессе, а великий князь уже старался окружить себя польскими войсками и набирал полки из разного сброда, и к нему стекались толпы из Испании и даже из Америки. На сформирование полков в[еликий] к[нязь] был мастер и в короткое время в самом деле, с помощью русских офицеров, распределенных по польским полкам, сумел составить отличную польскую армию. Одному из моих товарищей досталось быть инструктором в дивизии Хлопицкого, всегдашнего сопутника Наполеона в Египте.

Итак, время наше текло однообразно, в караулах, ученьях, разводах, в коих великий князь был в своем элементе. Польские генералы держали себя очень скромно, но с достоинством против в[еликого] к[нязя], как брата своего будущего короля и благодетеля, каким считали императора Александра. Они все носили польские мундиры, а адъютанты Наполеона все сделаны были флигель-адъютантами. Адъютант князя Понятовского сделан адъютантом великого князя. Все смотрело весело, бодро, все надеялось; в[еликий] к[нязь] ласкал поляков... Тогда он еще сдерживал свою страсть к тому мелкому военному педантизму, который впоследствии так вооружил всех против него, стоил нам много крови и был пагубен столько же для России, как и для самой Польши, в 1831 году[12].

Наконец возвестили скорый приезд государя в Варшаву. Все пришло в движение, все засуетились, на всех лицах показалась радость и надежда; наш баталион готовился дать развод и занят был беспрестанными репетициями.

В одно пасмурное утро пушечные выстрелы дали знать о въезде государя. Войска стояли фронтом по улицам от Краковского предместья до Саксонской площади. Государь был верхом, ехал задумчиво в польском мундире с лентой Белого орла. Высшие польские сановники встретили государя у заставы и поднесли ему ключи от г. Варшавы на малинового бархата подушке. Пройдя мимо него церемониальным маршем, войска разошлись по домам, а государь, у которого бог весть что было на душе, грустный отправился во дворец.

В 1818 году уже возвещено было Польское королевство, и в Варшаве открыт сейм необычайною речью государя. Я не мог не протесниться в залу, где заседали сенаторы, польские представители и русский генералитет. На особенных креслах восседал дипломатический корпус всех европейских держав: помню Нессельроде, Каподистрия, Алопеуса. Напротив сидели русские сановники — С. П. Ланской, Н. Н. Новосильцев. Галерея кругом тронной залы была занята дамами и представляла подобие прелестного, богатого цветочного венка. Старуха Чарторижская. с своей внучкой, сидела впереди всех. Все ждали торжественной минуты. Но вот, из нарочно проделанных дверей, показался государь, без царской мантии, в польском мундире... Он тихо входит по бархату на ступени трона, кланяется представителям, народу и твердым, хотя еще непривычным голосом говорит: «Représentants du Rayaume de Pologne!»* У меня захватило дух и слезы навернулись на глазах. Обращение это было, конечно, ново для всех нас, подданных государя самодержавного, отократа...[13]

В речи своей государь сказал, что назначает генерала Заиончека вице-королем и наместником, и тогда Чарторижский, исправлявший эту должность до сего, встал с своих кресел и уступил их приблизившемуся в сопровождении двух флигель-адъютантов безногому Заиончеку. Помню, что старуха Чарторижская тотчас же удалилась с галереи, не дождавшись конца. Кто знает, не это ли обстоятельство было главною причиною революции 1831 года[14], когда, как известно, Адам Чарторижский принимал живое участие. Может быть, восстановление преж-

---

* Представители Королевства Польского! (франц.).

него личного величия было существенным его побуждением войти в революцию?

Ночью открылась палата представителей, и прения продолжались до утра. Многие из моих знакомых и товарищей принимали участие в этих прениях, и я помню в особенности отличавшегося своим красноречием Бонавенту Немоевского. Все прения и речи печатались ежедневно; трактиры наполнены были любопытными, мешавшимися с депутатами всех уездов, и всякий хотел поместить и свое словцо в пользу сограждан.

Прослужа 6 лет в Варшаве, я решился оставить тягостную службу и перейти в один из полков, в России расположенных. В войсках под начальством в[еликого] к[нязя] перемещения не допускались по желанию, а потому надобно было сначала выйти в отставку, что я и сделал.

Прибыв в Петербург, я сошелся опять с прежними однополчанами, с которыми делал кампанию 1814 года. Они встретили меня братски и упросили вступить в тот самый полк, в котором я начал свое военное поприще, то есть в Московский. Конечно, такое лестное приглашение очень льстило моему самолюбию, и я согласился, подал просьбу и был принят снова на службу в Петербурге.

С 1821 года служба моя была самая приятная, после всех непомерных строгостей Варшавы. Тогда гвардейский корпус был во всем своем блеске. Полки, наполненные молодежью, по возвращении из Парижа увидели в рядах своих новое поколение офицеров, которое начинало уже углубляться в свое назначение, стало понимать, что не для того только носят они мундир, чтоб обучать солдат маршировке да выправке. Все стали стремиться к чему-то высшему, достойному, благородному. Молодежь много читала, стали в полках заводить библиотеки, появились книги[15] — сочинения Франклина, Филанджиери, политическая экономия Сея. Жадное до образования юношество толпилось в залах на публичных курсах, в особенности у Г. Р. Державина, где происходили чтения любителей русской словесности и где читали Крылов, Гнедич, Лобанов. С трудом доставались билеты, а в охотниках просвещения недостатка не было. Я тогда знал многих образованных людей между офицерами гвардейских полков, в особенности же много их было в Семеновском, Измайловском и нашем Московском. Сим последним в то время командовал Потемкин, Преображенским — барон Розен, Семе-

новским — Храповицкий, егерским — Бистром. Полки, очевидцы доблестных подвигов своих начальников, стяжавшие себе бессмертную славу на полях Бородина, Кульма и многих других, где дралась гвардия, любили и уважали своих командиров.

Служба мирного времени шла своим порядком, без излишнего педантизма, но, к сожалению, этот порядок вещей скоро стал изменяться.

Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахты; по ночам посещали караульни и если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали... Приятности военного звания были отравлены, служба всем нам стала делаться невыносимою! По целым дням по всему Петербургу шагали полки то на ученье, то с ученья, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи. Манежи были переполнены, и начальники часто спорили между собой, кому из них первому владеть ими, так что принуждены были составить правильную очередь.

Оба в[еликие] к[нязя] друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по 40 старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна, тогда еще в цвете лет, в угоду своему супругу, становилась на правый фланг с боку какого-нибудь 13-вершкового усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки.

Старые полковые командиры получили новые назначения, а с ними корпус офицеров потерял своих защитников, потому что они одни изредка успевали сдерживать ретивость великих князей, представляя им, как вредно для духа корпуса подобное обращение с служащим людом. Молодые полковые командиры, действуя в духе великих князей, напротив, лезли из кожи, чтоб им угодить, и, таким образом, мало-помалу довели до того, что большое число офицеров стало переходить в армию. Наконец, дух нетерпимости, непокорности, неповиновения явно стал

появляться в Семеновском полку. Я тогда знал этот полк очень хорошо, имея много знакомых и друзей, и, как очевидец происшествий, расскажу, как это было.

Я говорил уже, что Семеновский полк был любимым полком государя, что он постоянно носил мундир полка, знал большую часть солдат по имени и вообще баловал полк. И я знал одного солдата, который вязал государю султаны белые и черные и обыкновенно получал за каждый по 100 рублей ассигнациями. Да позволено мне будет припомнить тут тогдашних моих приятелей. Первым баталионом командовал Вадковский; я знал С. Муравьева-Апостола, князя Щербатова — двух братьев[9] и много других. Тогда полком командовал генерал Шварц, человек без всякого образования, тип Скалозуба в «Горе от ума». До той же поры он командовал армейским полком и отличался своею строгостью, формалистикой, ни о чем больше не умел говорить, как о ремешках, пригонке амуниции, выправке и проч. Так говорили о нем все, знавшие его, а по пословице «глас народа — глас божий» оно так и быть должно, впрочем, за верность сего показания не ручаюсь. Я тогда же слышал, что в месте, где он стоял с армейским полком, указывали на могилу, где погребаемы были засеченные им солдаты и рекруты, так что будто бы и могила сохранила за собой название *Шварцовой*. И этот-то человек, по настоянию великого князя Николая Павловича и рекомендации педанта генерала, был назначен командовать первым полком в империи!

С первого же шага, при представлении ему офицеров, они увидели, с каким человеком им приходится делить свои обязанности. В прежнее время генерал-адъютанта Потемкина были заведены кровати у нижних чинов; почти каждый из них имел по самовару — признак довольства у солдатика; все это очень не нравилось новому полковому командиру. Нары снова были введены в полку; обращение сделалось невыносимо, генерал часто издевался над старыми служивыми, рвал им усы и бакенбарды, плевал в лицо. Часто у себя на квартире обучал поодиночке солдат, велев предварительно разуться, чтоб лучше оценить вытягивание носка... Эти и подобные обращения выводили людей из терпения, так что однажды[16], когда полку следовало идти в караул и разбирать ружья, гренадерская рота не тронулась. Офицеры употребили всевозможные просьбы и увещания, но тщетно! Тогда приехал

в полк корпусный командир, князь Васильчиков (при императоре Николае председатель Государственного совета). Знаменитый воин, с прекрасной душой, он ошибся на этот раз и, вместо того чтобы говорить с солдатами по-человечески и мерами кротости возвратить их к повиновению, он начал их ругать, назвал изменниками, бунтовщиками!.. Тогда весь полк ему ответил, что все готовы умереть за царя, готовы идти в огонь и воду по единому мановению его, но не желают иметь начальником г. Шварца, который после неуспешных разговоров своих с полком давно выскочил в окно и укрылся в доме генерал-губернатора Милорадовича. Генерал Васильчиков, по старой привычке видеть в солдатах машины, а не людей, в которых есть душа, чувства, приказал первой роте отправиться в Петропавловскую крепость, думая тем прекратить мятеж. Но не так случилось! Другие роты, увидев, что их разлучают с ротой его величества, крикнули: «Ребята! где голова, там и ноги!» И весь полк вышел на Семеновскую площадь в фуражках, но без ружей и там стоял толпами.

Императрица Мария Федоровна[17] в карете подъехала к толпам и сама увещевала их покориться и исполнить волю начальства. Солдаты сняли фуражки и крикнули «ура!» В[еликие] князья также подъезжали, но им солдаты кричали: «Отъезжай, вы еще молоды!» — и никого не послушали. Офицеры полка с горестью видели дальнейшую будущность непокорных и все предались своему жребию... Краса гвардии погибла! Решились пожертвовать всем полком.

В начале возмущения Орлов, командовавший тогда конной гвардией, двинулся было с своим полком на Семеновскую площадь, готовый всегда исполнить роль палача во всех случаях, но его вернули. Полк в полном составе, со всеми офицерами двинулся к крепости, где 1-му баталиону присуждено было оставаться, а остальные два посажены были на суда и отправлены также с офицерами в Финляндские крепости.

Государь находился тогда на конгрессе в Троппау[18], а вся Европа волновалась: в Неаполе вспыхнула революция (карбонаризм), Испания требовала конституции, в Германии были беспорядки: молодой Занд убил Коцебу, мстя за честь университета и Германии. Меттерних создавал свою систему и беспрестанно напевал государю Александ-

ру, что надобно принимать решительные меры и что без них tous les trônes seront ébranlés*.

Впрочем, я не пишу политической истории, а ограничусь тем только, что делалось перед моими глазами. Васильчиков послал своего адъютанта Чаадаева с донесением к государю о чрезвычайном происшествии, но Чаадаев сибаритом сделал это путешествие, а Меттерних, через своего посланника, успел узнать о Семеновской истории двумя часами ранее государя[19].

Когда Чаадаев явился к государю и подал донесение, то тот грозно сказал ему, что уже все знает, очень сердился и выразил Чаадаеву весь гнев свой за либеральные, пагубные идеи, которые будто бы проникли даже в самое сердце его доселе верной гвардии.

Но в этом государь ошибался, и ежели даже Меттерних для своих видов и успел убедить государя в этом мнении, то да позволено мне будет сказать здесь, что офицеры Семеновского полка, быв слишком благородными, конечно, не употребляли никаких средств, чтобы взбунтовать полк без пользы и погубить его напрасно. Легко может быть, что начальство, чтоб загладить свои безрассудные дела, взваливало всю вину на корпус офицеров и втихомолку старалось распространить этот слух. Но в Петербурге ему не верили, молодежь других полков громко обвиняла Васильчикова и командиров, не умевших взяться за дело.

Васильчиков собрал совет, пригласил[20] в оный графа Кочубея и забыл пригласить героя 1812 года П. П. Коновницына, бывшего военного министра и тогда начальника всех военно-учебных заведений. Они знали очень хорошо, что сей ветеран не разделит их мнений и, конечно, возьмет сторону своего старого полка, в котором служил в молодости и считался, когда еще был адъютантом Суворова.

Генерал Васильчиков, узнав, что офицеры гвардии обвиняют начальника и в особенности его во всем этом деле, ездил по полкам и говорил: «Дошло до моего сведения, что господа офицеры позволяют себе судить о бунте Семеновского полка, обвиняют высшее начальство, а тем вредят тем более преступникам. Предупреждаю вас и советую прекратить эти толки до решения государя импера-

* все троны будут поколеблены (франц.).

тора, а ежели узнаю того, кто позволит себе упорствовать, то не поцеремонюсь и отправлю его подальше». Те же речи были повторены и в других полках.

Наконец, фельдъегерь привез государево печальное решение. Его величество приказал гренадерскую роту судить военным судом в крепости, презусом назначить генерал-адъютанта Левашова, прочие баталионы велел раскассировать по армейским полкам и гарнизонам и офицеров также. Знамена и музыканты остаются в кадре полка, и новый Семеновский полк формируется из гренадерских рот прочих армейских полков. Генерал Удом назначается полковым командиром нового полка.

И вот похороны старого Семеновского полка, просуществовавшего 150 лет! Государь, встревоженный историею Семеновского полка, вознамерился вывести гвардию и поразвлечь ее немного, и вот в 1821 году, в день светлого христова воскресенья, во дворце, у заутрени, куда собралась вся гвардия, Васильчикова вызвали из церкви, и курьер из Лайбаха[21] вручил ему приказание выступить со всей гвардией в поход!

В одну минуту распространился слух этот по дворцу, все в недоумении повторяли: поход, поход. Все засуетились, и на другой же день все стали быстро готовиться: кто устраивал свои дела, кто занимал деньги, кто закупал лошадей и проч. Через неделю после молебствия корпус выступал к западным границам, а мы еще не знали настоящей мысли государя двинуть неожиданно всю свою гвардию. Неужели движение наше делается против итальянских карбонариев и тайных обществ? Однако мы все были рады подышать чистым воздухом и на время забыть о мрачных сырых манежах и бодро подвигались вперед. После уже многим из нас стало вероятно, что в нашем походе скрывалась задняя мысль, как я уже сказал, проветрить гвардейский душок и не дать повториться семеновской истории.

Генерал Ермолов был выписан нарочно из Тифлиса, чтоб командовать нашим корпусом*.

Так мы шли на Вильно, но, не доходя до нее, в имении графа Хрептовича[22], в Бешенковичах[23], корпус остановился.

---

* М. В. Юзефович: Едва ли так. Ермолов был вызван, чтоб командовать армией, назначавшейся в Италию.

Вскоре прибыл государь из-за границы и остановился в доме г. Хрептовича. Дом стоял на горе, окруженный садом, оранжереями и всеми возможными затеями богатого помещика. Огромная равнина стлалась на необозримое пространство, и по деревням расположился гвардейский корпус. Генерал Сакен (впоследствии фельдмаршал, победитель под Бриеном) заменил генерала Ермолова и принял начальство над армиею, в состав которой и мы вошли. В один день назначен был парад, и несметные полки покрыли стройными рядами поля Бешенкович. Государь стал объезжать фронт и подъехал к новосформированному Семеновскому полку. Всем заметно было, что ему тяжело и грустно не видеть в рядах его тех солдат, которых он почти знал всех лично. Погода была сырая, взводы как-то уныло прошли мимо государя, и я не помню никогда такого неоживленного смотра.

Генерал Сакен и Васильчиков, видя, что государь недоволен гвардиею, возымели счастливую идею помирить его с нею, а для того предложили устроить великолепный праздник на полях Бешенкович, и всякий офицер должен был пожертвовать по полуимпериалу. Государь принял приглашение, и вскоре, в версте от дома, занимаемого императором, был сооружен из соломы и ельнику великолепный зал, могущий вмещать в себе до 1500 человек приглашенных. Убранством его занимались свитские офицеры. Курьеры поскакали в Ригу за винами, за капельмейстером в Петербург; зал убирался оружием, цветами, и вскоре настал вожделенный день.

Вся гвардия встретила государя, который прибыл на праздник верхом и под руку с Сакеном вошел в приготовленный зал. Он был весел и дарил всех тою прекрасною улыбкою, которой я не видал у него во время парада. Когда государь садился на лошадь, тогда граф Сакен сказал: «Господа, за мною, кивера и шляпы долой!» — и сам снял шляпу. Пошли к государю с повинною головою навстречу.

Государь, подъехав ближе к нам, слез с лошади, пошел навстречу нам и милостиво приветствовал нас. Государь со многими милостиво разговаривал и о прошедшем — ни слова... За обедом в смежном зале, накрытом на 1500 кувертов, при звуках нескольких сот музыкантов, управляемых Дерфельдом, при громе пушечных выстрелов и баталионного огня пехоты государь первый тост из-

волил пить за благоденствие России, второй — за здоровье храброй российской гвардии. Потрясающее «ура!» гремело в зале и окрестностях; все были довольны и веселы, и так примирился государь со своими воинами.

Не знаю для чего, а гвардия осталась еще на несколько времени при Бешенковичах, и я скучал в одной из деревушек с моею ротою, на большой дороге, ведущей в Петербург.

Однажды в обычной моей прогулке я достиг почтовой станции, как вдруг вижу — несется коляска, останавливается у почтового двора, и я узнаю моего хорошего приятеля [И. Щербатова][24], командовавшего государевой ротой в Семеновском раскассированном старом полку, в сопровождении фельдъегеря.

— Что это значит? куда тебя везут? или куда ты едешь? — спросил я его с удивлением.

— А вот, как видишь, меня взяли из Москвы, привезли в Петербург, посадили под строгий караул, не давали ни ножей, ни вилок, ни бритв, почему я и оброс бородой, а теперь везут в Витебск, на следствие, которого председателем Орлов, и я думаю, что вся эта кутерьма упала на меня оттого, что я когда-то имел счастие командовать ротою его величества в Семеновском полку.

— Квартира моя недалеко, время обеда, пойдем ко мне.

— С удовольствием, ежели дядя позволит, — сказал он мне, называя дядей своего тучного аргуса.

Тот согласился, и у меня на квартире вскоре собрались и остальные знакомые [И. Щербатова]. Мы весело обедали и пожелали ему здоровья и счастливого окончания дела. После обеда явилась мысль уговорить наших путешественников переночевать у меня, а вечером распарить русские косточки в топившейся у меня на дворе бане. «Дядя» согласился и на это, и все было устроено.

Избрав свободную минутку, я обратился к фельдъегерю с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, что побудило вас быть снисходительным к вашему арестанту и нашим просьбам, вопреки общего всей вашей братии правила быть неумолимым мучителем жертвы, попавшейся однажды в ваши лапы?

— Несчастие, — отвечал он мне, — делает человека добрее, а я сам бывал в подобных положениях, как мой арестант. Я сам сидел в Петропавловском каземате.

— За что?

— В 1812 году я был тем же фельдъегерем, что и теперь, и состоял при квартире светлейшего Кутузова. Однажды меня отправили к государю с пакетом и неприятельскими знаменами. На одной из станций в Белоруссии я, не застав в почтовом доме ни души, прилег отдохнуть в ожидании появления кого-нибудь. После кратковременного отдыха, когда я открыл глаза, то заметил с ужасом, что ни сумки с пакетом, ни ящика со знаменами не было при мне. Хотя я был в шубе, но у меня мороз по коже подирал при воспоминании о последствиях потери, мною сделанной! Ночь была месячная, кругом тишина мертвая, единственная тройка, понуря головы, стояла в конюшне, а людей все еще никого не было. В отчаянии, почти в забытьи, я сделал несколько шагов к речке, вижу прорубь... Не долго раздумывая, мне пришла мысль утопиться...[9], перекрестился — и бух в воду. Ежели б не сложение мое, как видите, довольно объемистое, то и поминай как звали, но, на беду, я погрузился в прорубь только до живота и застрял. Делаю усилие... не могу да и только утонуть! Окоченелый вылез я из проруби[25] да и думаю себе: видно, не суждено мне умирать, пусть будет что будет! На счастие скоро пришли два ямщика из соседней деревни, куда они ходили погреться, так как почтовый дом был без печей и окон. Заложили мне тройку, и я продолжал свой путь, с уверенностью, что погибну там безвозвратно! Курьеры из армии привозили все донесения прямо к Аракчееву, и я в 8 часов вечера был введен к нему в кабинет, вошел с решимостью предать судьбу свою в его руки. А вы, вероятно, знаете, каков был тогда могущественный Аракчеев! «С чем приехал?» — спросил он меня. «Привез пакет на имя его величества и знамена французские!» — «Где же они?» Я упал в ноги и рассказал ему несчастный со мной случай. Аракчеев, к удивлению моему, только погрозил мне пальцем и закричал: «Сани!» Мигом они были заложены, поданы, и Аракчеев повез меня во дворец. Там сам государь заставил меня повторить происшествие, спросил, от кого был пакет? «От светлейшего Кутузова», — отвечал я. Государь задумался и велел мне выйти. Вскоре и Аракчеев вышел от государя и сказал мне: «Тебя государь велел посадить в каземат на два месяца». Я внутренно благословлял такое счастливое окончание моего проступка, но в каземате высидел не два меся-

ца, а четыре, потому, вероятно, что при тогдашних важных политических происшествиях меня забыли... Испытал и я эту муку и вот почему готов облегчить участь всякого несчастного, ежели это только может от меня зависеть!

На другое утро, отдохнувши, обмывшись, гости мои уехали. Думал ли я тогда, что свидание мое с [И. Д. Щербатовым] было последним в этом мире! Воображал ли я, что и со мной произойдут дела и случаи, каких силы человеческие едва ли могут вынести. А вынес, остался жив и пишу эти строки! Тогда в Витебске собраны были уже пять семеновских офицеров: Вадковский, Щербатов, не помню других[26]. Их содержали под арестом, за строгим караулом, но не знаю, судили ли их. Только с воцарением Николая, т. е. после пяти лет, их освободили, и [И. Д. Щербатов] командовал полком на Кавказе.

Из всего этого видно, что император Александр не кинул своей идеи, что будто бы именно в кругу семеновских офицеров таился зародыш либерализма, вольнодумства и идей, противных правительству. Но государь ошибался, ибо зло уже было общее, и сам [он] как бы его приготовил своею речью на Польском сейме, обещав дать конституцию. Людей, сочувствующих этой мысли, нашлось в России, конечно, много, но государь хотя и знал об этом, но пренебрегал опасностью, считая толки бреднями малочисленных юношей.

После виленских маневров мы возвратились в Петербург. Дела Италии устроились: водворился страшный абсолютизм. Страшные преследования и гонения обрушились на головы бедного народа. Тюрьмы были переполнены. И вот тот Священный союз, которым надеялись облегчить участь человечества! Как непрочны дела человеческие! Союз обратился в пользу одних самовластных монархов.

А. П. Ермолов с досадою возвратился в Тифлис, сожалея, что дела Италии кончились и ему не удалось во всем блеске показать своих военных способностей в командовании армией.

После Васильчикова командовать корпусом гвардии назначен был Федор Петрович Уваров. Это был один из отличнейших людей, приближенных к государю. Всегда учтив, добр, враг мелочной службы, он снисходительно допускал к себе всякого офицера, имевшего до него какое-

либо дело. Своему государю Уваров всегда говорил «ты» и до конца своей жизни не имел другой квартиры, как в Зимнем дворце. Великих князей часто останавливал он от неумеренной взыскательности, за что все, кроме их, его любили. Со смертию его гвардейский корпус потерял единственного своего защитника и благодетеля.

Глава III

Смерть брата и переход мой из гвардии в армию. — Дух гвардейского корпуса. — Анекдот о Карамзине. — Весть о восстании в Греции. — Высылка Пушкина в Кишинев. — Вступление в тайное общество. — Павел Иванович Пестель. — Приезд в Киев. — Посещение героя Н. Н. Раевского

До сей поры я был, сколько возможно, счастлив, уважаем начальством, любим товарищами, кажется, чего бы и желать? Но счастье не прочно! В [18]24 году я имел несчастие потерять старшего брата моего, который заступал мне место отца, был моим благодетелем и содержал меня своими средствами, чтоб не озабочивать старушку 70-летнюю, мать нашу. С кончиной брата прекратилась мне материальная поддержка, и я стеснялся содержать себя в гвардии и тогда же задумал перейти в армию.

Для здоровья я хотел служить в одном из полков, на юге России расположенных, и, кроме того, искал себе полка, коего бы командир прежде всего был бы человек. К людям, подобным Скалозубу, носившим у нас название бурбонов, я не имел никогда симпатии. Разведывания мои увенчались успехом, и я был переведен майором в 2-ю армию, в 18-ю дивизию, корпуса г. Рудзевича, в полк Вятский, которым командовал Пестель.

Я не знал еще тогда о существовании в России тайного общества, и вот судьба как бы сама привела меня к той исходной точке, которая должна была привести меня к тяжкому испытанию, страданиям, лишениям и перевороту всей моей остальной жизни.

Я говорил выше о составе гвардейского корпуса, о духе, там преобладавшем, и о моих связях — дружеских, можно сказать, — со многими из сослуживцев. Часто мы собирались в Измайловском полку на квартире Капниста, где говорили, рассуждали о современных вопросах, читали стихи молодого Пушкина, едва выпущенного из лицея,

«Полярную звезду» Бестужева, которая была видна на всех столах кабинетов столицы. Тогда же вышел IX том «Истории государства Российского», и его жадно читали, так что, по замечанию одного из товарищей, в Петербурге оттого только такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного!

Рассказывали тогда, что в это же время в одном окне Аничковского дворца рисовались две особы, глядя на кипящий Невский проспект. Одна из них почему-то обратила взоры свои на проходящего человека и спросила стоявшего возле генерала:

— Это Карамзин? Негодяй, без которого народ не догадывался бы, что между царями есть тираны*.

Более всего воспламенило молодежь известие о восстании Греции. Все были уверены, что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут наши армии в Молдавию. Но политика Меттерниха, преобладая в европейских кабинетах, молчала, а общество между тем не переставало высказывать своего сочувствия к несчастным угнетенным.

Многие офицеры гвардии стали проситься в полки армии, думая тем приблизиться к имеющемуся в виду походу на помощь грекам. Но правительство, не сочувствуя идеям всякого, хотя бы то было и законного восстания, не дозволяло этой военной эмиграции из гвардии, и я помню одного поручика нашей артиллерии Райко, который, не спрашивая даже разрешения, по собственному убеждению отправился в Афины и долго старался быть полезным своим соотечественникам**. В Греции он был назначен генерал-фельдцейхмейстером, сделался другом Байрона и помогал много успеху восстания. По окончании дел Греции Каподистрия дал ему рекомендательные письма к Нессельроде и, кажется, писал даже к государю, рекомендуя этого человека как отличного дипломата и офицера, и просил наградить его чином полковника русской службы. Однако Бенкендорф по приказанию государя отправил бедного Райко на Кавказ тем же чином. К сча-

* М. В. Юзефович: Если здесь разумеется хозяин Аничковского дворца Николай, то это гнусная клевета, которой нельзя повторять без оговорки. Николай в десять раз больше наградил Карамзина, чем Александр.

** М. В. Юзефович: Райко, которого я знал, вовсе не грек. Он побочный сын одного из русских вельмож, чуть ли не Воронцова.

стию, он недолго там служил, ему позволено было выйти в отставку. Он женился и поселился в Одессе, где я с ним и познакомился. Часто, для шутки, приходя ко мне и не застав дома, он оставлял свою визитную карточку, на коей красовалось: «Райко, генерал-фельдцейхмейстер заморского края».

Тогда же, в одно утро, мы узнали, что Пушкина услали в Кишинев, что за немножко вольные стишки и мысли ему грозила ссылка в Сибирь или заключение в монастырь и что только ходатайством Энгельгардта и Карамзина изгнание переменили на Бессарабию, которое так живо описал наш Бартеньев[27].

Во время моего колебания в выборе полка товарищи много упрашивали меня оставить эту мысль, но я оставался непреклонен. Меня так и тянуло на юг, в места, где провел свое детство, юность. Я говорил уже о дружеских моих отношениях со многими сослуживцами, но до этой решимости моей перейти во вторую армию я ничего не знал о существовании тайного общества в России, хотя мои знакомые, люди большею частью либеральные, не стесняясь, очень часто говорили о значении 2-й армии, об М. Орлове и проч.

В одно утро я посетил Е. П.[28] Оболенского, который был дивизионным адъютантом. Все, кто знал его, не мог не любить и не уважать этого прекрасного, милого молодого человека. Он был душою нашего кружка, хотя служба его не позволяла ему часто отлучаться в Петербург. Так как Е. П. О[боленский], по месту, им занимаемому, мог мне сообщить те данные насчет полковых командиров армии, которые меня интересовали, то я в этот раз и просил его после краткого постороннего разговора посоветовать мне и указать полк, в который бы мне было выгодно перейти. Помню, что он, не долго подумав, сказал мне:

— Зная твой характер, нрав, мысли, любезный друг, я могу тебе смело посоветовать двух отличных полковых командиров и достойных людей — это Пестеля и Бурцева, выбирай любого.

— Но я обоих их не знаю, — отвечал я, — про Бурцева еще слышал, что он очень дружен с М. М. Нар[ышкиным], а этого достаточно уже в моих глазах на полную мою симпатию, потому что недостойный человек не может быть другом Нар[ышкина]. Пестель, говорят, человек с

большими дарованиями и совершенно образованный человек.

Отвечая Е. П. О[боленскому] таким образом, мог ли я вообразить тогда, что жребий мой был уже брошен и меч Дамоклеса висит уже над моею головой? От каких безделиц иногда может исказиться вся судьба человека! Ну что бы было войти кому-нибудь постороннему и помешать нашему дальнейшему разговору? Провидению, видно, было угодно еще с колыбели моей назначить мне то, что впоследствии со мной случилось.

40 лет прошло с того времени, и я смело скажу, что ни одной минуты и ни одного разу я не сожалел, что случилось так, а не иначе. Оболенский же решил, что мне следует перейти в Вятский полк к Пестелю, заверил меня, что я буду доволен начальником, а он во мне найдет человека, которого ему нужно. Тут же была написана и просьба моя о переводе моем в Вятский пехотный полк майором.

Не забуду я никогда, как Е. П. О[боленский] по исполнении всей этой процедуры стал ходить по комнате в задумчивости, и я спросил, о чем это он думает. Остановившись и пристально взглянув на меня, он отвечал:

— Знаешь ли, любезный друг, что многие из наших общих знакомых давно желают иметь тебя товарищем в одном важном и великом деле и упрекают себя в том, что ты до сих пор не наш. Скажу же тебе я, что в России давно уже существует тайное общество, стремящееся ко благу ее... Покуда тебе довольно знать... Желаешь ли вступить в число нас?

Хотя я был поражен [внезапностью][29] известия, но чувствовал тогда же, что не могу отказать человеку, которого уважал и любил без меры. Однако я не сейчас отвечал, а спросил:

— Из кого же состоит ваше общество и какая его цель?

— Покуда я не могу и не вправе ничего сообщить, но скажу только, что цель нашего общества есть распространение просвещения, искоренение зла, пожертвование личными[30] выгодами для счастья человечества, замещение нами мест самых невидных, опять-таки для проведения идеи правды, истины, бескорыстия, нелицеприятия[31].

— Почему же, любезный друг, ежели это такое благодетельное и филантропическое общество, почему, — спрашиваю я, — оно тайное? Благой цели нечего скрываться,

и прекрасное не должно быть скрываемо — его же так мало на этом свете!

Обол[енский] мне отвечал на это, что покуда только оно тайное, чтоб избежать насмешек и пересудов большинства, которое, не поняв всей высоты намерений, может, однако, мешать ему на первой поре в дальнейшем развитии.

— Итак, друг мой, ты колеблешься подать нам братскую руку твою, — заключил Обол[енский].

Смутно понимая важность шага, который я готов был сделать, я и на это не сейчас отвечал; но тут, как нарочно, вдруг солнечный луч весело осветил довольно мрачную квартиру, — а он ведь посылается от бога, — я встал и только осведомился о трех лицах, дорогих, близких моему сердцу, с нами ли они?

— С нами, — отвечал Обол[енский].

— Я — ваш, — проговорил я, и мы братски, горячо обнялись. Вошли писаря и помешали нашему дальнейшему разговору.

Я ушел домой, полный разных дум. Вечером же того дня многие из товарищей узнали о моем посвящении, поздравляли меня, обнимали, целовали. Мне было тогда 28 лет от роду. Жребий был брошен!..

Не прошло и трех дней, как я получил записку от Е. П. Обол[енского], в которой он меня уведомлял, что П. И. Пестель в Петербурге, и советовал мне к нему представиться, вызываясь сам это сделать на другой день. Я согласился и утром отправился в кавалергардские казармы, где Пестель остановился у своего брата, тогда ротмистра этого полка. Ныне [он] сенатором в Москве. Оболенский, тут же находившийся, прямо назвав меня, прибавил: *из наших*.

И вот где я в первый раз увидел человека умного, оригинального, игравшего тогда и впоследствии большую роль в нашем тайном обществе и бывшего одним из главных деятелей его. Пестель был небольшого роста, брюнет, с черными, беглыми, но приятными глазами. Он и тогда и теперь, при воспоминании о нем, очень много напоминает мне Наполеона I. На нем был длинный, широкий армейский сюртук с красным воротником, штаб-офицерскими почерневшими эполетами, лежавшими на плечах более назад, нежели наперед. Сначала он принял меня холодно, но при известии, что я член общества, Пестель улыбнулся

и подал мне руку и тут же, как бы кстати, сказал Оболенскому:

— У вас, в Петербурге, ничего не делается, сидят сложа руки, chez nous au midi les affaires vont mieux*. А об вас я уже давно слышал, и много хорошего, а вы теперь только приняты... Это непростительно Северному обществу. Я думаю, — продолжал он, — скоро можно будет начать дело.

Быв новичком еще, о многом догадываясь только и не зная вполне, что это за дело, я помню, что слова его меня тогда и удивили и навели какую-то робость. Мы расстались с тем, чтоб свидеться уже в полку как сослуживцам.

Вскоре вышел мой перевод, товарищи однополчане проводили меня, таким образом кончилось мое служение в гвардии с 1812 года по 1823[32].

Путь мой лежал на Киев. Был май месяц; весна сменяла зиму, и, чем более удалялся я от Петербурга, тем легче, теплее, отраднее становилось мне на сердце. Рощицы, темные леса, нивы с роскошною жатвою встречались с каждым шагом, а запах свежескошенного сена и полевых цветов, которыми Малороссия изобилует, очаровывали меня и наполняли мою душу каким-то необъяснимым наслаждением.

В Киеве я остановился в Зеленом трактире и посетил двух приятелей: Капниста и Муханова, адъютантов Н. Н. Раевского, командовавшего корпусом и имевшего в Киеве свою корпусную квартиру. Капнист прежде служил в Измайловском полку и был одним из отличнейших офицеров, могущих всегда принести честь полку, и вышел только из гвардии по мстительности и преследованиям бригадного начальника — в[еликого] к[нязя] Николая Павловича.

Всем известно, что его высочество, увлекаясь часто фрунтовой службой, дозволял себе более того, что может снести всякий порядочный человек, а потому именно эти-то порядочные люди только и останавливали его. Так однажды, желая поправить какую-то ошибку, направился он и к К[апнисту], но сей остановил его словами: «Ваше высочество, не троньте меня, я щекотлив». Николай Павлович не мог этого простить К[апнисту], и он должен был перейти в армию, где его, однако ж, отличил знаменитый

* у нас на юге дела идут лучше (франц.).

защитник Смоленска Раевский[33], взяв к себе в адъютанты. После смерти Александра Павловича Н. Н. Раевский, не знаю почему, впал в немилость, вышел в отставку и дожил свой век в кругу своего семейства, в деревне.

Тогда мне хотелось посетить героя, коего высокие качества и добродетель так[34] славно изобразил Д. В. Давыдов, и я явился к нему. Помню, что я застал генерала в биллиардной, с кием в руках. Открылось, что фамилия моя ему известна, что он очень хорошо знает матушку и всякий раз, что ездит в Крым, где у него поместья, заезжает к ней. «Снимай шарф, клади кивер и пойдем обедать», — сказал он мне.

Дня через три я скакал в полк, где вскоре должна была разыграться и наша катастрофа.

Глава IV

Приезд в Линцы. — Пестель знакомит меня с членами тайного общества. — Деление общества на три управы. — Мои политические убеждения. — Аракчеев и Греч. — П. И. Пестель — один из замечательнейших людей своего времени. — «Русская правда». — Беседы с Пестелем с глазу на глаз. — Честолюбие Пестеля. — Совет гр[афа] Палена Пестелю. — Планы Пестеля. — Граф Витт хочет вступить в общество. — Я выполняю поручение Пестеля. — Разговор с Юшневским. — Я отклоняю принятие полка. — Способности Пестеля. — 2-я армия в мое время. — Таинственное сообщение Пестеля. — Расчеты Пестеля на 1-й баталион. — Предатель Майборода

Квартира Вятского полка была в Линцах, местечке, принадлежавшем к[нязю] Сангушке, о котором я со временем скажу несколько слов.

Приехав в Линцы, покуда мне еще не отвели казенной квартиры, я остановился у еврея и тотчас же послал узнать, дома ли полковник Пестель. Меня велели просить обедать. У Пестеля я застал много людей, мне вовсе незнакомых, как-то: В. Л. Давыдова — полковника в отставке, Лихарева — Генерального штаба и Полтавского пехотного полка поручика Бестужева-Рюмина и несколько офицеров Вятского полка. Пестель после форменного представления назвал меня *членом общества*, и все со мною стали гораздо откровеннее.

С первого же раза В. Л. Давыдов очаровал меня своею любезностью и веселостью. Узнав его после короче, я убедился, что он был представителем тогдашнего comme il

faut*, богат, образован, начитан, весь век свой провел в высшем обществе, был адъютантом князя Багратиона. Лихарев также мне понравился, но Бестужев произвел на меня какое-то странное впечатление и показался мне каким-то восторженным фанатиком, ибо много говорил, без связи, без плана. Я оставался с ним холоден, и так мы провели первый вечер у Пестеля.

Тут-то я узнал, что общество разделялось тогда на три управы: Северную — под управлением Никиты Муравьева, Южную — под управлением Пестеля и Васильковскую — под управлением Сергея Муравьева-Апостола[35]. Южное было довольно многочисленно и существовало уже 10 лет[36]. Я не стану описывать его начала, его цели и проч., потому что кто об этом не писал; но лучше всех и вернее изобразил нам картину всего этого кн. П. Долгоруков. Он отдал в своем описании полную справедливость этим жертвам за свободу своего отечества, этим людям, которые в цветущих летах своих (какими были почти все члены общества) не убоялись пренебречь всем, что обыкновенно льстит нам в молодости — карьерой, службой, богатством, — чтоб улучшить судьбы отечества своего.

Про себя скажу откровенно, что я не был ни якобинцем, ни республиканцем, — это не в моем характере. Но с самой юности я ненавидел все строгие насильственные меры! Я всегда говорил, что Россия должна остаться монархией, но принять конституцию.

Члены общества знали жизнь, понимали недостатки старого времени, но нельзя отнять у них и того, что [они] были знакомы с хорошими сторонами ее, поэтому желали прогресса под другим именем. Я мечтал часто о монархической конституции и был предан императору Александру как человеку, хотя многие из членов, так как и я, негодовали на него за то, что он в последнее время, усталый от дел государственных, передал все управление Аракчееву, этому деспоту необузданному.

История еще не разъяснила нам причин, которые понудили Александра — исключительно европейца 19-го столетия, человека образованного, с изящными манерами, доброго, великодушного, — отдаться, или лучше сказать, так

---

* благовоспитанного общества (франц.).

сильно привязаться к капралу павловского времени, человеку грубому, необразованному. Говорят, что лицо есть зеркало души, и это зеркало было у Аракчеева отвратительно.

Я помню время, когда Н. И. Греч перевел с латинского «Временщика» времен Рима. Мы с жадностию читали эти стихи и узнавали нашего русского временщика. Дошли они и до Аракчеева, и он себя узнал, потому что тотчас же послал за Гречем.

Вообразите себе, как перепугался этот писатель, когда его схватили и мчали на Литейную, где жил страшный человек. Но Греч дорогой утешал еще себя тем, что, может быть, Алексей Андреевич, очарованный его слогом, поручит ему написать что-нибудь о Грузине[37] или о военных поселениях. Но представьте себе его положение, когда, представ пред очи Аракчеева, он услыхал гнусливый вопрос:

— Ты надворный советник Греч?

— Я, ваше сиятельство.

— Знаешь ли ты наши русские законы?

— Знаю, в[аше] с[иятельство].

— У нас один закон для таких вольнодумцев, как ты: кнут, батюшка, кнут!.. Слышишь, чтобы завтра в Петербурге не было этой брошюры! Ступай и собирай везде как знаешь, а не то я тебя сошлю туда, куда Макар телят не гонит!

Передаю этот анекдот за то, за что купил.

Освоившись, обжившись в полку, я, проведя с Пестелем почти неразлучно два года до минуты, где нас судьба так жестоко разлучила, — и навсегда, — я узнал его коротко и могу сказать про него, что он был один из замечательнейших людей своего времени[38]. Он жил открыто. Я и штабные полка всегда у него обедали. Квартиру он занимал очень простую — на площади, против экзерцицгауза, — и во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более политическими, экономическими и вообще ученого содержания и всевозможные конституции. Зато я не знаю, чего этот человек не прочел на своем веку на многих иностранных языках. 12 лет писал [он] свою *«Русскую правду»*. К тому же Пестель имел громадную память. Эта *«Русская правда»* часто хранилась у меня, когда Пестель должен был отлучаться из дома на продолжительное время, — так берег он до поры до време-



П. И. ПЕСТЕЛЬ

Неизвестный художник. Начало 20-х гг. XIX в.
Местонахождение оригинала неизвестно.
Публ. по акварельной копии XIX в.,
хранящейся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде

ни свое детище! Я несколько раз прочитывал эту конституцию для России и помню, что вступление было написано увлекательно, мастерски, да и вообще чего, кажется, не сообразил этот человек, приноравливаясь к русским нравам?

Не раз беседуя с Пестелем с глазу на глаз в длинные зимние вечера, я часто спрашивал его:

— Как это вы, П[авел] И[ванович], гениальный человек, а не шутя полагаете возможным водворить в России республику?

— А Соединенные Штаты чем же лучше нас? — отвечал он мне.

— Но там другие элементы, — возражал я, — помилуйте, Соединенные Штаты долго были колониею Англии, платили ей дань, и только, когда почувствовали свою мощь и у них явился Вашингтон, решились отделиться. Положим, и у нас найдутся Вашингтоны, Франклины, но общество наше еще к этому перевороту не готово, и признаюсь вам, что я, по крайней мере, не вижу хорошего исхода. Не беспокойтесь, вступив в общество, я не изменю вашим целям, но чувствую, что мы играем в опасную игру. Я не вижу никакого приготовления... Этого мало, что ежедневно принимают там и сям одного, другого члена.

— Ваша правда, — сказал мне Пестель, — но в Василькове дела идут лучше. С. Муравьева-Апостола полк любит и — я уверен — вслед за ним пойдет.

— Ну, позвольте же вам сказать теперь, что ваша система командования полком уж никак не приведет к тем же результатам: солдаты вас не знают, может быть, и не любят, офицеры боятся... Будьте же сами популярнее!

Так коротали мы наше время.

Пестель был действительно человек с большими способностями, но мы полагали его и тогда слишком самонадеянным, и для республики, о которой он мечтал, недоставало в нем достаточно[39] добродетелей. Правда, он был защитником свободы, а вместе с тем увлекался через меру честолюбием.

Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него еще тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал: «Ecoutez, jeune homme! Si vous voulez faire quelque chose par une société secrète, — c'est une bêtise. Car si vous êtes douze, le douzième sera invariablement un traître! J'ai de l'expérience et je connais le monde et les hommes!»*

* Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей (франц.).

Какая истина! Зловещее пророчество сбылось!

Павла Ивановича приятно было слушать, он мастерски говорил и всегда умел убеждать, но часто проглядывало в его словах непомерное честолюбие и тщеславие. И сам он однажды сознался, что многие уже ему это замечали, на что он им обыкновенно отвечал:

— На наше дело надобно иметь поболее честолюбия, оно одно может и вас подвигнуть к скорейшему начатию. А за себя даю вам слово, когда русский народ будет счастлив, приняв «Русскую правду», я удалюсь в киевский какой-нибудь монастырь и буду доживать свой век монахом.

— Да, — ответил я ему, улыбнувшись, — чтоб вас и оттуда вынесли на руках с торжеством!

— Впрочем, — прервал он меня, — *кому быть повешенным, тот не утонет*, а со мной последнего не случилось, ибо в детстве моем, когда отец мой отправлял меня с старшим братом в Дрезден для нашего воспитания, то нанял для нас место на одном купеческом судне в Кронштадте. Все было уже готово к отъезду, мы уже простились с отцом, как вдруг он вздумал не отпускать нас на этом судне и велел забрать наши вещи и приказал пересесть на другое... Мы тогда, исполнив его волю, только удивлялись причудам старика, но каково же было наше удивление, когда, прибыв благополучно в Дрезден, мы узнали, что оставленное нами судно не дошло до своего назначения и с пассажирами и грузом потонуло без следа. Сердце старика моего верно чуяло беду, готовившуюся разразиться над головами его чад. И вот я остался жив, как видите.

В одно раннее утро Пестель прислал за мною, чтоб сообщить мне важную новость, которую он сам один не берется разрешить. Важное известие это состояло в том, что граф Витт прислал Пестелю объявить, что он знает об тайном обществе, предлагает свои услуги и просит принять и его самого в члены общества, намекая о своей пользе, так как под его командою состоит 40 000 войска. Затем г. Витт предупреждает Пестеля быть осторожным и остерегает его против человека ему близкого и уже предателя.

Легко себе представить, в каком мы положении были в ту минуту. Кто б мог быть этот Иуда? Долго думали, совещались, и Пестель решил отправить меня в Тульчин,

где была главная квартира, с письмом к А. П. Юшневскому, главному члену общества, и просить его совета.

Исполняя это поручение П[авла] И[вановича], я поехал в штаб-квартиру будто бы по своим делам и остановился у адъютанта главнокомандующего к[н]. Барятинского, которому, как и другим членам, Пестель просил меня ни слова не говорить о моем поручении. Юшневский был тогда генерал-интендантом 2-й армии и пользовался отличной репутацией человека с большими сведениями, серьезного, бескорыстного, практического. Он был, можно сказать, в приятельских отношениях с гр. Витгенштейном и любим начальником штаба Киселевым (ныне посланником в Париже). При моем появлении с письмом Пестеля Юшневский запер дверь на ключ за мной и углубился в чтение. Я старался заранее прочесть ответ на его лице... но оно ничего не выражало, и Юшневский только пожал плечами и, обратясь ко мне, сказал:

— Можно ли довериться Витту? Кто не знает этого известного шарлатана? Мне известно, что в настоящую минуту Витт не знает, как отдать отчет в нескольких миллионах рублей, им истраченных, и думает подделаться правительству, продав нас связанными по рукам и ногам, как куропаток... Я не буду писать П[авлу] И[вановичу], потрудитесь передать ему словесно то, что вы от меня слышали о графе Витте, и посоветуйте с ним не сближаться.

Я тотчас же поспешил обратно в Линцы и передал Пестелю наш разговор с Юшневским. Пестель задумался, но видно было, что идея сближения с гр. Виттом его сильно занимала, ибо он мне тогда же сказал: «Ну, а ежели мы ошибаемся? Как много мы потеряем». Этим и кончилось тогда это загадочное происшествие.

Впоследствии я очень коротко сошелся с Юшневским и всегда его уважал. Он был, по моему мнению, добродетельнейший республиканец, никогда не изменявший своих мнений, убеждений, призвания. Он много способствовал своими советами Пестелю к составлению «Русской правды».

Я забыл сказать, что, приехав в полк, Пестель хотел было дать мне баталион, отняв его у младшего меня маиора, уже пожилого человека, но я отклонил от себя эту обязанность более для того, чтобы не лишить моего бедного предместника сопряженных с званием баталион-

ного командира 1000 р. столовых, и решился ждать более безобидной для других вакансии.

Так протекли два года моей службы в армии и членом Южного общества. Меня часто удивляли память Пестеля и способность его заниматься постоянно важными делами, которых он был главой, и полком, которым он командовал отлично и чрезвычайно легко, как бы спустя рукава, так что однажды корпусный командир Рудзевич про него сказал: «Удивляюсь, как Пестель занимается шагистикой, тогда как этой умной голове только и быть министром, посланником!»

Во время греческого восстания, когда Ипсилантий, быв на службе нашим генералом и приближенным лицом к государю Александру Павловичу, не зная, подготовлены ли его земляки, бросился необдуманно, под влечением своих благородных чувств, в открытую борьбу и пал, вовлекши многих своих товарищей в погибель, — государь наш, державшийся святого союза и строгого non intervention*, спросил у Витгенштейна, коего армия была расположена на границах волновавшейся Молдавии и Валахии как единоверцев Греции и подданных той же Турции, нет ли в армии человека, способного разъяснить и представить верно положение христианского населения Молдавии и Валахии, граф Витгенштейн указал на Пестеля, который и был отправлен для этой цели. Он исполнил добросовестно свое поручение и писал прямо в собственные руки государю на французском языке. Говорили, что когда государь прочитал это ясное изложение дела и передал Нессельроде, то сей последний будто бы просил государя назвать ему дипломата, который так красно, умно, верно сумел описать настоящее положение Греции и христиан на Востоке, и будто бы государь, улыбнувшись, сказал: «Не более и не менее как армейский полковник. Да, вот какие у меня служат в армии полковники!»

В Тульчине при штабе 2-й армии в мое время служило много замечательных людей, в особенности офицеров Генерального штаба, и можно по справедливости сказать, что армия доведена была до такой степени совершенства, что превосходила своей организацией, устройством все остальные корпуса русские. Эту должную справедливость сам государь на высочайшем смотру [18]23 года ей отдал.

---

* невмешательства (франц.).

Главнокомандующий, которого армия обожала, по преклонным летам своим предоставил все управление делами армии своим достойным помощникам и, само собой разумеется, большею частью своему начальнику штаба Киселеву. Я с уважением произношу это имя, оставившее, вероятно, не у одного меня подобные теплые чувства. П. Д. Киселев был тогда лет 37 и во все время исправления должности, столь важной, был добр, доступен, любезен, снисходителен и притом очень красив собой. В ту пору он только что женился на красавице польке, Софии Потоцкой. Несмотря на свои многотрудные занятия, он постоянно находил довольно свободных минут, чтоб обогащать память свою новыми знаниями, а потому окружал себя людьми учеными и любил с ними проводить время. Проводя свою идею образования, честности, бескорыстия, он мало-помалу заместил закоренелых, отсталых полковых командиров своими адъютантами, из коих назову двух — Абрамова и Бурцева. Сей последний, быв замешан впоследствии по делу тайного общества, счастливо выпутался, несмотря на то что Чернышев всячески старался его погубить. Бурцева сослали на Кавказ только, где он служил с таким отличием, что при Паскевиче вскоре был произведен в генерал-маиоры, и Чернышеву как военному министру не раз приходилось в полной форме приносить господу богу благодарение о ниспосланной победе за человека, которого он ненавидел*. Бурцев всегда сам лично и прямо набело писал свои реляции государю Николаю Павловичу**, и Паскевич, ценя его и чувствуя, что он необходим в войсках Кавказского корпуса, питал к нему особенную любовь. К сожалению, Бурцев не дожил до апогея своей славы. Не зная страха, часто в запальчивости, он впереди всех бросался в самые опасные места, и однажды роковая пуля сразила его смертельно. Умирая, он написал письма к государю, жене и дочери.

Однажды, придя к Пестелю вечером, по обыкновению, я застал его лежащим. При моем входе он припод-

---

* М. В. Юзефович: Ну, этого не могло быть, так как Бурцев постоянно находился с полком при главной квартире и не мог одерживать побед отдельно. В последнем же деле, где действовал отдельно, он был убит.

** М. В. Юзефович: Этого тоже не могло быть. Да и не таков был Паскевич, чтоб позволить подчиненному своему прямо переписываться с государем. Я знал Бурцева за Кавказом, вблизи

нялся и после краткого молчания, с челом сумрачным и озабоченным, сказал мне как-то таинственно.

— Николай Иванович, все, что я вам скажу, пусть останется тайной между нами. Я не сплю уже несколько ночей, все обдумывая важный шаг, на который решаюсь... Получая чаще и чаще неблагоприятные сведения от управ, убеждаясь, что члены нашего общества охладевают все более и более к notre bonne cause*, что никто ничего не делает в преуспеяние ее, что государь извещен даже о существовании общества и ждет благовидного предлога, чтоб нас всех схватить, — я решился дождаться [18]26 года (мы были в ноябре 1825 г.)[32], отправиться в Таганрог и принесть государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие *дарованием России тех уложений и прав, каких мы добиваемся*. Недавно я ездил в Бердичев, в Житомир, чтоб переговорить с польскими членами, но и у них не нашел ничего радостного. Они и слышать не хотят нам помочь и желают избрать себе своего короля в случае нашего восстания. Сам же государь Александр с 1817 года, видимо, изменил свое либеральное направление, поддавшись совершенно Меттерниху, который напевает ему, что добротою, снисходительностию можно только потрясти троны и разрушить их... Прусский король, много обещавший и ничего не исполнивший, небось, когда ему приходилось плохо, сам был главою в [18]13 и [18]14 году своего Tugendbund'a, а теперь и он охладел. Что скажете вы на мое намерение?

— Признаюсь вам, Павел Иванович, что вы подымаетесь на рискованное дело. Хорошо, ежели государь снисходительно примет ваше извещение и убедится вашими доводами, ну а ежели нет? Ведь дело идет о спокойствии и счастии целой страны. А как интересы государств, связанных принципом Макиавелли, перетянут на свою сторону императора Александра, что тогда будет? По-моему, вам одним не следует решаться на такой важный шаг и нуж-

---

видел его действия, сохранил о нем воспоминание как об умнейшем и благороднейшем человеке, но смею уверить, что прямых сношений у него с государем не было, — разве в предсмертную минуту.

П. И. Бартенев: Замечание совершенно справедливо.

* к нашему делу (франц.).

но непременно сообщить ваш план хоть некоторым членам общества, как, напр[имер], Юшневскому[40], Муравьеву, хоть для того только, чтоб никто не мог вас заподозрить, что вы ищете спасения личного, делаясь доносчиком дела общего, в котором отчаиваетесь...

Пестель пожал мне руку и замолчал.

Вскоре после этого вечера еще одно обстоятельство приблизило роковую минуту раскрытия нашей тайны. Раз утром Пестель мне сказал:

— Сегодня я отдал приказ об принятии вами 1-го баталиона на законном основании... Ваш предместник просится в отпуск и, кажется, не вернется в полк. Квартира баталиона в Данкове[41], в 15 верстах от Линца, а потому вы можете немедля вступить в должность... Впрочем, вечером еще мы увидимся и поговорим кой о чем.

Действительно, вечером он продолжал:

— У вас будет славный баталион, в особенности 2-я гренадерская рота — настоящая гвардия, и с этими людьми можно будет много сделать pour notre cause*. Остальные роты легко пойдут за головой, а я надеюсь, что вы с вашим уменьем привязывать к себе сердца людей легко достигнете нашей цели, ежели б она когда-нибудь понадобилась... Чтоб облегчить вам несколько ваши обязанности служебные, я переведу к вам в баталион капитана Майбороду, а для большей связи в наших действиях приму его и в члены общества.

Последней фразы уже я совсем не ожидал, и она на меня сделала неприятное впечатление. Я всегда питал какую-то антипатию к этому человеку и был с ним всегда настороже, а потому я тогда же ответил Пестелю:

— Не торопитесь, Павел Иванович, дайте мне его покороче узнать. До сих пор мне кажется, что он ничтожный, низенький человек, да и прежде слышал я про него много нехорошего... Вы этого не знаете разве, что Московский полк, в котором он прежде служил, заставил его выйти из полка за штуку, которую он сыграл с одним из товарищей. Тот дал ему 1000 рублей на покупку лошадей. Майборода, возвратившись из отпуска, уверил, что лошадь была куплена, но пала, и денег не возвратил, хотя все это было выдумано. К тому же и по службе он мне не товарищ, потому что очень строг с людьми, а я ему как

---

* для нашего дела (франц.).

баталионный командир этого не позволю без моего ведома.

Пестелю не понравились мои возражения, однако я возражал все сильнее и сильнее и настаивал, чтоб, по крайней мере, не открывать Майбороде всех наших тайн, и даже сказал: «А как вы думаете, Павел Иванович, не он ли тот предатель, от которого граф Витт вас предостерегал?» Но Пестель отбросил совершенно эту мысль и, по своему упрямству, кончил тем, что поверил Майбороде все наше положение, а тот так умел вкрасться в его доверенность, что Пестель отдался ему совершенно.

Немного прошло времени, а изменник, записывая у себя дома все, что услышит по вечерам у Павла Ивановича, для большей вероятности пред нами в искренности своих сочувствий к нашему общему делу принял даже одного члена — Старосельского, — тот же предатель, только вполовину!

Глава V

Кончина Александра I. — Совещание тайного общества. — Ожидание развязки. — Присяга Константину. — Общество открыто. — Последнее поручение Пестеля. — Арест Пестеля. — Обыск в доме Пестеля. — Мой первый допрос. — Мой арест. — Петербург

Вечером приехали два офицера Генерального штаба из Тульчина — Крюков и Черкасский — с известием, что туда приехал Чернышев... Накануне у нас жиды рассказывали, что государь будто бы скончался в Таганроге. Никто этому не верил, но чувствовал всякий, что должно что-нибудь происходить необыкновенное, ибо не проходило дня, чтоб 3 или 4 фельдъегеря не проскакали в Варшаву [и] обратно. Пестель чрез одного офицера успел, однако, чуть ли не от шестого курьера, узнать о действительно последовавшей кончине государя... К тому же нечаянный приезд Чернышева, грустное, озабоченное лицо Киселева и вся тайна, которою мы были окружены, озабочивали нас немало...

После долгого вечернего совещания, что предпринять, на что решиться в случае открытия общества, положили: «Русскую правду» припрятать подальше, закопав в землю, а для сего уложили ее в крепкий ящик, запечатали, забили гвоздями и отдали на руки Крюкову и Черкасову, чтоб при первом удобном случае исполнить над ней эти похороны на Тульчинском кладбище[42].

Всю ночь мы жгли письма и бумаги Пестеля. Возвратившись к себе, я занялся и у себя тем же и для верности сжег все, что у меня было писаного. Хранители «Русской правды» уехали, а мы стали ждать развязки... В самый перелом нашей судьбы, в ту самую минуту, когда общество было готово подвергнуться участи своей, никто не мог отстранить опасности. Донос уже был сделан капитаном Майбородой.

Пришло повеление 2-й армии присягнуть на верность службы царевичу Константину Павловичу, что и было исполнено по полкам. Как теперь вижу Пестеля, мрачного, сериозного, со сложенными перстами поднятой руки... Мог ли я предполагать тогда, что в последний раз вижу его перед фронтом и что вскоре и совсем мы с ним расстанемся? В этот день все после присяги обедали у Пестеля, и обед прошел грустно, молчаливо, да и было отчего. На нас тяготела страшная неизвестность...

Вечером, по обыкновению, мы остались одни и сидели в кабинете. В зале не было огня... Вдруг, вовсе неожиданно, на пороге темной комнаты обрисовалась фигура военного штаб-офицера, который подал Пестелю небольшую записочку, карандашом написанную:

«La société est découverte: si un seul membre sera, pris — je commence l'affaire*.

С. Муравьев-Апостол»

Стало быть, дело наше начинало разыгрываться! Легко себе представить, как мы провели эту ночь.

На другой день мы узнали, что общество открыто чрез донос Майбороды... Предчувствия мои сбылись.

Говорили, что первый донос, который он доставил государю Александру, был им кинут в камин недочитанным, со словами: «Мерзавец, выслужиться хочет!». Но когда граф Витт явился вскоре после этого к государю, то он строго встретил его этими словами: «Что делается у вас? около вас? Везде заговоры, тайные общества, а вы и Киселев ничего об этом не знаете. Ежели это все правда, то оба будете мне крепко отвечать!» Витт тогда же отвечал, что он знает об *тайном обществе* и с тем именно и явился к государю, чтоб представить список за-

---

* Общество открыто. Если будет арестован хоть один член, я начинаю дело (франц.).

говорщиков Южного общества, в главе коих стояло имя Пестеля. Тогда государь будто бы послал Чернышева поразведать подробнее о деле этом, а сам между тем скончался от крымской лихорадки, простудившись на Южном берегу. Говорили, что доктор Вилье не[43] так его лечил, не поняв сначала болезни, которая, приняв воспалительное свойство, свела государя в могилу 19 ноября 1825 года.

Между тем Чернышев, исполняя важное поручение, приехав в Тульчин, явился к главнокомандующему и с свойственным ему нахальством объявил, что едет по полкам армии арестовывать по списку членов тайного общества. Маститый старец сказал ему, что он этого дозволить не может, не имея на то именного повеления, и опасается, чтобы самые войска, парализированные таким повальным арестом своих ближайших начальников, которых любят и уважают, не вышли бы из повиновения и самого Чернышева не арестовали. «Возьмите с собой, по крайней мере, начальника штаба моего... его они знают». На этом они и решили, но потом передумали и приказали собрать полковых командиров в Тульчин.

Такое приказание пришло и к нам в полк. Наш бригадный командир, не подозревая никаких обществ, сам нам сообщил волю главнокомандующего и уговаривался ехать вместе с Пестелем, на что сей и согласился.

Чуя приближающуюся грозу, но не быв уверены совершенно в нашей гибели, мы долго доискивались в этот вечер какой-нибудь задней мысли, дурно скрытого намека в приказе по корпусу; но ничего не нашли особенного, разве то, что имя Пестеля было повторено в нем 3 раза. В недоумении мы не знали, что предпринять, и Пестель решился отдаться своему жребию.

Я хотел было идти к себе, но Пестель еще меня остановил и послал просить к себе бригадного командира. Когда добрый старик, бывший с ним в хороших отношениях, пришел, то Пестель сказал ему: «Я не еду, я болен... Скажите Киселеву, что я очень нездоров и не могу явиться». С тем мы и расстались далеко за полночь.

Не успел я возвратиться к себе и лечь в постель, как человек Пестеля снова прибегает ко мне с просьбою пожаловать к нему и с известием, что полковник сейчас едут в Тульчин. Не постигая таких быстрых перемен, я наскоро оделся и побежал к полковнику... Он был уже одет по-дорожному, и коляска его стояла у крыльца...

— Я еду, что будет, то будет, — встретил он меня словами... — Я еще хотел вас видеть, Н[иколай] И[ванович], чтоб сказать вам, что, может быть, мне придется дать вам поручение маленькой записочкой, хотя бы карандашом написанной: исполните без отлагательства то, что вы там прочтете, — хоть из любви к нам...

С этими словами мы обнялись, я проводил его до коляски и, встревоженный, возвратился в комнату... Свечи еще горели... кругом была мертвая тишина. Только гул колес отъехавшего экипажа дрожал в воздухе.

С свинцовою тяжестью на душе я сел на то место, где сидел Пестель, и, предчувствуя беду, невольно подумал и о самом себе... Что будет со мною завтра? Но судьбы своей не минешь, и я направился, усталый морально и физически, домой.

Это было 14 декабря, в самый тот день, когда было возмущение в С.-Петербурге.

Утром рано мой слуга доложил мне, что ночью привезли камердинера Пестеля закованным и содержат под строгим присмотром. Подстрекаемый мыслию, что могу его как-нибудь увидеть, я живо оделся и направился к временной тюрьме несчастного... Мундир мой дал мне свободный пропуск к арестанту, закованному в тяжелые железа, которого увидев, я не мог не спросить, что сделали с Павлом Ивановичем.

— Посадили под крепкий караул в монастыре, ваше высокоблагородие. Но вот в чем беда: ехавши с барином в Тульчин, я издали увидел с горы, у заставы, взвод с обнаженными саблями и когда сказал об этом полковнику, то он остановил коляску, скоро написал записочку какую-то и, спустив меня, велел вам ее непременно доставить, а сам поехал в город. Я, исполняя приказание барина, пустился бежать напрямки, но, не отбежав и версты, был настигнут тройкой, на которой скакал какой-то чиновник, который, остановив меня, велел садиться с собою и отвез в Тульчин. Там барина я не видал, а генерал Чернышев отобрал у меня записку, к вам посланную, и допрашивал меня, чем барин мой занимался дома, много ли писал, кто к нам ходил чаще всех, кто бывал у нас. Как мне все это знать, в[аше] с[иятельство], — отвечал я, — мое дело было ходить за барином, чистить ему сапоги, да и все тут... Кто у нас бывал? Да мало ли у нас бывало господ, всех не упомнишь.

После этого разговора моего с верным и сметливым слугою я более его не видал... Не знаю, что с ним сделалось.

В этот день я отправился обедать к жене моего бригадного командира и должен был вынести еще ужаснейшую пытку. Генерал еще не возвращался, а слухи об арестовании Пестеля, его камердинера и проч. уже ходили по местечку. Немудрено, что бедная женщина беспокоилась о своем муже. Едва я вошел, как она кинулась в слезах и отчаянии ко мне с вопросом:

— Ради бога, скажите, что сделали с моим мужем?.. Вы должны знать... Павла Ивановича, говорят, посадили как государственного преступника.

— Я сам ничего верного еще не знаю, — отвечал я, — но кажется, что мы дожили до такого времени, что многих будут брать из нас... Что же касается до вашего мужа, то даю вам слово, что он вне всяких случайностей... Не отчаивайтесь и верьте, что завтра же он будет с вами обедать...

Я старался утешать бедную женщину, как мог. Наступила пора обедать, мы пошли к столу, но ни у кого аппетита не оказалось. Время провели в воспоминаниях о Павле Ивановиче, который был дружен с этим домом. И генеральша и сестра ее проплакали все обеденное время. После стола, чтоб рассеять немного дам, я просил сестру генеральши, большую музыкантшу, сыграть мне на фортепианах «Польский» Огинского. Она исполнила мою просьбу, но расплакалась еще больше и ушла в свою комнату.

Возвращаясь к себе, я зашел[44] к нашему общему знакомому, доктору Плесселю, служившему частным медиком в имении Сангушки. Зная уже об арестовании Павла Ивановича, все семейство доктора сильно о нем горевало, да к тому же и сам доктор побаивался, [так как][45] был предуведомлен, что и за ним велено присматривать. Со временем я узнал, что его действительно взяли, открыв, что он член Польского общества, и повезли в Киев, не доезжая которого доктор себя отравил.

На другой день было воскресенье, и я пошел в костел, где обыкновенно играла наша музыка. Но там полковой адъютант в большом замешательстве объявил мне, что сейчас видел, как к дому Павла Ивановича подъехала коляска с Чернышевым и Киселевым... Я — домой, оделся в полную форму как командующий полком, взял ординарца и

вестового и побежал с рапортом к начальству. Я застал обоих генералов в мундирах, при саблях, расхаживающих по зале. Мне показалось, что они приехали на веселый пир какой-нибудь, так праздничны были их физиономии.

По исполнении всех служебных формальностей Киселев приказал мне собрать немедленно всех офицеров, находящихся при штабе, и представить Чернышеву. Через час все было исполнено, и мы разошлись по домам. Ожидая ежеминутно какого-либо приказания, я не мог отлучиться из своей квартиры, но вечером узнал, что генералы не теряли своего времени: перешарили все комоды, шкатулки, ящики в доме Пестеля, поднимали полы, побывали и в бане, перерыли даже огород с помощью прислуги, которая, конечно, недоумевала, что за клад отыскивают эти господа. Но клад этот была «Русская правда». Она была в надежных руках, и не удалось Чернышеву положить к престолу своего нового государя обвинительный акт наш! В своем месте я скажу, как и когда она была открыта впоследствии.

Три дня жили генерал-адъютанты в доме Пестеля и, не раздеваясь, усердно работали... В последнюю ночь я узнал, что привезли Майбороду и заперли у себя, потому что сей последний опасался за свою жизнь. Как ни старался наш полковой адъютант проникнуть к нему, но не успел. Остальная дворня Пестеля рассказывала, что генералы очень грубо с Майбородой обращаются, даже кричат на него, и что он обедает отдельно от них. Сохрани меня бог от такого унижения, думал я тогда. Уж лучше выпить чашу до дна, как бы она горька ни была, с моими благородными товарищами, чем быть на его месте.

Ночью меня тихонько кто-то будит. Открываю глаза и вижу офицера в сером мундире, с серебряными петлицами, в капитанских эполетах, со свечою в руках...

— Г. маиор, вас зовут генералы...

— Сейчас, позвольте мне одеться, а для этого прошу вас разбудить и послать ко мне моего слугу.

Мы пошли. Ночь была светлая, тихая, местечко спало, и только генералы да и мы вдвоем бдели...

У Пестеля на квартире, в зале, на камине, стояла лампа, тускло освещавшая большую комнату. Ко мне вышел Киселев и сурово сказал мне:

— Г. маиор! По всем данным, которые у нас в руках, вы — член тайного общества. Не запирайтесь...

Тут вышел и Чернышев со словами:

— Нам известно, что вы были доверенным лицом Пестеля, другом его... Я знаю, что вы отличный штаб-офицер, что свидетельствовал и Павел Дмитриевич, так сознайтесь же, что принадлежите к обществу и приняты еще на Севере. Вы так молоды, что могли увлечься, и чем скорее и раньше сознаете свое заблуждение, тем более облегчите свою судьбу...

Я молчал, догадываясь, что все они знают чрез Майбороду. Видя мое упорство, Киселев спросил Чернышева:

— Прикажете арестовать?..

— Нет покуда, а вы, г. маиор, не выносите сора из избы.

Тем и кончилось наше полуночное свидание, и я мечтал, что счастливо отделался от страшного допроса.

На другой день был инспекторский смотр 1-му батальону. Чернышев допрашивал людей, желая выведать что-либо о Пестеле. Но добрые солдатики ничего не показали, что бы могло повредить их доброму полковнику. Наконец, генералы уехали в Тульчин, разослав множество гонцов по всем трактам. Казалось, буря миновала, для меня по крайней мере.

Не прошло и двух дней, как меня потребовали в Тульчин. Я выехал вечером в своей коляске. Ночь была морозная, но тихая и без снегу. Это было 22 декабря. Местечко Линцы окружено дубовым лесом, в котором не однажды с книгою в руках находил я в уединении сладкое спокойствие. Прощайте, милые места, я вас более не увижу. Прощай, белая хатка с стариком 80-летним хозяином-черноморцем, с которым я часто разделял скромный ужин. Первый луч восходящего солнца осветил как бы нарочно для меня в последний раз и лес, и хижину с синей струйкой дыма...

В грустном расположении доехал я до предпоследней станции, где узнал от фельдъегеря об вступлении на престол Николая Павловича, но о происшествиях 14 декабря мне не было ничего известно.

В Тульчине, остановившись в жидовской корчме (потому что других помещений в Тульчине и не имелось), я узнал, что многие полковые командиры, долженствовавшие помочь Муравьеву-Апостолу, арестованы, что сам С. Муравьев, Повало-Швейковский, Тизенгаузен сидят уже под караулом. Утром я отправился в дом главнокоман-

дующего, где жил и начальник штаба Киселев и остановился Чернышев. Покуда обо мне докладывали, я от усталости и волнений присел на диван и задремал...

Просыпаюсь — и генерал Киселев стоит предо мной. Отрапортовавши по форме, я получил приказание явиться к Чернышеву. При этом свидании нашем я застал генерала за письменным столом с пачкою бумаг, которые он внимательно прочитывал. [Он][46] тотчас же обратился ко мне со словами:

— Г. маиор, все более и более убеждаюсь я, что вы — член тайного общества... Чем долее будете запираться, тем хуже, и я принужден буду дать вам очную ставку с капитаном Майбородой.

Этот последний аргумент меня сильно смутил, и я тотчас же просил генерала Чернышева позволить мне обдуматься[9] несколько минут и пошел к благородному нашему начальнику штаба, решившись прямо открыть ему все, до меня касающееся, чтоб только не видеться с мерзавцем Майбородой, которого хотят поставить на одну доску с честным человеком.

Когда Киселев меня внимательно выслушал, то пожал плечами и сказал, что теперь он не может ничего для меня сделать, что Чернышев один всем распоряжается.

— Если б государь был жив, я поехал бы сам в Таганрог, отдал бы сам ему мою шпагу, подверг бы себя справедливому гневу его, но, может быть, многих из вас спас... Пестель поступил со мною неблагодарно: я ему доставил все, что можно только получить в звании и чине, а сам за труды мои в доведении армии[47] до того блестящего положения, в котором она находится, — что я получил?.. Генерал-адъютантские эполеты?[48] Да и они теперь лезут с плеч моих долой...

Я заметил, что Киселев был в очень тревожном положении, а к беспокойству о беспорядках в частях его собственного управления прибавилось еще известие о возмущении 14 декабря в С.-Петербурге. Я решился и Чернышеву повторить все то же самое, что говорил Киселеву. И от него немного успокоительного для себя услыхал я. Он подал мне вопросные пункты и велел откровенно отвечать на них в смежной комнате.

И вот я предоставлен своему жребию и сам налагаю на себя руку... Со мной в комнате находился какой-то чиновник, видимо за мной следивший, но с которым мы ни

слова не сказали. Кончивши свою работу, я просил его передать исписанный лист генералу Чернышеву, который вскоре выслал ко мне Киселева со словами:

— Вы ни в чем не сознаетесь. Везде вы написали *не знаю, мне неизвестно*. Это ли чистосердечие?

— Ваше превосходительство, я сознался, что я член тайного общества, следовательно, обвинил самого себя. Меня могут и за это расстрелять по военному артикулу в 24 часа. Но более я вам ничего не скажу, и напрасно будут все ваши вопросы... — И слезы невольно потекли по моим щекам...

Киселев пожал плечами и ушел. Было около 11 часов ночи. Усталый, изнеможденный, я просил через чиновника, моего аргуса, позволения отправиться домой, и мне это позволили. По дороге я заметил у многих домов расставленных часовых, вероятно у временных квартир моих несчастных товарищей...

У меня дома чиновник потребовал ключа от шкатулки моей, осмотрел ее, взял мою шпагу и унес ее вместе с моей свободой.

Утром вбежал ко мне молодой фельдъегерь с тем же чиновником, который меня арестовал вчера, и приказал готовиться к отъезду в Петербург.

— Надеюсь, в моей коляске? — спросил я.

— Нет, на перекладных.

— Помилуйте, вы меня не довезете живого по этой колоти[9].

— Мне приказано следовать за генералом Чернышевым с вами вместе, а в тяжелом экипаже мы этого не сделаем.

Я настаивал на своем желании и, видя несговорчивость моих стражей, написал письмо к Киселеву, в котором изложил всю невозможность, по слабости здоровья, сделать это путешествие на перекладной.

Вскоре мне принесли дозволение ехать в своей коляске с тем, чтобы я не отставал от Чернышева. Сборы мои были недолги. Я простился с моим добрым слугою, вручив ему письмо к брату, в котором просил отпустить его на волю, а все свои пожитки подарил[49] ему.

На первых порах мы мчались за коляской Чернышева, но я тогда же узнал, что нам запрещено подъезжать к станциям в одно время с ним. Частенько случалось нам в виду экипажа генерала останавливаться в поле, покуда

ему вздумается отобедать, а раз нас застигла даже страшная вьюга-мятель, а непонятная осторожность не была изменена.

В Махновке мы нашли зимний путь, и я оставил свою коляску трактирщику. В Житомире я первый раз спокойно отобедал на станции, ибо Чернышев заезжал к генералу Роту. Вскоре мы опять мчались за Чернышевым, который также оставил свой колесный экипаж Роту и взял у него кибитку. На одной станции кибитка его сломалась, мы невольно его догнали, и мой спутник получил приказание прислать со станции для генерала две перекладных, что вскоре и было исполнено. На станции я лег отдохнуть за перегородкой, а когда Чернышев приехал, то тотчас же спросил фельдъегеря: «Где маиор?» — «Здесь, за перегородкой, отдыхают». И я слышал, как он, удостоверившись в моем существовании, запер дверь на крюк. Напрасные предосторожности! Неужели он предполагал, что я могу или захочу бежать?

В продолжение дороги я узнал от моего провожатого о происшествиях 14 декабря, о смерти Милорадовича и захвате многих лиц на площади. Мне сказывали, что Чернышев во всю дорогу был в беспокойстве, расспрашивал всякого проезжающего о происшествиях и много заботился знать, кто доверенное лицо государя, кто к нему ближе... И он торопился заместить любимца Левашова! Пустое тщеславие жалкого интригана!

На пятые сутки мы приближались к Петербургу, а в новый год, 1 января 1826 года, на одной станции, Чернышев меня потребовал к себе... Я поздравил его с новым годом, на что он сухо мне поклонился. В комнате оставались еще неприбранные серебряные вещи туалета его, множество гребней, помада, духи наполняли комнату своим ароматом. Генерал был в мундире и парике, тщательно завитом. У печки стоял его секретарь с Анною на шее.

— Я желаю еще раз, — сказал мне Чернышев, — попытаться [облегчить] вашу судьбу и представлю вас государю как человека искренно раскаявшегося, ежели вы мне скажете, где «Русская правда».

— Генерал, вы сами очень хорошо знаете, что ежели б я даже и знал, где хранится «Русская правда», то не мог бы вам этого сообщить: честь всякого порядочного человека ему это запрещает, а я уже показал в своих ответных пунктах, что ничего об этом не знаю. Впрочем, своего ро-

ка не избежишь, и напрасно вы стараетесь меня обнадеживать прощением или облегчением.

— Ну, ваша философия не поведет вас к добру, — кончил Чернышев.

В час пополуночи мы подъехали к Петербургской заставе, и после шептаний Чернышева с караульным офицером, как мне помнится, лейб-егерского полка, мы въехали в столицу. Город еще не спал, и встречались экипажи, в домах светились еще огни. Не думал я никогда въезжать в Петербург в таком грустном настроении духа, в особенности же мне стало невыносимо тяжело, когда мы проезжали мимо [дома] моего дяди Д. Е. Цицианова[50], где я так весело проводил свое время и по четвергам объедался его гомерическими обедами.

Как мне кажется, Чернышев жил в Подьяческой, и я, приехав, был введен по узкой темной лестнице в комнату, где мне вскоре подали поужинать и позволили, наконец, уснуть на диване под присмотром откуда-то явившегося офицера. Наутро мне не позволяли подойти к окошку, уж не знаю почему. Фельдъегерь предложил мне побриться, и когда я сказал ему, что не имею своих бритв, то он рекомендовал мне цирюльника, который и исполнил надо мной эту операцию. Я тогда же понял, что не держать мне более самому бритвы в своих руках.

Фельдъегерь рассказывал мне, что Чернышев, возвратившись из дворца, был очень печален и с заплаканными глазами, вероятно растроганный царским трауром.

Целые сутки я провел очень скучно и спал много.

Глава VI

Допрос в Зимнем дворце. — Николай I. — Совет Сперанского. — Рассказ станционного смотрителя. — Петропавловская крепость

На другой день, когда еще было темно на улицах, мне приказали следовать за фельдъегерем. Провожатый мой был в мундире, белых перчатках, арестант в сюртуке и фуражке! У подъезда дома стояла городская карета Чернышева, и, когда мы подошли к дверце, я из вежливости просил фельдъегеря войти прежде меня; но он пропустил меня вперед, и я вспомнил о маршале Нее. Когда его везли на место казни, то он также, указав на тележку провожавшему его патеру, сказал: «Садитесь. Зато я раньше вас буду там», — и поднял глаза к небу.

Дорогой я спросил его:

— Везете вы меня в крепость?

— Нет, во дворец, где государь император хочет вас видеть.

— Помилуйте, да теперь еще все спят.

Тут же он мне объявил, что завтра отправляется в Москву за новым арестантом, я его просил быть с ним вежливым и добрым, как он был со мной. «Вы молоды, — прибавил я, — и бог вас не оставит, а ежели нам не суждено уж более видеться, то прошу вас взять в моих вещах серебряный стакан на память обо мне».

Меня привезли на главную гауптвахту в Зимнем дворце. На столе догорала свеча, на диване спал арестованный офицер, не из наших... Он очень вздыхал и стонал.

Сколько раз, служа в гвардии, стаивал я здесь в карауле с моею ротою. Те же зелененькие стены, то же кресло и так же дремлет на них караульный офицер, в шарфе и с застегнутыми чешуями. Вскоре караульный офицер, выходивший при моем появлении, вернулся с 8 рядовыми в серых мундирах, с саблями наголо, и вся эта команда меня обступила... Я глядел с удивлением на эти маневры, когда караульный офицер Преображенского полка обратился ко мне с словами: «Позвольте вас обыскать», и я ему отдал табакерку, маленький медалион моей любимой сестры и, кажется, 25 руб. мелочи, т. е. все, что при мне было. В это время вбежал фельдъегерь, небольшого роста, рыжий, и, запыхавшись, возгласил: «Пожалуйте арестанта к государю императору». Я хотел следовать за ним, но, видя, что меня собираются конвоировать эти 8 серых стражей, остановился и сказал караульному офицеру, что «покуда я еще маиор русской службы и ношу мундир, который носит с честию вся армия, а не преступник, осужденный законом, и с конвоем я не сделаю шагу добровольно». Капитан извинялся тем, что здесь такой порядок.

— Вольно же вам из дворца сделать съезжую[51], — сказал я в негодовании. — Кто дежурный генерал-адъютант?

— Левашов.

— Потрудитесь послать кого-нибудь, хоть г. фельдъегеря, просить генерала дозволить мне предстать пред государя без конвоя.

Вскоре посланный вернулся с дозволением, и я по-

шел с ним в Эрмитаж, освещенный, как на бал. За столом сидел Левашов. При моем входе он встал, и мы раскланялись. Генерал мне сделал замечание, почему я не хотел покориться общим порядкам караульного дома. Я повторил мои резоны и прибавил, что и отсюда не иначе выйду как один, покуда не буду осужден законом... Левашов улыбнулся и закрутил свой ус. Я знал его, когда он командовал лейб-гусарским полком: это был всегда один из блестящих офицеров и считался одним из лучших ездоков гвардии. Генерал меня узнал и прибавил в конце нашего разговора: «Я знал вас за отличного офицера, и вы могли бы быть полезным отечеству, а теперь только жалею, что нахожу вас в этом неприятном положении. Чернышев вами недоволен и жаловался государю на ваше нечистосердечное признание. Потрудитесь обождать прихода его величества здесь, за ширмами», — и с этим словом он действительно указал мне одни [ширмы], поставленные в углу. Я нашел там кресло, присел и мысленно стал готовиться, чтоб суметь отвечать государю прилично, но с чувством собственного достоинства. Оправдываться я не хотел, да и не для чего... Недолго продолжались мои приготовления, послышался шум, и Левашов, заглянув ко мне за ширмы, просил меня пожаловать. С другого конца длинной залы шел государь в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы. Лицо его было бледно, волосы взъерошены... Никогда не удавалось мне его видеть таким безобразным*.

Я твердыми шагами пошел было ему навстречу, но он издали еще, движением руки меня остановил и сам тихо подходил ко мне, меряя меня глазами. Я почтительно поклонился.

— Знаете ли вы наши законы? — начал он.

— Знаю, в[аше] в[еличество].

— Знаете ли, какая участь вас ожидает? Смерть! — И он провел рукою по своей шее, как будто моя голова должна была отделиться от туловища тут же. На этот красноречивый жест мне нечего было отвечать, и я молчал.

— Чернышев вас долго убеждал сознаться во всем,

---

* П. А. Бартенев: Едва ли цензура пропустит.

что вы знаете и должны знать, а вы все *финтили*. У вас нет чести, милостивый государь.

Тут я невольно вздрогнул, у меня захватило дыхание, и я невольно проговорил:

— *Я в первый раз слышу это слово, государь...*

Государь сейчас опомнился и уж гораздо мягче продолжал:

— Сами виноваты, сами... Ваш бывший полковой командир погиб, ему нет спасения... А вы должны мне все сказать, слышите ли... а не то погибнете, как и он...

— Ваше величество, — начал я, — я ничего более не могу прибавить к моим показаниям в ответных своих пунктах. Я никогда не был заговорщиком, якобинцем. Всегда был противник республики, любил покойного государя императора и только желал для блага моего отечества коренных правдивых законов. Может быть, и заблуждался, но мыслил и действовал по своему убеждению...

Государь слушал меня внимательно и вдруг, подойдя ко мне, быстро взял меня за плечи, повернул к свету лампы и смело посмотрел мне в глаза. Тогда движение это и действие меня удивило, но после я догадался, что государь, по суеверию своему, искал у меня глаз черных, предполагая их принадлежностию истых карбонариев и либералов, но у меня он нашел глаза серые и вовсе не страшные*. Вот причина, по которой позже Николай сослал Лермонтова — он не мог видеть его взгляда... Государь сказал что-то на ухо Левашову и ушел.

Тем и кончилась моя аудиенция.

Как я жестоко в нем обманулся, однако ж! Будучи так молод, — а молодости свойственна гуманность, человечность, — я думал, что он совсем иначе будет со мною говорить, языком человечества, а не бригадного командира.

К чему ему было кричать, стращать людей, которые уже в его руках?** Будто бы мы не знали, что одним са-

---

* М. В. Юзефович: Воля ваша, а черных глаз покойный государь не убегал. У Д. Г. Бибикова глаза самого черного цвета, а доверие и даже любовь к нему Николая известны. [Далее тщательно стерто: Да и у Пестеля были черные глаза.][52]

** М. В. Юзефович: Кн. Евгений Оболенский говорит иначе о великодушии Николая. Одного из ваших товарищей, почтенный Николай Иванович, сами декабристы выгнали вон из моей палатки

мовластным росчерком пера своего он может всех нас предать смерти. Впрочем, впоследствии я узнал от многих моих товарищей, что со мной государь еще милостиво изволил объясняться, с многими же из них он просто ругался...

После 14 декабря, говорят, он хотел в 24 часа расстрелять всех, взятых на площади*, но Сперанский помешал этому несправедливому намерению, поспешив во дворец и сказав ему: «Помилуйте, государь, вы каждого из этих несчастных делаете героями, мучениками... Они сумеют умереть... Это дело общее — вся Россия, вся Европа смотрит на ваши действия... Надобно дать всему формы законности, которые к тому же непременно откроют много важного, ибо, я полагаю, не одни военные замешаны в этой истории... В ней таится и другая искра».

Не знаю, хороша ли, полезна ли была мысль Сперанского для многих из нас, но Николая она спасла от лишнего черного пятна в его царствовании**.

Когда государь вышел, Левашов торопился печатать и надписывать какой-то конверт и между прочим обратился ко мне.

— Государь вами очень недоволен, вы упрямы и нечистосердечны по-прежнему... Вы, господа, поторопились, поспешили и предупредили ход вещей пятидесятью годами... — После этой либеральной выходки*** со стороны генерал-адъютанта он мне сказал: — А знаете ли, что у нас есть средства принудить вас говорить, господа?

Я невольно улыбнулся и отвечал:

— Вы, вероятно, генерал, хотите напомнить о пытке? Но я и, конечно, все мои товарищи помним, что в XIX

за то, что он рассказывал небывальщину о жестоком обращении с ним государя. А требовать от него любезности с заговорщиками едва ли уместно[53].

* М. В. Юзефович: Где свидетельство положительное? Слуха для таких капитальных обвинений недостаточно. Мы знаем, что в день 14 декабря государь до вечера не допускал действовать артиллерию, несмотря на настойчивые требования окружающих.

** М. В. Юзефович: Дай бог, чтоб у всякого государя было не более черных нравственных пятен, как у Николая. Он во многом заблуждался, но всегда был честным и великодушным человеком.

*** М. В. Юзефович: Эта либеральная выходка, однако ж, оправдалась даже гораздо скорее — через 20 только лет[54].

веке она не существует в образованных государствах, и не думаю, чтобы Николай I начал свое царствование тем, что отменили еще Елизавета и Екатерина II*.

Тут он позвонил, и в комнату влетел новый фельдъегерь.

Я так много говорю о фельдъегерях, потому что со многими из них имел дело да и потому, что в наше время они играли вообще большую роль и для них была порядочная жатва. Тут же кстати расскажу казус и еще про одного.

Когда меня везли в Петербург, на одной из станций мы с моим провожатым застали трех ужинающих фельдъегерей. Само собой разумеется, что мой тотчас же отправился к товарищам. За смотрительским столом сидел задумавшись станционный смотритель, старик в очках... Я завел с ним разговор, спросив:

— О чем задумались, почтеннейший?

— Ох, ох, ох! Настали крутые времена... вон четверо их сидят вместе и весело попивают, а по дорогам валяются загнанные лошади... Взгляните — у нас три императора. Кого же из них признавать?

И он мне действительно показал три подорожные с тремя титулами: Александра, Константина, Николая.

— Да, старик, время трудное, но не рассуждай и прописывай всех трех, да ежели еще предъявит какой-нибудь фельдъегерь и четвертого, то и того прописывай, а не то тебя прибьют.

— Правда, правда, ваше благородие, — сказал он, уже смеясь, и прибавил как бы с тем, чтоб показать свою сметку: — А вы, вероятно, из числа арестованных, ваше благородие? Многих уже провезли... важных и хороших людей.

— Готово! — закричал староста, все вскочили, засуетились и поскакали на четыре разные стороны, как коршуны за своей добычей**.

Когда Левашов позвонил и влетел новый фельдъегерь, как я уже сказал, генерал отдал ему пакет с чер-

---

* М. В. Юзефович: Вот этот ответ генералу-пустозвону был вполне верен.

** М. В. Юзефович: Чем фельдъегеря-то виноваты! Я думаю, что и их кости не очень радовались этой езде. Притом они исполняли то, к чему обязались присягой.

ною печатью, показав на меня, примолвил: «В крепость». Свершилось!*

Мы сошли вниз; тройка была готова; было 8 часов утра, когда мы спустились на Неву. Никогда мне не случалось встречать такого туманного, пасмурного, серого, печального дня. Глухое эхо раздалось под крепостными воротами, и сани наши остановились у комендантского дома.

В зале у коменданта я нашел несколько штаб- и обер-офицеров, которые при моем появлении что-то перешептывались, искоса на меня поглядывая. Что за лица? Никогда, нигде я их не видывал во всю мою службу. Я присел на стул и горько задумался — у меня промелькнуло часто повторяемое моим бывшим наставником изречение Лютера: «Gott ist meine feste Burg»**. Мимо меня шныряли плац-адъютанты с оранжевыми воротниками (им уже успели переменить формы), с озабоченными лицами... И есть отчего: бедняжки должны принимать такое количество и таких дорогих гостей. «Пожалуйте», — сказал один из них, и я направился через несколько комнат к коменданту. Это был безногий Сукин, впоследствии граф***. Когда я вошел, он с важным видом мне сказал:

— Вы маиор Л[орер]?

— Я.

— Я получил высочайшее повеление содержать вас в крепости. И, показав рукой на маленького, толстенького человека, которого я не заметил прежде, потому что такие господа обыкновенно к случаю как будто из земли вырастают, [прибавил]:

— Плац-маиор Подушкин вас проводит на вашу квартиру.

Глава VII

Мой каземат. — Вопросные пункты. — Допрос в Следственной комиссии. — Народам нужна конституция. — Противузаконность нашего процесса. — Допрос о «Русской правде» и показания Пестеля. — Розыски «Русской правды». — Священник Мысловский

Плац-маиор Подушкин, с провалившимся носом, вежливо пригласил меня следовать за ним. Мы спустились с

---

* М. В. Юзефович: Еще бы! любезнейший Николай Иванович.

** Бог — моя крепость (нем.).

*** М. В. Юзефович: Ошибка. Сукин никогда не был графом, а только полным генералом.

другого крыльца и сели в сани в одну лошадь. Недалеко мы ехали, а я заметил много маленьких окошечек, замазанных, — вероятно, таких же квартир, как та, которая и меня ожидает.

У одной куртины мы остановились, и я вступил в грязный, темный коридор, едва освещенный ночником, который коптил и чадил невыносимо. Два сторожа подхватили меня под руки, чтобы помочь мне в этом лабиринте, унтер-офицер следовал сзади. Подушкин открывал шествие и у каждых дверей с часовым спрашивал: «Занят?» Везде нам отвечали: «Занят». Но вот еще несколько шагов, и я слышу: «Пусто».

Двери скрипят на ржавых петлях. Темно. Является огарок свечи, мы все входим. Г. Подушкин приглашает меня раздеться, и его помощники спешат меня разоблачить, а г. плац-маиор меня щупает, и пальцы его ходят по всему моему телу. Г. Подушкин извиняется тем, что это положение и порядок казематов. На меня надевают пестрый вонючий халат и дают туфли. Во время раздеванья я заметил, что у унтер-офицера навернулись слезы, когда он стаскивал с меня мундир с золотыми эполетами. Я улыбнулся: добрая душа!

Когда вся эта операция кончилась, я почувствовал, что я голоден, и просил чего-нибудь поесть. Мягкосердечный Подушкин отвечал, что еще рано, впрочем, он пришлет чего-нибудь и, действительно, прислал кувшин кислого квасу и ломоть аржаного хлеба, которыми я утолил свой голод на первый раз.

Наконец и сторож, засветив глиняную плошку с салом, ушел. Я слышал, как засунули огромный железный болт, я помню звук ключа в висячем замке... и водворилась гробовая тишина.

Наконец я в каземате... Я бросился на постель... Человек всегда остается человеком... Чувства взяли свое, и я (факт, в котором не стыдно мне признаться) заплакал.

Облегчив слезами свое горе, я стал осматривать свое помещение. Квартира моя, как выразился г. Сукин, была квадратная: три шага длины и столько же ширины. По одной стене стояла зеленая госпитальная кровать с тюфяком, набитым соломою, и пестрядевой подушкой, до того грязной и замаранной, что я долго еще употреблял свой единственный батистовый платок, мне второпях

оставленный, подкладывая его под щеку, которая прикасалась к подушке. Окошечко, довольно высоко приделанное, было забелено мелом. Вот и все. Мысли мои невольно обратились в мир, для меня не существующий больше. Я вспомнил свою престарелую 70-летнюю матушку... что будет с нею, когда она узнает о судьбе своего любимого сына? От изнеможения физического и нравственного я уснул. Итак, все для меня кончилось на 32-м году моей жизни, 4 генваря 1826 года.

Какое грустное пробуждение! А впрочем, чего же я мог ожидать лучшего? В полдень темница моя едва освещалась солнцем, которое для других смертных светило уже половину своего обычного пути. Silvio Pelico, вероятно, было не лучше моего в Шпильберге. О, Меттерних! Какой ответ дашь ты пред престолом предвечного за все жертвы твоего утонченного деспотизма и тирании, за жертвы, которые страдали и умирали с голоду в казематах по твоим повелениям? Франц I был добрый государь, но ты сумел и его сделать себе подобным. Народная ненависть в 1848 году заставила тебя бежать, как преступника. Но наказания божеские еще ждут тебя в загробном мире.

К обеду, должно быть, сторож принес мне в оловянной чашке щей и на тарелке гречневой каши с вонючим маслом, так что я ни к чему не прикоснулся и утолил свой голод хлебом. От скуки я спросил сторожа, какова погода, но он мне не отвечал, потому что, как я после узнал, им строго было запрещено разговаривать с заключенными. В это же время вошел ко мне плац-адъютант и вручил пакет с черною печатью с надписью: *«От Тайного комитета господину маиору Л[ореру]»* и прибавил:

— Через час чтобы было готово, писать начерно не позволяется, вот чернила и перо.

Я остался один и стал просматривать вопросные пункты, мне врученные... Вопросов было до 30 и много совершенно лишних. Я наперед знал, что моими ответами господа судьи не останутся довольны, а потому про себя писал то, что уже сказал Чернышеву и государю, а про остальное отделывался неведением. Скоро пришел плац-адъютант, запечатал мои показания и скоро исчез.

Долго тянулся для меня этот день, а на другие сутки я проснулся с ужаснейшею головною болью. Скоро у

меня сделался озноб, и я [по]чувствовал себя очень дурно. Явился сам г. Подушкин и предложил мне казематного доктора, которого вскоре и прислал. Этот господин, по наружности принадлежавший к расе евреев, щупал мой пульс, смотрел язык и делал, кажется, все то, что предписывает ему наука. Я обратился к нему на немецком диалекте с просьбою дать мне чаю, а он мне отвечал, что здесь не говорят на иностранных языках и чаю не полагается. Я благодарил его за беспокойство и сказал ему: «В таком случае прощайте, г. доктор. Вы мне не нужны». Скоро мне и без медицинских пособий стало и в самом деле лучше.

Прошла неделя моего заключения, как в одну ночь я был разбужен какой-то беготней и шумом по нашему коридору. Прислушиваюсь: шаги приближаются к моему номеру, болт отодвигается, шумит замок, и г. Подушкин в сопровождении унтер-офицера и 2 сторожей предстает пред меня с моей форменной одеждой и приказывает одеваться и следовать за собой.

Для меня в моем заключении самым убийственным всегда была тайна, которою нас окружили постоянно. И на сей раз я хотел спросить: куда меня ведут, зачем? но не спросил, потому что знал, что не скажут. Уж такое заведение.

Вскоре мы пошли, — [я] с завязанными платком глазами, — в комендантский дом, и меня ввели в ярко освещенную комнату. За длинным столом мне представились 20 фигур генералитета в лентах, звездах, строгих, мрачных, подобно рыцарям XV века на тайном судилище, подобном Венецианск[ому] «совет[у] десяти», инквизиционном[у] заседани[ю]. Недоставало только Il ponte dei Sospiri*, а то бы и концы в воду[55].

Я обвел собрание взглядом и поклонился. Вот в каком порядке они сидели: председателем был Татищев, по правую сторону в[еликий] к[нязь] Михаил Павлович, потом Кутузов, Левашов, Потапов, Бенкендорф. По левую сторону председателя — А. Н. Голицын в андреевской ленте, потом пустое место, на котором иногда сидел, как я заметил впоследствии на допросах, Дибич, потом — не помню, и Адлерберг, тогда флигель-адъютант. На конце стола, чтоб ближе быть к подсудимым, Чер-

* Мост вздохов (итал.).

нышев, докладчик и le grand faiseur* всего дела.

Вскоре он начал мне делать обычные вопросы: кто был основатель нашего общества, с которого года оно образовалось и существует и проч. Это продолжалось с четверть часа. Чернышев позвонил, явился вечный Подушкин, и меня повели обратно. У крыльца комендантского дома не видно было ни одного экипажа господ судей, а впоследствии я узнал, что их прятали обыкновенно на внутреннем дворе, чтоб кучера не могли видеть, кого водят к допросу.

Во время моего краткого перехода свежий ветерок дул мне в лицо, и [я] с жадностью глотал его. Но неумолимый каземат мой скоро принял меня, и я долго не мог заснуть. К довершению всего огромные водяные крысы, рыжие, большие, были так смелы, что ходили по мне, и я всю остальную ночь провел в защите от этих гадких животных.

Так проходили недели, я начинал забывать дни и числа. Что делается на белом свете? Живы ли родные, друзья? Еще одно тюремное заведение меня чрезвычайно возмущало. Это то, что часовой у дверей беспрестанно приподнимал какую-то тряпицу, которой завешено было окошечко в дверях, и заглядывал ко мне в камеру. Пошевелюсь ли я, кашляну ли, молюсь ли богу, голова часового беспрестанно показывается в отверстии.

В молодости своей я читал похождения барона фон Тренка, заключенного в Магдебургские казематы, в которых он просидел 10 лет в тяжелых цепях, по приговору Фридриха Великого. И вот вам действия философа, переписывавшегося с Вольтером, острившего и умствовавшего с ним и бывшего тираном и деспотом[56], как и все эти венценосцы...** дайте им только власть!

Вот почему тогда и теперь я утверждал и утверждаю, что народам нужна конституция, ограничение прав правительственного лица***. Немец Шницлер не понял тогда

* Французское выражение, не имеющее точного русского перевода, нечто вроде: главный заводчик, главная пружина. — М. Н.

** М. В. Юзефович: Беспристрастен ли такой приговор, хотя бы у нас, в настоящее время?[57]

*** М. В. Юзефович: Что такое конституция? — определить трудно. Избави нас бог от сочиненных конституций, налагающих путы на жизнь. В Англии потому и свобода, что там нет писаной конституции, а есть законы и права, т. е. свободное развитие требований жизни.

нас, не понял России... Он не выставил в своем сочинении настоящей цели нашего общества и смотрел на нас только как на людей безнравственных и честолюбивых заговорщиков.

Когда ночью, бывало, все угомонится, я заговаривал с часовым, и часто удавалось разогнать скуку свою и даже понюхать табаку, которым добрые нюхальщики иногда меня потчевали. Строжайший приказ не дозволять политическим преступникам никакого сообщения ни с одним живым существом был отдан не только для того, чтобы присмотр за ними был безопаснее, но служил также средством, чтобы ослабить наши умственные способности и вместе с тем ослабить нашу твердость. Несмотря на это, спокойствие духа никогда нас не покидало. Попробовал я даже сквозь маленькое окошечко заговорить с соседом, но часовые нам этого не дозволяли.

Тот, кто не испытал несчастия быть заключенным в каземат без книг, табаку, без света и звуков живого разговора, тот не поймет всей тягости его. А неизвестность будущности?

В последние недели поста заметно было, что комитет стал чаще собираться, и товарищей моих по коридору стали частенько водить туда... И меня водили 3 раза.

Следственная комиссия была пристрастна с начала до конца. Обвинение наше было противузаконно. Процесс и самые вопросы были грубы, с угрозами, обманчивы, лживы[58]. Я убежден в том, что если бы у нас были адвокаты, то половина членов была бы оправдана и не была бы сослана на каторжную работу.

Многие из наших, проходя, гремели цепями на ногах*... почему ж и мне не нести такого же наказания? Впрочем, в последний раз моей явки перед лица судей чуть-чуть на меня их не надели и вот по какому случаю. Заседание было в комплекте, ни одного пустого стула. Чернышев, по обыкновению, начал:

— Вы, г. маиор, заперлись и не хотели нам сказать, где скрыта «Русская правда». Теперь в последний раз мы вас спрашиваем, где она? Знайте, что ежели и теперь

---

* М. В. Юзефович: Изо всех мне знакомых, возвращенных с каторги, ни у одного не было цепей на ногах в крепости. Не скажу того о пятерых главных, ибо не получал о том ни от кого сведений.

Декабрист П. Н. Свистунов: Якубович был в цепях.

будете упорствовать, то накличете на свою голову тяжкое наказание.

— Генерал, — отвечал я, — долг чести и клятва, данная мною товарищу, не позволяла мне прежде открыть вам место, где скрыта «Русская правда», и теперь те же причины заставляют меня быть твердым, невзирая ни на какие ужасные наказания, которые вы мне сулите. Пусть автор «Русской правды» разрешит меня от клятвы, хоть письменно, и тогда я вам скажу.

Едва я произнес эти слова, как со всех сторон я услыхал крики: «В колодки его! в железа!»... но Чернышев схватил на столе какой-то лист бумаги, подал мне и сказал: «Читайте». Я тотчас же узнал почерк руки Пестеля и прочел: *Русская правда была отдана в присутствии маиора Л[орера] поручику Крюкову и штабс-капитану Генерального штаба Черкасову, уложенная в ящик, чтоб быть зарытой на тульчинском кладбище.* После этих строк я взял перо и подписал внизу: «Действительно так». У меня как гора свалилась с плеч, и мои судьи умолкли[59].

Выходка Чернышева меня удивила окончательно, когда он поднялся с своего места и сказал: «Господа, я и вначале и теперь видел, что маиору Л[ореру] нельзя было объявить чужой тайны, покуда ему на то не было позволения. Понимаю вполне это чувство». За эту справедливость я поклонился генералу Чернышеву и вышел в сопровождении Подушкина, который был так любезен, что посидел со мной на моей кровати в каземате. Двери не были заперты, и мне показалось, что он ждет чего-то, а потому я прямо ему сказал:

— Вы, верно, сидите у меня не для беседы, не дожидаетесь ли вы железа и для меня?

— Бог с вами, совсем нет, — отвечал он.

— Почему ж нет? Ведь в комитете кричали же об этом, да притом такие же, как и я, преступники, мои товарищи, ведь сидят в колодках, почему ж и мне не носить их?

— Полноте, это только было для того, чтоб вас устрашить.

— Напрасно, железа меня не пугают, немного более неприятности слышать беспрестанно этот звук, вот и все.

Подушкин, не знаю за что, брал видимое участие во мне и попотчевал табаком. Скоро [он] скрылся.

До пасхи комитет не мог открыть, где хранится «Русская правда», и ее нашли только тогда, когда Пестель, понимая вполне свое положение — он[60] знал очень хорошо, что его ожидает смерть, — чувствуя, что одно это запирательство его не спасет, да и опасаясь, чтоб труд его 12-летний не погиб совершенно напрасно без следа, решился указать и место, где она хранилась, и человека, который ее туда зарыл*. Не помню фамилию члена. Сего человека отправили с фельдъегерем в Тульчин, и «Русская правда» появилась на свет божий[61], а Пестель этим признанием подписал свой смертный приговор, не изменив своим правым убеждениям до самой смерти**. Комитет, видимо, торопился окончить свои работы и собирался по два раза в сутки... Много из напрасно заключенных освободили из-под ареста...*** Говорили, что государь намеревался отправиться в Москву на коронацию и сказал, что он не примет короны, доколе не покончит с нами.

Каждые десять дней приезжали нас осматривать генерал-адъютанты, и, несмотря на наше дурное содержание, мы все терпели и жалоб им не приносили****. Один из генерал-адъютантов, Балашов, сделал нам большую пользу. На другой же день его приезда заметна была большая перемена в обращении с нами и в самом содержании. Говорят, что он доложил государю всю истину, сказав, что находит нас всех цинготными, уставшими, опустившимися, заросшими и желающими наискорейшего окончания суда, какого бы ни было. Во избежание всего

* М. В. Юзефович: А это было гуманно со стороны г. Пестеля? Извините меня, Николай Иванович, но г. Пестель был гораздо ниже в нравственном отношении даже Робеспьера: он выдал все и всех!

** М. В. Юзефович: Как так? Вы сами говорите, что не были республиканцем и якобинцем, а называете правыми убеждения человека, сочинившего свою нелепую республику для России?[62]

*** М. В. Юзефович: Вы прежде говорили, что и невинные обвинялись, что Следственный комитет был пристрастен до конца. А выходит, что невинные освобождались.

Декабрист П. Н. Свистунов: Это нисколько не избавляет комитет от обвинения в пристрастии.

**** М. В. Юзефович: Я знаю, однако ж, людей, которые по несколько раз писали через генерал-адъютантов государю и которые этому способу обязаны были своим спасением: я могу назвать вам В. Л. Лукашевича, который выпутался счастливо благодаря вниманию, которое обращал государь на его заявления.

этого Балашов предложил нам ежедневно по рюмке водки, зеленого луку вволю и выбрить нас. С каким удовольствием на другой день выпил я свою порцию водки и заел зеленым луком с белою головкой. От слабости я почти опьянел и едва добрел до своей кровати.

Никогда этот простой и скромный завтрак не казался мне столь вкусен, как в этот первый раз после долгого лишения обычной привычки. И страсбургский пастет не может в обыкновенное время быть так вкусен.

Постом, в один день, совершенно неожиданно вошел ко мне священник Павел Николаевич Мысловский[63], высокого роста, дородный, с лицом добрым и приветливым. «Не думайте, — сказал он мне, — что я агент правительства... Мне нет дела до ваших политических убеждений... Я считаю вас всех моими духовными детьми... Со многими из ваших товарищей я познакомился, сумел снискать их любовь и приобщил их святых тайн. Пришел и с вами познакомиться», — и [с этим] словом протянул мне руку... С первого шага он очень мне понравился, и я с душевным удовольствием отвечал ему рукопожатием. Это был протоиерей Казанского собора Мысловский[64]. Он сделался впоследствии утешителем, ангелом-хранителем наших матерей, сестер и детей, сообщая им известия о нас. Никогда не говорил он со мною о политических делах, но постоянно утешал надеждою на лучшую будущность и ободрял слабеющий дух мой. Я храню до сих пор глубокое уважение к этому почтенному служителю алтаря.

Наступил, наконец, и светлый праздник. Признаюсь, что я потерял счет дням и неделям, может быть, и не вспомнил бы этого великого дня, ежели б в ночь заутрени ко мне не вошел сторож и не предупредил меня, предлагая заткнуть уши, ибо надо мной сейчас будут палить из пушек, как всегда во время великой заутрени. И действительно, вскоре раздался над головой потрясающий гром, и пламя осветило мою мрачную келью... Я упал на колени и горячо молился. Из гроба я пел мысленно «Воскресение»[65]. Окошечко мое разлетелось вдребезги, и только холод, меня охвативший, привел меня к действительности...

Глава VIII

Выход на воздух. — Унтер-офицер Соколов. — В. М. Голицын и его дядя. — Прощение М. Ф. Орлова. — Забавный эпизод из действий Следственной комиссии. — Приговор. — Казнь

Так дожили мы до мая месяца. В одно утро унтер-офицер С[околов] пришел объявить мне, что нас разрешено водить в баню, и предложил тотчас же туда отправиться. Я согласился и, проходя по коридору, пытался снова узнать, кто мои соседи заключенные, но мне этого не позволили.

Наконец, мы на воздухе! Боже мой, какой день! Какое небо! Я думал, что снег еще покрывает землю, а по дороге вижу травку, вижу свободных там и сям людей, женщин, детей... У меня закружилась голова, и я не мог шагу сделать. Принесли воды, и когда я опамятовался, то просил вести меня обратно в каземат и взять вместо меня кого-либо из моих товарищей.

Я должен непременно посвятить несколько строк моему доброму сторожу, унтер-офицеру С[околову]. Под грубой серой шинелью этого человека билось сердце золотое, крылась душа добрая, симпатичная. Я говорил уже, что в первый шаг моего вступления в каземат, когда С[околов] снимал с меня мундир, то прослезился, и я тогда же полюбил этого человека. Впоследствии мы с ним сошлись, и при частых свиданиях наших, — потому что он, имея 6 казематов на своих руках, имел к нам свободный доступ, — этот человек много служил к моему утешению. Через него я узнал, кто сидит со мной в соседстве в каземате. Он дежурил по неделе, переменяясь с другим у[нтер]-о[фицером], и, вступая в отправление своей должности, был строго обыскиваем и осматриваем. Несмотря на это, ему удавалось тешить нас, заключенных, а в особенности меня, разными безделицами, которые для нас были запрещены. Так однажды, когда у меня постоянно сохло во рту, я вспомнил, что в это время привозят в Петербург лимоны и апельсины. Мне их так захотелось, хоть один... Я едва заикнулся об этом С[околову], как он, вынув из-за щеки своей двугривенный, предложил мне его, прося позволения самому же сбегать за апельсинами. Я долго отговаривал его, боясь подвергнуть ответственности, однако он вышел. Вообразите мое удивление, когда через час он принес мне це-

лую корзину апельсинов и на одном из них, верхнем, красовался двугривенный. Я требовал объяснения этой загадки, и вот что мне рассказал С[околов]: «Придя в лавочку, ваше высокоблагородие, к знакомому купцу, я потребовал у него апельсин, но он, узнав, что это для несчастных узников, наложил мне их целую корзину и не взял ничего, прибавив, чтоб и впредь, когда понадобится, я к нему заходил. Теперь ночь, и я пронес свободно корзинку, кушайте на здоровье, в[аше] в[ысокоблагородие]», — примолвил он. Поцеловав его за милую внимательность, я просил тут же С[околова] разнести моим товарищам наш запрещенный плод по 6 ему подведомственным казематам. Через него они все прислали мне свою благодарность и поклоны. Вот еще одна черта его привязанности ко мне. В одно утро, лишь только он вступил в должность, как поторопился объявить мне, что жена его родила ему сына, и просил меня быть заочным крестным отцом и дать мое имя новорожденному. Я согласился и велел расцеловать и мать, и сына, не в состоянии быв одарить их ничем больше.

Прежде чем расстаться с казематом, я сообщу еще несколько случаев и впечатлений, тогда мною испытанных, и о многом слышанном[66] впоследствии.

Я привел себе на память свидание А. Н. Голицына с племянником своим Валерианом Михайловичем Голицыным. Князь В. М. Голицын служил в Преображенском полку, вышел в отставку, был сделан камер-юнкером и сделался членом Северного общества. Известно, что многие из русского великосветского общества, быв родными многих подсудимых и находя для себя печальною и грустною обязанность быть палачами родичей, отказывались от назначения в Верховный уголовный суд; так, Канкрин отказался потому, что брат его жены был в нашем обществе, но А. Н. Голицын, кажется, не имел этой доблести и, имея замешанного в наше дело племянника, заседал преспокойно в суде. Когда в первый раз молодой Голицын был приведен к допросу, то увидел между судьями своего родного[67] дядю, спокойного и даже показывающего вид, что его вовсе не знает. Этого мало. После разных вопросов А. Н. Голицын, барабаня пальцами своими по столу, с иезуитскою улыбкою вдруг спросил своего племянника: «Князь, спрашиваю вас, если бы ваше злоумышленное общество восторжествовало,

что бы вы сделали с нами (и показал на заседающих за столом), например со мною?» с ударением на это слово. Валериан Голицын никак не ожидал такого странного и щекотливого вопроса, однако сейчас же нашелся и отвечал, не признавая его, впрочем, за дядю: «Ваше сиятельство, если бы вы не захотели нового установленного нами порядка, то мы вам бы позволили удалиться за границу, и вы могли бы сделаться русским эмигрантом». Тогда Голицын встал с своих кресел и, пренизко поклонившись, ответил: «Благодарю вас и за эту милость».

Однако не все родные отказались так от своей крови, нашлись некоторые и с родственными чувствами. Так, Алексей Федорович Орлов употребил всю свою силу, все свое влияние на государя, чтоб спасти своего брата [Михаила Федоровича][68] Орлова, который был одно время членом Северного общества, принял 40 членов и сделал из них ревностнейших прозелитов. По ходу дела в Следственной комиссии Орлова нельзя было выпутать, и Алексей Федорович ожидал спасения брата единственно от монаршей милости, и для этого он выбрал минуту, когда государь шел приобщаться святых тайн. Сначала государь ему отказал, сказав: «Алексей Федорович, ты знаешь, как я тебя люблю, но просишь у меня невозможного... Подумай, ежели я прощу твоего брата, то должен буду простить много других, и этому не будет конца». Но Орлов настаивал, просил, умолял и за прощение брата обещал посвятить всю жизнь свою государю, и государь простил. Ночью приехал за М. Орловым возок, и так как он недалеко от меня сидел в каземате, то я видел, как Подушкин сильно суетился, как одели генерала в шубу, как его с низкими поклонами усаживали и отвезли, говорили, сначала на конногвардейскую гауптвахту, а в ту же ночь на жительство в дальнюю деревню его, без выезда. Черта благородная со стороны Алексея Федоровича, которой он показал, что имел довольно братской любви... Конечно, в Англии участь Михаила Орлова была бы решена так же, как и прочих, по законам, но где самодержавная власть имеет и наказывать и миловать, по капризам царя, — отчего же и не помиловать?* Шницлер в своей книге «De la Russie» приво-

* М. В. Юзефович: И в Англии высокая прерогатива верховной власти миловать так же неограниченна, как у нас и везде.

дит великолепный ответ Бестужева* государю, когда тот, выпытывая у него признание, сказал ему наконец, что может простить. Вот этот отрывок:

«Je pourrais vous pardonner, et si j'avais l'assurance de posséder en vous désormais un fidèle serviteur, je le ferais» — Eh! Sire, — repondit Nicolas Bestoujeff, — voilà précisement ce dont nous nous plaignons, que l'Empereur puisse tout, et qu'il n'y ait point de loi pour lui. Au nom de Dieu, laissez à la justice son libre cours et que le sort de vos sujets ne depende plus à l'avenir de vos caprices ou de vos impressions du moment**.

И это ответ человека, над которым висит карательный меч правосудия! Он достоин ответа древнего римлянина. Вообще Николай Бестужев был гениальным человеком, и, боже мой, чего он не знал, к чему не был способен! Он был хорошим моряком, писателем, художником, и в Сибири я с ним хорошо сошелся. Он не дождался прощения и там на поселении скончался, простудившись, переправляя одно бедное семейство через Байкал.

Да, император Николай мог бы смело сказать при рассмотрении наших кондуитных списков: «Ни на одном нет черного пятнышка, все люди чести... и таких людей отняло у меня заблуждение их!..» К несчастию, он этого не оценил и даже не понял нас вовсе, считая нас до конца своей жизни какими-то душегубцами и извергами***.

Вот еще один забавный эпизод из действий Следственной комиссии: когда меня последний раз привели в комиссию и Чернышев, делая свои обычные вопросы, не

Король может простить, кого ему угодно, за что бы то ни было.

Декабрист П. Н. Свистунов: Но наказать не может.

* М. В. Юзефович: Которого Бестужева? Николая?[69]

** «Я мог бы вас помиловать, и, если я буду иметь уверенность, что вы станете отныне верным слугою, — я это сделаю». — «Государь, — ответил Николай Бестужев, — мы вот как раз и жалуемся на то, что император все может и что для него нет закона. Ради бога, предоставьте правосудию идти своим ходом, и пусть судьба ваших подданных перестанет в будущем зависеть от ваших капризов или минутных настроений» (франц.).

*** М. В. Юзефович: Однако ж предлагал прощение Н. Бестужеву. Он же простил и Пушкину то, чего не прощал ему Александр Павлович. За то и Пушкин умел ценить его не по рабскому чувству, а по искреннему сознанию. Я не раз слышал отзыв Пушкина о Николае Павловиче: он с жаром защищал его[70].

получал на них ожидаемых ответов, то сердился, а председатель, тучный после роскошного стола, едва шевеля губами, сказал мне:

— Ну что, маиор, сознайтесь, что вы все это почерпнули из вредных книг... а я, вот видите, во всю свою жизнь ничего больше не читал, как святцы, зато ношу три звезды...

Бенкендорф вел себя благороднее всех; бывало, при подобной глупости, потупит глаза и молчит, а когда Чернышев начнет стращать, кричать, то даже часто его останавливал, говоря: «Да дайте ему образумиться, подумать». Одного моего товарища эти господа вывели из терпения так, что он даже рассмешил все заседание, сказав им: «Господа, что вы кричите, если бы вы все были поручиками теперь, то непременно были бы членами тайного общества»*.

Однажды добрый наш священник Петр Николаевич принес мне поклон от моей доброй невестки, но мне показалось, что он был что-то особенно грустен, часто подымал глаза к небу и как бы молился... После я узнал, что благородный пастырь этот узнал уже о решении судьбы пятерых из нас... о решении, которое заставило содрогнуться всю Россию.

Медленно тянулись последующие дни. Нет ничего труднее, как ждать, не зная, чем кончится судьба твоя. Так дожили мы до июня месяца. Комиссия собиралась реже и реже, и мы все ждали, что нас отдадут под суд и там мы будем себя защищать. Говорили, что нас будут судить в Сенате при открытых дверях. Но как мы горько ошибались, как напрасно убаюкивали себя надеждою! Один мой добрый страж у[нтер]-о[фицер] обыкновенно мне говаривал: «Вам всем, господа, не миновать Сибири. От них не ждите себе милости, не таковы они люди... Вот вчера одного водили туда и привели в железах и посадили в 7 № на хлеб, на воду, а он, сер-

---

* М. В. Юзефович: Сюда можно еще добавить ответ Захара Чернышева его однофамильцу генералу Чернышеву: когда Захара Чернышева ввели в первый раз в Следственную комиссию, генерал Чернышев встретил его такими словами: «Comment, cousin, vous êtes coupable aussi?» — «Coupable, peut-être, mais cousin — jamais», — ответил ему Захар. Я это слышал от него самого[71]. [Перевод франц. текста: «Как, кузен, вы тоже виновны?» — «Виновен — может быть, но кузен — никогда».]

дешный, только улыбается. Глядя на него, сердце кровью обливается...» [Это был] Степан Михайлович Семенов, секретарь общества.

Помню хорошо то утро, когда все наши надежды рушились, когда судьба каждого из нас решилась... В 10 часов утра я услыхал какой-то необыкновенный звук и топот, как бы по мостовой, в крепости. Сосед мой по каземату, встревоженный тем же шумом, вероятно, успел ранее моего взмоститься на окошечко и оттереть мел, потому что по-французски сказал мне:

— Слышите ли вы этот необыкновенный звук, voisin?* Я видел чрезвычайный съезд в крепость: и взвод жандармов, кавалергардов, пропасть карет, двигающихся шагом, как на погребальном шествии, и все это стремится к комендантскому дому. Что вы думаете об этом, сосед?

— Да думаю, что сегодня решится наша судьба, и многим из нас не видать завтрашнего заката солнца, сосед...

Вдруг по коридору сделалась страшная беготня... Подушкин едва дышал. И мои двери скоро отворились: мне принесли форменное платье и велели одеваться. Нас повели в комендантский дом. По дороге я шел между народом и многими дамами и в толпе увидел одного из моих знакомых, который мне грустно улыбался, кивая головою и как будто говоря: *все кончено для вас.*

Следственная комиссия продолжалась 7 месяцев, и скоро плачевная драма начнется. Наконец, меня ввели в большую комнату, — и вообразите мое удивление, когда я нашел там много своих старых знакомцев. Первым мне попавшимся навстречу был мой друг М. М. Нарышкин, мой бывший однополчанин. Я ему так обрадовался, что бросился на шею. Тут я увидел и Фон-Визина, и Абрамова, полковника одной со мною бригады, и много других, человек 20. Никто из нас не знал, зачем мы здесь собраны, и никто не подозревал, что в смежных комнатах собраны такие же кучки, категории, как их назвали впоследствии. Тогда же я обратил внимание на двух молодых людей в морских мундирах, им было, я думаю, лет по 20 от роду, и я спросил их фамилии: мне сказа-

* сосед (франц.).

ли, что это два брата мичманы Беляевы*. Во время страшного наводнения в С.-Петербурге, 9 ноября 1824 года, они с величайшим самоотвержением спасли многие семейства от конечной гибели, и император Александр собственноручно надел на них Владимирские кресты. Их же никто не спас.

Скоро нас куда-то повели в сопровождении часовых. Проходя по залам, я увидел наших крепостных священника, доктора и других чиновников. Многие из них плакали. Мы все им поклонились предсмертным прощанием.

Верховный уголовный суд собирался утром рано**: все поместились в зале коменданта в Петропавловской крепости. Подсудимые не знали, что [из] нас уже заранее осуждены без суда [пятеро][72] к смерти, мы же все остальные [к] политической смерти, в каторжную работу[73], по разным категориям — того на столько лет, другого на столько. Судьи сидят на своих местах: нас вели по разрядам, против них мы стояли уже обвиненными, казались изнеможенными и больными. Но если тело страдает, то дух, оживляющий человека, может быть[74] исполнен силы и энергии, по крайней мере, это доказывает наш решительный и спокойный вид. Да, у нас ре-

---

* П. И. Бартенев: Младший из них Петр Петрович командовал дежурным катером у дворца. Государь увидел из окна несущуюся по волнам избу, на крыше которой человек, обезумевший от страха, умолял о помощи. Бенкендорф, находясь на дежурстве при государе, вызвался спасти несчастного, бросился к катеру. Отчаливши от берега, он вскоре увидел опасность, какой подвергался посреди бушующих волн и стремительных порывов ветра, засуетился, вздумал указывать гребцам, как действовать, укоряя их при этом в незнании дела. Беляев, управляющий рулем и сознавая всю ответственность, на нем лежащую, сказал ему: «В[аше] превосходительство, прошу вас людей не смущать: я здесь один командующий, они одного меня должны слушать». Несколько часов они боролись с волнами, пока настигли избу, успели с великою опасностию причалить к ней и спасли погибавшего. Пришлось им ночевать на Выборгской стороне, куда помчала их буря. На другой день Бенкендорф, докладывая государю о приключениях своего морского похождения, отозвался с таким сочувствием о хладнокровии и бесстрашии 18-летнего мичмана, что государь пожаловал сему последнему Владимирский крест. Бенкендорф признавал себя обязанным ему своим спасением и когда в первый раз увидел его в крепости — «Как? вы тут же, спаситель мой?» — сказал он ему с соболезнованием.

** М. В. Юзефович: Это не вяжется с последующим. Это нужно поместить после того, что говорится о вступлении в Верховный суд.

шительный и спокойный вид, как у людей, хорошо знающих, что пощады нам не будет, и приготовляющих[ся] дорого продать [свою] жизнь. Подтверждение обвинения продолжалось только до 6 часов вечера.

Наконец, мы достигли запертых дверей, охраняемых каким-то чиновником. Он же растворил их при нашем приближении, и глазам нашим представилось необыкновенное зрелище. Огромный стол, накрытый красным сукном, стоял покоем. В середине его сидели четыре митрополита, а по фасам Государственный совет и генералитет; кругом всего этого на лавках, стульях, амфитеатром — сенаторы, в красных мундирах. На пюпитре лежала какая-то огромная книга, при книге стоял чиновник, при чиновнике сам министр юстиции к[н.] Лобанов-Ростовский в андреевской ленте. Все были en grand gala*, и нас поставили в шеренгу, лицом к ним.

Без всякого предупреждения чиновник, стоявший за пюпитром, стал читать: «генерал-маиор Фон-Визин, по собственному признанию в том-то и в том-то, лишается *всех прав состояния, чинов, орденов и ссылается на каторжную работу на 12 лет и потом на вечное поселение»*, и так далее до конца; последним был к[н.] Одоевский. Я стоял в середине и, пока не дошла до меня очередь, рассматривал лица Верховного уголовного суда. Я заметил почтенную седую голову Н. С. Мордвинова. Он был грустен, и белый платок лежал у него на коленях...

Когда чтение окончилось, Лобанов сказал: «Направо!» — и мы вышли чрез другие комнаты в сопровождении тех же часовых и полицейских служителей. Но нас повели не по прежним казематам, а по самому берегу Невы, в Алексеевский равелин. Что это за равелин, расскажу впоследствии. Тут нас всех 18 человек заперли по разным комнатам и дали нам печально провести этот день. Спрашивается, где же законы, где суд? По одной Следственной комиссии нас приговорили к смерти. В тот же день вся царская фамилия выехала в Царское Село.

Рано утром, едва солнышко встало, меня разбудили и повели с моими сотоварищами по заключению на маленький мостик, соединяющий Алексеевский равелин с Петропавловскою крепостью. Здесь мы сошлись с товарищами другого разряда, которые ссылались на 15 лет,

* М. В. Ювефович: En grande tenue? [В полной парадной форме (франц.).]

как-то: Никита Муравьев, брат его Александр[75], Кюхельбекеры и нас 18 человек. От раннего времени и от бессонницы мы все были очень бледны и грустно тянулись к воротам крепости. Но тут сцена переменилась, лица ожили, языки развязались, потому что вовсе неожиданно, на гласисе мы встретили остальных товарищей несчастия. Начались рукопожатия, обнимания, и восторг был общий. Я и не подозревал, что нас так много, и даже, правду сказать, многих и не знал вовсе в лицо. Этот процесс был столько [же] замечателен по величайшему разнообразию общественных элементов, составлявших его, как и по числу арестованных, принадлежавших ко всем классам общества, начиная от сословий самых нищих до самых высоких.

Тут встретил я даже мундир комиссариатского чиновника, г-на Иванова, и увидел Лунина, привезенного из Варшавы, в странном одеянии; на нем был Гродненского гусарского полка сюртук, а ноги обуты были в казематные туфли! Наша толпа составляла смесь черных фраков, круглых шляп, грузинских папах, кирасирских белых колетов, султанов и даже киверов. Несмотря на всю эту пестроту, [мы] рады были увидеться с некоторыми и сожалели, конечно, о тех, которых полагали избегнувшими наказания и которых нашли-таки в нашей среде.

Солдаты нас окружали. Наконец, прискакал Чернышев, в ленте, разодетый, как будто на парад какой-нибудь, осмотрел нас в лорнет и, видя, что никто его не замечает даже, отъехал прочь. Колонна наша зашевелилась и двинулась в ворота крепости. Гвардейские войска полукругом опоясывали большую площадь, и между ними и нами рисовались на небе виселицы, и 5 веревок качались на роковой перекладине.

По площади разложены были костры, и люди поддерживали огонь. Чернышев летал с озабоченным видом по рядам; другие генерал-адъютанты разъезжали также, но скромно. Меня удивляет только, что и благородный Бенкендорф, знавший многих из нас и любивший, не сумел отклонить от себя этой грустной обязанности. На деревянных подмостках расхаживали палачи в красных рубахах. Пять мучеников, с вечера еще отделенные от целого мира, всю ночь провели с нашим священником и готовились предстать чистыми пред судилище вечного. С Пестелем беседовал пастор Ренгольд. Их тут не было...

Нас поставили в небольшое каре. Фурлейты принесли надпиленные шпаги... Приказали снимать эполеты, ордена, мундиры и стали бросать в костры... У меня были золотые эполеты, и [я] хотел было сохранить их для моего доброго у[нтер]-о[фицера] Соколова, но Чернышев заметил это и приказал мне кинуть их в огонь. Подле меня стоял Александр Муравьев, он был полковником Генерального штаба в отставке. Перед церемониею ломания шпаг к нему подъехал генерал-губернатор с.-петербургский Кутузов и спросил:

— Вы Александр Муравьев?

— Я.

— Отступите назад.

— Генерал, я не один здесь Александр Муравьев, тут есть и другой.

— Вы отставной полковник Генерального штаба?

— Я.

— Ну, так отойдите назад!

И тогда Александр Муравьев стал за мной...

Когда, по-видимому, все было готово, приблизился какой-то чиновник и стал читать что-то вроде вторичного приговора, но его вообще мало слушали.

По команде нас поставили на колени и стали ломать над нашими головами шпаги. Трубецкому, Одоевскому, к[н.] Барятинскому, Муравьеву и другим гвардейцам ломали шпаги перед гвардейскими полками. Моряков же, которых было много, отправили в закрытых катерах в Кронштадт и там, на военном корабле, исполнили над ними сентенцию, а мундиры побросали в море.

После этой грустной церемонии нас развели по казематам и занялись вешанием пятерых наших товарищей. Все нижеследующее передаю со слов священника нашего, который, проводив несчастных в вечность и оставаясь при них до последней минуты их земной жизни, вечером, в 5 часов, пришел ко мне и передал все подробности. Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-Рюмин и Каховский, в белых саванах, с черными завязками, опоясанные кожаными поясами, на коих большими буквами написано было: *государственный преступник*, простились друг с другом и с покойным духом взошли на подмостки... Когда Муравьев стал на скамейку, то еще подозвал священника и сказал ему: «Благословите меня в последний раз, я расстаюсь с здешним миром без злобы, даже на того, кото-

рый приговорил меня к этой позорной смерти... Прощаю ему, лишь бы он сделал счастливою Россию». Народу было немного, ибо полиция обманула его, распространив слух, что казнь совершится в другое время и в другом месте[76]. Говорили, что с того момента, как нас выводили из казематов, каждые 1/4 часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря и что Бенкендорф промедлил нарочно казнью в ожидании помилования, для чего постоянно обращался в ту сторону, откуда ждал вестника... Но увы — курьеры мчались в Царское Село, и обратного никого не было: в 6 часов утра их не стало...

Как я уже сказал, вечером ко мне вошел в каземат наш священник П[етр] Николаевич, бледный, расстроенный, ноги его дрожали, и он упал на стул, при виде меня залился слезами, и само собой разумеется, что я с ним плакал... Петр Николаевич рассказывал, что когда под несчастными отняли скамейки, он упал ниц, прокричав им: «*Прощаю и разрешаю*». И более ничего не мог видеть, потому что очнулся тогда уже, когда его уводили. Говорят, что когда сорвался Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев[77], то Чернышев, подскакав, приказал подать другие веревки и вешать вторично... Говорят также, что Бенкендорф, чтоб не видеть этого зрелища, лежал ничком на шее своей лошади...

На другой день гром пушек возвестил какое-то чрезвычайное торжество; на Сенатской площади было молебствие; духовенство кропило святою водой, а вечером кавалергардский полк дал праздник шефу своему, императрице Александре Федоровне, на Елагином острову. Они забыли, что многие из их товарищей накануне этого дня приговорены были к смерти, а многие томятся еще в казематах! Они забыли это! Срам и стыд навеки офицерам кавалергардского полка!

Скоро после этого печального происшествия весь двор отправился в Москву на коронацию, а государь уехал прежде. Рассказывали, что во время судной комиссии в[еликий] к[нязь] Михаил Павлович, замечая, что по допросам все идет так, что не миновать многим из нас смертной казни, уехал в Москву под видом родов великой княгини, чтоб не прикладывать своей руки к постыдному приговору. Ежели это правда, то делает честь чувствам великого князя.

В большом театре милая, любезнейшая женщина и

знаменитая певица M. Sontag с большим выражением и чувством пропела романс, который, намекая на нашу ссылку, произвел фурор в публике и дошел даже до Сибири. Вот слова этого романса:

Ты прости, наш соловей,
Голосистый соловей,
Тебя больше не слыхать,
Нас тебе уж не пленять.

Не от лютые зимы,
Соловей, несешься ты,
Не веселый край сманил,
Но злой рок тебя сгубил.

Твоя воля отнята,
Крепко клетка заперта,
Ах, прости, наш соловей,
Голосистый соловей.

Песню нам прощальну спой,
Пусть волшебный голос твой
Перелетом ветерка
Нас пленит издалека.

Говорят, что многим женщинам и знакомым ссылаемых сделалось дурно, и весь театр рыдал. Из кресел также вышли два человека со слезами на глазах, на свободе они горячо обнялись и скрылись. Это были два брата [Римские-Корсаковы][78] из наших, но счастливо избегнувшие общей участи.

Глава IX

Отправка I разряда в Сибирь. — Алексеевский равелин. — Могила княжны Таракановой. — Французские стихи князя А. Барятинского в Алексеевском равелине. — Последнее свидание Сергея Муравьева-Апостола с сестрой. — Тюремное свидание с рядовыми моей роты. — Прощание с невесткой

В то время, когда театр с восторгом аплодировал знаменитой певице, говорю я, восемь фельдъегерских троек и восемь жандармов выезжали из крепости и понеслись по тракту в Сибирь... В этих перекладных сидел первый разряд на 20 лет ссылки в каторгу:

князь Сергей Волконский, князь Сергей Трубецкой, князь Оболенский, А. Муравьев*, Борисов 1-й, Борисов 2-й, А. И. Якубович, В. Л. Давыдов (закованный).

Я уже сказал, что нас рассадили по другим темницам. Теперь приступлю к описанию Алексеевского равелина, доставшегося мне на долю. Я просил оставить меня на прежнем месте в надежде видеться с добрым у[нтер]-о[фицером] Соколовым, но мне отказали. Многие знают Петропавловскую крепость, но, конечно, немногие слыха-

* М. В. Юзефович: Артамон?

ли и едва ли кто-нибудь может составить себе верное понятие об Алексеевском равелине. Это такое местечко, что вы, попав туда, легко может быть, на всю вашу жизнь, ровно ничего больше не увидите, как кусок неба и оконечность Петропавловского шпиля или даже одного ангела на нем. На левой оконечности крепости, над рвом, есть [подъемный] мостик, пройдя который, вы входите в узкий коридор и упираетесь в трехугольное каменное строение без окон. Это-то и есть 12 казематов Алексеевского равелина. В середине треугольника кроется крошечный садик, в несколько шагов, с двумя тощими березками, кустом черной смородины и несколькими аршинами жалкой травки. В казематах окна, или, лучше сказать, амбразуры, большие, в толстых гранитных стенах, с толстыми железными решетками, но окна не прорезаны к саду, а упираются чрез 10 или 12 шагов в гранитную стену, где устроено помещение как самого коменданта равелина, [так] и 12 его помощников, солдат-инвалидов, и где у них даже своя баня. Комнаты большие, светлые, потолки беленые, стены желтые. В одном из казематов помещается старик комендант, с тою разницею, что дверь его всегда открыта и он может выходить, когда захочет*. У каждого заключенного находится большая кровать с тюфяком, две большие подушки и шерстяное одеяло, стол и стул вроде кресла. Обед и ужин лучше, нежели в большой крепости, ложки серебряные, но ножей и вилок также не дают. Два раза в неделю позволяют арестанту выходить в садик, с инвалидом, однако ж, и так, чтоб не видаться и не встречаться ни с кем. Мне предложили подышать чистым воздухом, и я поспешил воспользоваться этим позволением. Инвалид, меня сопровождавший, запер за собой дверь и без церемонии развалился посередине садика, а я стал кружить, как зверь в клетке. Углы и стены моей ограды покрыты были плесенью и паутиной и черными массами подымались возле меня, а между двух березок стояла полуизломанная лавочка. Сколько тут слез пролито, подумал я, сколько передумано, перечувствовано. Где теперь томившиеся здесь? где кости их?

В углу, за головой лежавшего моего стража, я заметил небольшую земляную насыпь с деревянным крестиком,

---

* М. В. Юзефович: Выше сказано, что комендант помещается за стеной, в которую упираются окна казематов?

как на кладбищах, и тотчас же обратился к моему тюремщику за разъяснением загадки. Вот что услышал: «Говорят, что тут похоронена какая-то царевна, а бог его знает... Старики наши рассказывали, что давно как-то из-за моря привезли молодую княжну и содержали ее здесь, но когда в Петербурге сделалось наводнение, вот как недавно было (я догадался, что это, должно быть, было в 1777 году), равелин был затоплен до самого верхнего карниза (он даже показал рукою очень высоко). Арестантов-то повывели, а ее, бедняжку, знать, забыли, и она потонула здесь, как в чану каком-нибудь... Тут ее похоронили». «Да кто же поставил этот крестик?» — спросил я. «Да все мы же. Как один сгниет, упадет, мы и поставим новенький и помолимся за упокой усопшей». Соображая этот рассказ, я полагаю, что это, должно быть, могила княжны* Таракановой, дочери Елизаветы Петровны и графа Разумовского.

В первый же день моего заключения в равелине я познакомился с странным стражем его, комендантом Лилиен-Анкер, из немцев, 78-летним стариком. Он ходил в зеленом длиннополом сюртуке, с красным воротником и такими же обшлагами. Ежедневно навещал он нас, и постоянно плавным шагом, согнувшись, с заложенными за спину руками, с открытым ртом, где торчали еще два желтые огромные зуба, шел он прямо на вас с единственным вопросом: «Как ваше здоровье?» — и, не дожидаясь никакого ответа, выходил. Желая познакомиться с ним покороче, я однажды сказал ему, что нездоров, но и тут я не услыхал от него ни одного звука, он повертелся подолее и все-таки ушел. Инвалид, его провожатый, сказал мне, что он не будет отвечать и что все его помощники обязаны клятвой молчания с преступниками и в городе, куда один из 12 инвалидов ходит за припасами. Что заставило несчастного немца взять на себя подобную печальную должность? Говорили, что в молодости он сделал какое-то преступление и был помилован с условием оставаться навсегда в Алексеевском равелине стражем других несчастных.

Г. Подушкин, по своей любезности, отвел мне каземат в крепости с видом на Неву и Петербург, где томился и

* М. В. Юзефович: Теперь уже доказано, что это была не дочь Елизаветы, а самозванка, выставленная поляками. Опровергается притом и легенда о такой ее смерти.

откуда вышел выслушать свою сентенцию, а после и на казнь мой незабвенный П. И. Пестель[79]. Когда я вступил в это святилище, то застал еще постель его в беспорядке. Жадно искал я по всем углам, по всем стенам какого-нибудь знака, письма, нацарапанного карандашом или пером, но напрасно: ничего не осталось после Пестеля.

Вскоре я сжился с своею жизнию и был доволен своим помещением. Каземат мой был обширен, в амбразуру свою я вижу дворцовую набережную и вечером, взмостившись ногами на свое огромное окно с решеткой, могу дышать свежим ветерком с реки. Мерные шаги часового раздавались под моею амбразурой. Соседи мои были, вероятно, люди семейные, ибо часто удавалось мне видеть, как шныряли под нашими окнами лодки, наполненные людьми разного пола и возраста, останавливались перед нашими окнами, пловцы глядели в амбразуры и, так как разговаривать нельзя было, так пели и таким образом передавали своим то, что хотели им сказать. Безжалостные часовые приказывали лодке удалиться; гребцы делали вид, что стали на мель, усиливались сняться, а между тем родные успевали насмотреться друг на друга и пересказать друг другу кое-что.

Князь Барятинский, сидевший со мною в соседстве, также в каземате лицом на Неву, сочинил на французском языке стихи[80].

STANCES DANS UN CACHOT*

par le prince Bariatinsky

L'ombre grandit!.. l'airain résonne...
Dans le repos tout est rentré, —
La nuit qui déjá m'environne,
D'un jour encor m'a delivré!
Le temps qui dans son vol agile
Emporta ma félicité
Semble éténdre une aile immobile
Sur ma triste captivité.

J'épuisai toute la magie
De l'amour le plus délirant.
Et de la coupe de la vie
Je bus le néctar énivrant.

---

* СТАНСЫ В ТЕМНИЦЕ
Соч. кн. Барятинского

Темнеет... Куранты запели...
Все стихло в вечернем покое.
Дневные часы отлетели,
Спустилось молчанье ночное.
И время, которое длило
Блаженства земного мгновенья,
Крылом неподвижным накрыло
Печаль моего заточенья.

Я выпил с безумною жаждой
Любви волшебство роковое.
Мой кубок, кипевший однажды,
Теперь — опустевший — закрою.

Hélas! une légère écume
De volupté et de plaisir
Y cachait toute l'amertume
D'un inéxorable avenir.

Gémis donc, fortune cruelle!
Un viellard, un père expirant
Vers un fils qu'en vain ii appelle
Ne peut tourner son oeil mourant.
Mais du malheur, ombre chérie,
N'éreinte plus un nouvel effort:
Triste compagnon de la vie,
Il nous quitte au seuil de la mort.

Audelá des sombres barrières
De ce monde vain et trompeur
Que sont nos fragiles misères?
Que sont nos fragiles bonheurs?
Cette sublime indifférence,
Qui n'a ni regrets, ni désirs,
Se rit de la frêle puissance
De nos maux et de nos plaisirs!

Eh quoi? La mort toujours
hâtive
Ralentit ses pas ménaçants
Et detourne sa faux tardive
Du fil de mes jours
languissants.
Ah, dois-je seul quand tout
succombe
Repoussé de l'éternité
Vivant savourer de la tombe
L'immobile félicité!

Le bruit de l'onde passagère
Trouble seul l'éternelle paix
de la tour sombre et solitaire
Oú le malheur veille à jamais!
La voix de la garde ennemie
Résonnant dans les sourds cachots,
Seule de la voûte endormie
Eveille le triste écho.

Penché sur la vielle embrasure,
Où glisse à peine un faible jour,
J'écoute l'éternel murmure
Des flots qui passent sans
retour.
C'est ainsi que mes destinées
Se perdent dans l'éternité.

Увы! Серебристая пена
Навек опьяняющей страсти
В нем скрыла грядущего плена
Мое роковое несчастье.

Судьба жестока и бесстрастна!
Отец умирает с укором...
Любимого сына напрасно
Он ищет потушенным взором...
О, тень дорогая! Не надо
Звать горе последнею силой:
Лишь тут, у могильной ограды,
Оно нас покинет уныло...

За бренной земной суетою,
За дальней чертой мирозданья
Что значит веселье земное,
Что значит земное страданье?
Холодное небо надменно
Глядит на людское смятенье:
Смеется оно неизменно
Тщете наших слез и волненья.

Вот смерти, всегда торопливой,
Я слышу шагов приближенье...
Но медлят косы переливы
Над нитью земного томленья...
Я чарой какого заклятья,
Отвергнутый небом постылым,
Живой наслаждаюсь с проклятьем
Застывшим блаженством могилы?

В тюремную башню, под сводом,
Вселилась безжалостность рока.
Одна лишь волна мимоходом
Тревожит покой одинокой.
В темнице — ни пенья, ни смеха,
Ни света полдневного даже.
И будит унылое эхо
Лишь голос безжалостной стражи.

Прижавшись к решетке
холодной,
Я слышу, смятения полный,
Как мчатся легко и свободно
Вперед невозвратные волны.
Вот так и судьба моя дивно
Уносится в вечность покоя,

Rien n'arrêtera de mes années
L'orageuse rapidité!

Sur une barre inéxorable
Le front tristement incliné,
Je poursuis le fleuve implacable,
Loin de moi sans cesse entrainé.

De mes amis fidèle image!
Ils quittent un ami désolé,
Chaque flot qui fuit ce rivage,
Chaque flot me laisse isolé.

Oui! Fuis cette terre flétrie,
Fleuve qu'implore ma douleur!
Et va porter à ma Patrie
Tous les battements de mon coeur.
Poursuivant ta carrière immense,
Chargé de mes gémissements,
Aux compagnons de mon enfance,
Jette le cris de mes tourments!

Qu'une généreuse colère
Tourmente tes flots indignés!
Va déposer aux pieds d'une mère
Les pleurs dont mes yeux sont baignés!
Ah! Calme un peu ta violence,
N'éffarouche pas sa douleur,
Et sur son coeur de l'espérence
Réflechis un rayon trompeur!

Mais si ton onde impétueuse,
Vers d'autres lieux hâtant cours,
Rencontre la troupe joyeuse
Des amis de mes heureux jours,—
A l'éclat de leur opulence,
Au bruit de leurs brilliants plaisirs,
Oh vagues! passez en silence,
Ne trahissez pas mes soupirs.

Si leur ardeur impatiente
Fendait un jour tes flots discrets,
Porte leur barque indifférente
Loin de l'échos de mes regrets.
Pourquoi mêler à leur ivresse
L'amertume de mes soupirs!
Etouffez le cri de la tristesse
Il effarouche les plaisirs!

Но жизни моей непрерывно
Стремление грозовое!

Смотрю из темницы я душной,
Прижавшись к решетке железной,
Как волны реки равнодушной
Уносятся в хладную бездну.
Вот так и с друзьями моими!
Их друг, по превратности рока,
Как этой волной, так и ими
Оставлен, навек одинокой.

О, волны! К чему укоризны?
Зачем я пою о страданье?
К ногам угнетенной Отчизны
Мое отнесите дыханье.
Но ветер попутный, о, волны,
Моим напоите рыданьем
И бросьте, презрения полны,
Друзьям моим крик и стенанье.

Пусть гнев поражающей силой
Пронзит благородство угрозы...
Снесите ж и матери милой
Печальных очей моих слезы.
Но тише! К чему бушеванье?
У матери слезы во взоре...
Надежды обманным сияньем
Согрейте смертельное горе...

Но если потоком безбрежным
К другому придете пределу —
К любимым, чьи ласки так нежны,
Чье счастье делил я несмело,
То, светом той радости полны,
Где счастье не знает препоны,
Сокройте в глубинах, о, волны,
Мои одинокие стоны.

Их челн средь веселья и смеха
Баюкайте, волны, с отрадой —
Рыданий и слез моих эхо
Пускай не смутит их услады.
В беспечных подруг ликованье
Отраву вливать я не в силах,
Душите же крики страданья
Во имя веселия милых.

Mais si jamais ma douce amie
Vers tes bords égare ses pas,
Si jamais elle te confie
Et sa tristesse et ses appas, —
Entoure d'une onde amoureuse,
Ce sein, ces contours ravissants
Et la grâce voluptueuse
Ou s'enchainaient mes bras caressants.

Et si mollement elle appose
Sa bouche à tes flots apaisés,
Forme sur ses lévres de rose
L'image de nos doux baisers!
Et que ton onde ralentie,
Heureuse de la soutenir,
En s'é loignant de mon amie
Murmure mon dernier soupir.

Сколько раз сиживал я на моем окне и любовался иллюминацией, зажженною в честь возвращения царской фамилии из Москвы. Шум от экипажей, говор толпы и крики «ура!» доносились до меня, но мне во сто раз приятнее, когда воцарится тишина вокруг меня, луна выплывет на небосклоне и заиграет серебряными лучами по гладкой Неве, потом тихо заглянет в мой каземат, нарисует решетку на моем полу и осветит мой мрачный каземат — тогда мне делается так хорошо, так радостно на душе, надежда на лучшую будущность меня оживляет.

После сентенции родным позволено было нас навещать раз в неделю, однако всегда при офицере. И в эти дни обширный крепостной двор был обыкновенно уставлен экипажами, а в залах комендантского дома трудно было пробраться в толпе родственников. Редко попадались лица веселые, большею частью вы встречали слезы и грустные лица, чувствовавшие, что и последняя отрада эта будет скоро у них отнята.

Конечно, невестка моя была у меня каждую неделю и готовилась сказать и мне вечное «прости». Заступая мне место матери, эта достойная женщина ожидала моего отправления и приготовляла мне все необходимое в дальнюю дорогу, одела и обшила меня кругом. Ссылаемых, которые не имели родных и состояния, одевала и снабжала всем необходимым казна.

Мне рассказали очевидцы последнее свидание Му-

Но если любимая нежно
Приблизится к брегу несмело
И струям подарит безбрежным
И грусть, и прелестное тело —
Окутайте, волны, со страстью
Ту грудь и тот стан несравненный,
Там руки в объятия счастья
Сплетал мой порыв неизменный.

Но есть и утехи другие,—
Приблизит дыхание к струям,—
Целуйте уста дорогие
Нежнейшим моим поцелуем...
Баюкая, тихо лаская,
Ее осторожно несите
И, вдаль от нее убегая,
Ей вздох мой последний дарите.

Перевела М. В. Нечкина

равьева-Апостола с своей сестрой накануне смерти его.

Она явилась вся в черном и лишь только завидела брата, то бросилась к нему на шею с таким криком или страшным визгом, что все присутствовавшие были тронуты до глубины души... С нею сделался нервический припадок, и она упала без чувств на руки брата, который сам привел ее в чувство. С большою твердостью и присутствием духа он объявил ей: «Лишь солнце взойдет, его уже не будет в живых». И бедная женщина рыдала, обнимая его колени. Комендант, чтоб прекратить эту раздирающую сцену, разрознил эти два любящие сердца роковым словом: «Пора». Ее понесли в экипаж полумертвую, его увели в каземат. Муравьева-Апостол разом, в одно время лишилась трех братьев: Сергея, Матвея и Ипполита. Отец же их Иван Матвеевич, 78-летний старик, оставил Петербург и уехал за границу.

Однажды прекрасным вечером сижу я, по обыкновению своему, неодетый, на окне и любуюсь лодочками, шнырявшими по Неве по всем направлениям, как ко мне входит мой добрый Соколов с предложением пройтись погулять. Предложение было необыкновенно и не в урочный час, а мне не хотелось одеваться, да и было что-то грустно, но Соколов что-то очень настаивал, и я, чтоб не огорчить его, наконец, согласился, надел шинель, и мы вышли. Мы направили шаги наши к воротам крепости, самым ближним к реке и где приставали обыкновенно лодки и небольшие барки. У ворот стояло человек 12 гвардейских солдат в шинелях и фуражках. «Что это за люди и для чего они здесь?» — спросил я моего провожатого, который, улыбаясь, просил меня подойти ближе, что я машинально и сделал. Но вообразите себе мое удивление, когда я узнал в этой толпе рядовых моей роты Московского полка, которою я командовал, когда служил в гвардии. Они также меня узнали, потому что встретили дружным:

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие. Рота послала нас проститься с вами... Она просит, чтоб вы крепились, а сама молит бога, чтоб дал вам силы перенести ваше несчастие и благополучно бы доехали до Сибири. У нас горит перед образом святого Николая лампада, а мы ставим еще свечи и каждодневно молимся за вас.

Эта простая, сердечная речь крепко меня взволновала,

и я со слезами на глазах благодарил их и просил передать роте мой поклон. «Не могу, ребята, расцеловать вас всех, но с радостью обниму одного из вас, и пусть он передаст этот мой братский поцелуй всем остальным, — и я трижды облобызал усача ефрейтора. — Прощайте, друзья, служите счастливо!» Я отошел, они стали усаживаться в лодку, которую, по-видимому, нарочно наняли для себя, и отчалили, махая фуражками... Как я благодарил моего доброго Соколова за отрадные немногие минуты, которыми он меня так деликатно подарил. Как я славно, сладко спал эту ночь...

На другой день пришел ко мне наш священник Петр Николаевич, чтоб сообщить мне, что ночью будет отправка, но не знает каких. Он сказал мне также, что жена Якушкина в большом горе и просила его зайти к ее мужу, утешить его и узнать наверное, объявлено ли ему отправление и может ли она с ним проститься. Но Петр Николаевич видел Якушкина в лихорадке, а потому думает, что ссылка его отсрочена. При нашем разговоре с священником я заметил, что у него Анна на шее, и, не видав прежде сего ордена, я догадался, что он получил ее за исполнение своих обязанностей при нас в крепости, и поздравил его с монаршею милостью, но он глубоко вздохнул и просил не поздравлять.

Тут я простился с этим почтенным человеком, мы обнялись, он меня благословил и, растроганный, вышел от меня. Я видел, как он отчаливал от берега, направляясь на Дворцовую набережную, стоя и держа шляпу в руке, молился за нас. Это было мое последнее свидание с ним в этом мире. В этот же день я имел свидание с невесткою моею, которая также слышала, что кого-то из нас отправят нынешнею ночью. Я должен был ожидать своей очереди, так как многих уже отправили, кого в Шлиссельбург, кого в финляндские крепости, и нас осталось только несколько разрядов. Грустно, печально простился я с достойною женщиною, принимавшей во мне такое родственное участие. Горе мое было тем сильнее, что от нее я узнал, что лишился матери своей несколько времени тому назад. К счастию, она умерла спокойно, не зная о моем несчастии, которое от нее скрыли.

Глава X

Отправка в Сибирь. — Мы уже не в Европе! — Тобольск. — Болезнь Бобрищева-Пушкина. — Ямщик майор Миллер. — Иркутск. — Посещение сенаторов. — Байкал. — Куда же нас везут? — Буряты. — Чита

Ночью, в первом часу, меня разбудили с шумом Подушкин, у[нтер]-о[фицер] Соколов и два служителя. Я вскочил...

— Что, отправка?

— Не медлите, г. маиор.

— В такую важную минуту вы думаете меня еще обмануть? Одеваться мне или нет? — сказал я.

— Одевайтесь, да потеплее, — сказал Подушкин, — на дворе очень холодно.

«Слава богу», — подумал я и, конечно, не заставил себя долго ждать. Живо уложили мои небогатые пожитки, и я, в теплых сапогах, расцеловал г. плац-маиора, горячо обнял моего доброго Соколова и успел всунуть ему сторублевую ассигнацию из денег, оставленных мне утром моею невесткою, и почти веселый вышел в сопровождении моих стражей.

Ночь была действительно холодная, но звезды ярко горели на темном небосклоне. На башне собора пробило час, и куранты заиграли свой вечный God save the king*. Мы вошли в комендантский дом, который был освещен, как бы ожидая каких-нибудь гостей. В зале я застал одного фельдъегеря, с любопытством на меня поглядывавшего. Подушкин скрылся и вскоре явился с другим ссылаемым, прежним моим товарищем полковником Аврамовым. Он, бедняга, был совершенно убит и сильно горевал. После первых взаимных приветствий после долгой разлуки я спросил его, как он думает, куда нас отправят? «Разумеется, не в Крым», — отвечал он мне с некоторою досадой. Этот ответ, несмотря на торжественность минуты, меня сильно рассмешил.

Через несколько минут привели Бобрищева-Пушкина, офицера Генерального штаба 2-й армии. Этот также был болен, бледен и едва передвигал ноги. Даже фельдъегерь,

---

* Боже, спаси короля [начальные слова английского национального гимна, мелодия и слова которого тогда играли роль русского гимна] (англ.).

увидев эту новую жертву, пожал плечами и, вероятно, подумал: «Не довезть мне этого до места назначения!» Скоро к нам присоединился поручик армии Шимков. Показался, наконец, адъютант военного министра в шарфе, а за ним и весь причт крепости, разные плац-маиоры и плац-адъютанты. Сукин, пожалованный с Чернышевым в графы за похвальное содействие в нашем деле*, не замедлил появиться в зале. Мы встали, он остановился на середине комнаты и торжественно провозгласил: «Я получил высочайшее повеление отправить вас к месту назначения закованными». Повернулся и ушел. Признаюсь, этого последнего слова, произнесенного с таким ударением, я не ожидал... Принесли цепи, и нас стали заковывать.

Наконец, мы встали, и цепи загремели на моих ногах в первый раз... Ужасный звук. Не умея ходить с этим украшением, мы должны были пользоваться услугой прислужников при сходе с лестницы. У крыльца стояло пять троек и пять жандармов, а мы стали размещаться... Соколов усердно хлопотал возле меня, укутал, поцеловал мне руку и заплакал. Я был также взволнован, но успел еще ему сказать: «Ты, любезный друг, и принял меня в каземат и провожаешь в Сибирь. Благодарю тебя за твою дружбу и прошу сходить к моей невестке с моим последним поклоном...» На гауптвахте крепости караул вышел к ружью. «Трогай!» — крикнул фельдъегерь, и полозья заскрипели... На башне било 2 часа и опять God save the king. Но на этот раз мне показалось, [что часы] очень фальшиво [пели][81] эту патриотическую песенку. Проехали Неву и городом ехали шагом... Во многих домах, по-старому, горели еще свечи, перед подъездами стояли экипажи, и кучера, завернувшись в попоны, спали на своих козлах... От военного министра был другой фельдъегерь, чтоб узнать, проехали ли мы. Во многих из этих домов и я когда-то весело проводил время, танцевал... а теперь?

Шествие наше медленно подвигалось к заставе, а фельдъегерь, нас сопровождавший, шел по деревянному тротуару с какой-то женщиной, горько плакавшей и об чем-то с ним говорившей. Но вдруг фельдъегерь сказал: «Прощай!» — прыгнул в мои сани, крикнул: «Пошел!» И [мы]

---

* М. В. Ювефович: Опять повторяю, что Сукин не был графом. Советую это проверить.

П. И. Бартенев: Наверно, не был.

пустились во все лопатки. Это было 28 февраля 1827 года, после двухлетнего* заключения и всевозможных переворотов жизни нашей... Мне на душе стало как-то легко и весело, а легкий ветерок освежал мое лицо, дышавшее так долго смрадным воздухом каземата. Мало-помалу я стал знакомиться с моим сопутником и, по обыкновению, начал с вопроса, как его зовут, и назвал себя, потом осведомился, не жена ли его провожала? «Нет, сестра, нас двое на свете, мы сироты и сердечно любим друг друга. Она такая добрая, плакала и просила меня беречь вас, несчастных». — «Вижу, — сказал я, — что вы из доброго семейства. Бог наградит вас за добрые чувства ваши...»

Не знаю, отчего это во всю дорогу эту меня не покидала мысль, что нас везут в Шлиссельбург, где мне придется высидеть мои 12 назначенных лет. По всему видно, что новый император не слишком-то придерживается законов, — ну, как ему вздумается сыграть с нами такую штуку? Полковника Батенькова суд приговорил на 15 лет в каторгу с нами вместе; но его оставили в крепости, в которой он просидел 22 года. В своем месте я буду об нем говорить.

Я не выдержал и спросил с некоторым страхом моего собеседника: «Скажите, ради бога, вы везете нас в Шлиссельбург?» — «Нет», — сказал он, и я перекрестился... я уже испытал, что значит высидеть без солнца, без воздуха. Бывали примеры, что многие не выносили этого строгого заключения и сходили с ума. Я уверен, что и со мной было бы то же.

Не помню, на какой станции, на половине дороги, с левой стороны, зачернелись стены крепости Шлиссельбурга. С большой дороги идет поворот, и ямщики, зная, какого рода пассажиров везут, невольно сдержали лошадей, думая получить приказание везти нас туда, но фельдъегерь крикнул с моих саней передовой тройке: «Прямо в город на станцию», и мы промчались мимо страшных стен. На станции все мы сошлись с нашим приветливым сопутником, заказали ужин и, гремя цепями, однако ж, весело провели время. Перед рассветом мы пустились дальше в далекий путь. Тогда же мы узнали о строгой инструкции, полученной фельдъегерем насчет нас. Вот главные ее пункты: две[82] ночи ехать, на третью ночевать; не позволять

* П. И. Бартенев: 4 янв. 1826 — 28 февраля 1827: 1 год.

нам иметь ни с кем ни малейшего сообщения; кормить нас на деньги, отпущенные правительством, на каждого по 75 рублей ассигнациями; не давать нам отнюдь никакого вина, ни даже виноградного, в каждом губернском городе являться к губернатору и в случае болезни кого-либо из нас оставлять больного на попечение губернатора.

Во всю дорогу с нами ничего особенного не случилось, как помнится, но я никогда не забуду впечатления, произведенного на меня Сибирью, которую я узрел впервые после ночлега, проведенного в Перми, которая стоит у подошвы Урала. Когда мы утром тихо тянулись по подъему верст 20 до станции, стоящей одиноко, уныло на самом гребне хребта, и когда нам с вершины открылось необозримое море лесов, синих, лиловых, с дорогой, лентой извивающейся по ним, то ямщик кнутом указал вперед и сказал: «Вот и Сибирь!»

Итак, мы уже не в Европе! Отделены от всего образованного мира!

Мы проехали Тюмень и подъезжали к Тобольску. В переезд этот мороз был так силен, что мы должны были перед этим городом не в зачет переночевать, а в 12 часов дня подъехали прямо к губернаторскому дому и вошли в залу, гремя нашими цепями по паркету. Из дверей выглядывал женский пол и дивился на нас, как на зверей, потому что нам не велели снимать шуб наших. Скоро вышел принять нас губернатор Бантыш-Каменский, автор истории Малороссии, и сказал печальным, грустным голосом, как будто сожалея, что так мало может облегчить нашу судьбу: «Господа! Я имею право остановить вас на сутки. Вам приготовлена квартира в доме полицеймейстера, вы отдохнете. Вам приготовлен обед, баня. Я прикажу снять с вас железа. Да, не знаете ли, господа, когда привезут князя Барятинского, который приходится братом моей жены?» Мы отозвались неведением и поспешили воспользоваться радушным приемом, нам обещанным, а потому последовали за полицеймейстером и расположились расправить наши кости.

После сытного, вкусного обеда, когда мы подошли к хозяйке благодарить ее, она нам сказала, что все угощение от губернатора и что он прислал своего повара, провизию и прислугу. Фельдъегерь с нами не обедал и был зван к губернатору. Такая деликатность со стороны губернатора и радушное гостеприимство, нам, несчастным, оказанное,

вызвали с нашей стороны искреннюю благодарность, которую мы и просили полицеймейстера засвидетельствовать от нашего имени.

На другой день мы отправились дальше, а все еще не знали, где будет конец нашего путешествия. Одно было вероятно, что мы едем из Тобольска в Иркутск.

Скоро миновали мы Красноярск, при р. Енисее, чистенький городок, имеющий свое название от красных песчаных и глиняных гор, которыми окружен. Чем глубже вдавались мы в Сибирь, тем более нас поражала чистота и опрятность сибиряков. В любой избе вы найдете две половины жилья, полы, покрытые холстом, самовары, как золотые, украшают углы, скамьи и даже стулья в некоторых избах выкрашены красной краской. Везде жители встречали нас приветливо и, не знаю почему, называли нас своими сенаторами. Обыкновенно в больших селах и городах все, нам попадающиеся, снимали шапки, а фельдъегерь наш, Подгорный, всегда трусил таких манифестаций и боялся, чтоб нас у него не вырвали. На станциях он запирал за нами ворота и ставил жандармов на часы, а я постоянно подшучивал над ним, говоря ему: «Смотрите, нас непременно отобьют от вас». И он только тогда успокаивался, когда мы оставляли города и станции.

Товарищ наш Бобрищев-Пушкин, выехав из каземата не совсем здоровый, дорогой сильно расклеился, и Подгорный хотел его оставить где-то в городе, в России еще; но, не исполнив этого, довез кое-как до Сибири. Пушкин до того ослабел, что часто на станциях, когда он долго не выходил из саней, мы и сами уже думали, не умер ли он. Однажды, где-то вечером, мы пили чай, а Пушкин лежал в избе слабый, больной, не принимая ни в чем никакого участия, и Подгорный объявил нам, что в первом городе его оставит в госпитале; но тогда Аврамов, стукнув своим допитым стаканом об стол, сказал: «Нет, Пушкин. Уж ежели тебе суждено умереть, то мы же тебе закроем глаза и собственными руками выроем тебе могилу». Слава богу, до этого не дошло. Морозы были сильные; я отдал Пушкину свою волчью шубу, и мы все так за ним ухаживали, что, подъезжая к Иркутску, ему стало гораздо лучше.

Сам Аврамов, с которым мы ехали в одних санях, был все время в чрезвычайно грустном настроении и упал духом. Он считал себя невинным и никак не мог покориться

своей участи. Я делал все, что мог, чтоб развлечь его, и однажды рассказывал ему, в Сибири уже, анекдот на немецком языке про Фридриха Великого. Аврамов от души смеялся, и я радовался, что успел его развеселить. Но вообразите себе наше удивление, когда и ямщик наш принялся с нами хохотать! У меня блеснула мысль: не шпион ли это, чтоб следить за нашим настроением, — раскаиваемся ли мы в прошлом и как отзываемся о новом правительстве? Ведь иной, чтоб подслужиться, и на козлы взмостится, и я обратился к нашему возничему с вопросом:

— Ямщик, ты, верно, понимаешь по-немецки, когда мой рассказ показался тебе забавным?

— Как же не понимать, когда я природный немец.

— Да кто же ты такой?

— Я? Я Астраханского кирасирского полка маиор Миллер, — поворотившись вдруг ко мне, отвечал он. — Тому назад 30 лет император Павел сослал меня сюда...

В это время мы подъехали к станции, и так как история г. Миллера показалась нам интересною, то мы и пригласили нашего ямщика-маиора напиться с нами чаю. Он не отказался. Он был большого роста, лицо немецкое, худощавое и в морщинах. Одет он был, как и все ямщики, в нагольный тулуп. Когда мы немножко пообогрелись, я возобновил рассказ вопросом: «Скажите, за что вы были сосланы?» (В нашей матушке-России часто бывают такие обстоятельства, — начнешь с «ты», а кончишь на «вы», — и как-то совестно бывает.)

— Я был сослан за неумышленное убийство своего полкового командира, — отвечал Миллер.

— Помилуйте, да после этого ведь протекло два царствования, как же вас не воротили, не простили?

— Видно, забыли, — отвечал он самым простодушным голосом, — да и зачем? Я вступил в крестьянский быт, плачу подушный оклад, женат, имею шестерых детей... Родные мои в Курляндии перемерли, а те, которые и есть, может быть, вероятно, полагают меня умершим...

На прощание г. Миллер просил нас, ежели мы будем счастливее его и будем возвращаться в Россию, посетить его домишко. Странное, несбыточное приглашение!

Наконец, после трехнедельного странствования мы приближались к столице Восточной Сибири, к Иркутску. Яб-

лоновый хребет грозно встал пред нами*, а вечером, переехав Ангару, мы неслись уже прямо к дому генерал-губернатора по улицам Иркутска. Подгорный вбежал в дом и скоро вернулся с полицейским чиновником, сказав нам, что губернатора нет дома, — [он] где-то на вечере, — и что нас приказано везти в большой острог (а я подумал: стало быть, есть еще и маленький острог!).

Мы двинулись дальше в сопровождении полицейского чиновника. Меня занимала только мысль, как бы скорее добраться до тепла, хоть бы и в большом остроге. Холод был невыносимый. Подгорный кряхтел, бедные жандармы грелись, колотя рука об руку. Наконец, забелелось белое здание с огромными воротами, которые как бы радушно раскрыли пред нами свои обе половины, и мы остановились у дворянской половины острога. Тепло, кругом нары — и иркутский большой острог нам показался приветливее петербургских казематов. Мы едва стали располагаться, как пришел к нам какой-то старичок в зеленом полинявшем сюртучишке, плешивый, но подбиравший свои редкие волоса с затылка и укрепивший их гребнем напереди, и рекомендовался нам, желая выразить, что он за особенную честь себе считает стеречь таких высоких гостей, «государственных преступников», и кончил просьбою пожаловать ему денег для ранней закупки провизии для нашего завтрашнего обеда. Скоро сняли с нас цепи и дали отдохнуть нашим изломанным ногам.

На другой день посетили нас два сенатора, бывшие в то время в Иркутске, кажется, для ревизии. Одного из них я знал в Варшаве — это был Безродный, тогда кригскомиссар у Константина Павловича. Про него-то А. П. Ермолов, когда был в главной квартире в Могилеве, сказал: «Я нашел здесь все немцев и одного русского, да и тот Безродный»[83].

Оба ревизующие сенатора начали свое дело в Сибири как будто бы хорошо, разослали объявление, что присланы оказать помощь угнетенным, обиженным, приглашали всякого подавать просьбы, жалобы... Бедный народ думал вздохнуть — ничуть не бывало... Сенаторы забрали с собой кипы просьб и увезли их в Петербург в полной уверенности, что сделали свое дело, а, между прочим, плуты-

---

* Декабрист П. Н. Свистунов: Яблоновый хребет за Байкалом находится.

чиновники остались на своих местах, продолжая грабить и обижать народ; да в довершение всего пересекли всех, подававших какие бы то ни было жалобы или просьбы. Когда мы удостоились посещения этих двух важных лиц, то, признаюсь, они показались нам оба очень странными, удерживаясь в разговоре обращаться к нам прямо и не зная, как говорить нам, — «вы» или «ты», — и употребляя вопросы в 3-м лице!

Освобожденные от этого посещения, мы, каждый посвоему, предались своим занятиям, а Подгорный стал чиститься и приготовляться к представлению своему губернатору. Он был молод, красив собою и добрый малый, и надобно прибавить, во многом изменился к лучшему, с тех пор как стал знаться с нами. Мы его немного облагородили, и он стал реже драться с ямщиками и содержателями почт, но удержался привычке нигде не платить прогонов, и это только служило бедным почтосодержателям гарантией, что на перегонах фельдъегерь пожалеет их тройки и не загонит ни одной лошади.

Вскоре Подгорный вернулся от г. губернатора и объявил нам, что отправляется по предписанию его обратно в Петербург с жандармами, а что нас поручат довезти до места полицейскому чиновнику. Неужели нам век свой идти вперед? «Не знаете ли вы, наконец, где это последнее таинственное *место?*» — спросили мы все вдруг. «Ничего не знаю, господа... слышал, что вы пробудете здесь несколько дней, а там поедете за море». Мы догадались, что это значит за *Байкал*.

При последних сборах Подгорного нам стало его жаль. Мы к нему привыкли, мы его любили, а он нас тешил, по возможности, и облегчал нашу судьбу. На прощанье мы его одарили кто чем мог, а я подарил ему дюжину батистовых платков, уложенных в моем чемодане заботливою невесткою моею в Петербурге еще. К чему каторжнику иметь батистовые платки? Они были сложены весьма тщательно и казались такими, какие употребляют только красавицы и дамы высшего круга. Я подал их Подгорному, прося передать их его сестре на память об нас и за добрые чувства ее к нашему положению при выезде нашем из Петербурга. Жандармов мы наградили деньгами и всех их проводили до саней. На прощанье мне Подгорный признался, что рад вернуться восвояси и свидеться с сестрой, но что прежде всего

должен исполнить еще одно поручение, а именно: от тобольского губернатора получить инструкцию, ехать в какую-то деревушку, взять там какого-то крестьянина и закованным доставить его в дворец, к кн. Волконскому. Я утешал его, сколько мог, сказав ему, что [это] его грустная обязанность, но что ежели он останется таким добрым человеком, каким был с нами, то бог его не оставит. «Вспомните, что мне моря этого, что лежит впереди вас, не объехать», — сказал он грустно и уехал. Он сдержал свое пророчество и через два года был у нас в гостях за Байкалом в читинском остроге.

К нам вместо Подгорного приставили полицейского чиновника, человека немолодого уже, от которого несло страшно сивухой.

В воскресенье нам предложили посетить церковь, что мы с радостью и исполнили, не молившись в храме божием около двух лет. В церкви, при остроге, мы стояли в особенном отделе, за решеткой, отделенные от прочих прихожан. Сам преосвященный служил и весьма часто на нас поглядывал, а после обедни с дьяконом каждому из нас прислал по просфоре и велел спросить у нас, когда прибудет М. М. Нарышкин, от сестры которого, кн. Голицыной, из Москвы он получил об этом на днях предуведомление. Мы просили дьякона передать преосвященству наше душевное спасибо и уважение и сказали, что партия, в которой привезут Нарышкина, не замедлит прибыть за нами.

На другой день мы в четырех кибитках в сопровождении провожатого отправились в дальний путь, за Байкал. Пушкин наш совсем оправился, и мы почти веселые продолжали нашу дорогу.

Река Ангара вытекает из озера Байкал, которое жители зовут морем, и имеет то отличительное свойство, что только в самые сильные морозы замерзает, начиная снизу, а не сверху. Говорят, что это обстоятельство не исследовано учеными, и хотя из Берлина приезжали профессора, но ни на чем не остановились. Всю ночь мы ехали по берегу Байкала, иногда спускаясь к самой окраине озера, иногда поднимались на высокий берег. Ветер и холод были весьма чувствительны, и только перед рассветом мы добрались до станции на самом берегу Байкала. Мы должны были дожидаться белого дня, потому что ночью чрезвычайно опасно переправляться чрез лед

на Байкале, который дает огромные полыньи и трещины. С восходом солнца мы любовались чудной картиной. Байкал окружен горами, покрытыми вековым лесом, и казался нам тогда огромным зеркалом в обширной великолепной раме. Воздух был чист и спокоен, а солнце весело играло по нем... Скоро наши тройки были готовы, и мы с удивлением узнали, что поедем по льду на следующую станцию, за 60 верст. «Подвяжите только ваши шапки, господа, — сказал нам ямщик, — останавливаться нельзя». Мы уселись, перекрестились и поскакали по шлифованному льду... — только ледяные осколки нас осыпали. После бешеной двухчасовой езды* мы выскочили на другую сторону и очутились на станции, близ которой стоит какой-то монастырь.

Вот мы и за Байкалом, а все не знаем, где мы окончательно остановимся. Провожатый наш пьян без просыпу, обыкновенно завернувшись в войлок, спит сном непробудным, а на станциях готовит солянки и ухи[9] из стерлядей, которые, кстати сказать, чрезвычайно тут дешевы; словом, мы скорей везли нашего вожатого, чем он нас, и даже приглядывали за ним, чтоб он пьяный не свалился как-нибудь с саней.

За Байкалом совершенно другая природа. Мрачные, вековые, девственные леса покрывают землю на необъятные пространства. Кажется, нога человеческая не ступала по этим трущобам. Огромные реки катят свои воды, не оживленные ни одной баркой, лодкой, и тишина редко прерывается. Все окружающее как-то дико-грандиозно. Я не стану, впрочем, описывать Сибири, — кто об ней не писал? — и рассказываю только то, что относится до нас, четырех путников.

Мы воспользовались на одной станции сознанием пьяного чиновника и опять приступили с вопросом, куда же нас везут? Ведь этак можно заехать в Китай.

— Я-то знаю, — вдруг ответил наш страж, — в подорожной сказано: в Нерчинск, а словесно и в инструкции приказано явиться в читинский острог, к коменданту... ну, а дальше уж не знаю, что будет. Впрочем, господа,

---

* М. В. Юзефович: 60 верст в 2 часа? Так ли?
Декабрист П. Н. Свистунов: Совершенно так, я проехал еще быстрее.

печь затоплена, пора готовить уху да выпить, а там заляжем опять в сани и покатим дальше.

— Бывали вы в этой Чите, по крайней мере?

— Нет еще, я только доезжал до Байкала.

Видя, что из этого бездушного человека ничего не вытянешь, мы решились не беспокоить его более, а предоставить ему кулинарное искусство, которым он поддерживал наше существование.

Наконец, после разных метаморфоз, то на санях, то на колесах, поднимаясь, спускаясь, мы очутились в прекраснейшей, обширной равнине, земле бурят. Часто стали попадаться нам верховые с луком, колчаном, со стрелами у бедра; женщины в кожаных шароварах, верхом на быках, многочисленные стада и юрты этого кочевого народа. Станции стоят одиноко, и лошадей нам запрягали почти диких. Вскочит, бывало, бурят на передок повозки, отпрыгнут те, которые удерживали запряженных кой-как коней с словом «гайда!»[84], и пустимся мы без дороги во всю прыть вперед с мыслию, что не сносить нам нашей головы. К довершению необыкновенной картины надобно вообразить себе возничего нашего, бурята, [для] свободы движений спустившего с плеч шубу, по пояс нагого, а все-таки с колчаном и стрелами за спиной.

По ту сторону Байкала климат заметно мягче, теплее, и лучи солнца уже греют; зато пустота страшная, и оседлой жизни ни признака, и русского поселянина не встретите нигде. Зато как приятно мы были удивлены, когда однажды вдруг увидели, верстах в двух в стороне, беленький домик с красной крышей, с большими окнами и длинным забором. Кто мог из цивилизованных людей обречь себя на такое добровольное изгнание и уединение? Мы справились, и нам объяснили, что это были англичане-миссионеры. Они переводят на бурятский язык евангелие, завели школу для детей и мало-помалу приводят в христианство это жалкое племя. Невдалеке от домика два молодые человека, в европейском костюме, выбежали нам на дорогу и приветливо сняли свои фуражки и нам кланялись.

Не доезжая еще этой загадочной покуда для нас Читы, до нас стали доходить вести о других наших товарищах. Стали нам рассказывать, что многие из них живут уже в остроге, который временно состоит из нескольких изб или срубов, в которых проделаны окна с решетка-

ми, а по углам, с наружной стороны, стоят инвалидные часовые. Говорили, что наши ходят уже на работы... И все это ожидает и нас на краю нашего длинного, утомительного путешествия! За один переезд до Читы мы ночевали на станции, чтоб торжественнее утром узреть место нашего *вечного* заточения. Грустно провели мы вечер, дурно провалялись ночь и утром [про]мчались [через] последнюю станцию.

Еще издали увидали мы деревянную с колокольней церковь, переправились вброд чрез р. Стрелку, въехали в улицу и подкатили прямо к низенькому комендантскому домику. Наш пьяный провожатый, надев свою шпажонку, пошел докладывать о прибытии нового свежего транспорта, а мы остались в повозках. Судьбе угодно было устроить так, что товарищи наши в это же время, в железах, окруженные цепью часовых, шли с работы со всевозможными орудиями... и не могли, узнавши нас, выйти из рядов, а удовольствовались только киваниями головы и другими знаками приветствия... Тут же выбежал из комендантского дома какой-то инвалидный офицер и велел нам следовать за собою в острог. Ворота настежь — и мы в черте нашего заключения! Первый, которого я там встретил, был Никита Муравьев. Легко себе вообразить, как радостно мы были встречены, расцелованы, обнимаемы... и описывать этого я не берусь.

Глава XI

Читинский острог. — Генерал Лепарский. — Наша артель. — Наша жизнь в остроге. — Наши дамы. — Александра Григорьевна Муравьева. — Екатерина Ивановна Трубецкая. — Мария Николаевна Волконская. — Елизавета Петровна Нарышкина. — Александра Ивановна Давыдова. — Наталья Дмитриевна Фон-Визин. — Госпожа Анненкова. — Анна Васильевна баронесса Розен. — M-lle Dantu. — *Госпожа Ентальцева. — Наши занятия и развлечения*

Читинский острог построен был, как я уже сказал, временно и состоял из двух половин, в которых мы все и помещались. Помню, что было очень тесно и мы лежали один возле другого. Обед нам готовили вне острога, и повар был нанят из ссыльных же. Обед приносился к нам на носилках, очень грязных, на которых, вероятно, навоз выносили когда-то, и состоял обыкновенно из щей, каши и куска говядины. Посуду свою, или, лучше ска-

зать, деревянные чашки, мы должны были мыть сами, а также ставить наши самовары. На каждой половине, то есть внутри, стояло по часовому, что бы[ло] излишним уже, но предусмотрительность или напрасная осторожность немало еще стесняла нас[85] и к тому же вносила в наше жилище весьма неприятный запах... Помещенные как сельди в бочонке, мы радовались, однако ж, мысли, что все будем вместе, и с нетерпением ожидали остальных товарищей, которые, конечно, не замедлят к нам присоединиться.

Да позволено мне будет теперь сказать несколько слов о нашем почтенном коменданте, которому с особенным сердечным удовольствием посвящу несколько слов признательности. Генерал Лепарский — 70-летний старик, уроженец польский. Сорок лет прослужил он в русской кавалерии и в последнее время пред назначением своим в коменданты командовал конно-северским полком, коего шефом считался в[ел]. к[н]. Николай Павлович. Этому-то обстоятельству Лепарский обязан, что был коротко известен с хорошей стороны своему ближайшему начальнику. Государь возымел благую мысль назначить Лепарского комендантом Нерчинских рудников, где он, впрочем, бывал только наездом, а не постоянно [и] находился при нас, в Чите. Генерал был человек образованный, знал иностранные языки, и между прочим и латинский, и воспитание получил в иезуитском училище. Он был кроток, добр и благороден в высшей степени, но крепко боялся доносчиков и шпионов, которых называл *шпигонами*. Перед назначением в *Нерчинск* его потребовали в Москву, и все товарищи его по службе, считая его либералом, полагали, что и он скомпрометирован, избегали с ним сношений явных и думали, что больше с ним не увидятся. Но они ошиблись, старик был принят хорошо и поехал в Петербург получить новое назначение и инструкцию насчет нас. В Петербурге составился тогда особенный комитет из председателя Дибича и членов: Чернышева, Бенкендорфа и других для обсуждения нашего содержания, сохранения нашего здоровья и мер к ограждению нашей безопасности, т. е. составления штата наших тюремщиков. Лепарский приглашен был присутствовать при этих совещаниях. Так как в этом ареопаге все меры клонились более к строгости, лишениям, то Лепарский осмелился однажды выразиться: «Для со-

хранения здоровья этих людей нужен медик, нужна аптека, нужен священник». Тогда Дибич ему грубо сказал: «Вы приглашены сюда в комитет слушать, а не рассуждать», — а Лепарский тотчас же встал с своего места и вышел. Когда, без него уже, все было решено, ему вручили инструкцию и велели явиться к государю. Государь прочел ее, сделал несколько замечаний, исправлений и, вручая ее ему обратно, прибавил: «Смотри, Лепарский, будь осторожен, за малейший беспорядок ты мне строго ответишь, и я не посмотрю на твою 40-летнюю службу. Я назначил тебе хорошее содержание (и действительно, Лепарский получал 22 тысячи руб. ассигнациями в год; плац-маиор — 6000, плац-адъютанты — по 3000), которое тебя обеспечит в будущем. Инструкции, кто бы у тебя ее ни потребовал, никому не показывай. Прощай с богом!» Когда Лепарский вышел от государя, как нарочно ему попался Дибич и тотчас же осведомился, читал ли государь инструкцию и что в ней переменил, и хотел ее взять у Лепарского и посмотреть, но генерал, помня слова государя и желая посердить Дибича, не дал ее ему, несмотря на то что тот требовал ее именем своим, начальника штаба.

Странное стечение обстоятельств, — Лепарский сам это рассказывал: будучи поручиком еще в [17]91 году, он провожал в Сибирь польских конфедератов, взятых в плен, а теперь ему случилось быть стражем, так сказать, русских конфедератов. Лепарский принял назначение тюремщика нашего, но выговорил себе ограничение наблюдать только за политическими преступниками и в особенности брался отвечать только за нас. Ему дано слово, и нас содержали одних. С самого начала понимая всю несообразность собрать нас всех 125 человек в Нерчинске и смешать с толпой в 2000 человек каторжников[86] (варнаков), он решился приехать в Читу, за 700 верст ближе Нерчинска, и здесь собирал нас по мере присылки из Петербурга и доносил государю и Бенкендорфу как шефу жандармов [причину], побудившую его к такому действию до постройки нам особливой государственной тюрьмы. В самом деле, независимо от того, что совокупное содержание наше с отъявленными злодеями отягчило бы наше положение, Лепарский весьма справедливо опасался и беспорядков между людьми, которым жизнь — копейка и которые готовы[87] на всякую выходку:

нас легко могли обкрадывать, обижать и даже сделать un coup de main* и освободить.

Итак, временно мы поселились в Чите. Казна отпускала нам по 4 коп. в день, из коих вычиталось по две копейки на госпиталь. Мы тотчас же занялись устройством своей собственной артели из денег[9], у многих из нас водившихся. И я внес свои 500 руб., данные мне невесткою моею при моем отправлении из Петербурга. Мы избрали из среды нашей казначея, просили коменданта освободить его от работ и поручили ему нашу кассу.

В начале нашего заключения нам не дозволяли иметь ни перьев, ни бумаги, ни чернил и строго запрещалось писать к самым близким родным. На работу мы выходили, кроме воскресных и праздничных дней, ежедневно около 9 часов утра, и она продолжалась по 2 часа утром и [по] 2 часа вечером. Придут, бывало, за нами человек 10 инвалидных солдат с унтер-офицером, с тачками, лопатами и всевозможными инструментами, и мы, в железах, потянемся на указанное место... Правду сказать, работы наши не были очень обременительны, и мы, запасшись книгами, проводили большую часть времени в чтении и даже разговорах, иногда очень интересных и назидательных, так как между нами были люди очень образованные, начитанные. И это продолжается обыкновенно до удара колокола с дома Лепарского и до магического слова у[нтер-]о[фицера] «шабаш!» А между тем это единообразие крепко надоедало, и мы с нетерпением ждали субботнего дня. К тому же, вопреки коренного закона, существовавшего в Сибири, об освобождении всякого ссыльного дворянина от желез мы одни, не совершив никакого нового преступления, были изъяты из этого правила и только освободились от них после двух лет...

Мало-помалу общество наше увеличивалось новыми транспортами из мрачного Шлиссельбурга, а Лепарский навещал нас, по крайней мере, раз в неделю. Всегда ласковый, учтивый, он ходил, бывало, по нашей тюрьме в сопровождении дежурного офицера и был так деликатен, что ежели говорил с нами, то высылал его вон. Эти же дежурные офицеры ежедневно осматривали замки наших цепей, и мы до того привыкли к этому унизительному

---

* внезапное нападение (франц.).

акту, что, бывало, играешь в шахматы, а при появлении подобного аргуса, не прерывая своего занятия, только протянешь ему свою ногу...

Некоторые жены моих товарищей стали также прибывать в добровольную ссылку. С благоговением и глубоким уважением вспоминаю я имена их. Достойные женщины исполнили долг супружеской верности с героическим самоотвержением. Большею частью молодые, красивые, светские, они отказались добровольно от обаяний[9] света, от отцов, матерей и пришли за тысячи верст влачить дни свои в снегах Сибири на груди своих злополучных мужей. Вначале, в Петербурге, многим из них делали большие затруднения к осуществлению их благих намерений, но наконец правительство, видя их непреклонную волю, дозволило им добровольную ссылку эту, но с какими тяжкими условиями!.. Сначала их оскорбили предложением выходить замуж от живых мужей, потом не позволили им взять с собою детей, рожденных до ссылки мужей в Сибирь; воспретили возврат детей[88] в Россию, могущих родиться у них в Сибири; не дозволяли им взять с собою своей прислуги и, наконец, обязали их ответственностью за поступки мужей в будущем.

Александра Григорьевна Муравьева, урожденная графиня Чернышева и внучка фельдмаршала[89] Захара Григорьевича (только не из Чернышевых, недавно пожалованных в графы за нашу казнь), при прочтении ей условий пред отправлением ее за мужем в Сибирь дозволила чиновнику дочитать только до параграфа, гласившего о детях, вырвала перо, подписала условие с словами: *«Довольно! Я еду!»* Великая черта! Сильна была твоя любовь, достойная женщина, к твоему мужу.

Положение *Екатерины Ивановны Трубецкой* было самое щекотливое. Она — из дома Лаваль и приходилась племянницей графине[90] *Белосельской* и сама мне рассказывала, что когда А. И. Чернышев искал руки кузины ее[91], *Белосельской*, то становился пред Екатериной Ивановной на колени, целовал ее руки и просил ее ходатайства и согласия на брак[92]. Екатерина Ивановна во многом ему помогла, а в благодарность Чернышев во время дела нашего не узнавал свою благодетельницу и даже отворачивался от нее, как, например, сделал[93] на светлый праздник в домашней церкви Белосельской, когда он обошел ее при христосовании. Кузина Трубецкой

умерла вскоре от родов, и только ранняя смерть ее избавила ее от сообщества такого гадкого человека, каким оказался Чернышев.

Екатерина Ивановна Трубецкая первая последовала за своим мужем и зимою, в кибитке, выехала из Петербурга. Она была 15 лет замужем* и тогда не имела еще детей.

Княгиня *Марья Николаевна Волконская*, урожденная *Раевская*, дочь знаменитого, храбрейшего героя [18]12 года, защитника Смоленска, рассталась с своим единственным ребенком, оставив его на попечение бабки, старухи Волконской, матери Сергея Григорьевича Волконского, и также вскоре последовала за мужем.

Елизавета Петровна Нарышкина, дочь Петра Петровича Коновницына, была фрейлиной при императрице Марии Федоровне и только год замужем. Узнав об участи ее мужа, она тотчас же как милости просила письмом у императрицы, своей благодетельницы, позволения следовать за своим мужем, получила его и снесла крест свой до конца.

Александра Ивановна Давыдова, супруга Василия Львовича[94] Давыдова, женщина, отличавшаяся своим умом и ангельским сердцем. Она проживала прежде[95] в своей деревне Каменке, где и А. С. Пушкин проводил дни свои, когда был в изгнании, и умел уважать и питать нежнейшую привязанность ко всему этому семейству. Многие из своих повестей Пушкин, под именем Белкина, написал в Каменке. Василий Львович во время своего арестования был полковником в отставке. Жена его после сентенции оставила приют, где счастливо провела свою юность, оставила своих родителей и родных и даже детей своих и последовала за мужем.

Давыдов скончался на поселении в Красноярске.

Наталья Дмитриевна Фон-Визин, урожденная *Апухтина*, одна из прелестнейших женщин своего времени. В ее голубых глазах отсвечивалось столько духовной жизни, что человек с нечистою совестью не мог смотреть ей прямо в эти глаза... В нежных летах еще она, зимой, босиком, покинула родительский дом, чтоб посвятить себя служению богу, и хотела постричься в монахини, но

---

* Декабрист П. Н. Свистунов: Кн. Трубецкая вышла замуж в 21-м году.

предвечному угодно было указать ей иной путь спасения вечного. Она вышла замуж за генерала Фон-Визина и с ним уехала в Сибирь — делить труды и ссылку его, оставив в России двух сыновей. Во время [18]12/[18]13 [годов][96] у А. П. Ермолова было два адъютанта: Фон-Визин[97] и Граббе. Последний теперь генерал-адъютант и пользуется отличной репутацией, а первого, когда возвратили из Сибири, после 20-летней ссылки, Ермолов тотчас же навестил в Москве. Подобного внимания достаточно, чтоб охарактеризовать личность Фон-Визина.

Госпожа Анненкова, француженка из Парижа... Вот ее история. Молодой, красивый Анненков, служа в кавалергардах, встретился с ней и познакомился в Москве. Влюбившись в нее по уши, как говорится, Анненков хотел на ней жениться, но мать его из московской щепетильности и дворянской гордости воспротивилась этому браку, и молодые люди скрытно любили друг друга. Во время заключения молодого Анненкова его возлюбленная не могла с ним видеться, не имев на то законных прав, и страдала невыносимо, влача свою жизнь в нищете почти. Наконец, она узнает, что Анненкова увезли. Что делать? К кому обратиться? Государь уезжал тогда в Новгород. Недолго думая, любящая француженка на дороге останавливает государя и просит его позволения следовать за г. Анненковым. «Vous êtes sa femme?»* — спросил государь. «Sire! Je suis mère!»** — произнесла бедная женщина в замешательстве. Государь немного подумал и приказал ей явиться к нему в Новгороде, что бедная женщина и исполнила.

Временный дворец был окружен любопытною толпой, и, когда она хотела войти, уже на крыльце жандармы не пускали ее, но вышедший кстати Лобанов-Ростовский, узнав, в чем дело, вывел ее из затруднения и, предложив руку свою, ввел к государю в кабинет.

Там монарх, встретя ее ласково, вручил ей бумагу со словами: «Madame! Voilà l'ordre au commendant de vous laisser rejoindre Annenkoff et une somme de 3000 roubles de ma part pour les frais du voyage»***. Милость го-

---

* Вы его жена? (франц.).

** Государь! Я беременна (франц.).

*** Сударыня! Вот приказ коменданту с разрешением приехать к Анненкову и сумма в 3 тыс. рублей с моей стороны на оплату поездки (франц.).

сударя дала возможность несчастной иностранке достичь своей благородной цели.

По приезде в Сибирь она была обвенчана с Анненковым, и комендант был ее посаженым отцом по воле государя.

Анна Васильевна баронесса Розен, урожденная Малиновская, оставила также своего малолетнего сына на попечение своей сестры и последовала за мужем в Сибирь. Не имея больших средств, каким лишениям ни подвергалась эта бедная женщина! Путешествие свое в 6000 верст она совершила без прислуги, на перекладных и достигла своей цели. В Сибири она родила 4 мальчиков, сама их выкормила и, поставив на ноги, сама же дала им воспитание и образование, умственное и душевное. Сделавшись отличными артиллерийскими офицерами, сыновья ее доказали, что попечения достойной матери их не пропали даром.

Наконец, приехала к нам хорошенькая, молоденькая невеста, и вот как это случилось. Генерал Ивашев имел сына в кавалергардском полку. Молодой человек вскоре перешел во вторую армию адъютантом к графу Витгенштейну. Получив блестящее светское образование, пользуясь огромным состоянием своего отца, наделенный от природы прекрасной наружностью и талантом к музыке, уроки которой он брал у знаменитого Фильда, молодой Ивашев мог бы надеяться на счастливую будущность, но молодость увлекла его, и он сделался членом Южного общества, был взят и сослан на 15 лет в каторжную работу. Имение отца его находилось в Нижегородской губернии на берегу прекрасной Волги, окруженное обширными садами и всеми затеями барства. Семейство Ивашевых проводило однажды лето в деревне, и юный Ивашев[98] воспользовался отпуском, чтоб в кругу родных насладиться деревенскою жизнию. В доме их жила старая гувернантка сестер Ивашева M. Dantu с прехорошенькой 18-летней племянницей своей. Немудрено, что молодые люди сошлись, полюбили друг друга, и Ивашев ухаживал не на шутку за подругой своих сестер. M-lle[99] Dantu обладала великолепной каштановой косой, и вот[100] однажды Ивашев, подкравшись во время туалета молодой барышни, отрезал клок волос на память. Но отец его, замечая сближение юных сердец, позвал к себе сына и строго выговаривал ему, представляя, как не-



М. М. НАРЫШКИН
Н. А. Бестужев. Акварель. 1832 г.
Государственный литературный музей, Москва

благовидно, нечестно играть репутацией женщины, когда не имеешь намерения и возможности жениться на ней. Он раскрыл пред Ивашевым грустную будущность девушки, которая может пасть, надеясь на брак с ним, тогда как брака этого старик никак не позволит, приготовив сыну другую, более приличную и выгодную партию. Но подобные слова мало действуют на влюбленных, ослепленных страстью. Искра была брошена, и пожар уже охватывал обоих... Чтоб разом прекратить все это, старик приказал сыну возвратиться к месту служения,

в Тульчин. Наступил [18]25 год; молодой Ивашев был взят, отвезен в Петропавловскую крепость. Легко себе представить отчаяние целого семейства и в особенности затаенную из приличия скорбь m-lle Dantu. Нежное здоровье ее не выдержало этого потрясения, и она слегла в постель. Доктора отчаивались в ее жизни, не понимая вполне душевной болезни девушки, против которой нет лекарства ни в какой аптеке. Старуха D[antu][101], наконец, вынудила признание у своей племянницы. Признаваясь в своей привязанности к молодому Ивашеву, m-lle Dantu просила позволения разделить с ним его ссылку.

Столь трогательная привязанность девушки смягчила, наконец, и старика Ивашева, который раз был в этих обстоятельствах, что находится на свете существо, могущее утешить в ссылке его любимого сына. Он поехал в Петербург и, пав к ногам государя, просил дозволения на брак сосланного сына. Послали спросить согласия молодого Ивашева. Я помню живо тот день, когда комендант потребовал к себе Ивашева для объяснений. Мы все принимали живое участие в судьбе нашего товарища. Когда-то брак этот совершится? Ведь нас разделяет 6000 верст со всем образованным миром! Но и в остроге время имеет свой полет.

Полгода прошло после этого. В один ясный день мы были все на работе, как к толпе нашей прискакали два нарочно посланные крестьянина с уведомлением к М. Н. Волконской, что на последнюю станцию прибыла [m-lle Dantu][102] в карете. Лепарский дозволил Ивашеву дожидаться ее прибытия у Волконской, а мы занялись приведением в порядок наружности нашего молодого товарища-жениха: кое-как повычистили его черный сюртучок, напомадили его голову, расцеловали и отправили. Мы видели, как к дому приехала карета, как из нее вышла стройная женщина и побежала и повисла на шее своего в[оз]любленного, без цепей, которые Лепарский велел снять для торжественного случая[103]. Без чувств внесли ее в дом, но радость и восторг смертельны не бывают. Скоро она пришла в себя и была обвенчана в церкви. Лепарский, в ленте, был по высочайшей воле их посаженым отцом, и двое друзей ссыльного — шаферами. У Волконской был ужин, где все наши дамы радушно приняли в свой круг новую чету счастливых молодых.

Госпожу Ентальцеву[104], не имевшую средств денежных, чтоб следовать за мужем, пригласила с собой Елизавета Петровна Нарышкина, и они приехали в Сибирь вместе. Полковник Ентальцев был командиром легкоконной батареи во 2-й армии и Пестелем был принят в члены Южного общества. Он умер на поселении в Ялуторовске[105]. Однажды с ним случился презабавный анекдот, который, кстати, я здесь и помещу. Когда-то у какого-то сибирского губернатора были три старые пушчонки, из которых стреляли в торжественные дни при постах. Негодные лафеты их достались каким-то способом старой бабе, которая и вывезла их на базар для продажи. Ентальцев, имея надобность в железе для оковки своей повозки и зная как старый артиллерист всю цену, какую можно из старого железа извлечь, купил эти лафеты и привез к себе домой. Так как доносы в царствование императора Николая распространились по всей России и каждый отовсюду мог писать в 3-е отделение все, что ему вздумается, то и на Ентальцева донесли, что он завелся 3 пушками и намерен стрелять ядрами в проезд наследника по Сибири. 3-е отделение поверило этой клевете: нарядили секретное следствие, ночью окружили жилище бедного сосланного, полицеймейстер с солдатами вошли в дом, перепугали жену Ентальцева и допытывались, где ядра и пушки, предназначенные для такого важного дела? Наконец убедились, что с старых лафетов стрелять нельзя и что вся эта история есть чистая выдумка, и Дубельт успокоился.

Описывая наших дам, я кончу тем, сказав, что в продолжение всей нашей ссылки они постоянно были нашими ангелами-хранителями и первое время, когда нам не дозволялось писать самим, разделив нас между собой, занялись нашей корреспонденцией, уведомляли ежемесячно дорогих нашему сердцу в России. Мало-помалу они купили себе дома, пообзавелись хозяйством, и составилась близ острога маленькая единодушная колония. Расточительностию своею на утешение своих мужей они обогатили весь Читинский округ, и мы, вероятно, во все время нашей ссылки оставили там вместе со штабом Лепарского более полутора миллиона рублей. Артели наши, состоя из общей, добровольной складчины, имели всегда в запасе до 12 тысяч рублей. Независимо от этого мы положили откладывать известную сумму на пред-



В. П. НАРЫШКИНА

Н. А. Бестужев. Акварель. 1832 г.
Государственный литературный музей, Москва

мет первоначальной помощи, в 1000 рублей, каждому, окончившему из нас термин своей каторги и ссылаемому на поселение. В Чите построились лавки, из Иркутска наехали купцы, и окружные жители, до нас бедные, обогатились, привозя разного рода припасы из-за 200 верст, убежденные, что все будет раскуплено. Зимою наши благодетельницы присылали нам в острог целые кастрюли шоколаду.

Между нами были отличные музыканты, как-то: Ивашев, Юшневский, Вадковский, оба брата Крюковы. Они в совершенстве владели разными инструментами. Яви-

лись скоро рояли, скрипки, виолончели; составились оркестры, а один из товарищей, Свистунов, зная отлично вокальную музыку, составил из нас превосходный хор и дирижировал им. Свистунов был поручиком [в] конногвардейском полку, — был ремонтер, — и оттуда был взят.

Бывало, народ обступит частокол нашей тюрьмы и слушает со вниманием гимны и церковное пение наше. Строгие правила инструкции мало-помалу забывались, да и невозможно было за всем уследить. Например, у нас отобрали серебряные ложки и хранили их у коменданта, а из Петербурга нам прислали столовые приборы из слоновой кости, гораздо ценнее самого серебра. Одна ложка и теперь еще хранится у меня для памяти.

Глава XII

Каторжная академия. — Доктор Вольф. — Отъезд Корниловича. — Мастерство Николая Бестужева. — Каторжные работы. — Тонкая вежливость Лепарского. — Повеление снять оковы. — Постройка новой тюрьмы

Устроив мало-помалу свое материальное довольствие, мы не забыли и умственного. Стоило появиться в печати какой-нибудь замечательной[106] книге, и феи наши уже имели ее у себя для нас. Газеты, журналы выписывались многими, а Никита Муравьев даже перевез в Сибирь всю богатую библиотеку своего отца[107] для общего употребления. Между нами устроилась академия, и условием ее было: все, написанное нашими, читать в собрании для обсуждения.

Так, при открытии нашей каторжной академии Николай Бестужев, брат Марлинского, прочитал нам историю русского флота, брат его Михаил прочел две повести, Торсон — плавание свое вокруг света и систему наших финансов, опровергая запретительную систему Канкрина и доказывая ее гибельное влияние на Россию. Розен в одно из заседаний прочел нам перевод Stunden der Andacht (часы молитвы)*, Александр Одоевский, главный наш поэт, прочел стихи, посвященные Никите Муравьеву как президенту Северного общества. Он читал отлично и растрогал нас до слез. Дамы наши послали ему ве-

* Правильнее: часы благоговения. — М. Н.

нок. Корнилович прочел нам разыскание о русской старине. Бобрищев-Пушкин тешил нас своими прекрасными баснями, из которых одна хранится у меня и теперь[108].

В числе нас находился бывший надворный советник Вольф, медик главнокомандующего Витгенштейна. Казалось бы, для чего Пестелю принимать доктора в члены общества? Но судьба готовила нам нашего общего спасителя. Сосланный с нами на 15 лет в Сибирь, почтенный ученый доктор Вольф, друг Шлегеля, пользовал наших дам, детей и всех[109] нас самих. С самого начала прибытия он занялся устройством аптеки, которую и организовал в одном пустом отделении острога. Выписали лекарства из Москвы, Петербурга, Лондона и Парижа. Игельстром, бывший капитан саперов, добровольно принял на себя должность помощника. Вольф получил позволение выходить с часовым из острога, и бедный провожатый этот не успевал, бывало, следовать за своим пленником в железах, которые для добрых дел его и не стесняли.

Однажды старик Лепарский смертельно занемог. Что делать? Вольфа пригласить не приходится, а на молодого врача при инвалидной команде, боявшегося и приступить к такому важному больному, плохая надежда. Лепарскому делалось хуже и хуже, и наши дамы упрашивали его довериться Вольфу. Делать нечего, 70-летнему старику жить хотелось — послал за Вольфом. Осмотрев больного, доктор нашел, что Лепарский опасно болен, и на вопрос генерала, может ли он взяться за его лечение, Вольф отвечал утвердительно, но предупредил, что он лишен права лечить официально, что рецепты его не примутся ни в одной аптеке, а что главное, в случае смерти коменданта иркутская управа обвинит его, чего доброго, в отравлении генерала, а предложил велеть госпитальному доктору, по указаниям своим, прописывать лекарства под его диктовку. На этом порешили; Вольф пользовал Лепарского и вскоре вылечил. В знак благодарности комендант особенно рекомендовал доктора графу Бенкендорфу, и вскоре пришло из Петербурга повеление с собственноручною надписью государя: «*Талант и знание не отнимаются. Предписать иркутской управе, чтоб все рецепты доктора Вольфа принимались, и дозволить ему лечить*».

Вовсе неожиданно лишились мы одного из наших то-

варищей, и вот как это случилось. Зимою дамы наши что-то засуетились и однажды, прибежав к частоколу, обыкновенному месту свидания, объявили, что прибыл в Читу фельдъегерь и сидит взаперти [у «старика»][110], так называли они нашего доброго коменданта. Что б это значило? Каждая из них тревожилась за своего мужа. Давай разузнавать чрез своих горничных, имевших связи с домом коменданта. Узнали наконец, что фельдъегерь приехал *за кем-то*. Дамы поторопились известить нас о беде, грозившей одному из нас, и просили, в случае ежели б этому должно было осуществиться, дать им знать, чтобы они могли выслать несчастному теплую одежду и прочее необходимое на путешествие. Просили также передать несчастному, что в письмах своих всегда будут заботиться о нем в Петербурге, называя его *кузиной*. Эту уловку они обыкновенно употребляли во всей своей переписке в целой России, говоря о нас.

Вечером того же дня мы все еще не знали ничего верного, как вдруг в тюрьму нашу вошел дежурный офицер и, отыскав глазами Корниловича, игравшего в шахматы, подошел к нему и пригласил его одеться и следовать за собой к коменданту. Тут мы догадались, что не видать нам более нашего Корниловича. Я бросился к частоколу объявить нашим благодетельницам о злосчастной судьбе его; товарищи уложили его вещи в чемодан и послали за ним; дамы сделали все, что могли, и ночью Корниловича увезли в самом деле в Петербург. Что за причина? Мы все терялись, а Николай Бестужев полагал, что будто бы это было за то, что Корнилович, по изданию своей «Русской старины», слишком хорошо знаком был со всею подноготной, роясь в архивах, тогда ему открытых.

Через несколько времени графиня Чернышева, сестра Муравьевой, писала из Петербурга, что «кузину» привезли и «доктор» держит ее взаперти, не дозволил ей иметь книги и письменные принадлежности.

Итак, наш бедный Корнилович попал опять в каземат Петропавловской крепости!

Все письма наших дам шли чрез комендантскую цензуру, потом их читали в Тобольске, и, наконец, распечатывали в 3-м отделении два особых чиновника, к этому приставленные. К нам письма доставлялись таким же порядком. Газеты, книги, журналы — все тщательно осмат-

рывалось, и 3-е отделение, в это время под управлением Леонтия Васильевича Дубельта*, совершенно заслужило название русской инквизиции.

Взамен славного товарища Корниловича, которого мы лишились так неожиданно, мы скоро обрадованы были переводом к нам из Нерчинска первого разряда наших товарищей. Там все это время они проработали[111] в рудниках и ежедневно спускались в шахты для добывания презренного металла. Главный начальник Нерчинска Бурнашев и с ними и с другими каторжниками обращался глупо, грубо и жестоко, а сам по себе был вор и мошенник. Волконский и проч. рассказывали, что он зачастую засекал бедных ссыльных, морил их голодом и не давал им необходимой одежды. Трубецкая и Волконская, проживши все это ужасное время с своими мужьями, были свидетельницами этого варварского управления и своими руками на свои деньги нашили более 500 рубах и роздали несчастным. Не знаю, каким способом Лепарский вытребовал из Нерчинска наших товарищей и поместил с нами, а дамы наши радушно приютили на время их жен.

Все наше дружное общество старалось своими руками услаждать существование наших утешительниц в замену их благодеяний. Между нами появились мастеровые всякого рода: слесаря, столяры, башмачники, которых изделия по правде соперничали с петербургскими. Главою и двигателем всего этого был, бесспорно, Николай Бестужев. У него были золотые руки, и все, к чему он их ни прикладывал, ему удавалось. Он был отличный писатель, астроном, поверял и чинил наши часы, устроил в нашем дворе *солнечные*, по которым и Лепарский поверял свои карманные. Вскоре товарищи возделали свой собственный огород на отведенном поле — и тут без Бестужева не обошлось: он придумал и устроил *поливательную машину*. В свободное время он снял все наши портреты и даже самого Лепарского, который ему и подарил.

В Сибири, как известно, морозы бывают ранние: в октябре земля до того замерзает, что земляные работы поневоле прекращаются, и Лепарский, следуя буквально инструкции, придумал нам другую. Он устроил в особенном теплом сарае 20 ручных жерновов, и нас посылали мо-

* М. В. Юзефович: А куда же в это время девался гр. Бенкендорф?

лоть муку, по 1 1/2 пуда утром и 1 1/2 вечером. Так как многие из нас и этой простой работы не понимали, то Лепарский приставил к нам двух сильных мужиков из каторжников, которые почти одни справлялись с этим делом и с нас получали плату. Это были два поселенца, клейменые и кончившие свой термин наказания. На наши деньги они выкупились из каторжной работы, заплатив доктору, который дал им свидетельство в неспособности к работе. Сделавшись поселянами*, они приходили нас благодарить и часто просили, нельзя ли уничтожить как-нибудь позорные клейма, но Вольф нашел это невозможным.

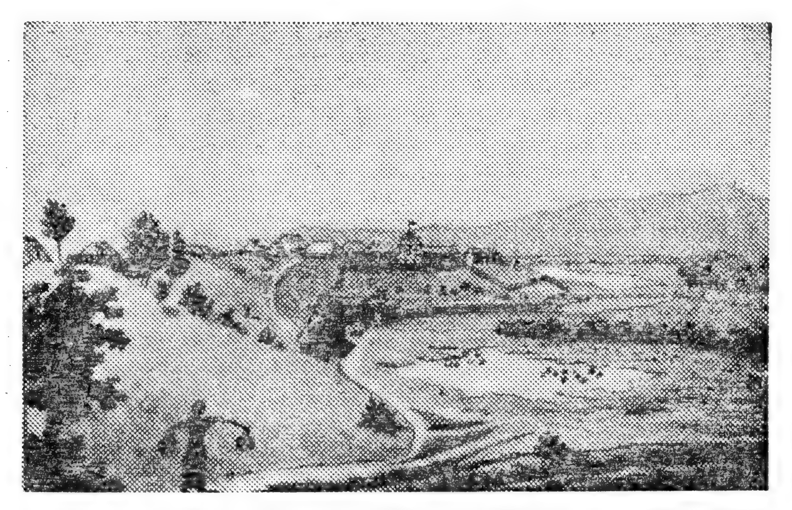
Дамы наши чрезвычайно полюбили старика нашего Лепарского и уважали его глубоко, хотя часто тревожили его и мучили просьбами неисполнимыми. Уж ежели, бывало, пригласят они коменданта к себе, то, наверное, для того, чтоб просить что-нибудь для мужа, а Лепарский между тем ни разу не позволил себе преступить законов *тонкой* вежливости и постоянно являлся к ним в мундире, так что однажды Муравьева заметила ему это, а он простодушно отвечал: «Сударыня, разве я мог бы явиться к вам в сюртуке в вашу гостиную в Петербурге?»

Лепарский всех наших дам уважал, как благовоспитанный человек, но, кроме того, постоянно старался не обижать щекотливого положения их и часто в шутку говаривал, что [лучше] желает иметь дело с 300 государственными преступниками, чем 10 их женами. «Для них у меня нет закона, и я часто поступаю против инструкции», — прибавлял он.

Однажды нас собрали всех в нашу столовую, то есть в один из больших номеров, и Лепарский пришел в мундире и при оружии, значит, не по-домашнему. «Господа, — обратился он к нам, — я с радостью поспешил сюда, чтоб объявить вам, что получил высочайшее повеление снять с вас оковы», — и, обратившись к плацмаиору, приказал собрать железа и доставить в казенный цейхгауз. Инвалиды принялись исполнять приказание, а каждый из нас оставил себе на память кольцо; из [этих

---

* М. В. Юзефович: Как же выше сказано, что они кончили свой срок наказания и были поселенцы? В то время, когда они работали у вас, они были еще каторжниками, а потому предыдущее следует исключить.



ВИД ЧИТЫ ИЗ-ПОД ГОРЫ

Н. А. Бестужев. Акварель. 1829—1830 гг.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

колец][112] со временем искусник Бестужев понаделал крестиков в память грустного времени.

И в этой милости царской, ежели ее можно так назвать, была видна какая-то нерешительность и свойственность[9] правительства. После мы узнали, что приказ снять с нас железа был дан полгода тому назад, но с ограничением: велено было снять с тех только, кого Лепарский найдет достойным этого облегчения. Конечно, благородный Лепарский тотчас же отвечал в Петербург, что считает нас всех достойными этого облегчения и не видит побудительной причины при явной одинаковой вине нашей с одних снимать, [а] с других не снимать. Но покуда эта переписка длилась, мы проходили лишних месяцев 6 в цепях. Впрочем, мы привыкли уже к нашим оковам.

Наконец-то приехали из Петербурга с планами и сметами инженеры для устройства, сообща с Лепарским, государственной тюрьмы для нас. Странное стечение обстоятельств! Планы и сметы утверждены в Петербурге в один и тот же день, как подписан мир с Турциею в Адрианополе! Итак, по всему видно, нам решительно приходится кончать век наш в заточении и переходить из одной тюрь-

мы в другую, а многим из нас еще нужно доживать свои длинные годы ссылки в Сибири — кому 20 лет, кому 18, кому 15, а мне 4, ибо я прожил в Чите четыре года, да нам сбавлено по году при рождении в[ел.] к[нязя] Михаила Николаевича. Так, молодому Захару Чернышеву по этому случаю удалось сократить свою каторжную работу на срок менее года, и он сослан был на поселение в Якутск. Тут, видимо, действовало провидение, потому что З. Чернышев и сослан-то был только по проискам родственника своего Александра Ивановича*, рассчитывавшего на его 20 000 душ наследства. Но председатель Государственного совета Николай Семенович Мордвинов**[113] отстоял законных, прямых, ближайших родственников и присудил состояние старшей сестре Захара Чернышева, бывшей замужем за Кругликовым. Тогда же она получила указ именоваться впредь графинею Чернышевой-Кругликовой. Известная своим влиянием в то время на петербургское общество старуха Наталия Кирилловна Загряжская, из дому Разумовских[114], не приняла генерала Чернышева к себе и закрыла для него навсегда свои двери, да и весь Петербург радовался справедливому решению. Они же были так редки, да и их мог произносить только такой человек, каким был Мордвинов.

Скоро комендант наш с инженерами поехал в Петровский завод для выбора места для нашей тюрьмы. Петровский завод ближе к Иркутску 700 верстами и дальше от Нерчинска и варвара Бурнашева[115]. И за то благодарение богу! Скоро место было избрано, постройки начались, и я в своем месте опишу нашу тюрьму. У меня хранится план этого заведения[9], снятый Бестужевым, а фотография общего вида, снятая впоследствии, конечно, украшает стену моего кабинета. Говорили, что целый лес был вырублен в продолжение полутора года для построения нашей тюрьмы и 1000 работников приложили к нему свои искусные руки. Все это делалось втайне от нас, но дамы наши успели уже все узнать, а А. Гр. Муравьева, пригласив к себе главного инженера-строителя, даже вручила ему сумму, кажется до 10 000 руб., для одновременного

---

* М. В. Юзефович: Между ними не было никакого родства.

** М. В. Юзефович: Мордвинов никогда не был председателем Государственного совета [замечание позже стерто и с трудом поддается прочтению. — М. Н.].

построения и для нее удобного помещения возле тюрьмы, с библиотекой, биллиардной и детской, потому что бог дал ей в это время дочь.

Глава XIII

Переход на Петровский завод. — Случай с Волконскими. — Мнение бурят о причине нашей ссылки. — Новый острог. — Смерть А. Г. Муравьевой

Так или иначе дождались мы наконец до вожделенного дня, когда получен был наш маршрут на следование в Петровский завод. Переходы были рассчитаны с дневками, но нам запрещено было останавливаться в деревнях. Правительство боялось, верно, что мы заразим жителей либерализмом... 20 августа был днем нашего переселения, но когда мы пустились в путь, нам стало жаль нашей Читы, где мы уже попривыкли и обжились. Наши поселенки должны были побросать свои жилища, свое хозяйство, а Е. П. Нарышкина продала свой домик за 2 головы сахару. Они поехали в Петровский завод прежде нас, чтоб приготовить для своих мужей все необходимое. Нарышкина уехала в четвероместной карете в 10 лошадей, Муравьева и прочие за ней последовали, и только бедная Волконская, быв на сносе, волею и неволею должна была на некоторое время оставаться в Чите без мужа и без доктора, которых комендант не мог ей оставить. На руках у попадьи, у которой нанимала квартиру, эта мужественная женщина осталась одна и имела столько характера, что до последней минуты утешала еще своего мужа.

День нашего выступления был пасмурен и дождлив. Жители провожали нас до плота, устроенного на реке Стрелке, бывшей в то время в разливе. Наша колонна разделена была на две партии: первую сопровождал Лепарский в тарантасе с Вольфом, вторую, в которой и я находился, вел племянник его, плац-маиор Лепарский. Шествие наше было радостное, почти торжественное; дорогой восхищались мы свободой, природой, рвали полевые цветы, могущие украшать любую петербургскую оранжерею. На ночлегах нам заранее выставлялось несколько бурятских юрт. Кухня с почтенным хозяином нашим Розеном всегда была впереди. Погода сделалась прекрасною, и Лепарский всегда умел располагать нашу стоянку на привлекательнейших местах, на берегу реки или ручья.

Целые полки бурят сопровождали Лепарского как дивизионного начальника, а потому шум, суета нас не оставляли ни на минуту.

На одном переходе мы встретили отличную коляску, запряженную шестериком, с бурятом в лисьей шапке на козлах и с двумя таковыми же бурятами на запятках. В коляске сидел мальчик в шелковой зеленой шубе, в шапочке, отороченной бобровым мехом и украшенной наверху голубыми шариками из стекляруса, вроде короны. На боку его болталась сабля с серебряным темляком, а на шее — золотая медаль на анненской ленте. Нам сказали, что это сын хана, его прямой наследник и начальник бурят, которых считается до 60 000 человек. Он сопровождал нас верхом на небольшой серенькой лошадке. На одной дневке он дал нам презанимательное представление, приказав выпустить на равнине оленя и пустившись со своими за ним вдогонку. Искусно пущенные стрелы свалили прекрасное животное, и оно попало к нам на кухню.

Разные упражнения довершили праздник, а юноша подъехал к нашей толпе, как бы выжидая награды, и мы отблагодарили его несколькими фунтами табаку, которыми он очень, кажется, остался доволен.

На дневках дикие буряты постоянно были с нами и напряженно следили за игрою в шахматы. Раз один из наших игроков уступил ему свое место, и бурят стал играть с Трубецким, — к удивлению нашему, отлично. Известно, что игра эта перенесена в Европу из Китая и Монголии и ведется так же, как и у нас, с тою разницею, что королева ходит, как наш конь[116], и вместо нашей туры у них слон. Буряту, сильно нападавшему на Трубецкого, который начал рокировать, очень не понравилась эта манера игры, и он, в знак неудовольствия, качал головою, однако выиграл партию. На другой день я искал этого славного игрока, чтоб снова с ним сразиться, и с огорчением узнал, что он лежит больной, получив за какой-то неважный проступок от своего хана пятьдесят плетей.

Не помню где-то дорогою нас встретил фельдъегерь из Петербурга. Для нас, отверженных, всякое малейшее происшествие, случай — эпоха. Пошли догадки: зачем? за кем? Облегчение ли нашей участи привез он, а может быть, кого-нибудь из нас схватят и увезут так, что и следа по нем не останется? На этот раз этот посланный был вестником мира, ибо, хотя и взял из среды нашей Волкон-

ского по высочайшему повелению, но с тем, чтоб отвезти его обратно в Читу к жене в родах. Причиной такой внимательности царской было вот что, как мы узнали впоследствии: мать Волконского, первая статс-дама при дворе, жила в самом дворце — на ее дочери женат к[н]. Петр Михайлович Волконский — и пользовалась постоянно особенным вниманием всей царской фамилии. Узнав однажды, что при переселении нашем из Читы в Петровский завод невестка [ее], а супруга ее сына, беременная оставлена одна на произвол случайностей и разлучена с мужем, старуха так возмущена была этой неуместной строгостью, что не вышла к столу царскому. Государь заметил, само собой разумеется, ее отсутствие, спросил о причине неудовольствия княгини и, узнав, в ту же минуту отправил нарочного в Сибирь с приказанием оставить Волконского при больной жене. Фельдъегерь сделал это путешествие в 16 суток, и бедная княгиня успокоилась.

Так подвигались мы к месту нашего вечного заключения*. Хотя на дворе был август месяц, но богатая сибирская флора щедро рассыпала свои дары, и мы, как бы прогуливаясь в роскошном саду, собирали дорогой превосходные букеты, а ученый Вольф ботанизировал. На ночлегах тешились мы окружающими бурятами и кормили их нашей европейской кухней, от которой они были в восторге, а в особенности с жадностью ели всякий жир.

Однажды кто-то спросил одного из этих дикарей, знает ли он, за что мы сосланы, и он отвечал: «Знай... султан — так», — и провел ладонью по шее... «Совсем не так, — отвечал ему вопрошатель, — мы хотели, чтоб всякий бурят был равный с ханом и генерал-губернатором перед законом!» Бурят ничего не понял, конечно, и бессмысленно улыбнулся только...

На последней станции к Петровскому заводу нас встретили, смешались с нами и проходили в нашей толпе богато одетые крестьяне.

— Бывали ли вы в Петровском заводе, ребята?

— Как не бывать, мы там плотничали...

— Хорошо ли нам там будет?...

---

* М. В. Юзефович: Не видать, как вы шествовали: пешком или на подводах? Не худо бы объяснить это в своем месте, т. е. в начале рассказа о выбытии из Читы.

Декабрист П. Н. Свистунов: Шли пешком.

— Ох, господа, худо: строение без окон...
— Как без окон?..
— Казематы, что мы строили, без окон... мы и сами удивлялись, когда строили. Что, мол, это за порядки? Но нам сказали, что так план прислан из Питера.

Рассказ этот сильно нас опечалил, и мы в раздумье сделали последние версты нашего длинного пути.

С небольшого возвышения нам открылся, наконец, Петровский завод с казармами и огромное, длинное строение с красной крышей и многими белыми трубами. Здание походило на конюшню для жеребцов и было нашею Prison d'Etât*. У ворот здания мы сошлись с первою партиею под начальством Лепарского.

Ворота тяжело скрипели на петлях, когда один из наших товарищей, держа лист иностранной газеты, громко объявил нам, что во Франции — революция, что Карл X бежал в Англию, а мы, как бы сговорившись, толпой[117] двинулись в нашу темницу с песнею la marseillaise**.

Каждый искал себе удобного номера и хорошего соседа по вкусу и наклонностям. Я вошел в № 12 и решился там основаться. Луч света едва прокрадывался из окна в коридор против моей кельи. Жилище мое — совершенный чулан, ни кровати, ни стула, ни стола. Недолго думая, я собрал свой скарб, сложил в углу и по-солдатски лег спать с мыслию, что утро вечера мудренее и оно, может быть, научит меня, как лучше устроиться здесь еще на 5 лет. Какая перспектива!..

А. Г. Муравьева нашла свой домик готовым и ночевала уже в нем; Трубецкая, Нарышкина, Волконская, Давыдова и проч. также понастроили себе хорошеньких домиков, и опять образовалась европейская колония. Между сосланными не нашей категории нашлись мастеровые разного рода и за хорошую плату скоро снабдили нас всем необходимым. Помню, из них много было дворовых людей аракчеевских, [сосланных] за убийство его любовницы.

Эти люди рассказывали нам такие ужасы про своего прежнего господина, что сердце, бывало, содрогается.

На другой день мы осмотрелись, — и вот описание нашего острога: он был построен четырехугольником по 1/4 версты в каждом фасе и внутри был разделен на четыре отдела высоким частоколом с воротами, так что мы могли

* Государственной тюрьмой (франц.).
** Марсельеза (франц.).

внутри сообщаться*. Одно из сих отделений предназначалось для женатых, [но жены], однако ж, как я сказал, не жили в остроге, имея свои дома, но приходили на целые дни, чтоб проводить их с мужьями, и зачастую приглашали кого-либо из нас к своим обедам.

Прислугу не впускали в ограду нашей тюрьмы, и дамы наши с помощью нас сами приносили все нужное для трапезы, а мы им помогали. Кельи их были убраны коврами, картинами и роялями, на которых часто раздавались звуки Россини или романсы Бланжини[118] и потрясали длинные, мрачные коридоры наши. Говорят, что когда в Петербурге в высшем обществе узнали, что мы живем в темных тюрьмах, то общее мнение громко обвиняло правительство за бесчеловечное с нами обращение, и будто бы государь, уведомленный об этом Бенкендорфом, тотчас же разрешил прорубить для нас окна, что вскоре в самом деле и было сделано. Но как? Окна, по повелению из Петербурга и по тамошним планам, были сделаны узкие и под самым почти потолком, а решетки все же много отнимали света, особенно у людей, занимающихся рисованием. Помню, что Бестужев срисовал во многих [экземплярах] наше печальное жилище, и рисунки его рассеялись по всей России и даже попали к императрице, которая просила чрез 3-е отделение доставить ей виды жилищ наших дам и вклеила их в свой альбом**.

Однообразно текло время нашего заключения, и приближался срок для некоторых, окончивших его. Я был в числе тех, которые из первых оставили Петровский завод. В самый день конца каторги нашего разряда курьер привез повеление к тайному советнику Лавинскому отправить нас в Иркутск и оттуда на поселенье по распоряжению губернатора Цейдлера. Нам дали две недели сроку на отдых и сборы. Признаюсь, что радость наша была велика и совершенно неожиданна, так как мы ожидали нашего поселения только через год и не знали, что наш срок сокращен по случаю рождения в[ел]. к[н]. Михаила Николаевича. Я был в тот день с визитом у товарища своего Лунина и там узнал об ожидающей меня перемене.

---

* М. В. Юзефович: Тут для полноты описания не худо было бы упомянуть, что помещения были без окон и каким способом они освещались.

** Возле этого места замечание редакции «Русского архива»: «Императрица была добрая женщина, а царь не позволил».

За несколько времени перед сим маленькое общество наше было поражено смертью общей нашей благодетельницы А. Г. Муравьевой. Она была первой жертвой, выхваченной неумолимым роком из среды нас... Нежная женщина эта, с восприимчивым характером, во все продолжение и исполнение своего супружеского долга постоянно тревожилась за мужа, за брата его и за детей своих, оставленных в России, и даже за всех нас. Не вынесло слабое тело, и, несмотря на попечение Вольфа, после 20 дней страдания сильная волею Муравьева скончалась.

Чувствуя приближение смерти своей, она просила священника, и когда тот немного громко стал говорить с ней, она просила его говорить тише, чтоб не разбудить малютки, которую она не в силах была уже приласкать...

В последние минуты она просила Трубецкую написать свое желание быть похороненной подле отца в фамильном склепе и твердою рукою подписала свое завещание...

Через несколько минут, держа руки мужа и брата его в своих хладеющих руках, она закрыла глаза со словами: «Боже, как там хорошо!» — и оставила нас навеки...

Кончина добродетельной женщины этой сильно нас всех поразила, и в эту печальную ночь никто из нас не сомкнул глаз, мы бродили из угла в угол, как отуманенные...

Бестужев, золотой человек, занялся устройством гроба, обил его белой тафтой и по желанию мужа, в надежде, что позволят перевезти прах его жены в Россию, даже отправился с позволения коменданта на завод и там своими руками отлил свинцовый гроб.

Между тем плац-адъютант разбудил каторжных простого звания и пригласил заняться оттаиванием земли (в Сибири в ноябре это уже необходимо) и устройством могилы, обещая им хорошую плату. Рабочие единогласно вскричали: «Не возьмем ничего, это была мать наша, она нас кормила, одевала... а теперь мы осиротели. Идем без платы!» Комендант позволил нам ходить по очереди на панихиды, и когда я пришел на последнее отпевание, то помню, что муж ее и брат стояли в головах и первый до того убит был горем, что поседел в эти дни страшно. А[лександра] Г[ригорьевна] лежала в гробу с тою же ангельскою улыбкою, которою встречала нас ежедневно. Дамы наши в черном (впрочем, они других платьев и не носили) окружали гроб покойной своей достойной под-

руги. На руках наших понесли мы останки на Петровское кладбище, за две версты от острога. Когда печальная процессия поравнялась с домом Лепарского, он вышел и искренно отдал земной поклон усопшей, общей благодетельнице. У могилы деревянный гроб поставили в свинцовый, опустили в замерзшую землю... Предсмертного желания ее не исполнили... Из Петербурга отказано — и прах добродетельной женщины покоится и доднесь в снегах Сибири.

Скоро Бестужев же сделал сначала модель, а потом поставил памятник из камня, который и доныне стоит на Петровском заводе. Под сим же памятником похоронены и двое детей ее. Никита Муравьев скончался на поселении, в деревушке[119] Иркутской губернии и таким образом проведя всю жизнь свою с женою, разрознен с нею только по смерти... Да и то телесно. Души их, вероятно, витают в селениях горних. При нем в последнее время оставалась одна дочь, которую мать называла Нонушкой (Nono). Бедную сиротку взяли к себе родные в Петербург, и правительство определило [ее] в Екатерининский институт под именем Никитиной. Она теперь замужем за Бибиковым и проживает в Петербурге...

Глава XIV

Отправление на поселение. — Распределение мест. — Мертвый Култук. — Расставание с Нарышкиными. — Новые хозяева. Мой личарда Карл. — Мрачные мысли. — Разговор о варнаках. — Внезапная радость — письмо Е. П. Нарышкиной. — Отъезд в Иркутск

Когда наступил день нашего отправления на поселение, мы пошли проститься с Лепарским, который был чрезвычайно растроган и, прощаясь с нами, отчаивался когда-либо с нами увидеться и много извинялся, что не мог более облегчить нашей судьбы. Добрый старик! В нескольких санях отъезжали мы от стен нашего заточения, провожаемые остающимися товарищами. Невыразимая тоска сосала мою душу.

На первом ночлеге, перед отправлением нашим в далекий путь, утром я вышел из дому, который мы занимали, и увидел толпу крестьян в праздничной одежде. Я подошел к толпе, и мужички поздравили меня с каким-то праздником и с счастливым окончанием моей каторги, а также осведомились: «Скоро ли проедут Трубичиха и На-

рынзиха?» — коверкая имена Трубецкой и Нарышкиной. В этой-то толпе здоровых лиц с окладистыми бородами меня поразило длинное худое лицо человека в нанковом сюртучке. Я подошел к нему с вопросом, кто он такой, и, к удивлению своему, получил ответ на чистом французском языке:

— Je suis français, monsieur!

— Votre nom?

— Champagne de Normandie, monsieur. L'empereur Paul m'a envoyé ici, il y a 40 ans. Soyez bon, monsieur, donnez moi quelques sous!*[120]

С помощью товарищей своих я собрал небольшую сумму и вручил ее несчастному иностранцу. Но помощь моя не пошла впрок, потому что крестьяне мне тогда же объявили, что он ее пропьет, а при нашем отправлении я в самом деле увидел уже того господина с заложенными в пальто руками, бежавшего куда-то и на вопрос мой: «Comment ça va, m-r Champagne?»** отвечавшего мне: «Tout doucement, monsieur, je m'en vais au кабачок!» — Adieu, m-r Champagne de Normandie!***

Несчастный человек, оставлен на произвол судьбы!

Скоро мы проскакали расстояние, отделяющее нас от Иркутска, переехали окованный льдом Байкал, миновали заставу и очутились уже не в остроге, а в теплой квартире, для нас приготовленной. Городничий объявил нам, что скоро нас посетит генерал-губернатор Лавинский, а мы в ожидании его привели немного в порядок нашу наружность и стали походить немного на джентльменов. Г. Лавинский, которого я тут первый раз увидел, был мужчина видный, большого роста, с открытой физиономией, внушающей доверие.

— Господа, — сказал он нам после первого с нами знакомства, — я должен был бросить жребий между вами, чтоб назначить, кому где жить. Ежели б правительство предоставило мне это распоряжение, я, конечно, поместил бы вас по городам и местечкам, но повелением из Петер-

---

* Я француз, сударь. — Ваше имя? — Шампань де Норманди, сударь. Император Павел сослал меня сюда 40 лет тому назад. Будьте добры, сударь, дайте мне несколько су (франц.).

** Как дела, г-н Шампань? (франц.).

*** Ничего себе, сударь, я иду в кабачок. — Прощайте, г-н Шампань де Норманди! (франц.).

бурга мне указывают места. Там совсем не знают Сибири и довольствуются тем, что раскидывают карту, отыщут точку, при которой написано «заштатный город», и думают, что это в самом деле город, а он вовсе и не существует. Пустошь и снега. Кроме этого, мне запрещено селить вас вместе, даже двоих, и братья должны быть разрознены. Где же набрать в Сибири так много удобных мест для поселения? Кто из вас, господа, Лорер?

Я выступил вперед.

— Вам досталось по жребию нехорошее местечко — Мертвый Култук, за Байкалом. Там живут одни тунгусы и самоеды*, и ежели вы найдете там рубленую избу, то можете считать себя счастливым. Впрочем, в утешение ваше, скажу, ежели вы любитель природы, что местоположение там очаровательное и самое романическое.

— Ваше превосходительство, — отвечал я, устрашенный ожидавшей меня участью, — красоты природы могут занимать и утешать свободного путешественника — туриста, но мне приходится кончать там свой век безвыездно.

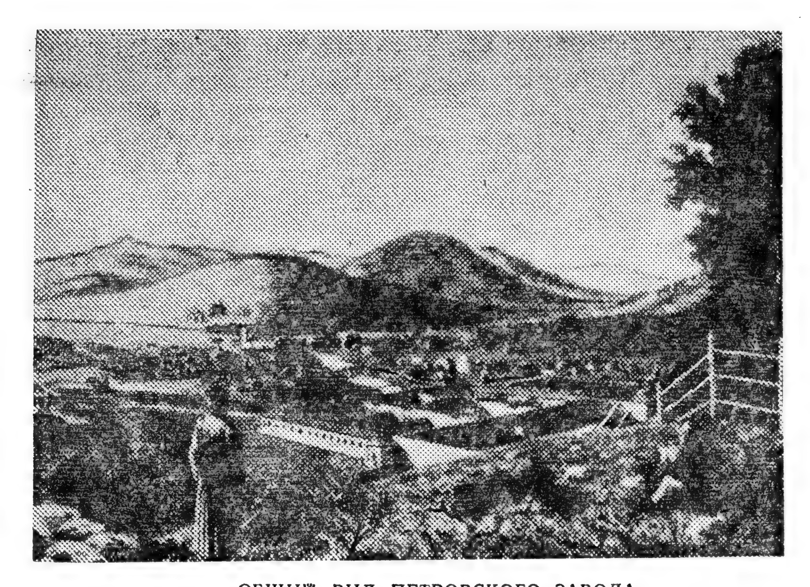
Лавинский уверил меня, что уже писал в Петербург и просил разрешения поместить меня в другом месте, а покуда советовал мне не хмуриться, не отчаиваться и ехать. Так как иначе нельзя было сделать, то мы и покорились нашей участи и только просили генерал-губернатора остаться подолее в городе и осмотреть его достопримечательности, на что он и согласился.

Нигде не случалось мне слышать такого чистого звона колоколов, как в Иркутске, и я думаю, что это оттого, что воздух при 39 градусах мороза был очень чист и твердь небесная яркого голубого цвета. Мы побывали в церквах и позапаслись необходимыми вещами.

Скоро настало время расставанья с товарищами ссылки. В особенности жалко было двух братьев Беляевых, которые росли, служили вместе и, никогда не расставаясь друг с другом, были связаны теснейшей дружбой. Где, бывало, встретитесь вы с Александром, там наверное увидите и Петра. Эти братья-друзья должны были расстаться: одного ссылали за 1000 верст в одну сторону, другого — за 600 в другую...Я провожал их до заставы, где братья, обнявшись, может быть, и последний раз в сем

---

* Декабрист П. Н. Свистунов: Буряты, а не тунгусы и самоеды.



ОБЩИЙ ВИД ПЕТРОВСКОГО ЗАВОДА

Копия с акварели Н. А. Бестужева 1830-х гг., сделанная В. В. Давыдовым (сыном декабриста), 1870 г. Масло
Государственный Эрмитаж, Ленинград

мире, повалились каждый отдельно в сани и были увезены неумолимыми казаками...

На другой день я был у гражданского губернатора Цейдлера с просьбою не отправлять меня в Мертвый Култук до приезда Нарышкина с супругой, которых ожидали. Мне позволили это, и я остался один-одинешенек. От скуки я бродил по городу без цели, ходил смотреть Ангару, которая очень быстра, но так чиста, что на дне можно было видеть каждый камушек*. Однажды наткнулся я на старика в нагольном тулупе, предлагавшего мне купить нюхательного табаку. Я зазвал его к себе на квартиру и, делая приобретение, спросил его:

— Не отставной ли ты солдат?

— Нет, батюшка, я не солдат, я граф Каховский, иг-

* М. В. Юзефович: Не худо объяснить во избежание недоумения, почему в эту пору, когда Байкал окован льдом, Ангара была незамерзшею.

рывал часто с матушкой Екатериной в ломбер и по милости светлейшего Потемкина сюда сослан давненько. И вот шатаюсь с табачком для своего прокормления...

Впоследствии я узнал, что все рассказанное мне стариком была правда, но что он изредка заговаривается, и вот причина, по которой его не возвратили в Россию ни по одному всемилостивейшему манифесту, которых было довольно с тех пор!

Наконец, приехали Нарышкины и усладили несколько мое одиночество, хотя ненадолго, ибо им лежал другой путь, нежели мне. Им назначен для поселения Селенгинск, в 1000 верстах от меня. Лавинский сделал им визит, ибо был знаком с П[етром] Петровичем Коновницыным в 1812 году, когда сам Лавинский исправлял должность виленского губернатора.

Наступил и мой день отправления. По совету губернатора я сделал необходимые закупки и обзавелся чаем, сахаром, мукой, свечьми, горшками, топором, веревками, так что обзаведение мое стоило мне более 200 рублей ассигнациями. Друзья мои Нарышкины снабдили меня даже предметами роскоши, и я помню, что мне подарили пару серебряных подсвечников и даже коробочку курительных свечей, не забыли снабдить меня и книгами...

Бродивши по городу, я опять сделал счастливую встречу. В одной из лавок ко мне подошел человек, по выговору должен быть немец, и, узнав, что я собираюсь в дорогу, предложил наняться ко мне в услужение. Я узнал, что он был рижский уроженец, кистер по ремеслу и, быв давно сослан на поселение за какое-то пустяшное дело, остался навсегда в Сибири. Обрадовавшись этой находке, я просил у Лавинского позволения взять его к себе, на что губернатор мне отвечал, что хотя нам всем запрещено иметь при себе прислугу, но что он для меня делает исключение и позволяет держать немца при себе в виде дворника и велит выдать ему билет. Мы условились с немцем, и я пошел проститься с моими друзьями Нарышкиными, может быть навечно. Елизавета Петровна благословила меня образком, который надела мне на шею... В слезах расцеловал я их, уселся в сани с молодым казаком, который должен был доставить меня до Мертвого Култука, взгромоздил моего немца с моими вещами на другие сани и поскакал в дикий, пустынный край.

Мой провожатый казак был добрый малый и очень

разговорчивый. На первых же порах он высказал мне, что очень радуется, что ему удалось делать этот путь зимою, потому что летом дорога делается невыносимою, или, лучше сказать, невозможною; что будто бы часто случается, что медведи ложатся поперек дороги. Говорил он мне, что даже однажды подобные незваные-непрошеные гости заставили кяхтинскую почту вернуться в Иркутск, и проч. басни.

— Бывал ли ты в Култуке? — спросил я.

— Нет, я не бывал, а товарищи бывали и рассказывали, что там одна только рубленая избенка — звероловa-промышленника; не знаю, есть ли теперь, а прежде была...

Скоро проехали мы бедную деревушку, где переменили лошадей, и мой казак сказал мне, что и она кому-то назначена на жительство из наших. «Ведь есть же счастливцы, которым достаются подобные места», — подумал я, представляя себе страшный свой Култук. Места, по которым мы проезжали, представляли почти всюду сплошной, вековой лес, с узенькой тропинкой, едва приметной... На одном совершенно неожиданном повороте я увидел беленький домик, обнесенный обвалившимся частоколом, с выбитыми рамами и стеклами, явно европейской конструкции, и узнал, что тут поселен был когда-то какой-то ссыльный, но что в одну ночь его схватили и увезли, а с тех пор домик разваливается без присмотра...

Все тем же лесом стали мы подыматься в гору; мороз был страшный, и я побаивался за моего нового слугу немца. На рассвете на одном из перевалов я увидел впереди высокий хребет гор и узнал, что горы эти называются Хамар-Дабан и составляют границу нашу с Китаем. Мы стали спускаться, лес редел. Вправо блестел замерзший Байкал, и в ногах наших далеко внизу открылся Мертвый Култук, т. е. с десяток шалашей, служащих жилищем тунгусам, самоедам и поселенцам. С шумом подъехали мы к единственной избе Мертвого Култука, и хозяин ее вышел нам навстречу на крылечко. Бодрый старик, заложив руки за пояс, смотрел с удивлением на новопришельцев. Поздоровавшись с ним, я просил у него позволения нанять у него помещение.

— Изволь, барин, могу уступить тебе половину. В другой я сам мещусь с своею старухою.

— Что возьмешь в месяц?

— 5 рублев.

Я так прозяб, что рад был такой добросовестной цене. Сговорились, и я вошел в теплую[121] избушку, благодаря судьбу, что не проведу ни одной ночи под открытым небом или, что еще хуже, в грязной юрте. Комнатка, мне отведенная, была очень чистенькая, хотя чрезвычайно мала. Столик покрыт чистым полотенцем, кругом красные лавки, в углу образа; окна маленькие, и вместо стекла слюда и пузырь, как и во всем почти здешнем крае, потому что хрупкое стекло не выдерживает 40 градусов морозу. Когда мой скарб был внесен, то комнатка так загромоздилась, что в ней повернуться трудно было. Я начал раскладываться, устраиваться; на столике появились серебряные подсвечники со свечами, чернильница, бумаги, книги. Походный самовар скоро закипел, нарубили сахару, и мы с хозяином моим, казаком и немцем отогрели несколько наши кости. Я завернулся в свою шинель и предался мечтам... Итак, придется мне доживать весь мой век в этом медвежьем уголке, одному, отделенному 7 тыс. верст от родины, друзей, знакомых. Я отчаивался, а мой личарда Карл возился с моими пожитками и приводил их в порядок. «Ведь и он отделен от своей семьи, родины, а вот не унывает», — подумал я и тотчас же спросил его:

— Скажи мне, пожалуйста, любезный Карл, отчего ты работаешь, а я лежу, тогда как мы равны, — и ты и я оба сосланы?

— Ja, Herr, ich weiss nicht*.

— А я тебе скажу немецкую пословицу: «Ich hab'das Geld und du hast den Beutel!»** — вот отчего, я думаю.

Карл смеялся моей пословице и, вероятно, соглашался с ней, думая: «Да, будь у меня деньги, а у тебя кошелек, то мы переменились бы ролями, и г. бывший маиор чистил бы мне сапоги и наставлял самовар, а я бы лежал...» Усталость скоро взяла свое, и мы все очень крепко уснули.

Наутро мрачные мысли стали снова мною овладевать, несмотря на то что я, сравнивая себя с Робинзоном Крузо, находил себя счастливее его, потому что, по крайней мере, имел при себе немца, живое существо, с которым

* Да, сударь, я не знаю (нем.).

** У меня деньги, а у тебя кошелек (нем.).

мог делить время, тогда как обитатель пустынного острова должен был довольствоваться одной козой. Утром я выполз из моего уголка и с крыльца хотел дать себе отчет о той точке земли, куда меня забросила судьба моя.

Култук окружен горами и скалами. Колоссальный Хамар-Дабан угрюмо высится над высотами, у подножия которых, на берегу Байкала, приютился скромный уголок наш. Ни в каком календаре, ни на одной карте Азии, ни в Annales des voyages вы не ищите Мертвого Култука: это брошенный, забытый кусок земли. Одни тунгусы, бог знает как, его обрели и за то, бог знает как, в нем прозябают без хлеба...

Не знаю отчего, но может быть, от угара, у меня сильно разболелась голова, и я весь был в жару. Возвратившись на свою скамью, я вскоре обрадован был приходом моего словоохотливого хозяина, который присел ко мне, видимо желая со мной побеседовать.

— Что скажешь, старик, — начал я.

— Да что, барин, — старуха моя сильно по тебе сокрушается, жалеет тебя, говорит, такой, мол, ласковый, добрый барин; за какие вины могли его сослать сюда? Мы живем здесь 44 года, император Павел был строгий царь, многих сослал в Сибирь, а в Култук ни одного не сослал. Старуха моя верить не хочет, чтобы ты был какой-нибудь важный преступник. Ну, да не в этом дело, старуха моя заботится о тебе, как ты проведешь здесь лето один-то? Ведь мы уходим в леса по соболей и завсегда оставляем избу свою пустою, разве для варнаков (так в Сибири называют каторжников) оставим муки, хлебушка, а они весною, как хищные звери, идут толпами с Яблонового хребта, жгут деревни, грабят и убивают людей. Правительство высылает против них бурят и платит за каждую голову по 10 рублей ассигнациями, да всех не изведешь. Ну, как же ты останешься здесь один с своим немцем? Ведь они тебя убьют, когда узнают, что ты богат!

— Зачем же вы оставляете этим разбойникам хлеб в ваших домах?

— А для того, чтоб их умилостивить, и за то они не жгут наших домов, барин.

— Ну, в таком случае, любезный хозяин, и я пойду с тобой соболей ловить и тебе помогать; все же лучше, чем быть зарезанным, как баран.

— Мы думали об этом со старухой, только там тебе будет больно нехорошо, еще хуже, чем здесь. Там в болотах такая мошка, муха, овод. Мы люди привычные, а и то надеваем личину: без нее заедят. Так проходит лето и осень, а к зиме мы опять домой... Изба цела, и старуха опять ее вычистит, вымоет, выскоблит. Эти разбойники завсегда ее запакостят. За зиму, покуда я съезжу в Иркутск с мехами, заплачу подать царю, запасусь на зиму припасами, а избенка-то и готова. Так вот из году в год вот уж 40 лет живем мы здесь.

Этот простой рассказ показал мне во всей страшной наготе мою будущую жизнь. Ну как, в самом деле, я буду защищаться, когда у меня никакого оружия при себе нет за исключением перочинного ножа? Да и возможно ли защищаться одному против толпы? Буряты, правда, ведут с шайками варнаков правильную войну, делают на них облавы и стрелами убивают многих, но у меня и этого нет. Я крепко занят был моею будущностью.

На другое утро казак мой должен был возвратиться в Иркутск, я дал ему письмо к Нарышкину и подарил 10 рублей в знак благодарности за труды его при мне. С отъездом его я остался еще более сиротою. Скоро я потерял аппетит: ни одна книга меня не занимала, и шепот и урчание кипящего самовара одно развлекало меня.

Так длилось трое суток. Однажды сидел я вечером пред своим маленьким столиком грустный, задумчивый, по обыкновению. На дворе было морозно, но тихо, и только изредка лаяли собаки моего хозяина, чуя зверя. На моих часах было 9, как вдруг слух мой был поражен звуком заливающегося колокольчика и криком ямщика, погонявшего лошадей. Хозяин мой вошел ко мне в комнату и сказал, что с горы катит кто-то. «Уж не заседатель ли едет удостовериться, тут ли я, чтоб донести начальству?» — подумал я. Но вот сани остановились у нашей избы; я слышу стук сабли, двери отворяются, и вбегает ко мне мой провожатый, молодой казак, недавно меня оставивший.

— Николай Иванович, собирайтесь, вот вам письмо, едем в Иркутск.

Что? Как? Я обезумел от радости, от неожиданности. Дрожащей рукой распечатал я записку, карандашом написанную; она была от Елизаветы Петровны Нарышкиной... Я сохранил ее, вот она:

Cher N... venez au plus vite possible, nous allons vivre tranquillement a Kourghane (dans le gouvernement de Tobolsk), 4 mille verstes plus près de notre Patrie!»*.

Хотя была ночь, но я приказал сию минуту же укладываться и на радостях все мои припасы, посуду, утварь подарил своим хозяевам и сказал старухе, что, видно, бог услыхал ее молитвы и изводит меня из этого плена.

— Вот тебе остальные две восковые свечи, — прибавил я, — пусть они догорят у тебя пред образом во славу нашего спасителя.

Я заплатил хозяину за месяц вперед 5 рублей, обнял старуху и, простившись с этими добрыми людьми, в ту же ночь оставил Мертвый Култук. Дай бог, чтобы я был последним, сосланным в него!

Во всю дорогу я недоумевал, кто был моим избавителем и ходатаем? Кто устроил так, [чтоб] соединить меня с лучшими моими друзьями, Нарышкиными? Я этого не знал тогда, но во всю дорогу молил бога о здравии моего незнакомого благодетеля.

Глава XV

Встреча с Нарышкиными. — Моя племянница А. О. Россет. — Вечер у Лавинского. — Отъезд в Курган. — Мученик Краснокутский. — Тобольск. — Наш товарищ — губернатор А. Н. Муравьев. — Отъезд в Курган. — Наш кружок. — Бригген. — История Воронецкого. — Поляк Савицкий. — Жизнь в Кургане. — Приезд наследника. — Встреча с В. А. Жуковским

В 9 часов утра я обнимал уже своих друзей в теплой, комфортабельной комнате их и тут же узнал, кому обязан я своим счастием. Мать Е[лизаветы] П[етровны], Анна Ивановна, писала из Петербурга, что племянница моя А. О. Россет, бывшая тогда любимой фрейлиной императрицы Александры Федоровны, решилась во время своего дежурства воспользоваться хорошим расположением духа императора и облегчить мою судьбу поселением меня вместе с Нарышкиным, с которым, как я говорил, мы были в родстве. Придворные куртизаны крепко боялись говорить о нас даже, но племянница моя, обла-

* Дорогой Н... Приезжайте как можно скорее, мы будем спокойно жить в Кургане (в Тобольской губернии), на 4 тысячи верст ближе к нашему отечеству! (франц.).

дая прелестною наружностью, умом, бойкостью, пренебрегла придворным этикетом и добилась своего. Государь тут же спросил у Бенкендорфа, где я поселен, но граф, не зная места, замялся, и тогда государь сказал: «Все равно. Где поселен Нарышкин?» — «В Тобольской губернии, ваше величество». — «Так пошлите эстафету к Лавинскому с приказанием поселить дядю фрейлины Россет в том самом месте, где поселен Нарышкин». Этими короткими словами решилась моя судьба, я избавился Култука и смерти от разбойников-варнаков.

Я скоро оправился и повеселел. В одно утро Лавинский приехал к Нарышкиной звать ее на вечер и пригласил и меня. В назначенный час он прислал даже за нами карету. Помню, что было очень холодно, так, что я, взявшись за ручку каретной дверцы, так обжег себе пальцы, что кожа осталась на замке. Генерал-губернаторский дом был ярко освещен, в залах толпились чиновники, и мы торжественно вступили в гостиную, где и представилась нам дочь хозяина дома, которая одна, без матери, проживавшей в Париже, разделяла скуку отца в Сибири и вела все хозяйство. Скоро началась музыка, пение, и Е. П. Нарышкина восхитила своим голосом все собрание, а мне живо напомнила счастливые года моей петербургской жизни. За ужином губернатор пил ее здоровье и пожелал нам всем счастливого пути. Обратясь ко мне, он прибавил: «Думали ли вы третьего дня сидеть в кругу ваших друзей и пить шампанское? Конечно, нет».

Через несколько дней мы оставили Иркутск и пустились в г. Курган Тобольской губернии [на][122] 4000 верст ближе к России[123]. В Красноярске мы посетили нашего товарища по ссылке Краснокутского, который лежал там больной, без ног. Он был обер-прокурором сената и сослан на поселение в Сибирь. Он приходился племянником гр. В. П. Кочубея, который, несмотря на близкое родство свое с ним*, не замолвил, однако ж, словечка за человека, которого все любили и уважали. Мы нашли нашего товарища уже несколько лет лежащего без ног на кровати. Ноги его походили на палки, и по ним мож-

* М. В. Юзефович: Ежели и было между ними родство, то разве очень далекое, по матери Краснокутского, урожденной Томара, но уж никак не близкое родство.

но было ходить. Грустно было смотреть на несчастного мученика. Мать его подавала просьбу государю, моля его простить полуживого человека, но милосердный царь отказал, сказав, что по Сибири только Краснокутский может ездить, куда хочет. Страдалец предпочел, конечно, остаться в Красноярске, где вскоре и скончался.

К стыду родного дяди этого несчастного*, к стыду гордого Кочубея, скажу, что нашелся между посторонними людьми человек с лучшим сердцем, с светлою душой. В Красноярске служил городничим бедный молодой человек. Оценив Краснокутского и подружившись с ним, он вышел в отставку и посвятил все минуты своей жизни на заботы и попечения о своем друге. Этот добрый человек часто заменял ему даже прислугу, которая, по беспечности, оставляла иногда своего больного барина, и на его руках Краснокутский и умер. Очень жаль, что фамилия [его] неизвестна. Душевное спасибо и сердечная признательность тебе, благородный человек, от всех нас за мученика товарища.

В Тобольске мы нашли уже одного из наших товарищей, основателя тайного общества А. Н. Муравьева, но не в ссылке и не на поселении, а на очень видном месте губернатора. Конечно, подобная куриозная штука может случиться только в самодержавном государстве. Уголовный суд приговорил Муравьева в каторжную работу, не помню, на сколько лет; царь своею неограниченною волею отправил его на жительство в Якутск и не снял с него ни чина полковника, ни орденов**.

Вскоре Муравьева назначили полицеймейстером в Иркутск и, наконец, губернатором в Тобольск. Но тут он не поладил с генерал-губернатором Вельяминовым и был переведен в Архангельск. Мы радовались в душе, что достойный Муравьев счастливым случаем избавился каторги, хотя в нравственном смысле ему было бы более чести, ежели б он искупил свое заблуждение, — ежели это было заблуждение, — одинаковым с товарищами наказанием. Он не должен был принимать никакой милости, никакого облегчения!*** Вот что говорит Шнитцлер

---

* М. В. Юзефович: Еще повторяю, что не только родным, но и двоюродным племянником Кочубея Краснокутский не был.

** М. В. Юзефович: Снова напоминаю, что право миловать есть прерогатива всех государей, даже английских королей.

*** М. В. Юзефович: А М. Ф. Орлов разве не принял об-

про него в своей книге: «Le colonel Alexandre Mouravieff en considèration de la sincérité de son rèpentir, devait être simplément deporté on ne dit pas pour combien d'années en Sibérie sans être degradé ni privé de la noblesse»*.

После Архангельска Муравьев назначен был председателем губернского правления в Симферополь**, и когда государь Николай Павлович был там, то, при представлении чиновников, спросил у губернатора про Муравьева, как он служит. Такая унизительная оценка одна уже достаточна была, чтоб променять свою судьбу на каторгу***! На другой день мы явились к генерал-губернатору Вельяминову, который принял нас очень любезно, объявив нам, что мы поселены будем в городе[124] Кургане, что место это — Италия Сибири, что там зреет виноград и цветут вишни и проч. Вельяминов был добрый старик, занимался много литературой, читал много, был в переписке с Гумбольдтом, но дурно управлял огромным краем, ему вверенным. Впоследствии, как я сказал, он не ужился с Муравьевым, их обоих перевели в Россию — Вельяминова в Военный совет, а Муравьева в Архангельск.

Наконец мы отправились в наше постоянное жилище, Курган.

Курган — хорошенький, небольшой уездный городок, с каменною церковью и 3 тыс. жителей, на левом, несколько возвышенном берегу р. Тобола. Кругом плоская равнина, напоминающая мне мою родину Украину, но не Италию, как простодушно сказал нам Вельяминов. Курган известен был тем, что в нем жил сосланный Павлом Коцебу. Говорят, что сей последний любил прохаживаться по берегу р. Тобола, не знаю, имел ли он тогда при себе «Уединение» Циммермана. Я нашел еще целым его дом и отыскал старика, его современника, посылавшего

легчения? А Раевские разве отказались от объявления их невинными? А кн. Суворов? Нет, Николай Иванович, такое рыцарство отзывалось бы донкихотством.

* Полковник Александр Муравьев в уважение к его откровенности и раскаянию должен был просто быть сослан в Сибирь без указания, на сколько лет, не лишаясь чинов и дворянства (франц.).

** М. В. Юзефович: Нет ли тут ошибки: из губернаторов в вице-губернаторы!

*** М. В. Юзефович: Не чересчур ли велико уж такое требование?

Коцебу свежее масло, до которого, как говорят, он был большой охотник.

Добрый Розен, также наш товарищ, присланный сюда годом раньше, встретил нас, как родных, в своем собственном доме, который ему обошелся в 4 1/2 тыс. рублей. Нарышкины покамест поместились в спокойной и удобной квартире, которую намерены вместе с садом и пустопорожним местом приобрести покупкою, а я нанял невдалеке от них две горенки. Хозяйка моя — сварливая, толстая купчиха, вдова подмастерья часового мастера. В Сибири, как и в Германии, все заботы домашнего хозяйства лежат на женском поле, и моя хозяйка постоянно управлялась у себя и у меня одна.

Скоро стали прибывать к нам и другие наши товарищи, и образовался свой кружок. Чиновный же люд Кургана нас чуждался, и мы знались с одним нашим непосредственным начальником — городничим, который оказался, к счастию, прекрасным человеком, облегчавшим, по возможности, наше исключительное положение. Чрез него шла вся наша переписка с образованным миром, но не миновала, однако, рук 3-го отделения и сибирского генерал-губернатора. Несмотря на это, мы стали, однако, дышать свободнее, могли уже ходить и ездить куда нам вздумается, не более, однако, 25 верст от Кургана, и должны были постоянно ночевать у себя дома. Но и этого было для нас довольно после 12-летнего тягостного затворничества.

В это время я был в переписке с хорошим приятелем моим А. Ф. Бриггеном, поселенным в Пелыме, и постоянно уговаривал его проситься к нам в Курган, что наконец Бриггену после двухлетнего жительства в Пелыме и удалось. Мы чрезвычайно рады были его приезду, приобретя в нем нового любезного, умного товарища и собеседника. Бригген служил прежде в Измайловском полку полковником и, женившись на Миклашевской, сестре известного кавказского героя, убитого там, вышел в отставку и жил в деревне своего свекра в Черниговской губернии. В уединении Бригген занимался переводом с латинского жизни Юлия Кесаря, который и посвятил другу своему В. А. Жуковскому.

Странно непонятна месть императора Николая всем тем, которых он знал лично и коротко. Не приговором суда, а личным его указанием все лица, ему хорошо из-



А. Ф. БРИГГЕН

Литография начала 20-х гг. XIX в.
Государственный исторический музей, Москва

вестные и, как нарочно, менее других виновные, как-то: Бригген, Норов, Назимов, Нарышкин — были строже наказаны, чем другие.

Арестование Бриггена в 1825 году особенно замечательно. Проживая в своей деревне, как я сказал, Бригген собирался в конце [18]25 года за границу, получил уже паспорт и послал к банкиру кредитов в 15 тысяч рублей. Карета была приготовлена к дороге, вещи уложены. Отслужили молебен, и Бригген выехал из родного дома. В 20 верстах от дома у него ломается экипаж, и Бригген возвращается домой. Через сутки опять все было

исправлено, и Бригген с женою и детьми снова прощается с остающимися родными. Вдруг влетает на двор исправник с фельдъегерем, хватают Бриггена и везут в Петропавловскую крепость! Несколько дней раньше бы собраться ему или не ломайся его экипаж — и Бригген избежал бы своего заточения.

Во время коронации 1856 года Бриггена простили по высочайшему манифесту, а жена и сын, уже офицер, и прочие родные ждали его в том же самом доме, той же деревне, откуда он 30 лет тому назад был так неожиданно исторгнут. Все ждали его с лихорадочным нетерпением и думали встретить больного, дряхлого старика, как вдруг вошел бодрый, веселый человек с румянцем во всю щеку с словами: «Господа, позвольте узнать, кто из вас моя жена: я — Бригген». Старушка и сын его бросились к нему на шею, а Бригген, обнимая свою бывшую подругу, бывшую спутницу жизни, в шутку предлагал ей перевенчаться снова. Любя людей и общество, которых так долго был лишен в ссылке, и, кроме того, желая раньше узнать, что делается на белом свете, и быть ближе к источнику всех новостей, Бригген поселился у родной сестры своей в Петергофе. Я получил от него несколько писем, в которых он благословляет свою настоящую жизнь, и в письмах этих виден весь ум его, вся незлолюбивая душа его... К сожалению, к душевному прискорбию, он не долго наслаждался своим мирным приютом и скончался от холеры.

Скоро после нашего водворения в Кургане были присланы туда же несколько поляков, большая часть из дворян и помещиков. Мы с ними познакомились и сошлись. В числе их был князь Воронецкий, 70-летний старик, бедняк, достойный жалости. Е. П. Нарышкина, чтоб хоть несколько облегчить жизнь этого бедняка, пригласила старика раз навсегда разделять с ними свою трапезу, а Воронецкий вызвался в знак благодарности ходить ежедневно на базар для закупок к их общему столу. Он сам рассказывал нам, что, служа в последнюю польскую кампанию, в одном сражении он был ранен и в суматохе оставлен на поле битвы. На него наскакал какой-то офицер и стал его рубить. Воронецкий, обессиленный своими ранами, умолял своего мучителя взять его в плен, но молодой герой не внимал голосу раненого. Тогда Воронецкий пистолетным выстрелом убил своего жестокого врага.

Через несколько времени Воронецкого, еще живого, взяли в плен и принесли к г. Роту. Когда сей последний узнал, что Воронецкий убил русского офицера, который оказался племянником генерала, то пришел в такую ярость, что приказал повесить пленника, лежавшего в беспамятстве в крови у крыльца генерала под единственным деревом — грушею. Бедного Воронецкого привели кое-как в чувство, приподняли, поддерживали, уже сняли платок с шеи, наложили роковую петлю, как прискакал какой-то ординарец и подал Роту какую-то бумагу. Казнь была отменена, и генерал приказал позвать фельдшера и перевязать раны пленного*. Непонятно казалось тогда всем приближенным генерала такая быстрая перемена в жестоком генерале. После дело разъяснилось. В бумаге, которую Рот получил, говорилось, что до государя доходят слухи, что будто бы главные военачальники жестоко обходятся с пленными, расстреливают их, вешают и проч., и впредь подобные самоуправства строго воспрещаются. Приказано всех пленных отсылать в депо, откуда их отправлять в дальнейший путь. Так судьба спасла от смерти старика Воронецкого. Еще несколько минут — и его бы не стало.

Между поляками, товарищами изгнания, был еще один замечательный человек — помещик Савицкий, бывший адвокат. Постоянно грустный, задумчивый, ходил он ежедневно в один и тот же час по одному и тому же направлению за город по большой дороге, которая вела в Россию, в милую Польшу его, где он оставил жену и девятерых детей... Однажды, не зная его затаенной мысли, я посоветовал ему избрать противоположный путь, как более живописный и удобный, и старик мне признался, зачем именно избрал первую дорогу, прибавив: «Всякий раз, что я гуляю по этой дороге, меня утешает мысль, что я двумя верстами ближе к своим... Мне кажется, что они бегут ко мне навстречу, и мы сейчас обнимем друг друга...»

Савицкий судим был в Гродне судом, коего председатель был губернатор Михаил Муравьев**. Савицкий

---

* М. В. Юзефович: Пари держу, что все это польская ложь. Этот Воронецкий известен был в здешнем крае как шут и нахлебник.

П. И. Бартенев: И я также держу пари. Рисовались даже и в Сибири.

** М. В. Юзефович: Начальники никогда не бывают сами

рассказывал, что часто Муравьев забывался до того, что бил подсудимых помещиков чубуком и употреблял разные истязания*. Преступление Савицкого состояло в следующем. В одну бурную ночь к нему постучал неизвестный человек и просил ночлега. Когда Савицкий узнал, что незнакомец — эмиссар польских мятежников, то, не желая впутываться в дела, просил незнакомца оставить свой дом и указал ему даже дорогу; но, конечно, не донес на своего соотечественника. Этого было довольно для Муравьева. Он узнал о невинных сношениях Савицкого, арестовал его, судил, уж бог знает как, сослал на жительство в Сибирь...

Был еще один поляк, служивший в войсках Наполеона в Испании и бывший при осаде Сарагоссы под начальством знаменитого Хлопицкого.

Наступил [18]37 год, пятый, что мы живем мирно на поселении. Семейство Нарышкиных было истинными благодетелями целого края. Оба они, и муж и жена, помогали бедным, лечили и давали больным лекарства на свои деньги, и зачастую, несмотря ни на какую погоду, Нарышкин брал с собою священника и ездил по деревням подавать последнее христианское утешение умирающим. Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народа, которому раздавали пищу, одежду и деньги. Многие из поселенцев до них не ведали Евангелия, и Михаил Михайлович часто читал им слово божие и толковал то, что могло казаться им непонятным. Часто облагодетельствованные Нарышкиными в простоте своей говорили: «За что такие славные люди сосланы в Сибирь? Ведь они святые, и таких мы еще не видали...»

Пребывание наше в Кургане имело на край отчасти и моральную пользу, ибо сибирские чиновники, хваставшие до нас своим лихоимством и умением побольше содрать с просителя, стали снисходительнее, осторожнее и пред нами, по крайней мере, уже об этом не говорили. Вскоре, как всем поселенцам, и нам отвели верстах в трех от города по 15 десятин в вечное потомственное владение, исправник вызвал нас на места, прочел указ и отрезал землю. Розен, большой агроном, очень радовался

председателями судов, потому что они конфирмуют судебные приговоры.

* П. И. Бартенев: Пари держу, что ложь.

своему приобретению и, зная, что я не намерен заниматься земледелием, просил продать ему и мой участок, но я уступил ему его за 2 фунта чаю. Нарышкин выхлопотал себе пастбищное место, луга для лошадей, или, лучше сказать, для конного завода, который он намерен был развести, выписав для улучшения породы лошадей жеребцов и кобыл из России.

Не забуду никогда вечера сочельника, накануне рождества Христова. Все ссыльные и поляки были приглашены к Нарышкиным. Был ужин персон на 20. После ужина Нарышкина села к роялю, и восхитительные звуки национальных польских песен и гимнов полились по зале. Поляки были тронуты до слез, а бедный Савицкий более всех, так как один из последних оставил свое счастие в деревне с женой и детьми... Нарышкина перешла к веселым мотивам, заиграла мазурки, краковяки, и мало-помалу горесть этих патриотов дала место разгулу, и мы весело провели этот вечер и поздно разошлись по квартирам.

Для Сибири наступала важная эпоха: пронесся слух, что наследник русского престола предпринимает путешествие по России и намерен посетить Тобольскую губернию, край, где так много страждущего народа. Какие сладкие надежды возлагал каждый сосланный на этого царственного отрока! Многие чаяли облегчения в своих нуждах, в своих страданиях, лишениях. Многие надеялись получить прощение и увидать свою родину. Курганское начальство получило официальное известие, маршрут и предписание к встрече его высочества. Приказано было звонить во все колокола, ночью велено зажигать плошки, смоляные бочки. Городничие верхом должны были с рапортом встречать наследника у застав городов. Начальство курганское суетилось, а на всех лицах видна была забота и радость. Да и было отчего! Такого высокого путешественника со дня покорения Сибири еще в ней не видали.

Начальники наши, не понимая хорошо своей обязанности да и опасаясь за старые грешки, были в каком-то страхе. Исправник и заседатель разъезжали по уезду, боясь жалоб и прошений со стороны крестьян.

Накануне праздника троицына дня, в 11 часов вечера, возвестили народу о прибытии наследника. Толпы хлынули на большую дорогу. Люд поважнее, купцы, чи-

новники с женами теснились у ворот дома, отведенного для его высочества. Товарищ мой Фохт приготовил 500 плошек и осветил улицу, по которой должен был ехать именитый гость. Ночь была тихая и прекрасная. Наконец показались жандармы. Я и многие из моих товарищей, по их советам, при приближении экипажа наследника, считая присутствие наше в такую минуту у его дома неприличным, удалились к Нарышкиным, жившим насупротив дома, в котором остановился его высочество, а потому и не видали момента приезда и только по крикам единодушного «ура» узнали, что путешествие царского сына совершилось благополучно.

После нам говорили, что, войдя в комнаты, наследник справлялся у городничего, есть ли в городе сосланные по [18]25 году, и, получив утвердительный ответ, удивился, что ни одного из них не видел, на что городничий ему отвечал, что при встрече его высочества им велено было удалиться, чтоб не произвести на него дурного впечатления. Тогда наследник сказал: «Как можно?»

Василий Андреевич Жуковский обещал своему державному воспитаннику, когда он ляжет почивать, пойти наведать своих старых знакомых, но его высочество пожелал, чтоб он немедленно исполнил это, и Жуковский тотчас же прибежал к Нарышкиным. С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека! Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бригген?» — спросил Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бриггеном. Когда он входил, Жуковский со словами: «Друг мой Бригген!» кинулся к нему на шею.

Целая ночь пролетела незаметно для нас. Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, видя, что мы остались теми же людьми, какими были, что не упали духом и сохранили человеческое достоинство. Между прочим, он удивлялся Сибири, не предполагая ее никогда в таком цветущем состоянии и довольстве. Он сказал нам, что наследник еще в Тобольске справлялся у князя Горчакова, где он может видеть сосланных за 14 декабря, и, получив от генерал-губернатора сведение, что в Кургане нас поселено 7 человек, приказал подать себе список поименный. Еще один луч надежды озарил наши сердца.

Наступило утро, стали благовестить к обедне, Жуковский ушел будить наследника. Только что он ушел, как прибегает к нам опять объявить, что его высочество желает, чтобы и мы были в церкви. Мы не заставили себе повторить этого приказания и, исправив немного наши туалеты, отправились. Е[лизавета] Петровна для такого праздника сняла свое обычное черное платье и облеклась в светлое.

Тут, в храме божием, имели мы счастие в первый раз видеть нашего любезного наследника. Он стоял на ковре один, скромно и усердно молился. Ему едва минуло 18 лет, и он был прекрасен... Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику. Вот надежда России, вот наша надежда! Мы искренно желали ему счастия, благополучия и благословения божия.

По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас, поклонился и вышел из церкви. Экипажи были готовы, он сел в коляску с генерал-адъютантом Кавелиным, перекрестился и уехал в дальний путь — в Россию.

Наследник далее Тобольска* не ездил и не посетил другой половины Сибири и Иркутска. Александр I доезжал только до Екатеринбурга и хотел даже продолжать свой путь до Иркутска, но немцу Дибичу не захотелось, и он представил большие затруднения государю, которых не было, впрочем, и поездка не состоялась.

Два совершенно различных человека сопутствовали наследнику в качестве руководителей и наставников: Жуковский и Кавелин. Сравнению их посвящаю несколько строк. Бригген, о котором я уже несколько раз говорил, служил с Кавелиным в Измайловском полку, они были товарищами, друзьями, оба капитанами и ротными командирами, и Бригген принял даже роту от Кавелина, когда сей последний был назначен адъютантом к в[ел]. к[н]. Николаю Павловичу. При этом случае Кавелин сознался Бриггену, что в ротном ящике недостает 6 тыс. рублей, им промотанных, но Бригген внес свои собственные и дал товарищу квитанцию в принятии роты. К тому же надобно прибавить, что сам Кавелин принял Бриггена в члены тайного общества. После таких дру-

* М. В. Юзефович: Вернее было бы сказать: далее Кургана[125].

жеских, близких отношений так ли должны были встретиться старинные друзья, из которых один возвысился, а другой пал? Кавелин даже не спросил о Бриггене и когда узнал его в церкви, то только кивнул ему головой, на что, конечно, Бригген отвечал тем же. Какая разница с Жуковским! И этот достойнейший человек делит свои заботы о сердце наследника русского престола с бездушнейшим человеком! Не знаю, за какие заслуги Кавелин был сделан с.-петербургским губернатором. К счастью, [он] вскоре сошел с ума и умер.

В разговоре нашем с Жуковским Нарышкин сказал ему, что ни он сам, ни товарищи его не просят, да и не смеют просить для себя никакой милости, но ходатайствуют, ежели им это позволено, за изгнанника чужой земли 72-летнего князя Воронецкого, которого одно желание — умереть на родине, на Волыни*. «Ежели возможно, Василий Андреевич, представьте это дело наследнику и сделайте еще одно добро, к которому вы всегда готовы», — прибавил Нарышкин. Жуковский пожелал видеть Воронецкого, я за ним сбегал, и Жуковский, выслушав всю историю бедного старика, обещал доложить наследнику. Воронецкий целовал колени доброго человека. Жуковский сдержал свое обещание: вскоре Воронецкому возвратили свободу, и он вернулся в Волынскую губернию**.

Глава XVI

Назначение солдатом на Кавказ. — Курган приуныл. — Расставание. — Александр Одоевский. — Наш товарищ Семенов и Гумбольдт. — Встреча Одоевского с отцом. — Рассказ Норова о казанском исправнике. — Любопытный рассказ Платова

Проводив именитого гостя своего, Курган зажил попрежнему, и мы предались своим обычным занятиям. Я сторговал себе хорошенький небольшой домик, задумывал и о женитьбе, чтоб не кончить своего века одиноким бобылем, даже назначил день и созвал приятелей, чтоб отпраздновать новоселье, как однажды, после обеда, городничий наш Бурценкевич, навещавший меня обыкно-

---

* М. В. Юзефович: Вот как думали тогда о западном русском крае! Волынь — чужая земля!

** П. И. Бартенев: И как же, я думаю, подсмеивался и над Нарышкиным, и Жуковским, и наследником!

венно довольно часто, но всегда пешком, подъезжает ко мне на дрожках, в мундире и с довольно озабоченным лицом:

— Скажу вам новость довольно неприятную, Николай Иванович, — начал он и замялся. — Вы назначены солдатом на Кавказ...

— Шутите?

— Ей-богу, нет!

— А прочие?

— Все, кроме Бриггена.

— Были вы у Нарышкиных?

— Был... Елизавета Петровна слегла в постель от этой новости.

Я крепко призадумался и сам, так казалась мне странна эта мысль. [18]12, [18]13, [18]14 год делал я офицером и молодым человеком, а теперь, после 12-летней жизни в Сибири, с расклеившимся здоровьем, я снова должен, навьючив на себя ранец, взять ружье и в 48 лет служить на Кавказе. Непостижимо играет нами судьба наша! Голова моя горела. Я ходил в раздумье по комнате и, волнуемый неожиданностью, спросил тогда же городничего:

— Если это новое наказание, то должны мне объявить мое преступление. Ежели же милость, то я могу от нее отказаться, что и намерен сделать.

Городничий мне сказал, что он ничего не знает, но что получил депешу, по которой нас требуют в Тобольск для отправки оттуда на Кавказ солдатом. Мы с городничим поехали к Нарышкиным и там застали уже Розена и все вместе разбирали и обдумывали будущую нашу судьбу. Нарышкин был спокойнее всех и даже радовался случаю, который давал ему возможность вывезти жену свою из Сибири и мог доставить ей свидание с ее матерью и братьями. Нечего делать, надобно было и нам перешагнуть и этот рубикон. Стали собираться в дорогу.

Городок Курган, узнав о нашем перемещении, заметно поприуныл, и крестьяне из соседних деревень приходили прощаться с нами, а городничий даже объявил, что, выпроводив нас, подаст в отставку и уедет в Россию. Бедные поляки ходили грустные по городу, предчувствуя, что без нас они осиротеют. Я возвратил свой дом тому же лицу, у коего его купил, с небольшою уступкою. Розен также продал свое жилище и деньги по-

жертвовал неимущим товарищам, поселенным в дальних краях Сибири. Дом Нарышкиных купили для уездного суда.

20 августа у Нарышкиных был напутственный молебен. Е[лизавета] Петровна, больная, сидела в креслах, прощалась с крестьянами, мещанами и дарила всякого, чем могла, на память о себе.

На другой день и отправились. Товарищами этого невольного путешествия были: Назимов, Лихарев, Фохт и Розен, после за нами, однако, последовавший. Крепко было жаль расставаться с Бриггеном, но сам он не желал возвращаться в Россию на этих условиях и говорил, что желает лучше остаться посельщиком и гражданином, чем солдатом армии Николая Павловича!* При выезде из Кургана на большой дороге растет прекрасный березовый лесок, там нас остановило почти все городское население [из] чиновников, купцов, угостило обедом и тостами с пожеланием счастливого пути, здоровья и проч. На первой станции мы еще раз тронуты были изъявлениями общего сочувствия. Все товарищи изгнания нашего, поляки, выехали заранее, чтобы проводить нас, и угостили нас ужином в первый и последний раз, ибо, конечно, мы с ними не увидимся в этом мире.

На трех тройках пустились мы в дальнейший путь. Курган в 300 верстах от Тобольска, но по дороге мы должны были проезжать г. Ялуторовск[126], в котором поселены наши товарищи Читы и Петровского завода: Тизенгаузен, [Иван] Иванович Пущин — лицеист и друг А. С. Пушкина, князь Оболенский, Матвей Муравьев-Апостол — родной брат Сергея казненного, Якушкин и Ентальцев с женою. Само собою разумеется, что они встретили нас, как родных и простились, казалось, навсегда. Но в жизни нашей так много странного, невероятного, что и в этот раз опасения наши были напрасны. Чрез несколько лет я снова увидался с этими добрыми людьми, в Москве уже.

---

* М. В. Юзефович: Вычеркните эту черту, Николай Иванович. Не делает она чести Бриггену, и побрататься с русским солдатом гораздо честнее, чем брататься с врагами своего отечества — поляками!

Декабрист П. Н. Свистунов: Да тут и не выражен стыд братания с русским солдатом, а выражен стыд службы у Николая, что совершенно справедливо.

Рано утром приехали мы в Тобольск и остановились в гостинице, хозяин которой был еврей, сосланный за контрабанду. Боже мой, кого нет в Сибири! Генерал-губернатором был тогда к[н]. Горчаков, брат того, которому выпал несчастный жребий сдать Севастополь[127]. Генерал принял нас холодно и приказал ожидать в Тобольске еще двух товарищей, также назначенных солдатами на Кавказ: к[н]. Александра Одоевского и Черкасова.

Мне приятно поместить здесь несколько строк в воспоминание этих прекрасных людей. Одоевский воспитывался с Грибоедовым и был его другом. Оба были поэты и сошлись одинаковыми вкусами, наклонностями и дарованием. Одоевский служил в конногвардейском полку и на 23-м году жизни был сослан со мною в Сибирь в одной категории. Не ребячество, а любовь к отечеству и стремление на развалинах деспотизма, самого самодурного, самого пагубного для общества, [построить][128] благо России!* Но время еще не настало, Русь наша была еще слишком далека от сознания необходимости реформы в верху и в основании[129]. Молодое увлечение увлекло Одоевского, подобно многим другим молодым людям, а сколько прекрасных людей бесчеловечная Следственная комиссия наша погубила? А все оттого, что составляющие ее наперерыв друг перед другом хотели выслужиться пред новым царем или получить денежные награды. Говорят, что дело наше обошлось такими наградами правительству в несколько миллионов**. Право, игра не стоила свеч!

В Варшаве также судимы были члены тайного общества. Однако по конституции они не подошли ни к смертной казни, ни к каторжной работе***. Правда, что один из судей, генерал-адъютант Красинский, осмелился было выразить желание казнить смертью, но за то он чуть жизнию не поплатился во время польской революции в 1830 году, ибо народ хотел его самого повесить, и генерал спасен был заступничеством диктатора генерала Хлопицко-

---

* М. В. Юзефович: А этот самодурный деспотизм освободил 20 миллионов крестьянских душ и положил такие основания русской жизни, о каких и не мечталось русским европейцам 25-го года.

** М. В. Юзефович: Признаюсь, слышу это в первый раз.

*** М. В. Юзефович: А пришли к революции [далее стерто: «самой бессмысленной из всех революций». — М. Н.].

го, подоспевшего, к счастию, на эту народную месть и вырвавшего жертву от разъяренной толпы.

Одоевский был поселен в Ишиме Тобольской губернии. Там он сошелся с одним поселенцем, поляком Янушкевичем, очень образованным человеком, много путешествовавшим, сдружился с ним, полюбил, и они были неразлучны. Этот ярый патриот во время польского восстания вернулся из Италии, но был уличен в противуправительственных мыслях и действиях и сослан в Ишим. Одоевский как поэт написал ему эти прекрасные стихи — «А. М. Янушкевичу, разделившему со мной ветку кипарисную с могилы Лауры».

В странах, где сочны лозы виноградные,
Где воздух, солнце, тень лесов
Дарят живые чувства и отрадные*
И в девах дышит жизнь цветов,
Ты был... пронес [ты] пышный посох странника
Туда, где бьет Воклюзский ключ...
Где ж встретил я тебя, изгнанника?
В степях, в краю снегов и туч.
И что ж осталось в память солнца южного?
Одну лишь ветку ты хранил
С могилы Лоры... полный чувства дружного,
И ту со мною разделил...
Так будем же печалями заветными
Делиться здесь, в отчизне вьюг,
И крыльями, для мира незаметными,
Перелетать на чудный юг,
Туда, где дол цветет весною яркою
Под шепот Авиньонских струй,
И мысль твоя с Лаурой и Петраркою
Слились, как нежный поцелуй[130].

С приездом Одоевского и Черкасова мы составили комплект новых солдатов и отправились вшестером** в новый неизвестный нам край, из 40 градусов мороза — в 40 градусов жары. Но прежде чем приступить к новой эпохе моей жизни, я попрошу извинения у моих читателей в некоторых пропусках интересных событий и описаний личностей. Ведь писать свои воспоминания в последовательности на 70-м году от роду не совсем легко, — нисколько не ослабит сущности истины небольшое же отступление от рассказа.

---

* М. В. Юзефович: Тут что-то не так.

** М. В. Юзефович: Назимов, Лихарев, Фохт, Розен, Нарышкин, Одоевский, Черкасов, Лорер — итого 8, а не 6.

В Тобольске проживал на поселении товарищ по делу нашему, Семенов. Он не был лишен ни чина надворного советника, ни Владимирского креста и до своего легкого наказания служил при Министерстве духовных дел, при А. Н. Голицыне, и был секретарем Северного общества. Однако его взяли. Казалось бы, положение его безвыходно и трудно будет ему оправдаться в строгой Следственной комиссии; однако Семенов — с твердым характером и, знавши хорошо наши законы и понимая вполне своих судей, не верил их предательским обещаниям помилования и на все вопросы и очные ставки отговаривался неведением и стоял на своем: знать не знаю, ведать не ведаю. Ему надели железные наручники, посадили на хлеб на воду — он все выдержал и сослан был только на жительство, в отдаленные города*.

В Сибири он ходил в земскую канцелярию, получая по 10 рублей жалованья в месяц, едва достаточных для пропитания. Случилось[131], что знаменитый Гумбольдт путешествовал с научной целью по Уральским горам. Ему понадобился человек-старожил, владеющий французским или немецким языком, и он осведомился о таковом. Сибирское начальство, встречавшее Гумбольдта с подобострастием, глядевшее ему в глаза, кланявшееся ему только по предписаниям из Петербурга и уж, конечно, не из личной симпатии и уважения к знаменитому ученому, думало этим от него благополучно отделаться. Но Гумбольдту не этого хотелось. Узнав, что в городе проживает чиновник, знающий прекрасно языки французский и немецкий, хотя и сосланный по 14 декабрю, Гумбольдт просил начальство отпустить его с ним. Не смея отказать немецкому ученому в такой просьбе, начальство дозволило Семенову сопутствовать Гумбольдту, и они в карете отправились в ученую экспедицию по Уралу, к явной радости высших властей, крепко женируемых таким ученым лицом. Во время долгого собеседничества с Гумбольдтом Семенов сумел снискать снисхождение** и дружбу его, рассказал ему все наше павшее дело и так расположил своего спутника в свою пользу, что Гумбольдт обещал Семенову

---

* М. В. Юзефович: Стало быть, никого не обвиняли и без собственного сознания, несмотря ни на какие улики. Такого правосудия не следовало бы обвинять в произволе.

** М. В. Юзефович: Участие?

по возвращении своем в Петербург хлопотать о его прощении и лично просить за него государя. Не знаю, исполнил ли Гумбольдт свое обещание, однако впоследствии Семенов перемещен был для лучшего надзора за ним в Тобольск*, а начальство получило выговор за свое снисхождение. Гумбольдт уехал в Берлин, а Семенов в Тобольск, то есть из огня да в полымя. Во время нашего проезда в Тобольск Семенов занимал уже видное место, ибо был советником в губернском правлении, и часто высшее начальство прибегало к нему за полезными советами по гражданскому управлению**. К сожалению, этот милый, полезный человек скончался от простуды в том же году, вскоре после нашего с ним свидания.

Мы ехали очень шибко, вскоре миновали Тюмень, переправились чрез Волгу и, приехав в Казань, остановились в гостинице, которая показалась ли только нам или в самом деле была столь хороша, что могла соперничать с такими домами и в самом Петербурге. В Казани многим из нас готовилось много сердечной радости. Так, к Нарышкину родная сестра его, княгиня Голицына, нарочно прискакала из Москвы. Радости, восторгов, умиления этих добрых родных не было конца, и я напрасно бы старался описывать это свидание. Чувствительные души поймут его.

70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтоб обнять на пути своего сына, и остановился у генерал-губернатора Стрекалова, своего давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не вытерпел*** и при входе своего сына все-таки побежал к нему навстречу на лестницу; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекая и его с собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливца плакали и смеялись от избытка чувств. После первых восторгов князь-отец заметил сыну: «Да ты, брат Саша, как будто не с каторги, у тебя розы на ще-

* М. В. Юзефович: Где он был до того? Вначале сказано, что он был на поселении в Тобольске же.

** М. В. Юзефович: Стало быть, выражение «Из огня да в полымя» не оправдалось.

*** М. В. Юзефович: Выдержал?

ках». И действительно Александр Одоевский в 35 лет был красивейшим мужчиною, каких я когда-нибудь знал.

Стрекалов оставил обоих у себя обедать, а вечером мы все вместе провели очень весело время. На другой день мы обедали у княгини Голицыной, где я, к большому моему удовольствию, встретился с Норовым, который был старшим адъютантом в той дивизии 2-й армии, в которой я служил. Судьба как будто нарочно для нашего свидания привела его в Казань ко времени моего приезда, и он послан был туда для водворения и устройства крестьян государственных имуществ. В разговорах он сообщил мне факт, характеризирующий сибирских чиновников, который я и заношу в свою летопись.

Исправник Казанского уезда строил в городе дом для себя. Недостало у него денег, тысяч 12 рублей. Где взять такую сумму? Исправник пустился на выдумки. Известно, что и теперь еще татары — люди добрые, смирные, но простодушные и большие охотники до новостей. Исправник, чтоб воспользоваться их легковерием, недолго думая, отправился в первую татарскую деревню своего уезда и подъехал к обыкновенно занимаемому дому богатого татарина, был встречен почти всеми жителями... Грустный, задумчивый, печальный, вылез он из своего тарантаса.

— О чем грустишь, батька, — вопрошали подчиненные, — аль подать прибавить? что ж — дадим.

— Ох, нет, ребятушки, — отвечает им плут, — сто раз хуже.

— Скажи, царю все дадим, — возражают добрые татары, — коровушку последнюю продадим, а дадим, не печалься только и скажи, что нужно царю.

— Так знайте же, — продолжает исправник, — лед возить.

— Куда? в Казань? тяжело, но повезем, что ж делать, когда царю так нужно.

— Нет, ребята, не в Казань, а в Питер.

Татары остолбенели.

— Ой пропали мы, батька, совсем пропали. Да в Питере разве нет льду?

— Есть, как не быть, да что ж с царем будешь делать, хочет казанского!

— Ой, батька, совсем пропали! скажи — и другим волостям также возить?

— Да, и им было велено, да они собрали денег и послали царю в Питер, он и отменил.

— Ну и мы пошлем. А сколько?

— Много, ребятушки, 12 тысяч.

— Дадим, дадим, — кричали татары, — соберем и пошлем царю в Питер, а лед возить далеко! Нельзя!

И собрали бедные татары 12 тысяч, и окончил свой дом исправник на славу.

Однако вскоре он отрешен был от должности, отдан под суд, а татарам от этого не легче.

28 августа мы оставили Казань. Е. П. Нарышкина уехала с к[н]. Голицыной в Москву — для свидания с матерью, братьями, родными и друзьями. Старый Одоевский провожал сына до третьей станции, где дороги делятся: одна идет на Кавказ, другая — в Москву. При перемене лошадей, готовясь чрез несколько минут проститься с своим Сашей, бедный отец грустно сидел на крылечке почтового дома и почти машинально спросил проходившего ямщика: «Дружище, а далеко будет отсюда поворот на Кавказ?» — «Поворот не с этой станции, — отвечал ямщик, — а с будущей...» Старик князь даже подпрыгнул от неожиданной радости, — еще 22 версты глядеть, обнимать своего сына! — и подарил удивленному ямщику 25 рублей. Однако рано или поздно расставанье должно было осуществиться. Чувствовал ли старик, обнимая своего сына, что в последний раз лобызает его? Недолго старик пережил свое детище[132]. Их обоих скоро не стало, и только умилительные стихи на смерть А. И. Одоевского Лермонтова говорят нам теперь об утрате нашего незабвенного товарища...

Мы подвигались к Ставрополю и дорогою узнали, что государь проехал в Тифлис. По этому случаю на предпоследней станции к Новочеркасску нам не дали лошадей, а предложили волов. Мы согласились, улеглись в наши тарантасы, проспали всю дорогу и с восхождением солнца триумфально въехали в казацкую станицу. В Новочеркасске мы отдохнули, ходили смотреть могилу героя [18]12 года М. И. Платова близ алтаря церкви, им же воздвигнутой, но еще неоконченной.

Заговорив о Платове, я привел себе на память рассказ его, слышанный мною еще в Варшаве в 1815 году по возвращении наших войск из-за границы от него самого. Он так любопытен, что помещаю его. В одном доме, после

сытного обеда, Матвей Иванович, по обыкновению немного подвыпивший, сел на диван со многими сотоварищами-генералами, а мы, молодежь, окружали эту любопытную группу. Кто-то спросил Платова, чем он был при императоре Павле Петровиче? Матвей Иванович, почесав у себя в голове, с расстановкою, своим малороссийским наречием* сказал:

«Я, господа, при императоре Павле Петровиче по доносу одного из сослуживцев своих сидел в Петропавловской крепости вместе с Алексей Петровичем Ермоловым. Я был тогда в чине генерал-маиора и заправлял до сего донцами. Крепко грустил я в крепости, не зная, чем кончится моя участь. «Не грусти, казак, — атаманом будешь», — сказал мне А. П. Ермолов[133]. В одну ночь меня потребовали во дворец и ввели в кабинет государя, пред которым я упал на колени. Государь велел мне встать и сказал: «Генерал Платов, вот тебе табакерка с моим портретом». Не понимая причины такой милости, я, однако ж, облобызал его царскую руку. Государь продолжал: «Поезжай на Дон, собери полки и выступай в поход. Пред выступлением получишь маршрут, карту и узнаешь, куда идти, и тогда же пришлешь мне рапорт с надежным офицером об исполнении моего повеления. Ступай...» С Павлом шутить нельзя было, не такой был человек, но я чувствовал, что не к добру взвалил он на меня это поручение... Я знал, что Павел верил доносу на меня, и был убежден, что дело идет о том, чтоб меня погубить. Так или иначе, а действовать было надобно. Поехал я на Дон, живо собрал 20 тысяч казачков, отслужил молебен и готовился потянуться в неизвестный путь, как получил, по обещанию государя, карту, маршрут и приказ: открыть путь в Индию... Легкое дело!.. Я хранил все это в тайне, по приказу царя. Вот прошли мы Саратовскую губернию, Астраханскую и втянулись в необозримые киргизские степи. Пока были мы в своих границах, донцы мои были веселы и песни их раздавались беспрестанно. Полковники и офицеры старались узнать, куда я их веду, но я крепко хранил тайну. Жары нас одолевали, провиант истощался, воды часто не было, и только отвратительные гадюки (змеи) ползали вокруг нас. Уже шесть недель, что

* М. В. Юзефович: Какое же у донца малороссийское наречие?

мы в походе, а нет надежды к нашему возвращению, и, кажется, придется всем нам сложить свои головы. Сначала, правда, думал я, что государь хочет нас наказать небольшой прогулкой, а там помилует и возвратит. Но нет... И часто оглядывался я на родную сторону, не пошлет ли она нам вестника возвращения... В одно утро старшины и сотники объявили мне, что полки два дня уже без воды, в войске ропот, что казачки отказываются идти далее. Полководцы просили меня сказать, куда я их веду... Плохо! «Погодите до завтра, детушки, — сказал я, — утром вынесу свой походный образ, отслужим молебен и тогда скажу войску, куда мы идем». Грустно разошлись мои товарищи, печально полез я в свой шатер, и, на бурке лежа, так рассуждал: или свои меня убьют, или Павел повесит за неисполнение приказания. Тут смерть, и там смерть. Ежели завтра не будет нам приказа вернуться, то передамся я со всем войском туркам и буду служить новому царю... Так пролежал я целую ночь и не смыкал глаз. Стало светать. Вдруг полы шатра моего зашевелились и лезет ко мне на четвереньках человек не человек, черт не черт, зверь не зверь и мычит каким-то хриплым голосом: «Воды... воды...» Я вскочил на ноги и подал несчастному, лежавшему на земле, несколько глотков, и тогда только он проговорил: «Павел скончался... Императором — Александр, и возвращайтесь на Дон!..» Я так напугался, что в первые минуты не знал, радоваться ли мне или печалиться, а все-таки думал, не шпион ли это какой-нибудь, и потому только по прочтении приказа действительно возрадовался. При воцарении Александра первый указ, им подписанный, был о нашем возвращении на Дон. Послано было 6 гонцов с приказанием непременно настичь нас и вернуть, и только один, едва живой, исполнил поручение. Остальные не довезли. Утром мы весело присягнули новому царю и поплелись в наши станицы, потеряв, однако, много людей и лошадей».

Так кончил свой рассказ Матвей Иванович.

Без всяких приключений добрались мы до Ставрополя, перерезав Россию с севера на юг. Дорогой нам много рассказывали о строгости и нелюдимости г.-л. Вельяминова, командующего войсками на кавказской линии, бывшем начальнике штаба при А. П. Ермолове.

Глава XVII

Ставрополь. — Представление г.-л. Вельяминову. — Что случилось с князем Дадьяном. — Друг декабристам доктор Мейер. — Екатеринодар. — Мой полковой командир Кошутин. — Я отправляюсь к моей роте. — Ротный командир Маслович. — Станица Ивановка. — Разжалованный Костенко. — Примерка шинели. — Приготовление к экспедиции. — Выступление. — Биваки близ Тамани. — Лев Сергеевич Пушкин. — Рассказы Льва Пушкина об Александре Сергеевиче Пушкине. — Записка Пущина к Пушкину перед восстанием 14 декабря. — Примирение А. С. Пушкина с государем. — Болезнь и смерть Льва Пушкина

При нашем первом представлении генералу меня удивила приемная комната его. Не то зала, не то столовая, а больше похожа на манеж. В дальнем углу стояла одиноко дюжина кресел и больше ничего, зато по стенам развешено было до ста ламп, которые, говорят, зажигались каждый вечер и на освещение употреблялось лучшее прованское масло. При нашем входе мы заметили человека на противоположном конце залы, и адъютант, нас принявший, сказал нам, что это сам генерал Вельяминов. [Он] был в черном шелковом архалуке, белый воротник его рубахи лежал на плечах отогнутый, а Георгиевский крест 3-й степени висел на своем месте. Сложа руки назад, он медленно подходил к нам и, приблизившись, с поклоном указал нам рукой кресла, чтоб мы сели. Мы думали, что он начнет нам обычной фразой, подобно Сулиме: «Я получил высочайшее повеление» и прочее, но он обратился к нам просто по-французски:

— Кто из вас, господа, Нарышкин?

И когда тот назвал себя, генерал продолжал:

— Супруга ваша — дочь графа Петра Петровича Коновницына? Я имел честь служить с ее отцом в [18]12 году и был при нем в конвое долгое время. Вероятно, супруга ваша скоро приедет сюда, — прошу вас заранее меня об этом уведомить, чтоб я мог послать ей конвой навстречу и успел бы приготовить ей квартиру.

Михаил Михайлович Нарышкин благодарил генерала за такую деликатную вежливость. Вельяминов продолжал:

— Ежели у нас начнутся экспедиции на правом фланге, я пошлю вас туда, ежели на левом, я переведу вас в действующие отряды, а потом наше дело будет постараться освободить вас как можно скорее от вашего незавидного положения.

После этого генерал поклонился нам и вышел.

На другой день утром пришел к нам молодой человек красивой наружности и отрекомендовался адъютантом военного министра штабс-ротмистром лейб-гусарского полка Вревским (в деле под Черной в чине генерала свиты его величества он был убит подле корпусного командира Реада[134] и почти в один момент с ним). Молодой Вревский был отправлен на Кавказ в экспедицию и остался при [генерале] Вельяминове и в ожидании дел полюбил наше сообщество и все время свое проводил с нами.

Государь, как я сказал уже, был в Тифлисе, на возвратном пути в Россию, и Вельяминов поехал к нему навстречу. По обыкновению Вревский пришел к нам одним утром, и угрюмым показался он нам. На первых же порах причина разъяснилась.

— Слышали ли вы, господа, что случилось с бедным князем Дадьяном в Тифлисе? Вы знаете, что он командует полком и женат на дочери главнокомандующего Розена. Дорогою государь получил донесение на князя Дадьяна, которым его обвиняют в употреблении солдат на свои работы, в недодавании жалованья рекрутам и прочих непозволительных поступках. Можете себе представить, в каком расположении духа приехал государь в Тифлис!

Ни Розен, ни начальник штаба не подозревали, что их ожидает. Развод назначен был от полка, которым командовал Дадьян, и князь перед строем ожидал прибытия государя. На площади собралось бесчисленное число народа, грузин, армян и мирных черкес. На балконе одного дома на площади сидела супруга главнокомандующего и княгиня Дадьян, разряженные, веселые... День был прекрасный. Наконец государь вышел. Барабаны загрохотали, музыка гремела, но царь махнул рукою, и водворилась тишина. Государь скомандовал «к ноге» и велел составить ружья в козлы. Огромная свита не понимает этого необыкновенного маневра. Государь собирает к себе ротных командиров в кружок и долго с ними разговаривал о чем-то, потом созывает солдат и делает с ними то же самое; потом командует: «Становись!» Полк выстроился, Дадьян с опущенной саблей в руке все еще не понимал причины этих действий, но тут государь громко приказал коменданту снять с князя Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты и полковничьи эполеты как с недостойного носить эти отличия. Комендант стал отстегивать и то и

другое, но государю показалось это слишком долго и церемонно, и он закричал: «Сорвать!» Граф Орлов, всегда готовый в таких случаях сыграть роль палача, подбежал и начал действительно рвать, так что клочья полетели*.

Но что происходило в это время на балконе с бедными женщинами? Они лежали обе в обмороке. Тут же подъехала фельдъегерская тройка, посадили его, бедного, оборванного, в нее, обесчещенного** князя Дадьяна и повезли в крепость Бобруйск... И без суда!*** Площадь опустела, народ от страха разбежался****, а черкесы говорили, что ежели бы султан Николай не был уже повелителем, то его надобно было бы избрать султаном. Эта площадная проделка совершенно в их духе.

Что сталось с бедным стариком Розеном? Говорят, что он почернел и до того изменился, что был неузнаваем. К довершению странности в тот же вечер назначен был бал в доме главнокомандующего, и пригласительные билеты были разосланы по всему городу. Молодая княгиня Дадьян больная лежала в постели, а г-же Розен приказано было присутствовать на торжестве, и она явилась с распухшими, красными от слез глазами, и государь был так любезен, что открыл с нею бал польским. Хотел бы я, чтоб какой-нибудь опытный физиономист посмотрел им обоим в этот вечер в глаза. Что бы он в них прочел? Так Тифлис увидал в первый раз своего благотворительного царя, и, конечно, грузинская столица надолго сохранит память об этом визите.

---

* М. В. Юзефович: Эполет не снимали, ибо он был разжалован по суду; следовательно, приговор не был произнесен самим государем.

** М. В. Юзефович: Ужели и этот обесчещен был императором Николаем? Вот мерзавец, закрепостивший и грабивший солдат! О Дадьяне я имею верные сведения от благородного кн. Васильчикова, который был предварительно послан из Тифлиса на место узнать истину и который нашел донос во всех пунктах справедливым.

*** М. В. Юзефович: Суд был над ним произведен, а в крепость он был отослан по обличению на месте кн. Васильчиковым его гнусных дел.

**** М. В. Юзефович: Что касается до народа, то он не разбегался, а действительно был поражен таким приговором над зятем главнокомандующего. Подробности этой сцены я знаю тоже от кн. Васильчикова, очевидца. Если кто был тут достоин сожаления, то Розен и его семейство. Но зачем же было терпеть ему такие поступки зятя?

Мы сидели у окна, когда увидели, что народонаселение Ставрополя бежит к почтовой станции. Я увидел и Вревского, идущего туда же, и пошел за ним. У станции стояла фельдъегерская тройка. Вскоре взошли в дом комендант и полицеймейстер; последний, вернувшись, стал разгонять народ, но напрасно — толпы не уменьшались. Вскоре на крыльце показался Вревский с князем Дадьяном, — и народ по старой привычке, как [перед] зятем[135] главнокомандующего и когда-то владетельной особой, снял шапки*. Последний был очень красен и малого роста. Говорят, что он просил коменданта отдохнуть в Ставрополе, но ему отказали по случаю того, что ждут к вечеру государя. Итак, несчастного повлекли далее. Главнокомандующий Розен после 50-летней службы назначен сенатором в Москву, и его заменил ханжа и педант Головин[136].

Старик Розен в Москве посетил своего сослуживца Ермолова и спрашивал у него совета, не ехать ли ему в Петербург? На что Алексей Петрович пресериозно отвечал ему: «Погоди немного, скоро пришлют сюда Головина, и тогда мы все трое поедем в Питер»[137]. Головин в самом деле недолго властвовал на Кавказе и был замещен Нейдгартом, про которого Ермолов, понимавший всех этих капралов-генералов, также сказал: «Нейдгарт видно, что немец: предусмотрителен. Нанял себе дом в Москве заранее и дал задаток, знает, что скоро воротится».

В Ставрополе познакомился я с очень ученым, умным и либеральным доктором Николаем Васильевичем Мейером, находившимся при штабе Вельяминова... Он был очень дружен с Лермонтовым, и тот целиком описал его в своем «Герое нашего времени», под именем Вернера, и так верно, что кто только знал Мейера, тот сейчас и узнавал. Мейер был в полном смысле слова умнейший и начитанный человек и, что более еще, хотя медик, истинный христианин. Он знал многих из нашего кружка и помогал некоторым и деньгами и полезными советами. Он был друг декабристам[138].

Вечером нас потребовали в штаб для объявления, кто из нас в какой полк назначен. Государь повелел разместить

---

* М. В. Юзефович: Не думаю, чтобы кто-нибудь из народа в Ставрополе видел в Дадьяне владетельную особу. Эта отрасль Дадьянов перешла в Россию еще при Петре Великом. Я знал Дадьяна лично. Он ни слова не знал по-грузински.

нас непременно по разным местам. Одоевскому, как бывшему кавалеристу, досталось в Тифлисе в Нижегородский драгунский полк, мне — в Тенгинский полк, квартирующий в Черномории. В эту же ночь должны мы были отправиться по полкам. Нам дали прогоны каждому на руки. В первый еще раз, с выезда из Сибири, мы отправились без провожатых и только оттого, что уже рядовые, принадлежим государю и вошли в состав армии. Была туманная, черная ночь, когда несколько троек разъехались в разные стороны. Что ожидает нас в будущем? Черкесская ли пуля сразит, злая ли кавказская лихорадка уложит в мать сырую землю? В кромешной темноте я едва доехал до станции и решился выждать дня, поместившись на своей бурке, которою, как и другими принадлежностями военной кавказской жизни, запасся еще в Ставрополе.

Чрез сутки, проехав 200 верст, я въехал в Екатеринодар и остановился на квартире у казака.

Все Черноморие окружено непроходимыми болотами и разливом р. Кубани. Мириады комаров и мошек кишат в камышах и всему живущему надоедают страшно. Черноморие заселено казаками, потомками Запорожской Сечи, и нимало не подвинулось в образовании. Жители большею частию занимаются скотоводством и имеют большие табуны, а живут отдельными хуторами. На танцевальных вечерах жены казаков танцуют журавля, и мало из них грамотных.

Полк, в который я был назначен, только что вернулся из экспедиции, штаб полка был в городе, и я отправился явиться к полковому командиру, полковнику Кошутину, славящемуся своею храбростью на Кавказе, что много [значит] среди множества храбрых.

Кошутина и многих офицеров полка я застал на дороге о чем-то рассуждающих и отличил Кошутина по ордену Владимира на шее и Георгиевскому кресту в петлице. Всему обществу денщик подавал беспрестанно портер в стаканах*, что меня сначала чрезвычайно поразило, но потом я узнал, что это обыкновение кавказской боевой жизни соблюдается и в мирное время и что портер обыкновенно предпочитают всяким другим винам.

---

* М. В. Юзефович: Как — на дороге с портером и стаканами? Тут, верно, описка.

Кошутин принял меня, как обыкновенно принимал подобных мне. Видно было, что ему не в первый раз приходилось иметь дело с сосланными, которых в каждом полку Кавказа было довольно в прошлое царствование.

На другой день я отправился в село Ивановку, где расположена была рота, в которую я назначен. Я сшил себе солдатскую шинель и фуражку и преобразился из мирного гражданина в ярого воина, — конечно по наружности только, — и отправился явиться к ротному командиру Ивану Иванову Масловичу. Я застал его в небольшой светелке, в ваточном засаленном халате и черкесской папахе, за столиком, тасующего карты. Пред ним стоял денщик и кормил тут же, в комнате, огромный гурт гусей. Пернатые эти подняли такой гам и шум при моем входе, что заглушили мою первую рекомендательную фразу. Однако мы познакомились, и Маслович мне с первого раза понравился. Он был тип старого кавказца, и лицо его выражало доброту и чистосердечие. Разговор наш длился, завязывался, и Маслович[139] тут же мне рассказал, что был дружен с Марлинским (Александром Бестужевым), и с воинским красноречием описал мне смерть его в горах* в одной из экспедиций. Просидев у своего ротного командира несколько часов, я остался им вполне довольным и вышел от него примиренный несколько с средой, в которой мне пришлось влачить дни мои.

Я нанял себе отдельную хатку, чтобы не стоять вместе с хозяевами, а Маслович прислал мне, для услужения, рядового, которого звали Антоновым. Этот Антонов сделался моим камердинером, поваром и заменял все должности неприхотливого хозяйства моего. Сначала мы бедствовали, ибо я был без денег, не уведомив вовремя своих родных в Россию о переводе моем из Сибири на Кавказ, но находчивость Антонова спасла нас обоих от голодной смерти.

Станица Ивановка, как и все станицы на Кавказе, окружена плетнем и небольшим рвом. У главных ворот станицы стоит огромная чугунная пушка грозою для смельчаков черкесов, отваживающихся сделать набег на станицу. Весною и осенью по улицам такая невылазная грязь, что сообщение прерывается, а в иных улицах ез-

---

* М. В. Юзефович: Марлинский убит на Черноморском берегу во время десанта. Слово «в горах» неточно.

дят даже на лодках. Маслович приезжал ко мне верхом и всякий раз с опасностью лишиться жизни или, по крайней мере, потерять лошадь в грязи. И вот в каком месте пришлось мне жить! Само собою разумеется, я рад был придраться бог знает к какому знакомству, чтоб как-нибудь коротать длинное скучное свободное время.

Вскоре я сошелся с одним разжалованным Костенкой, уже 15 лет влачащим свои дни в звании рядового. После я узнал, что Вельяминов при всяком представлении Костенки в офицеры вычеркивал его из списка за страсть к картам, которой бедный потерянный человек был предан. Костенко был малый неглупый, тихий, беззащитный, и я с самого начала из жалости приласкал его, а он, ободренный, может быть впервые в своей жизни, вниманием и участием постороннего человека, привязался ко мне всею душою и стал часто меня посещать, чему я также был рад.

Нельзя было смотреть без смеху на Костенку, когда он своими длинными, сухими, журавлиными ногами шагал чрез плетни и заборы, пробираясь ко мне на беседу. Я узнал от него всю жизнь его и вкратце передаю ее здесь: молодым человеком находился он при генерал-губернаторе Комбурлее в Житомире чиновником по особым поручениям. Комбурлей попал под суд за какое-то упущение, стали открываться какие-то противозаконные действия, он был сменен, и весь его штат отдан под суд. Некоторые из чиновников, в том числе и Костенко, отданы были в солдаты. Костенко между прочим сериозно уверял меня, что предки его были какие-то графы де-Косси[140]. Жаль, что Лермонтов не был знаком с Костенкой, а то не лишним бы было Лермонтову, описавшему так верно несколько кавказских типов, и его туда же включить.

Однажды я лежал еще в постели, как явился ко мне Костенко с обычными дневными новостями, которые он черпал в полковом штабе от своих товарищей по игре в карты (страсть, сильно развитая на всем Кавказе), — и является[9] с лицом веселым, торжествующим:

— Знаете ли, Н[иколай] И[ванович], что Вельяминов умер в Ставрополе от водяной в груди и доктор Мейер не мог ничего сделать с своим искусством?

— Чего же вы радуетесь? — сказал я.

— Да как же не радоваться? Наконец граф де-Косси будет произведен в офицеры!

— Если это так,— продолжал я,— и вы надеетесь с уничтожением причины вашего непроизводства в офицеры надеть эполеты, то дайте лишь слово не играть в карты.

— Не могу, почтеннейший, не могу... На Кавказе нельзя не играть в банчишку или штосик. Не проживешь без них.

В это время вошел ко мне ротный командир мой Маслович и подтвердил известие о смерти Вельяминова, а также о назначении на место его Раевского*. Последняя новость меня очень обрадовала, потому что я был знаком с Николай Николаевичем Раевским и со временем буду говорить много о нем и брате его Александре, друге Пушкина**. Подали трубки, и мы уселись рассуждать о том о сем.

Маслович обладал здравым умом и хотя не получил образования, но на многие предметы смотрел ясно, светло. Жизнь исправила несколько поверхностное образование I кадетского корпуса, а 22 года службы на Кавказе наделили его опытностью в горной кавказской войне, и он успел заслужить репутацию храбреца. Впрочем, как я после узнал, на Кавказе не дозволяется быть трусом, и постоянное пребывание среди опасностей и привычка уравнивают со временем мало-помалу все оттенки храбрости. Пусть не удивляются читатели тому, что в рассказах моих о кавказской моей жизни часто встретит он как меня, так и многих других сосланных и разжалованных в обществе начальников своих различных степеней военной иерархии не как подчиненных, а на ноге товарищеской, дружеской, вежливой и учтивой. Ермолов внушил эти правила кавказскому корпусу, и приличное обращение с разжалованными соблюдалось и соблюдается там и поныне.

Вскоре явился ко мне фельдфебель с ротным порт-

---

* М. В. Юзефович: Раевский никогда не был назначен на место Вельяминова. Он никогда не был начальником всей Кавказской линии, как Вельяминов[141].

П. И. Бартенев: Справедливо.

** М. В. Юзефович: Другом Пушкина был Николай, а не Александр. Последнего Пушкин уважал, но боялся — Александр Раевский держал его в большом к себе решпекте[142].



М. А. НАЗИМОВ

Неизвестный художник. 1820-е гг.
Государственный Эрмитаж, Ленинград

ным и стали примерять на мне шинель, мундир и также снабдили меня тяжелым ранцем и ружьем. Портной, или закройщик, без церемонии дергал меня то вправо, то влево и старался, чтоб мундир, принесенный из цейхгауза и снятый, вероятно, с какого-нибудь убитого, лежал бы на мне по возможности гладко. Во время этой скучной операции я невольно припомнил себе время моего служения в гвардии. Думал ли я тогда, стоя пред своею красивою ротою, что на самого меня будут когда-нибудь примеривать на Кавказе солдатский мундир? Чтобы покончить поскорее с этим скучным делом, я дал и фельдфебелю и закройщику по рублю серебром и отпустил

их. Фельдфебель был красавец собою и любимец Масловича. Я отдавал ему обыкновенно мое солдатское жалованье, и за это он, благоволя ко мне, в каждом деле назначал ко мне в прикрытие лучших стрелков, и в том числе моего Антонова, который считался и в [этом] искусстве одним из лучших в роте.

В своем месте я расскажу о смерти этого фельдфебеля накануне производства его в офицеры.

Однажды получил я записочку от Масловича с приглашением пожаловать к нему немедленно. Прихожу и застаю Ивана Ивановича в обыкновенном своем костюме с двумя ротными командирами, из которых у одного рука подвязана была черным платком, свидетельствуя о ране в последнюю экспедицию.

Меня представили им, и мы познакомились. Кажется, люди хорошие. На столике пред нами стоял штоф водки с плавающим в нем красным стручковатым перцем, и на тарелках стояла обыкновенная кавказская закуска: сушеная рыба, колбасы и хлеб... Все плотно завтракали, — колбасы и сушеная рыба уничтожались и снова появлялись на тарелочках, штоф уменьшался мало-помалу и снова возрождался, как новый феникс.

Мы стали веселы, нецеремонны и откровенны. Мои новые знакомцы нашли, не знаю почему, что у меня дух военный, и вообще, кажется, я им понравился. При расставании, желая упрочить за собой такое хорошее мнение обо мне моих новых товарищей, я пригласил их всех на другой день к себе и добавил только к числу приглашенных Костенку. Не желая переменять кавказского обычая, я распорядился моим завтраком точно таким же образом, как мой ротный командир, и также поставил на стол штофик водки с турецким перцем, сушеных карасей и целое блюдо раков, которых достал где-то мой Антонов. Как немного нужно человеку, не избалованному прихотями! Все остались чрезвычайно довольны моим угощением, а я распотешил всю компанию вдосталь, когда выставил на стол оставшуюся у меня еще из Екатеринодара бутылку вина и бутылку портеру. Антонов мой суетился, как любой метрдотель, и пот градом катил с его лица. Маслович в шутку заметил ему, что он ловко прислуживает, и хотел знать, где он так понаторел в этом искусстве, — тогда мой Антонов мигом преобразился в рядового и вытянулся в струнку перед своим ротным ко-

мандиром, намереваясь, вероятно, отвечать, но Маслович тотчас же превратил его в обыкновенного официанта, сказав: «Однако ступай, ступай и делай свое дело».

Скоро пришел приказ из полкового штаба ротам быть готовым к походу в новую экспедицию под начальством самого Раевского*. Известие это меня очень обрадовало, во-первых, потому, что извлекало из этой скучной, грязной стоянки в Черномории, а во-вторых, потому, что сближало меня с товарищами несчастия, в других полках находящимися, с которыми я надеялся встретиться. Мы стали готовиться. Я сговорился стать вместе с Костенкой в одной палатке, единственно с намерением быть ему полезным по возможности и удерживать его от карточной игры. Сборное место войскам назначено в Тамани. Эскадра адмирала Лазарева должна прийти к тому же времени в Керченский пролив. Говорили, что план экспедиции был составлен покойным Вельяминовым, но тогда подробностей его мы еще не знали.

Прекрасным весенним днем рота наша выступила по назначению. Костенко и я уложили свой скарб на повозку, которою заправлял Антонов, а сами отправились, как путешественники с посохами в руках. Маслович преважно ехал верхом перед ротой и песельниками. Дорогой мы соединились с другими ротами полка и подвигались к Тамани. Не доходя до нее, нас обогнал начальник отряда Раевский, сопровождаемый сотнею черноморских казаков.

Мы прошли фанагорийскую крепость (упраздненную ныне), постройку Суворова. Где не был этот человек, где не оставил он следов своих, имени своего? Крепость заброшена, в запустении. Очертание валов и подобие рвов свидетельствуют только о том, что здесь существовало когда-то укрепление. Там сохранились, однако, в наше время госпитали I класса.

В 10 часов утра весь отряд собрался и остановился близ Тамани, в виду Керчи и Еникале, на бивуаках. Офицерство, кто успел завестись крышею, в шалашках[9]. Флота нашего не видно было еще в море. Из Керчи на пароходе прибыло много гвардейских офицеров, прикомандировываемых ежегодно к войскам Кавказского корпуса для экспедиций. Это были вообще славные моло-

---

* П. И. Бартенев: Николая, друга Пушкина.

дые люди, и скоро мы сошлись, познакомились и сдружились. Они вообще любили декабристов и питали какое-то особое уважение ко всем разжалованным. В этом отношении и Костенке, моему сожителю по палатке, это было полезно, и я радовался за него больше, чем за себя.

Биваки наши оживились, музыка гремела, песельники гаркнули[9] во всех концах, а я часто удалялся от этого шума, чтоб посмотреть таманские окрестности, и однажды взошел на небольшое возвышение, близ лагеря находящееся. Мне открылась прекрасная картина, достойная кисти живописца: под ногами моими, в тени, виднелось маленькое местечко Тамань, вправо — наш лагерь с глухим шумом и синим дымком, поднимавшимся в разных местах. Далее — сине-черное Азовское море лежало огромной массой и окаймлялось берегом Крымского полуострова. Вся в солнечных лучах белелась Керчь, а на горе Митридата ясно рисовался музей, как какой-нибудь Афинский храм. Там — Европа, здесь — Азия, хотя географы немилосердно в своих учебниках граничат их где-то на границах Персии, на Араксе и проч.* Оба моря — и Черное и Азовское — не колыхнутся. На рейде и у пристани вырос целый лес мачт, зафрахтованных судов на перевозку нашего провианта, скота, пушек и артиллерийских лошадей. Казацкие шаланды и лодки шныряют то и дело в Керчь и обратно. Переезд верст в 20 с небольшим, — и все, кто может, в особенности же гвардейская молодежь, пользуется свободой и ездят в Керчь покутить и погулять.

К обеду я возвратился в лагерь и мимоходом заглянул в палатку Масловича. Ковер, кругом — офицерство в живописных группах, карты и штос, вечный штос. Костенко мой — тут же и успел мне шепнуть, что проиграл уже сто рублей. Я ни слова не сказал ему тогда и, пожелав Масловичу обыграть гвардейских офицеров, приехавших с деньгами, пошел к себе в палатку и прилег читать. Вскоре пришел Костенко, и я начал его упрекать в его слабости и бесхарактерности. Я стращал его гневом Раевского, который, ненавидя сам карт[9], возьмет его на замечание и, подобно Вельяминову, станет откладывать его производство. Тронутый, как казалось, моим участи-

* М. В. Юзефович: Где же это? Не случалось мне встречать таких географий.

ем, Костенко долго меня слушал, наконец, сказал:

— Что прикажете делать? скверная натура такая у меня: так и тянет поставить карточку... Рискну еще разок на последние 50 рублей, а там баста...

В эту минуту вбежал в мою палатку армейский капитан, назвал себя Львом Сергеевичем Пушкиным и бросился ко мне на шею. Мы до сего никогда не были знакомы, и подобная нецеремонная рекомендация самого себя, даже и на Кавказе, могла бы показаться страннoю от всякого другого, но имя Пушкина мирило и сглаживало все. Магическое имя это увлекло и меня, и я с восторгом обнимал брата нашего народного поэта и радовался вновь приобретенному знакомству. Лев Сергеевич Пушкин был в то время адъютантом при Раевском и, кроме того, пользовался его дружбой.

Лев Пушкин — один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо знал, с отличным сердцем и высокого благородства. В душе — поэт, а в жизни — циник страшный. Много написал он хороших стихотворений, но из скромности ничего не печатает, не дерзая стоять на лестнице поэтов ниже своего брата. Лев Сергеевич похож лицом на своего брата: тот же африканский тип, те же толстые губы, большой нос*, умные глаза, но он — блондин, хотя волоса его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича**. Лев Сергеевич ниже своего брата ростом, широкоплеч. Вечно весел и над всем смеется и обыкновенно бывает очень находчив и остер в своих ответах. Лев Пушкин пьет одно вино, — хорошее или дурное, все равно, — пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофея, супа, потому что там есть вода... Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно в какой-то гостиной, и дамы, тут бывшие, засуетившись возле него, стали кричать: «Воды, воды!» — и будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало. Ест он обыкновенно соленое и острое — сельди, сыр и проч. Память имеет необыкновенную и читает стихи вообще, и своего брата в особенности, превосходно,

* М. В. Юзефович: Что вы, Николай Иванович, откуда у Левушки взялся большой нос? У обоих братьев носы, напротив, были очень небольшие.

** М. В. Юзефович: И это не так, у Александра Сергеевича волосы были довольно светлого каштанового цвета[148].

хотя не доставляет этого наслаждения своим жадным слушателям до тех пор, покуда не поставят перед ним лимбургского сыра и нескольких бутылок вина. Весь лагерь был в восторге от Льва Сергеевича Пушкина, и можно было быть уверену, что где Пушкин, там и кружок, [и] весело. Всю экспедицию он сделал с одной кожаной подушкой, старой поношенной шинелью, парой платья на плечах и шашкой, которую никогда не снимал. Пушкин обыкновенно заглядывает по палаткам, и, где едят или пьют, он там везде садился, ел и пил. В карты Пушкин играл, но всегда проигрывал, табаку не нюхал и не курил. Вечно без денег, а ежели и заведутся кой-какие, то ненадолго: или прокутит, или раздаст. Никогда во всю экспедицию у него не было слуги или денщика. Одним словом, Пушкин имел много странностей, но все они както шли к нему, может быть потому, что были натуральны, и он был самый беспечный, милый человек, которого я знал когда-либо*.

Чтобы не отвлекаться впоследствии от своих воспоминаний кавказской боевой жизни, к которой я намерен приступить, я расскажу здесь кстати еще несколько случаев из знакомства моего с Львом Сергеевичем Пушкиным. После одной экспедиции я поехал в Прочный Окоп, к товарищу моему М. М. Нарышкину, и недалеко от дома, им занимаемого, поместился у казака. В один вечер, возвратясь от моих друзей часов в 11, я лег в постель и стал читать по обыкновению. Вдруг слышу стук колес подъехавшей телеги и голос, называющий мою фамилию. Я узнал, что это был Лев Пушкин, и не успел я вскочить с постели, как он лежал уже на мне и целовал меня.

— Куда тебя бог несет? — спросил я.

— За Кубань, в экспедицию с Зассом, старшим дежурным офицером в отряде.

Я чрезвычайно рад был видеть милого Льва Сергеевича. Всегда, а особенно в скучной станице, это невыразимое счастие и находка. В такие минуты забываешь всю горечь в жизни. После первых расспросов и рассказов,

---

* М. В. Юзефович: Лев Пушкин, оставив военную службу, сделался большим франтом и строго следовал моде. Когда я заметил ему эту перемену и попомнил его военное неряшество, то он мне отвечал: «Eh, mon cher, c'est parce que le militaire comporte la cochonnerie» [«Э, мой дорогой, это потому, что военный [быт] допускает свинство»].

сидевши у меня на кровати, Пушкин громко приказал позвать своего камердинера, и, в самом деле, вошел человек в бархатном чекмене, обшитом галунами, опоясанный черкесским ножом с серебряными пуговицами и кинжалом, богато оправленным в серебро у пояса. Зная прежнюю диогеновскую жизнь Пушкина, я невольно улыбнулся, но он преспокойно отдавал свои приказания: «Здесь поставь мне железную кровать, вынь батистовое белье и шелковое одеяло да подай мою красную шкатулку». Мы оба громко рассмеялись.

— Скажи, пожалуйста, откуда взял ты эту роскошную барскую обстановку, Лев? Верно, выиграл у кого-либо из гвардейских офицеров?

— Совсем нет, — отвечал мне самым простодушным образом Пушкин, — ко мне приехал в Ставрополь мой дальний родственник, флигель-адъютант N, прост, как многие из них, и богат так же. Его отправили курьером в Тифлис, и он оставил мне своего человека и вещи на сохранение, а так как меня самого отправили в экспедицию совершенно неожиданно, то я и взял все это с собой, чтоб сохранить.

— Помилуй, любезный, да ведь это все — чужое, — возразил я.

— А что ж за беда? — отвечал, смеючись, Пушкин.

Когда мы улеглись, и я увидел Льва Сергеевича в батистовой рубахе, покрытого шелковым одеялом, на двух сафьяновых красных подушках, я не мог удержаться от гомерического смеха, и мы оба хохотали, как дети.

На другой день мы приятно обедали у Нарышкиных, — для нас обыкновенно было достаточно вина, но для Пушкина мало, и он не мог, выходя от них, не заметить мне: «Chez les Narichkine on mange très bien, mais on boit très mal»*.

Я сообщил об этом Нарышкину, и тот поторопился поправить свою ошибку. За столом подали шампанское, и Пушкин был весел, доволен, любезен.

Однажды мы пошли с ним бродить по Прочноокопской станице, расположенной на возвышенном берегу р. Кубани. Не помню как, Лев Сергеевич вспомнил о недавней кончине брата своего А[лександра] Сергеевича и

* У Нарышкиных едят очень хорошо, но пьют очень плохо (франц.).

рассказал мне одно обстоятельство из жизни поэта, не всем известное, которое я заношу в свои воспоминания.

А[лександр] Сергеевич был очень дружен с Иван Ивановичем Пущиным, с которым вместе в один год вышли из Царскосельского лицея. Почтенный[144] директор их и наставник Энгельгардт питал к ним самые отеческие чувства, и я в ссылке своей в Сибири читал у Пущина некоторые* [его письма?], в которых, несмотря на давность времени, всегда проглядывала теплота чувств старинного друга. Александр Сергеевич был уже удален из Петербурга и жил в деревне родовой своей — Михайловском. Однажды он получает от Пущина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Недолго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. Недалеко от Михайловского, при самом почти выезде, попался ему на дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «Не будет добра» — [и] вернулся в свой мирный уединенный уголок. Это было в 1825 году, и провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта. Он был спасен![145]

В 1826 году в одно прекрасное утро прискакал в Михайловское фельдъегерь с приказанием доставить Пушкина в Москву. Зная за собой несколько либеральных выходок, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. В длиннополом сюртуке своем собрался он наскоро и быстро перелетел пространство, разделяющее Михайловское от Москвы.

Небритый, в пуху**, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя. К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами:

— Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства.

— Ваше величество, — отвечал Пушкин, — я давно

* М. В. Юзефович: Что некоторые?

** М. В. Юзефович: Откуда взяться пуху в дороге с фельдъегерем?

ничего не пишу противного правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал*.

— Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири, — продолжал государь.

— Правда, государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства.

— Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? — продолжал государь.

— Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь.

— Я позволяю вам жить, где хотите. Пиши и пиши, я буду твоим цензором, — кончил государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами: «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем»**.

Вскоре Лев Сергеевич ушел в экспедицию за Кубань. Я был произведен в офицерский чин, вышел в отставку и поселился в своей родной деревушке. С Пушкиным мы опять сошлись, когда он вышел также в отставку, женился и служил по таможенной части. Он приезжал даже однажды навестить меня, одинокого, на моем пепелище, и это было наше последнее свидание. Он занемог водяною в груди, ездил в Париж и получил облегчение, но, возвратившись, снова предался своей гибельной привычке и скоро угас, в памяти и с тою веселостью, которая преобладала в нем всю жизнь его. С улыбкою повторял он: «Не пить мне более кахетинского!» На руках товарища моего по Сибири А. Е. Вегелина скончался Л. Пушкин на 41-м году от роду. Хотя мне дали знать об опасной болезни Льва Сергеевича, но я не поспел принести ему[146] дружественного прощания, хотя по словам окружающих его постель, мне рассказывавших о его последних минутах, [он] часто и много вспоминал обо мне. Мир праху твоему, любезный Лев Сергеевич!

Конец 1-й части[147]

---

* М. В. Юзефович: Едва ли мог это сказать Пушкин: «Кинжал» относится к первому времени его молодости, а после того было им написано очень много.

** М. В. Юзефович: И действительно, он стал новым. Когда я знал его, он был проникнут глубокою благодарностью и благоговейною преданностью к государю Николаю Павловичу.

2-я ЧАСТЬ[148]

Глава XVIII

Мы снимаемся с биваков. — Николай Раевский. — Допрос Н. Раевского о тайном обществе. — «Честь дороже присяги». — Н. Раевский и декабристы. — Арест Раевского. — 120-пушечный корабль. Друг моей золотой юности Петр Мессер. — Неожиданная встреча. — Я — в капитанской каюте. — Веселый вечер. — Путешествие к восточным берегам Кавказа. — Бой у Шапсуги. — Занятие берега

Наконец, все части, составляющие отряд, назначенный в экспедицию, собрались и приготовились. В 6 часов вечера генерал Раевский с начальником штаба Ольшевским объехал по войскам, а в 10, темною и душною ночью, отряд поднялся с биваков. Тут только мы узнали цель экспедиции. Войска должны были сесть на суда нашего Черноморского флота, идти в виду восточных берегов Черного моря, занять прибрежье в известных пунктах и строить крепости по берегу. Со мною из товарищей сибирской ссылки был только один Черкасов, служивший прежде в Генеральном штабе, и надежда меня обманула, не позволив увидаться и сойтись со многими другими товарищами.

Целую ночь двигались мы к морю, и прекрасною зарею открылось оно нам. На нем стройно красовался наш флот: 25 военных судов и 3 парохода. При нашем приближении на одном из кораблей дали какой-то сигнал и мигом со всех кораблей спустили шлюпки, катера, направившие бег свой к берегу, подобно цыплятам из-под крыльев матки-курицы.

Отряд наш выстроился огромным каре, и начался молебен. Я и весь отряд любовались на своего нового начальника, Н. Н. Раевского. Высокий, стройный, в[149] шарфе и с шашкою через плечо, стоял он серьезно перед рядами войска, которое готовился вести к победе. Во цвете лет, с черными волосами, лежавшими на красном его воротнике, и в синих очках, Раевский на всех произвел хорошее впечатление, и в фигуре его была какая-то гордость и отвага.

До сего назначения он жил у себя в имении на южном берегу Крыма и занимался ботаникой и цветоводством в особенности, до которого он страстный охотник[150]. В 1825 году оба брата, Александр и Николай Николаевичи, были арестованы по нашему делу, так как многие

из их родных, как-то: Михаил Орлов, Василий Давыдов, Лихарев и два брата Поджио — было взяты прежде, но Следственная комиссия никак не могла уличить их в том, что они действительно были в нем. Тогда государь потребовал обоих братьев к себе и сказал Александру Раевскому:

— Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство. Где же ваша присяга?

Тогда Александр Раевский, один из умнейших людей нашего века, смело отвечал государю:

— Государь! Честь дороже присяги: нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись.

Тогда обоих братьев, хотя [и] отпустили, но взяли на замечание и считали либералами и опасными людьми*.

Н. Н. Раевский, будучи известен Вельяминову по отличиям своим в турецкую и персидскую кампании 1826, 1827, 1828[151] годов, был, по его мнению, достойнейшим ему преемником и по его рекомендации получил начальствование над войсками на Кавказской линии. До этого Раевский командовал Нижегородским драгунским полком и стоял в Тифлисе**.

Я говорил уже выше, как Захар Чернышев из Якутска был взят с поселения и отправлен на Кавказ рядовым. Он попал в полк к Раевскому и, само собою разумеется, благословлял свою судьбу, попав в руки такому

---

* М. В. Юзефович: Николай Раевский рассказывал мне иначе про это свидание с государем: у одного из братьев, не помню которого, движением наморщенного лба сдвинулись с носа очки. Тогда государь, обратившись к Орлову, тут присутствовавшему, сказал: «Преступники не могут так смотреть на своего государя: я объявляю их невинными».

** М. В. Юзефович: Раевский сдал Нижегородский драгунский полк в начале 1830 года, оставил тогда же Грузию и был в опале; потом получил драгунскую бригаду и стоял в г. Обояни Курской губ., где я у него гостил несколько дней; потом оставил бригаду и жил в своем имении, в Болтышке, куда я опять к нему ездил и пробыл месяц. Затем он жил в Крыму, где успел приблизиться ко двору и сделаться любимым собеседником императрицы Александры Федоровны, которая помирила его окончательно с государем. Вскоре [он] получил назначение на Кавказ, но не на место Вельяминова, а начальником Черноморской береговой линии. Место же Вельяминова занял Граббе[152].

благородному человеку. Однажды Раевский пригласил к себе обедать рядового Чернышева и многих других, сосланных на Кавказ, и флигель-адъютанта N[153]. Я не называю его полным именем, потому что мне и теперь стыдно за его поступок. Этот мелкий куртизан, выскочка счел своею обязанностью донести государю об вольном и дружеском обращении Раевского с разжалованными людьми, и государь сделал строгое замечание Паскевичу, написав: «Не советую вам пробовать мое терпение. Раевского арестовать на гауптвахте на 2 месяца». Паскевич, в свою очередь, вышел из себя и кипятился много, но, зная Раевского за полезного офицера, удовольствовался наказать его домашним арестом*.

После молебствия отряд приблизился к берегу, где ждала нас перевозочная флотилия с кораблей. На всяком судне был свой особенный флюгер или значок, и каждая рота без замешательства отыскивала свой катер. Жара была страшная, а я в толстой шинели, с ружьем, уместился в одной лодке с своим взводом. Морской офицер на руле скомандовал: «На воду! Навались, ребята!» — и мы быстро отчалили и понеслись к кораблям, стоявшим в версте от берега. Лодочки наши казались ореховыми скорлупками пред 120-пушечным кораблем, к которому мы подъехали и стали высаживаться.

Здесь я должен вернуться в своих воспоминаниях на

---

* М. В. Юзефович: Все это было при мне и было вот как: Раевский, поссорившийся с Паскевичем за Д. Е. Сакена[154], из-под Арзерума отпросился возвратиться в Грузию и получил разрешение взять себе конвой из своего Нижегородского полка. В этот конвой напросились Захар Чернышев, разжалованный за дуэль Довгер и еще кто-то, не помню, тоже из разжалованных. В это время находился в главной конторе адъютант военного министра Чернышева, рыжий Бутурлин, присланный именно с тем, чтоб как-нибудь повредить Захару Григорьевичу и не допустить его до прощения и возвращения права на маиорат. Узнав, что Захар Чернышев отправился в конвое с Раевским, Бутурлин тотчас же и сам пустился вослед за ним и накрыл Раевского как раз во время обеда, за которым нашел вместе с ним и разжалованных. Об этом Бутурлин донес не государю, а военному министру. Арест Раевского пришел уже в Карагачах. Он получил [его] при мне и при Льве Пушкине, который расхохотался, прочтя поданную нам Раевским бумагу, чем Раевский очень огорчился, а Пушкин потом объяснил, что он расхохотался потому, что вспомнил, как Раевский его самого два раза сажал на гауптвахту. В бумаге, однако ж, было сказано, что государь повелел арестовать Раевского с часовым у дверей, но не на гауптвахте[155].

40 лет назад. Странные, непредвиденные случаи бывают в нашей жизни. В начале моих записок я говорил о своем детстве [и] юности в доме П. В. Капниста. В 1810 году, после Тильзитского мира, государь Александр Павлович политическими обстоятельствами был вынужден приступить к континентальной системе, чтоб, закрыв с целой Европой все порты, подорвать совершенно всю торговлю Англии. Декрет об этом Наполеона был издан в Берлине, и к союзу этому вся Европа должна была волею и неволею приступить. Англия, в самом деле пострадавшая от запретительной системы этой, объявила Франции войну на жизнь и смерть; тем не менее и все державы много от этого терпели. У нас все вздорожало, и я помню, что мы детьми еще пили обыкновенный чай с медом, потому что сахар был очень дорог; и суда наши хотя и ходили по морям, но украдкой и ощупью, и то под американским флагом. Гордый Альбион, однако, держался и выдержал кризис; а причина его временной невзгоды — Наполеон, этот колосс, рухнул, погиб! Англия в 1810 г. объявила всем континентальным державам войну, и в этих обстоятельствах у нас в России стали также готовиться к войне и для этого многих моряков из англичан, служивших на нашем флоте, удалили внутрь России. Так, адмирал Грейг удален был в Москву, контрадмирал Мессер, не помню в какую губернию, кажется в Рязанскую. С большим семейством из Севастополя дотащился он до Кременчуга и оттуда писал государю на английском языке письмо, которым испрашивал разрешения остаться в южном климате, необходимом для него самого и детей. Государь милостиво принял эту просьбу, дозволил ему остаться в Кременчуге и утешал его тем, что скоро все англичане, в русской службе находящиеся, снова возвратятся к местам своим в Черное и Балтийское море (я читал оба эти письма).

Родители мои жили тогда в 70 верстах от Кременчуга. П. В. Капнист, как благодетель всех страждущих, несчастных, притом женатый на англичанке, не мог оставаться равнодушным к судьбе соотечественника [жены][156] и, желая также доставить удовольствие жене своей, предложил семейству Мессера приехать к нему в деревню и провести все время изгнания своего, до окончания войны. Мессер с благодарностью принял радушное приглашение, и в одно утро все семейство приехало к

нам. Можно себе вообразить, как нам, детям, весело было принять в свой круг 4 славных мальчиков и одну девочку. Старший сын Мессера, Петр, был одних лет со мной, лет 16, так же как и сын Капниста, и мы скоро составили тесный триумвират. Старик Мессер был отличный человек и славный моряк, чему служит доказательством дружба его с Нельсоном. Я помню письма сего последнего, писанные левою рукою, которые показывал нам Мессер. Все семейство Мессеров очень сошлось с семейством Капнистов, и мужья и жены сдружились, а об нас и говорить нечего. Дочь Мессера была молоденькая, хорошенькая девочка и очень мило танцовала, а так как и я отличался в этом хореографическом искусстве, то всегда был ее предпочитаемым кавалером. От танцев скоро дошло и до сердца. Я угождал этой девице по возможности, лепил и клеил ей картоны и ящички, рисовал в ее альбомы, часто подносил ей букеты роз. Все это было так невинно, платонически, инстинктивно, что я и теперь, на 70-м году моей жизни, вспоминаю с удовольствием это время и, как Гете, готов повторить: «Gieb mir meine Jugend zurück!»*

Как я сказал уже, я особенно сошелся и подружился со старшим Мессером, Петром. Наследовав, как кажется, страсть к морю от своего отца, юный Петр Мессер обещал уже тогда из себя хорошего моряка и страстно любил воду, купанье и в этом занятии проводил все свои дни, удаляясь от наших детских игр. Страсть к морской службе выражалась у молодого Мессера тем, что он по правилам и размерам кораблестроения из картона делал модели разных судов, вооружал их, оснащал, причем струны и шелк заменяли ему канаты и веревки. Скоро он купил себе лодку, и ранним утром нам часто удавалось заставать его одного разъезжавшим по водам, которые окружали наше деревенское жилище. Однажды мы гуляли с ним по берегу быстрой речки и наслаждались стройным порядком его импровизированного флота**, который быстро несся по течению и появлением своим, равно и нас самих на берегу, пугал стаи диких уток, которые с криком срывались из камышей и удалялись от

---

* Верни мне молодость назад (расстановка слов подлинника у Лорера произвольна) (нем.).

** М. В. Юзефович: Из одной лодки состоявшего?

незваных гостей. Я заметил Мессеру, что это ни на что не похоже, что он удаляется нашего общества и единственно занимается своими безмолвными кораблями. «Любезный друг, — отвечал он мне, — это моя одна страсть и цель моей жизни. Я хочу во что бы то ни стало быть моряком и быть капитаном и командиром 120-пушечного корабля; это единственная карьера, которая мне кажется заманчивою, и ты не поверишь, как весело управлять такой машиной». Я с жаром защищал прелести кавалерийской службы, которой хотел себя посвятить, и споры наши длились и повторялись. Мечты и бредни юности! скоро прошли вы, и, казалось, мы о них забыли.

Настал [18]11 год. Моряки возвращены были к своим местам, и старик Мессер отправился в Севастополь. Грустно было наше расставание с товарищами, а в особенности с их сестрой. Я подарил ей на прощание картонный ящик, обкленный цветною бумагою, с ее вензелем, много плакал, не спал всю ночь и даже навещал флигель дома, где они жили, собирая каждый лоскуток бумажки, исписанный ее рукой. Но и это прошло! Впечатления юности живы, но непродолжительны.

[18]12 год сменил своего предшественника и нас, юношей, бросил в жизнь. Я делал поход [18]13 года с гвардиею, дошел до Парижа, возвратился, служил в Варшаве, опять в гвардии в Петербурге, перешел в армию майором, сослан был в Сибирь на каторгу, был на поселении и, наконец, очутился солдатом на Кавказе, — а об юном товарище детства, Петре Мессере, ни слуху ни духу. Немудрено в такой промежуток времени забыть товарищей юности, разметанных волею судеб по всему свету.

Итак, лодочка, нагруженная взводом, в коем я состоял рядовым, причалила к 120-пушечному кораблю. По веревочным лестницам взбирался я с солдатиками наверх и потом лез, согнувшись, в какую-то дыру у руля, где каждый занимал отведенное ему местечко. Я очутился между двух огромных чугунных пушек, которые грозно выглядывали в море. Я устал страшно и, как мне помнится, едва ли испытывал подобное изнеможение, разве только при ретираде нашего отряда из-под Дрездена в [18]13 году. Духота страшная, запах смолы, крики и шум над головою довершали мои мучения.

Я снял ранец, положил его под голову, снял шинель и

растянулся на голом полу, благословляя провидение, что наградило меня и этим местечком, потому что все остальное было буквально загромождено солдатиками. Настоящее ужасное положение мое заставило меня даже мысленно завидовать ссылке моей в Курган: ни ветерка, солдатики стонут, рубаху мою хоть выжми, и обильный пот покрывает мое лицо.

Мимо меня пробирается, проталкивается и шагает даже через солдат, лежащих кучками, морской унтер-офицер (боцман) со свистком на медной цепочке, и я совершенно бессознательно, чтоб что-нибудь у него спросить, проговорил:

— Любезный, кто командир корабля?

— Капитан первого ранга Мессер.

— Его зовут Петр Фомич?

— Точно так!

— А сколько пушек у вас на корабле?

— 120, — отвечал он мне и стал пробираться дальше.

«Это он, — подумал я, — его цель совершилась, он достиг того, чего желал в юности, а я...» — я живо накинул на себя шинель и выполз на палубу. У дверей капитанской каюты часовой меня не пускает, я приказываю о себе доложить. «Скажите капитану, что один разжалованный хочет его видеть». Меня впустили, и [я] тотчас же узнал Петра Фомича Мессера, друга моей золотой юности. Он меня не узнал и смотрел на меня равнодушно. А я, подошедши к нему, сказал:

— Петр Фомич! Цель ваша, желание, мечты юности достигнуты вами. Вы моряк, вы славный капитан и командир 120-пушечного корабля.

— Лорер! — воскликнул он и бросился ко мне в объятия и долго держал меня у своего благородного сердца. — Боже мой, 40 лет мы не видались, любезный друг мой, и где же я тебя встречаю? — воскликнул он, снова всплеснув руками. — Где вещи твои? Ко мне в каюту!

— Любезный Петр Фомич, у меня нет вещей, разве ранец и ружье?..

Долго не могли мы успокоиться от волнения, и Мессер плакал от радости.

Легко себе представить, какая сделалась перемена в моем житье-бытье, коль скоро я перешел в каюту капитана корабля. Пол устлан мягким английским ковром, кругом — покойные диваны, покрытые бархатом, окна откры-

ты и дают свободное движение воздуху. Я взял морскую ванну и скоро к обеду совершенно освежился. В кают-компании собрались и другие офицеры корабля, и Мессер представил меня обществу как старинного друга детства. Все пожимали мою руку и, любя своего капитана, старались наперерыв обласкать меня. На верхней палубе курили сигары, и долго продолжалась наша дружеская беседа.

Этот вечер останется неизгладимым в моей памяти. На душе было весело, и, как нарочно, на адмиральском корабле звуки веселой музыки, разносясь по волнам, как бы вторили моим светлым ощущениям. К чести Черноморского флота могу заметить, что все мои новые знакомцы отличались разносторонним образованием и светлым, прямодушным взглядом на свет и его деяния. Куда девалась эта славная молодежь, воспитанники славного адмирала М. П. Лазарева? Где Нахимовы, Корниловы, Истомины и многие другие? Они кровью своею заплатили долг отечеству и пали в развалинах Севастополя в последней безумной войне. Я всех их знал лично, когда они были командирами кораблей и участвовали в нашей экспедиции, которую описываю.

В тот же день за ужином я заметил на Мессере множество знаков отличия, свидетельствовавших о его славной службе. У него на шее висели Анна и Владимир, за 18 кампаний в петлице белелся Георгий и медалей несть числа...

Скоро эскадра снялась с якоря и стройно потянулась в путь, к восточным берегам негостеприимного Кавказа.

Скоро миновали мы Анапу — последнее укрепленное место наше[157].

Новость путешествия, чудная лунная ночь заставили меня позабыть время обычного успокоения, и я провел его на палубе, любуясь подвижной панорамой берегов, где изредка блестели огоньки неприязненного нам населения.

Едва солнечное светило вышло из лона вод и одело весь берег розовым отливом, как мы были уже у цели своих желаний и приближались к тому месту, где должны были сделать десант и которое называется Шапсуго. Передовые наши пароходы шныряли почти у самого берега и высматривали местность, а корабли, держась на большой глубине, выстроились опять в одну линию, вдоль берега, на котором, как муравьи, суетились наши неприятели. Раевский и Лазарев следили за всеми движениями в

подзорные трубы и, равно как мы все, вероятно, чувствовали, что даром этого местечка Шапсуги не отдадут.

С адмиральского корабля грянул первый выстрел, и ядро с визгом ударилось в берег. Со всех кораблей мигом спустились перевозочные лодки, и войска стали садиться в них. Я обнял моего доброго Мессера, распрощался с офицерами и с ружьем в руках прыгнул в лодку с 15 или 20 солдатами своего взвода. Лодки понеслись к берегу, как на какой-нибудь гонке, а оставшиеся за ними корабли стреляли целыми бортами через наши головы. Впереди, на берегу, леса валились от этой ужасной канонады, и скоро дым застлал всю окрестность. Раевский, с трубкою в зубах, в рубахе и с шашкою через плечо, стоял на носу лодки с Л. С. Пушкиным и плыл недалеко от нас. Он первый выскочил на берег, и по всей линии загремел огонь наших стрелков. Горцы, в числе 6 тысяч, залегли за камнями, деревьями и выжидали нас, а подпустив на близкое расстояние, стали с упорством отстреливаться. На левом фланге нашем сборище их было гуще, и потому начальник штаба Ольшевский, быстро собрав 2 баталиона Тенгинского полка и послав в обход, во фланг навагинцев, ударил в штыки. Неприятель поколебался, а полковник Полтинин с правого фланга смял остальные толпы, и по всей линии горцы обратились в бегство.

Занятие берега продолжалось недолго, и скоро мы стали властителями нового куска земли. Раевский, проходя по линии со всем своим штабом, поздравлял войска, а за поясом его торчал преогромный букет цветов кавказской флоры, который он набрал во время дела. Особенные команды и саперы стали рубить засеки; выгружали полевые пушки и прочие тяжести, и скоро даже забелелись несколько палаток — предвестники бивака. Раевскому разбили огромный шатер, музыка загремела, и возгласы лихих песельников стали раздаваться по ротам. А вдали глухо кипела еще перестрелка... С корабля своего приехал Лазарев, и многие офицеры, в том числе и я, теснились у палатки главнокомандующего. Появилось шампанское, и все радостно пили скорое и счастливое занятие нового места на восточном берегу Черного моря. При десанте мы потеряли не много людей, а 160 тел и между ними два князя горских приволочены были и сложены у палатки Раевского.

Я с Костенкой устроили свою палатку на небольшом

возвышении у нашей роты, которая почти в ногах наших лежала в засеках. Дежурные часто обходили всю цепь стрелков, даже и ночью.

Глава XIX

Форт. — Генерал Головин. — Гибель Бефани. — Разговор горского князя с Раевским. — Моя болезнь. — Перестрелка. — «Рана для пансиона». — Я отправляюсь в Тамань на излечение

Настали июльские жары, а форт, нами устраиваемый, рос не по дням, а по часам! Наряженные очередные команды строили, рыли, тесали, рубили, а в палатках завязалась сильная игра. Костенко мой, несмотря на частые перебранки со мной, предался совершенно игре и занимал у меня частенько деньги. Наконец, я стал ему отказывать, и он бродил с грустным лицом по целым дням по лагерю.

В одно утро прибыл в лагерь из Тифлиса главнокомандующий, генерал Головин. Кавказские боевые войска были странно поражены увидеть перед собою генерала при 45 градусах тепла в сюртуке, застегнутом на все пуговицы и крючки, в огромном галстуке... Пот градом обливал его лицо, которое он тщетно старался утирать носовым платком. Рассказывали, что при свиданье с Раевским, когда Головин, сняв фуражку, поздравлял его с счастливым занятием и покорением нового места под скипетр Российской державы и спросил, какой награды он желает, Раевский простодушно только просил позволения снять сюртук и галстук.

Не помню, которого числа я зван был обедать у подполковника Б.* с заманчивым обещанием накормить меня жареной индейкой, которая, конечно, была редкость в нашей лагерной жизни. Отправившись по приглашению к 12 часам, я застал хозяина, хлопотавшего об обеде, и еще одного гостя, поразившего меня своим прекрасным правильным лицом. Ему было не более 23 лет, умные глаза его светились, как два угля, и черные волосы красиво вились на его прекрасной голове. Меня познакомили с ним. Он назывался Бефани, был лейтенантом нашего флота и служил на пароходе «Язон», стоявшем не-

* М. В. Юзефович: В записках, писанных не для печати, нужны полные имена.



А. Г. МУРАВЬЕВА

П. Ф. Соколов. Акварель. 1826 г.
Государственный Эрмитаж, Ленинград

далеко от берега. Едва уселись мы за стол, как входит матрос его команды и передает ему приказание капитана немедленно пожаловать на пароход, так как пары уже разведены и судно идет с Раевским осматривать берега. Я никогда не забуду выражения голоса Бефани, когда он, выслушав приказание, сказал: «Боже мой, как мне это море надоело! Не хочу более служить на нем и, возвратясь в Николаев, подам в отставку. Вот служба — не дадут и пообедать». Однако делать было нечего покуда,

и Бефани нас оставил, чтобы на гичке, которую за ним прислал капитан, переехать на свой пароход.

Проводив гостя, мы без него кончили наш обед и когда вышли из палатки, то были изумлены быстрою переменой и в воздухе и на море. Оно как будто бы почернело и по временам, покрываясь пеною, как бы кипело. В атмосфере было душно, несмотря на завывания ветра. Транспортные суда сильно качались на своих якорях, а дымящийся «Язон» уже был далеко. Ветер ежеминутно крепчал, и волны с ужасною силою неслись и катились на берег. Солнце скрылось за черными тучами.

Возвратившись к себе в палатку, я должен был заняться, подобно другим, удержанием ее на месте, потому что ветер рвал ее немилосердно и скоро превратился в шторм. Хорошо, что флот наш удалился от берега!

К вечеру возвратился и пароход «Язон» с генералом Раевским. Буря так увеличилась, что капитан парохода не отважился спустить шлюпки и доставить командующего войсками на берег, но по его настояниям и приказанию это было сделано и, как увидим впоследствии, спасло генерала.

Шторм разыгрался в ужасных размерах; наступила мрачная ночь, и казалось, что облака соединились с морем, открыв свои хляби, а проливной дождь топил буквально наши бивуаки. За темнотою и ревом волн не видно и не слышно было, что делается с судами и на судах, а весь лагерь наш бродил по берегу в каком-то смутном страхе. Наконец толпы стали редеть, и каждый в душе своей ждал с нетерпением утра, — что оно нам скажет? Чуть стала брезжить заря, как толпам любопытных представилась мрачная картина. На месте, где стоях пароход «Язон», торчали две мачты... *пароход потонул!..*

Раевский со свитою уже был там... На мачте висел головой вниз тот самый лейтенант Бефани, которого я видел накануне за обедом у подполковника Б. Ниже его, на цепной лестнице, которая, кажется, называется *вантами*, держался еще человек в партикулярном плаще[9]. Полы его сюртука развевались по ветру. Видно было, что лейтенант был бос и, спасая себя на вершине мачты, вероятно, падал оттуда, но зацепился за что-нибудь и повис головою вниз, и она ударялась о мачту... Он был еще жив, потому что часто хватался за голову... Страш-

ная судьба! А помочь этим единственным двум несчастным, оставшимся из целой команды «Язона», не было никакой возможности. Волны ежеминутно готовы были поглотить и унести с собою всякого смельчака, приближавшегося близко к берегу.

Далее по берегу выброшено было славное судно «Ланжерон», а за речкой, отделявшей нас (при своем впадении в море) от неприятельского берега, — еще два фрегата наши, бывшие под командою Памфилова, лежали выброшенные на берег и довершали картину разрушения. Видно было, что все оставшиеся на них живыми кучкою стояли у речки, без всякого оружия, но, к счастию, горцы, привлеченные легкою добычею, начали расхищение разбитых фрегатов и покуда не трогали беззащитных. Пушки*, зеркала, посуда разносились горцами проворно. А мы и тут не могли помочь горю, потому что речонка Шапсуго, от дождей переполнившись в своих берегах, с яростью катила свои волны в море и представляла нам непреоборимую преграду. Раевский приказал достать откуда-то уцелевшую шаланду, вызвал охотников и сам хотел с ними ехать на спасение погибавших, но был остановлен Ольшевским. Едва шаланда отвалила от берега, как ее, крутя и ломая, понесло в море. С большим трудом спасли людей и должны были отказаться от этого способа, чтобы перебраться на противоположный берег. Полковник Полтинин предложил Раевскому с отрядом подняться вверх по р. Шапсуго в горы и в более удобном месте перейти ее и таким образом выручить наших беззащитных моряков. На этом решили; Полтинин немедленно выступил с отрядом, достиг в горах удобного для переправы места, спустился на берег моря и, взяв с собою несчастных, претерпевших кораблекрушение, вернулся с ними.

Мы хотя и стреляли по кучкам горцев, грабивших наши зарывшиеся фрегаты, но мало делали им вреда, потому что ядра наши едва достигали этого места.

К вечеру этого дня казалось, что несчастный Бефани скончался, хотя висел все в том же положении. Человек в партикулярном платье все еще держался на прежнем месте, хотя волны поминутно окачивали его. На третьи сутки почти весь отряд снова собрался на берег, и так

---

* М. В. Юзефович: Морские пушки? Так ли?

как шторм уменьшался, а несчастный все еще держался, то Раевский вызвал охотников спасти его, обещая в награду Георгиевский крест и 300 руб. серебром.

Небольшого роста невзрачный черноморский казак вызвался на славное дело и, обвязав себя длинною веревкою, которой конец взяли 100 человек, перекрестился и ринулся в клокотавшие и ревущие волны... Он исчез, а мы с замиранием сердца смотрели на эту страшную картину. Но вот бесстрашный пловец уже у цели своей... Мы видим, как он хватает несчастного в охапку и с ним снова погружается в волны... На берегу стали живо тащить веревку в гору, и Раевский сам помогал. Вот черная масса подвигается к берегу, и скоро два крепко обнявшихся трупа вытащены были на берег. Спасенный оказался англичанином, машинистом парохода «Язон». Обоих стали приводить в чувство. Доктора, фельдшера засуетились и делали все, предписываемое наукой. Машинисту пустили кровь, она не пошла... Казаку влили в рот теплого рому, и он вскоре очнулся и со временем получил обещанную награду. Машинист стал приходить в себя, но сидел весь почернелый, все еще в каком-то забытьи. Когда ему стали пускать кровь из другой руки, он едва слышным голосом просил посмотреть у него в кармане, цел ли его бумажник, в котором было 6000 рублей и векселя, в противном случае умолял оставить его умирать. Находясь в это время близ него и понимая английский язык, я исполнил его просьбу и, к удовольствию, вытащил его бумажник и нашел все его богатство целым, но, конечно, размокшим. Тогда англичанин стал улыбаться. «Here it is — very good, very good»*, — промычал он и протянул свою руку. Кровь пошла, и доктора объявили, что будет жив, а вечером он прохаживался уже.

Я сходил в отряд казаков, чтобы видеть и поговорить с смельчаком-спасителем и допытаться, что подвигало его к такому самоотвержению: любовь ли к человечеству, или обещанная награда. Я застал казачка у артельного котла за ужином, и уже помину не было о добром деле, им сделанном. В природе русской часто можно видеть примеры необыкновенного самоотвержения, без всякой задней мысли, и так, кажется, было и с моим казаком. Впрочем,

* Здесь оно — очень хорошо, очень хорошо (англ.).

он показал мне свои плечи в ранах. Все 10 пальцев окоченевшего англичанина ясно на них значились и еще напоминали доброму человеку его похвальный поступок, о котором он уже и не вспоминал.

Так кончилась эта страшная катастрофа... Бедный Бефани с разбитою головой на пятые сутки был снят с мачты и похоронен с военными почестями. Сделали следствие, привели в известность потерю в людях и материальной части и донесли государю: на [донесении][158] он собственноручно надписал: «Предать воле божией». Справедливо и мудро.

Укрепление, нами возводимое, приходило к концу и получило европейское название *«Форт Тенгинский»**. Место это лежит в глубокой котловине, а по горам растет вековой лес чинаров, орешника, диких каштанов, и хотя все очень грандиозно, но климат нездоровый. Сколько раз любовался я этой картиной и в подзорную трубку ясно видел в ущельях одиночные сакли и аулы горцев. Кажется, так бы и полетел в эти горы, в эти рощи, но за цепь нашу и носу показать нельзя было. Меткая пуля врага всегда готова встретить оплошного. Когда-то эти божьи места, путем просвещения, цивилизации, сделаются достоянием образованного человечества? Огонь и меч не принесут пользы, да и кто дал нам право таким образом вносить образование к людям, которые довольствуются своею свободою и собственностью?

Раз мы были у палатки Раевского, когда к нему привели горского князя, приехавшего просить о выдаче тел убитых горцев. Я никогда не забуду разговора их.

— Зачем вы не покоряетесь нашему великому государю, — спросил Раевский князя, — а заставляете нас проливать кровь напрасно? Знаю, что у вас в горах скрывается англичанин *Белл*, мутит вас и обнадеживает помощью Англии, но верьте мне, что он вас обманывает, помощи вы ни от кого не получите, а лучше выдайте мне его с руками и ногами и получите за это много серебра от нашего государя, который очень богат.

Тогда горский князь с достоинством отвечал чрез толмача:

— Удивляюсь я словам генерала. Ежели это прав-

---

* М. В. Юзефович: Почему Тенгинский европейское название?

да, что царь ваш так богат, то для чего же он так завидует нашей бедности и не позволяет нам спокойно сеять наше просо в наших бедных горах? Ваш царь должен быть очень корыстолюбивый царь. Что же касается англичанина Белла, то мы не можем его выдать, потому что он наш друг и гость и много делает нам добра. И у нас, как и у вас, есть негодяи, которых можно купить, но мы, князья, дворяне, всегда останемся честны, и нет у вас столько золота и серебра, чтоб совратить нас с пути чести.

Я заметил, что Раевскому сделалось как-то неловко, и он поторопился кончить этот щекотливый разговор, приказав выдать князю просимые им тела соотечественников, лежавших в куче, как дрова. На нарочно присланной за ними арбе отправились покойники восвояси, чтобы быть похороненными на земле, не оскверненной ногою гяура. Горцы отобрали только тела убитых пулями: смерть от штыка они считают бесчестною*.

На руках некоторых трупов я заметил красные шерстяные шнурки, и мне разъяснили, что это обыкновение соблюдается всегда при отправлении на войну. Жены и возлюбленные дают мужьям и любовникам этот амулет с пожеланием победить или умереть. Это — *«со щитом иль на щите»*, как в древней Греции или как в рыцарской Европе 14-го столетия дамы украшали шарфами защитников феодальных замков своих.

Я скоро не мог выносить непривычного климата и занемог сериозно. Однажды лежу себе в своей палатке и прислушиваюсь к отдаленной перестрелке где-то в горах. Вдруг в лагере грянула пушка, и капитан Маслович второпях вошел ко мне:

— Любезный Н[иколай] И[ванович], я иду с ротой на рубку леса. Горцы сильно защищают его, хотя там наших уже несколько рот.

— Я иду с вами, — сказал я.

---

* М. В. Юзефович: Как же это? Известно, что горцы в крайности и выпустив заряды, бросаются в шашки. Их встречают наши штыками. Неужели такая смерть, очень обыкновенная, особенно у отчаянных абреков, считается бесчестною?

В ответ на замечание М. В. Юзефовича редакция «Русского архива» заметила на полях: «Действительно, горцы не брали убитых штыками, считали их оскверненными, предполагая, что штыки намазывались свиным салом».



К. П. ИВАШЕВА

Неизвестный художник. Холст, масло. Около 1830 г.
Государственный Эрмитаж, Ленинград

— К чему? Вы не так-то здоровы и слабы еще да к тому же уж представлены к производству в у[нтер]-о[фицеры]. А лучше сделайте вот что: у меня не готов еще обед; понадсмотрите за этим и когда он поспеет, то отправьте его ко мне в лес. Прощайте! — и он исчез с своей ротой.

Исполняя просьбу своего капитана, я так и[159] распорядился; но когда обед был готов, то пошел с палкою в руке вместе с денщиком отыскивать Масловича. В салфетке и в корзинке неслись за мной водка, портер, биток и солонина с горохом. По направлению выстрелов шли



П. Е. АННЕНКОВА

Н. А. Бестужев. Акварель. 1836 г.
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

мы оба, спустились с какого-то возвышения по едва протоптанной тропинке, шли небольшою долиною и наткнулись на наших застрельщиков, залегших в кустах, по берегу речонки. С противоположного берега сыпались черкесские пули. В срубленном лесу я заметил солдата нашей роты, тащившего колоду, и от него узнал, что капитан и офицерство — на небольшом возвышении. Шагая по пням и сучьям, добрались мы с денщиком до этого места и в самом деле застали всех наших играющих в карты. Едва они меня заметили, то стали мне кричать, чтоб я нагнулся в кустах. И в самом деле нужно было

это сделать, потому что неотвязчивые неприятельские пули так и жужжали кругом нас, обивая с шумом лист на дереве. Но и я и завтрак благополучно достигли своего назначения.

Перестрелка все усиливалась, и капитан пошел в цепь посмотреть, что там делается. Я ему сопутствовал. Едва мы спустились с возвышения, на котором завтракали, и стали приближаться к нашей цепи, которая лежала, как я уже сказал, как мы увидели офицера, прохаживающегося мерным шагом в самом открытом месте. Мне показалось странным такая противокавказская логика, а Маслович объяснил мне, что этот чудак нарочно выставляется и лезет на вражескую пулю, чтоб быть непременно раненым и выслужить пенсион. «Я и сам всякий раз, что бываю в деле, — прибавил наивно Маслович, — всегда желаю, чтоб меня ранили для пенсиона. К несчастию, это не случается. Пришед в лагерь, выпадают из-под платья иногда пули, да оглядишь — на сюртуке несколько новых дыр. То и дело что зашиваешь их. Вот я так и маюсь здесь на Кавказе 20 лет, а что проку в побрякушках, которые я получил за все это время? Чин капитана да Станислава на шею — из них ведь шубы не сошьешь. А будь я ранен, получил бы пенсион, вышел бы в отставку и зажил бы паном».

В это время фельдфебель доложил Масловичу, что рота готова с лесом. Приказано было собрать стрелков, и движение началось. Смотрим — несут-таки офицера, желавшего быть раненым для пенсиона, а он улыбается и рад-радешенек, что пуля прошла ему выше колена в ногу, а Маслович ему завидует и ругается на свое несчастье. Даже солдаты считали его заколдованным или заговоренным против черкесских пуль.

Между тем здоровье мое все хуже и хуже. Старший отрядный медик Хайдушко, родом богемец, навестив меня, советовал уехать из отряда и предложил даже свое ходатайство у отрядного начальника, тем более что завтра отходит пароход в Керчь, где я могу удобно лечиться в госпитале. Я согласился. Скоро Раевский прислал мне сказать, что я могу отправиться в Тамань на излечение. Я поторопился собраться, простился с капитаном Масловичем и Костенкой, который за взятие Шапсуго представлен в офицеры и по этому случаю дал мне слово не играть в карты.

Глава XX

Правительственные шпионы. — Преследования либералов. — Госпиталь в крепости Фанагории. — Переезд в землянку. — Аптекарь здешних мест — Иван Иванович Ромберг. — Приезд Льва Пушкина. — Поездка к Херхеулидзевым. — 200 устриц в награду за подвиг. — История князя Херхеулидзева. — Возвращение. — Почтенная Анна Ивановна Нейдгарт. — Конец летней экспедиции. — Приезд Н. Раевского. — Производство в унтер-офицеры. — Опасная поездка

Я говорил уже однажды о странной оценке нашей службы, то есть всех сосланных по делу [18]25 года. Ближайшим нашим начальникам не позволялось таксировать наших заслуг и предоставлялось только прописать «на всемилостивейшее воззрение». Каждый из нас мог снять звезду с неба, и это бы не дало ему права получить награду, ежели бы случилось, что царское зрение в недобрую минуту не упало бы на эту строчку. Наученный опытом, Раевский нас боялся, да и мы его избегали, чтоб невольно не ввести его в неприятное положение, так как доносчиков расплодилось многое множество. Часто приезжали к нам на Кавказ флигель-адъютанты, а зачем? Бог знает! Помню, что они своим присутствием наводили на целые отряды какое-[то] непонятное, неприятное чувство. Конечно, и между ними случались исключения, но вообще остается сожалеть, что господа эти поступками некоторых из своих товарищей унизили и уронили это почетное звание и обязанность. Вельяминов не был педантом в мелочах и всегда оставался строг по службе, однако при первом свидании с нами он нам сказал: «Помните, господа, что на Кавказе есть много людей в черных и красных воротниках, которые следят за вами и за нами». Была организована система политического доноса. Не было общественного места, не было гостиной, куда бы не вкрались шпионы, даже семейный очаг не был от них избавлен. Повсюду правительство видело либералов или якобинцев. Брали на замечание тех, которые с удовольствием читали какой-нибудь журнал, в особенности иностранный. И не было границ мелочным притеснениям против тех, кто имел бороду и носил длинные волосы или пальто; обе эти вещи признавались наружными знаками либерала. Грустно! При Ермолове этого не было. Язва разлилась и в благородном

военном звании; и в нем поселилась такая гнусная обязанность и направление*.

На пароходе «Колхида» отправился я в Керчь с моим товарищем Черкасовым, и тут же с нами находился раненый поручик, накануне давший себя подстрелить ради пенсии. Командиром парохода был капитан Швендер. Погода была хорошая, мы шли всю ночь и рано утром бросили якорь перед Таманью, в древности называвшейся Тмутараканью. Выйдя на берег, нам пришлось тащиться пешком с нашими пожитками в гору и с версту в крепость Фанагорию, где и госпиталь — цель нашего странствования. Так как у нас были билеты для приема в лазарет, то мы с Черкасовым и явились к смотрителю госпиталя, в чине подполковника. По рекомендации доктора Хайдушки вероятно, нас троих поместили в отдельную палату, большую, чистую и довольно пристойную, но мы долго не могли привыкнуть к запаху различных лекарств, которым заражены и пропитаны зеленые кровати, столы, тюфяки и все лазаретные вещи. Здесь мне пришлось видеть, как я думаю и во всех местах [этого] рода, страдание человечества во всех его проявлениях и фазах, но и здесь же, и, конечно, более, нежели где-нибудь, я принужден был наблюдать бесчеловечные поступки и обращение с несчастными страдальцами лазаретного начальства и комиссаров. Что только можно украсть и оттянуть от больного, то все кралось и оттягивалось. К чести юного поколения докторов могу сказать, что они одни были людьми бескорыстными и почти все знали свое дело медиков и операторов, быв выпущенными из Виленского университета. Со многими из них я познакомился и сошелся. Впоследствии их взяли на восточный берег, и там они погибли жертвою климата.

Видя ежедневно все ужасы смерти и, что хуже еще страданий и лишений бедных солдат, и убийственное равнодушие начальства, я не в силах был более оставаться в стенах госпитальных. Однажды бродил я по крепостце, осмотрел ее незначительные укрепления и спустился к морскому берегу. На обрыве стояла чистенькая землянка с трубою и тремя окнами, почти на земле проделан-

* М. В. Юзефович: В мое время, однако ж, кроме рыжего Бутурлина, ни одного доносчика у нас не было. Если бы были — последствия доносов оказались бы.

ными. Я полюбопытствовал и вошел. Меня встретила хозяйка этого скромного жилища, и я узнал, что она была казачка и живет с своей 12-летнею дочерью. У нее нашлась особая горенка, и мы скоро сошлись в цене. Стол, 3 стула, кровать составляли мою мебель, пол был вымазан желтою глиной и усыпан пахучими травами. Я очень обрадовался своей находке и, предпочтя это чистое помещение лазаретной вони, в тот же день перебрался в свое новое жилище.

Землянка моя вырыта в крутом обрыве и, как бы сказать, лепится у самого моря, так что я постоянно слышу плеск волн, ударяющихся в песчаный берег. Против моих окошечек виднеется за 30-верстным проливом городок Еникале, и при попутном ветре достаточно двух часов, чтобы перенестись на тот берег, что беспрестанно и делают казаки на своих парусных лодках и душегубках.

Не успел я оглядеться хорошенько, как посетил меня Иван Иванович Ромберг, аптекарь здешних мест. Я чрезвычайно был рад его посещению, а так как Ромберг с первого раза мне очень понравился, к тому же был немец, а я с детства любил эту нацию, то мы с ним скоро сошлись. Иван Иванович был женат на немке же и не имел детей. Думая еще и прежде о средствах пропитания и не желая заводиться хозяйством, я в разговоре сказал Ромбергу:

— Вероятно, супруга ваша должна быть отличной хозяйкой?

— Конечно, — отвечал он мне, — в особенности же она отлично печет пирожки и мастерица жарить, и я пришел пригласить вас.

— С удовольствием[160], — отвечал я, и мы пошли.

Квартира его была недалеко от моей землянки, и при нашем приходе мы нашли уже стол накрытым ослепительной белизны скатертью. На столике красовался графинчик водки, вероятно фабрикованный в аптеке. С нашим появлением показалась сама хозяйка с мискою дымящегося супу. Мы познакомились и принялись уничтожать обед, оказавшийся чистым, вкусным, а пирожки были просто объеденье. За столом же мы и порешили, что за 25 рублей в месяц я поступаю к этому доброму семейству на пансион.

Так тянулись дни в ожидании лучшего. Ведь будет

же какой-нибудь конец моей драме? «Es kann nicht immer so bleiben»*, — сказал какой-то философ-флегматик.

В одно утро посетил меня Лев Пушкин. Доискиваясь моей квартиры, какой-то праздношатающийся в крепости указал ему единственную трубу моей землянки, торчащей из-за обрыва. «Помилуй, братец! это кузница», — сказал со своим обычным смехом Лев Сергеевич и мигом прибежал ко мне. После первых объятий я спросил его:

— Откуда и куда?

— Из форта послан Раевским по службе в Керчь, а главная цель моей откомандировки — поесть устриц.

— Это впереди, а чем тебя теперь потчевать? Хочешь чаю?

— Не пью.

— Кофею?

— Не пью.

— Хочешь водки?

— Пью, вино пью, давай, — и он начал пить.

— Знаешь ли, что я нарочно приехал за тобою, — продолжал Пушкин, опоражнивая стакан за стаканом, — и везу тебя в Керчь к к[н]. Херхеулидзеву, который желает тебя видеть и познакомить с княгиней. Они объявили мне, чтоб без тебя я не смел к ним являться.

— Рад очень обнять друга моего князя, но можно ли мне отлучиться? Я считаюсь больным в госпитале и боюсь скомпрометировать и князя и лазаретное начальство.

— Полно, любезный друг. Волка бояться — и в лес не ходить, собирайся, ветер попутный, и к обеду мы там.

Я предупредил старшего доктора о своей отлучке на неделю в Керчь, облачился в солдатскую шинель и на лодочке с Пушкиным переехал на казенный тендер, бывший в распоряжении его.

Странно, военный тендер этот назывался «Часовой», командир — лейтенант Десятый, на нем 10 человек матросов и один из них также прозывается *Десятый*. В крошечной каюте капитана Пушкин и Десятый стали пить вино, и потом оба заснули, а я вышел на палубу. Тендер, как курьер, летел на всех парусах. Скоро мы миновали много иностранных судов, которые каждым летом, в числе нескольких сот, посещают наши азовские порты

* Не всегда же это так и будет (нем.).

и нагружаются хлебом и прочими продуктами[161]. Тендер, как ловкий кавалер, миновал все препятствия и шибко и грациозно вошел в бухту и бросил якорь у пристани.

Мы с Пушкиным пошли прямо к дому градоначальника Херхеулидзева. При входе в переднюю я просил Льва Сергеевича предупредить князя, а главное — узнать, нет ли у него посторонних гостей, но через несколько секунд прибежал князь, и мы обнялись с восторгом, не видавшись с нашей гвардейской службы. Тут прибежала княгиня и, не дав мне времени прилично ей представиться, взяла меня за руки и, со свойственною ей любезностью, сказала: «Знаю вас давно. Муж мой все мне передал, и я надеюсь, что вы останетесь снова нашим другом». Пушкин стоял и улыбался. Скоро подали обед, и он был вознагражден за свой подвиг тем, что ему подали огромный поднос устриц, кажется до 200, так что и он не утерпел, чтобы не сказать: «Господи, за что так щедро меня награждаешь?» Шампанским за наше свидание завершался обед.

Князь Захар Семенович Херхеулидзев из грузин, родился в России. Мать его, не знаю, по какому-то делу, приехала в Малороссию; П. В. Капнист принял ее в свой дом в то время, когда и я там воспитывался. Захару Семеновичу было 11 лет, когда мы с ним познакомились и два года провели вместе. Чрез несколько лет судьба опять нас свела, уже молодыми людьми. Князь служил в Преображенском полку штабс-капитаном и казначеем полка, я — в Московском.

Несмотря на то что он был отличным офицером, любим и уважаем товарищами, в[ел]. к[н]. Михаил Павлович не давал ему командовать ротою, придираясь к тому, что у Херхеулидзева не было звучного, сильного голоса. Князь обиделся и хотел подать в отставку, но Воронцов, назначенный в то время военным генерал-губернатором Новороссийского края, знав благородные качества души Херхеулидзева, взял его к себе в адъютанты и в оправдание выбора своего часто говаривал: «По голосу можно и должно выбирать людей только в певческую капеллу». И князь Воронцов был прав. Почти такое же происшествие случилось с Дибичем, служившим в Семеновском полку. В приезд прусского короля в Петербург Дибич назначен был в внутренний караул, но монаршим

повелением за неприличную фигуру лишен был этой чести, с приказанием впредь никогда не назначать подобных в торжественных случаях. Дибич обиделся и вышел из полка в Генеральный штаб подполковником. И эта гнусная фигура своими познаниями и достоинствами сделалась российским фельдмаршалом, покорила России многие земли* и обогатила ее военную историю новыми блестящими победами!

Херхеулидзев служил адъютантом Воронцова до чина полковника и делал с ним Турецкую кампанию 1828 года. В награду Воронцов назначил его градоначальником г. Керчи, переименовав в статские советники, и тут-то мы с ним свиделись после 20-летней разлуки. Г. Керчь — его создание. Его трудами он сделал ее маленькой Одессой, и Воронцов в шутку называл Керчь ее недоноском. Впоследствии, когда князь Воронцов назначен был наместником Кавказа, а Федоров заменил его в Новороссийском крае, Херхеулидзев не ужился с новым генерал-губернатором и был переведен губернатором в Смоленск. Более способный к делам коммерческим и имевший постоянные сношения с негоциантами, людьми просвещенными по преимуществу, Херхеулидзев не мог оставаться равнодушным ко всем нашим губернским злоупотреблениям, поссорился с предводителем дворянства князем Друцким и, оставив службу, поселился в Петербурге, чтоб заняться воспитанием детей своих. Ныне царствующий государь, зная его бескорыстие и неподкупную честность, после сдачи Севастополя поручил Херхеулидзеву осмотреть и привести в порядок госпитальную часть в армии, где, как известно, произошли страшные беспорядки.

Князь строго принялся за новую обязанность; ежедневно навещал больных, следил неусыпно за порядком, осматривал пищу, белье и, конечно, к сожалению всех несчастных страдальцев, заразился, получил тифозную горячку и скончался в Севастополе, где на кладбище и похоронен. Мир праху твоему, благороднейший человек и близкий друг мой! Ты кончил жизнь свою на поприще службы и до последней минуты приносил пользу человечеству и согражданам твоим.

Скоро я расстался с семейством Херхеулидзева и воз-

---

* М. В. Юзефович: Какие?

вратился в свою землянку в Керчи. Пушкин проглотил несколько сот устриц и уехал на восточный берег.

Наступила зима, и в длинные вечера ее я много читал и писал. Сварливая хозяйка моя то и дело ругалась с моим человеком, но этих развлечений мне было недостаточно. К счастию моему, в соседстве жила почтенная старушка вдова Нейдгарт. Муж ее был полковником артиллерии и приходился родным братом генерал-адъютанту Нейдгарту (бывшему впоследствии главнокомандующим войсками Кавказа, но ненадолго); он, бывши под судом за какие-то упущения, умер неоправданным и тем лишил свою бедную жену небольшого пенсиона и средств существования. Старушка сама пожелала со мной познакомиться, а мне это было с руки. Я не замедлил отправиться к ней с визитом и нашел предобрую и пречопорную старушку, занимавшую две чистенькие горенки со множеством образов, пред которыми теплилась неугасимая лампада.

Она полюбила меня, как сына, и впоследствии постоянно опасалась за мою жизнь, вечно ожидая набега горцев. Мы с нею скоро сошлись, и она мне призналась, что по вечерам бывает спокойна тогда только, когда в окнах моих увидит огонь. Для нее это значило, что я дома, и она принималась за обычную ее молитву, в которой не забывала испрашивать и скорого производства моего в офицеры. В крепости все любили и уважали почтенную Анну Ивановну, и по праздникам все госпитальные чиновники ходили к ней с поздравлением.

Летняя экспедиция кончилась, гвардейцы стали разъезжаться, и Раевский приехал в Тамань. За взятие Шапсуго *меня произвели в унтер-офицеры*, и я счел долгом своим лично поблагодарить командующего войсками и отправился к нему с этою целью. Сам Раевский был произведен за экспедицию в генерал-лейтенанты, и мы оба, кажется, были довольны, хотя при обоюдном нашем поздравлении Раевский прибавил мне: «C'est le premier pas qui coûte»*. Я хотел было напомнить генералу, что этот первый шаг делается мною во второй раз в мою жизнь, но, заметив многочисленный штаб, его окружающий, удержался вовремя, припомнив, кстати, слова Вельяминова.

---

* Первый шаг всегда много значит [букв. — стоит. — М. Н.] (франц.).

Возвращаясь от Раевского, я зашел к коменданту Тамани маиору Дорошенке, потомку славного запорожца. Не знаю, каков был его предок, но мой знакомый был миролюбивейшим, прекрасным, добрейшим человеком, и все его любили, в особенности же гвардейские офицеры, которых комендант частенько выводил из беды, ссужая своими деньгами. Жена его была также хорошая женщина и любила всех декабристов, а меня отличала, присылая часто отличных белых бубликов своего печенья.

Ездить в Керчь зимою весьма опасно, и бывает период времени, что даже отважные казаки на своих лодках не решаются на эти поездки. Наступила масленица, и я получил приглашение от Херхеулидзевой приехать в Керчь с первою возможностию. Но пролив покрыт был льдом, и случая не представилось. Однажды получаю записку от коменданта с извещением, что есть оказия переправить меня в Керчь. Прихожу к нему и застаю капитан-лейтенанта Памфилова, отправляющегося с депешами к Раевскому. Он во что бы то ни стало должен быть сегодня вечером в Керчи и предложил мне разделить с ним это опасное путешествие. Я согласился, но так как от берега лед еще не тронулся, то [мы] должны были достигнуть косы или выдавшегося мыса, верст на 6 впереди, на почтовой тройке и там только сесть в почтовую лодку, которая уже перевезет нас на твердую землю Крыма.

Благословясь, мы пустились в путь и скоро достигли оконечности косы и казачьего поста, там стоящего. Памфилов с телескопом полез на крышу, чтоб лучше осмотреть пролив и море, и, хотя открыл опытным взглядом своим только чернеющуюся дорожку меж льдов, однако решил, что надобно плыть. Мы отчалили от берега и стали лавировать меж огромными льдинами. За версту, однако ж, мы врезались в лед так, что могли легко погибнуть, но, подстрекаемые отважным Памфиловым, все выскочили из лодки на льдину, перетащили ее дружными усилиями в открывшиеся воды и снова поплыли.

Опасность быть запертыми льдом и унесенными течением в Черное море грозила нам снова, но мы на веслах выждали прохода льда и, наконец, после долгих усилий пристали на Павловской батарее, а оттуда версты 4 должны были пешком, по вязкой глине еще тащиться в Керчь. Однако ж в 10 часов, к ужину, я был у моих дру-

зей, очень обрадовавшихся моему нечаянному приезду, и прогостил у них несколько недель.

Глава XXI

Разговоры о новой экспедиции. — Генерал Завадовский. — Встреча с Нарышкиным, Одоевским, Назимовым, Лихаревым и Игельстромом. — Приготовление к экспедиции. — Десант. — Лагерь после победы. — Товарищеский обед в иванов день. — Атака горцев. — Данзас. — Конец экспедиции. — Последнее свидание с Одоевским в здешнем мире. — Тамань и персиковое дерево. — Весть о смерти Одоевского

Весною заговорили о новой большой экспедиции на восточном берегу. Говорили, что Раевский намерен занять еще одно место на берегу, воздвигнуть там форт, потом идти в горы и покорить непокорных натухайцев.

В ожидании новых трудов я мирно жил в Тамани, а с наступлением весны предался своим любимым прогулкам в окрестностях. Я, как новый Колумб, открыл невдалеке от Тамани два больших кургана, насыпанных, по преданию, Суворовым при покорении этих стран у турок. В версте от Фанагории обрел я фонтан, выкопанный турками же; вода холодная, прозрачная, вкусная, и ею снабжается лазарет, посылающий свои бочки ежедневно за живительной влагой. Я часто отдыхал в этом месте, в тени трех старых дерев, и мечту мою ничто не нарушало в степи, меня окружающей.

Войска стали мало-помалу собираться к предстоящей экспедиции, и в мирном уголке моем стали пошевеливаться. Смотритель госпиталя стал выдавать чаще чистое белье, повара лучше готовили пищу, медики аккуратнее обегали палаты свои, и все ждали приезда начальника и желали показать товар лицом. Мой Иван Иванович Ромберг все долее и долее оставался в своей аптеке и даже стал опаздывать к обеду, что очень огорчало его жену, заботившуюся только о своем хозяйстве.

Мне хотелось узнать, скоро ли прибудет наш полк, и я однажды отправился в Тамань к коменданту, как месту, где сосредоточиваются все новости. У пристани я нашел много военного народа, казацких офицеров и самого Дорошенку, а подойдя ближе, увидал генерала Завадовского, начальника Черноморской линии. Так как я был с ним знаком, то подошел к нему с вопросом, куда он отправляется в такую бурную погоду. «Еду в Керчь,

к Раевскому, — отвечал он мне громко и, наклонившись к уху моему, прибавил: — *Ему везе!*» О, подумал я, и в этом скромном уголке земного шара есть куртизаны, и Завадовский с опасностию жизни пускается в Керчь, чтоб почтительнейше засвидетельствовать свое глубочайшее почтение Раевскому потому только, что «*ему везе*».

Завадовский не был дурным человеком*, но не получил никакого образования и был далек каких-нибудь новых систем войны. Он водил ее обыкновенно на старый лад, методически, чтоб отбить стада горцев и разделить добычу между своими казачками. Как истый малоросс, он был хитер и тонок и обыкновенно прикидывался простаком, приговаривая: «Мы люди бедны, мы люди темны».

Рассказывают про него, что, когда государь Николай Павлович был в Ставрополе и весь генералитет ждал его выхода, Завадовский толкался между этими сановниками и всем рассказывал, что пропала его головушка, ежели царю вздумается прокатиться по Черноморию, что дорог, мостов и гатей в ней не чинили и не поддерживали со дня переселения туда казаков и прочее. Вскоре государь вышел и, обратившись к Завадовскому, сказал ему: «Ты не сердись на меня, ежели в этот раз я не могу быть у тебя на линии». Тогда Завадовский закрыл глаза и сумел выжать несколько слезинок, тронутый таким отказом обожаемого монарха, а едва оставил залу, не стесняясь, громко радовался этой немилости и крестился и отмаливался, что отделался от опасности ревизора. Это совершенно в нравах малороссов.

Наконец и для меня настал радостный денек. В одно утро, сидя в моей крошечной землянке, я услыхал знакомые голоса моих любезных товарищей и чрез несколько секунд обнимал уже Нарышкина, Одоевского, Назимова, Лихарева и Игельстрома. Все они посланы были на правый фланг для экспедиции и только что пришли с отрядом. Разговорам, расспросам не было конца, мы шутили, смеялись, радовались, как дети. Бог привел товарищей Читы и Петровского завода разделить со мною труды кавказской войны.

Отдохнув немного, мы всем обществом пошли в Тамань отыскивать удобные квартиры; вскоре обрели, что

---

* М. В. Юзефович: Но был страшный взяточник и корыстолюбив донельзя.

нам было нужно, купили посуду, и все пошло своим порядком. В одно утро выстрел с купеческого корабля на рейде возвестил о приближении к Тамани важного лица, и мы пошли к берегу, От Керчи шел пароход и вез Раевского «La fortune de Césare», со своим штабом, с женою и большим причтом шляпок, стал на якоре и на лодочках перебрался на берег, где и занял отведенный ему дом. Жена Раевского, урожденная Бороздина, приехала из Керчи проводить мужа и, само собой разумеется, разделяла с ним дань уважения и почестей, оказываемых любимому начальнику.

Всю ночь эту провел я без сна, делая свои приготовления, снаряжаясь в экспедицию. На другой день мы выступили на сборный пункт, где собирались в прошлый год, но мне было не так грустно, потому что многие товарищи на этот раз были со мною. Так же как прошлый год, с флота прислали за нами большое количество лодок, и я попал с моим взводом на корабль «Силистрия», к большому сожалению моему, что не снова к другу моему Мессеру на корабль «Память Евстафия». Я очутился в тесноте и хотя между более или менее знакомыми моряками, но все не то, что на палубе у Мессера.

Войска продолжали рассаживаться, а я вышел на палубу. Адмирал Лазарев ходил с подзорной трубой взад и вперед, по обыкновенной привычке старых моряков... Увидав меня, он подошел ко мне и весьма ласково осведомился, зачем я не у Мессера на корабле, и прибавил, что здесь квартира Раевского с целым штабом и что мне будет «и тесно и непокойно». «Я прикажу перевести вас к Мессеру», — кончил он и призвал мичмана передать ему приказание. Гичка была спущена, я мигом собрал свои пожитки, и мы поплыли к «Памяти Евстафия», где, заметив, что от адмиральского корабля спустили гичку[162], ожидали важного посланного до тех пор, пока не узнали меня и свою ошибку. Так же радушно, как и прошлый год, был я принят целым экипажем, и на другой день мы весело плыли на всех парусах в виду берегов Кавказа. На этот раз Раевский вносил русское оружие в землю убыхов, племя самое воинственное, и по всему заметно, что нам не дешево достанется это святое место, как сами горцы его называют.

Рано утром с адмиральского корабля выстрел возвестил нам, что пора готовиться к десанту. Войска на лод-

ках стали высаживаться на берег под прикрытием своих кораблей, которые над нашими головами посылали со всех своих бортов кучи ядер, так что только грохотало эхо и лес на прибрежье с треском валился, как скошенная трава. Раевский также одним из первых выпрыгнул на твердую землю, и я был недалеко от него, хотя с ружьем и незаряженным, по обыкновению, которое я имел, уверенный, что никогда не попаду в черкеса.

Едва мы сделали несколько шагов вслед за стрелками, как из леса показалась масса конных убыхов, тысяч до трех, и с страшным гиком кинулась на нас с поднятыми шашками.

Мне кажется, что я никогда не забуду страшного впечатления, произведенного на нас этой неожиданной атакой. Два предводителя горцев, верхами на белых конях, отважно неслись впереди толпы; минута была критическая, но генерал Кошутин, командовавший нашей колонной, не дремал. Перекрестившись, в штыки повел он батальон навстречу отчаянного неприятеля, а 3 конные легкие орудия, прикрывавшие нашу колонну и находившиеся неподалеку ее с Раевским, картечью умерили пыл отваги. Я видел, как свита Раевского засуетилась, заколебалась, но сам он прехладнокровно курил трубку и пускал спокойно дымок. Навагинцы поддержали смертоносный огонь наших пушек штыками и батальонным огнем, и неприятель был отбит и преследуем моряками. Уходящему, или, лучше сказать, бегущему неприятелю, не удалось совершить спокойно своего отступления. Навагинцы зашли им в тыл и приняли в штыки. Резня началась славная, и горцев рубили и кололи напропалую.

У нас все было кончено. Раевский сел верхом и поздравил колонны с победой. Но на правом нашем фланге трещала еще страшная пальба и беспокоила меня за Нарышкина, который там находился. Я пошел по направлению выстрелов и дорогой встречал многих раненых. Кого несли, кого вели, кто брел, опираясь на ружье. Я вступил уже на линию огня, и черкесские пули стали свистать частенько около меня... Попавшийся мне знакомый офицер указал мне, где отыскать Нарышкина, которого я и нашел, наконец, с Загорецким у дерева. Последний заряжал ружье Нарышкину, а у М[ихаила] М[ихайловича], сделавшего более 70 выстрелов, усы и все лицо было черно от пороху и дыму...

Между тем и на правом фланге наши преследовали горцев, и отдаляющаяся перестрелка показала нам, что делу конец. «Слава богу, что мы все живы и невредимы, пойдем в лагерь», — сказал Нарышкин, и мы поплелись восвояси. По дороге встретили верного повара Нарышкина, который, искренно выразив своему барину всю свою радость при виде его невредимым, объявил нам, что самовар готов у самого моря. Вскоре мы дошли до места отдохновения и разлеглись на коврах и подушках, отвели душу душистым русским напитком. Возвращающиеся отряды вступали в лагерь, и возле нас образовался кружок недавних действователей. Рассказам эпизодов боя не было конца. Мы, как и всегда, остались победителями, однако не дешево стоила нам эта победа. У нас было много раненых, между прочим, между моряками был ранен в живот лейтенант Фридрихс. Пушкин вскоре оживил нашу беседу своими веселыми замечаниями и шутками, а недалеко от нас лежали бедные мученики — наши раненые, и доктора суетились возле них.

Человек делается эгоистом на войне, и плоть человеческая заглушает в нем человечные мягкие чувства. Многие жертвы, уснувшие сном непробудным, лежали покрытые шинелями и ждали вечной могилы своей. Одного солдата, раненного пулей в живот навылет, два товарища водили под руки, а он, несчастный, стонал от боли... Доктор сказал мне, что он умрет, как скоро рвота начнется, и, действительно, смерть быстро охватывала несчастного. Он стал жалобно прощаться с товарищами и просил отдать крест и образок, бывшие у него на груди, в церковь и вскоре в самом деле скончался. Почти все раненые жалобно просили пить, и я исполнял их желания, подавая им из манерки воду с уксусом. Я не мог долго выносить этого печального зрелища и вскоре удалился.

Бивак наш очень красиво расположился на небольшой долине, в редком вековом лесу. Кругом нас высятся уступами горы, все выше и выше, и венчаются снеговым хребтом.

Неугомонные горцы поставили пушки, у нас с разбитых судов заграбленные, в неприступных местах и постоянно сверху стреляют по лагерю и по палаткам, по выбору. Зеленая походная церковь наша служит им хорошею мишенью, и, предполагая ее шатром паши Раев-

ского, они преимущественно осыпают ее снарядами. Но более всех страдал в этом случае бедный священник с дьячком, которых палатка была поставлена возле церкви. Всякое неприятельское ядро, не попавшее в храм божий, непременно ложилось возле обиталища скромного пастыря, и он с своим прислужником, подняв рясы, ищет спасения в более отдаленном месте. Бывало, утром, лежа в своей палатке, мне по одному шествию уходящего пастыря можно было догадаться, что горцы начали бомбардирование и шальным ядром заставили его сняться с позиции... Но бывали и в лагере нашем случаи неожиданной, быстрой смерти, и незваные ядра мешали солдатикам заниматься своими делами в палатках. Раз я шел к Нарышкину, как вдруг встречаю его повара, бледного, расстроенного, потерянного... «Что с тобою?» — спросил я его. «Помилуйте: ядро попало в суп к барину», — отвечал он мне. «Ставь новую кастрюлю, любезнейший, — сказал я ему, смеючись, — авось другое не попадет». И таких анекдотов было множество.

Наконец стрельба эта всем нам страшно надоела, и Раевский приказал нашим огромного калибра чугунным пушкам заставить молчать горцев. Орудия наши гремели целый день, разрыли гору, занимаемую горцами, порядочно, но не прекратили их огня, и он, ослабевая, прекратился у них тогда только, когда, кажется, недостало пороху или снарядов.

Нарышкин стоял в одной палатке с Загорецким*, а так как у Одоевского был собственный шатер, то он и предложил мне поселиться с ним, на что я с удовольствием, конечно, согласился, любя его искренно и приобретая в нем приятного и умного собеседника. Он отлично был образован, знал отлично наш отечественный язык, и после всякого дела Раевский, диктовавший всегда сам реляции, присылал их к Одоевскому для просмотрения и поправок. Отрядная молодежь наша постоянно, как эхо, вторила громкой диктовке Раевского, раздававшейся по всему лагерю.

Ко всем приятностям собеседничества с Одоевским он обладал отличным поваром, и мы с ним согласились дать обед и для этой цели накупили у маркитанта всего

---

* М. В. Юзефович: Кто такой Загорецкий? Не худо бы объяснить.



Н. И. ЛОРЕР НА КАВКАЗЕ

Р. К. Шведе. Холст, масло. 1841 г.
Государственный Эрмитаж, Ленинград

необходимого вдоволь и составили пригласительный список. Приглашенных набралось до 20 человек, и в иванов день, 24 июня, в трех соединенных палатках с разнокалиберными приборами, занятыми у званых же, все собрались. Капитан Маслович был именинник, и мы пили радушно его здоровье и веселились на славу. После обеда Пушкина, знавшего наизусть все стихи своего брата и отлично читавшего вообще, заставили декламировать, и он прочел нам поэму «Цыгане».

Кто-то предложил обществу купаться в море, а потом пить жженку, и шумная компания отправилась погружаться в волны понта Евксинского, а я остался распорядиться жженкой и пуншем. Мы вообще преприятно провели этот день, но во время нашего обеда дерзкие горцы, как будто нарочно, при первой раскупоренной бутылке шампанского грянули по лагерю из своих пушек, а Одоевский нашелся и, выпивая свой стакан шипучего за здоровье Масловича, уверял, что это в честь его гремят заздравные тосты. Поздно вечером разошлись наши гости.

На другой день горцы, собравшись в огромные толпы, атаковали наш лагерь. Храбрый Ольшевский с 2 батальонами первый пошел прямо в гору. Отряд поручен был полковнику Данзасу, недавно присланному из Петербурга за участие в дуэли А. С. Пушкина, у которого он был секундантом. Подобной храбрости и хладнокровия, каким обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях, несмотря на мою долговременную военную службу.... Бывало, с своей подвязанной рукой стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шмели, жужжат и прыгают возле него, а [он] говорит остроты, сыплет каламбуры... Ему кто-то заметил, что напрасно стоит на самом опасном месте, а он отвечал: «Я сам это вижу, но лень сойти».

По мне, он был замечательным человеком, хотя большой оригинал. Он любил хороший стол и большую часть времени лежал в постели, однако все его любили и звали, между нами, Maréchal de Soubise. Вот еще один оригинальный поступок его: когда он еще был поручиком в саперах, его откомандировали в Бендеры, от которых он недалеко стоял со своим батальоном. В Москве он явился к генерал-губернатору к[н]. Голицыну и на вопрос, куда он едет из Москвы, Данзас отвечал: «Я еду через Москву в Бендеры и прошу ваше сиятельство позволить мне ехать через Петербург». Конечно, князь не согласился и, смеясь, советовал ему ехать через Москву только, так как путь этот будет короче.

Во время Турецкой войны*, не помню, под какою кре-

---

* М. В. Юзефович: Данзас не был у нас в Турецкую войну, а был только в Персидской, по окончании которой переведен был в армию Дибича.

постью, генерал Паскевич пожелал узнать ширину рва, и Данзас тотчас же принялся исполнять буквально приказание начальства. Само собою разумеется, что на смельчака посыпались пули. Но напрасно Паскевич громко отменял свое приказание, — Данзас спустился в ров, медленно шагами измерил его и принес генералу записку с подробным отчетом...*

Отбитые горцы засели в окружающих нас лесах и упорно защищались на этот раз. С 10 часов утра до 3 ночи беглый огонь не прекращался, и скоро Данзас прислал просить подкрепления изнемогшим от усталости людям. Назначили две роты тенгинцев под начальством Масловича. Мы отправились на выручку товарищам. По дороге встретили много раненых, но особенно было жалко видеть двух братьев-юнкеров, раненных страшно в рот и, что странно, одинаковым образом... Наши стрелки сменили усталых бойцов, не имевших времени проглотить куска хлеба почти полсуток.

К счастию, к вечеру горцы мало-помалу стали отступать; мы, конечно, за ними и оттеснили их в горы. Поздно вечером мы возвратились в лагерь, и Данзас, лежа беспечно на ковре, играл в карты и отпускал каламбуры по-прежнему.

Постройка форта скоро будет окончена, но покамест придется терпеть от несносного жара. Весь лагерь бегает освежиться по несколько раз в день в море. Страшные грозы нимало не освежают палящего жара. Молния часто падает в котловину, на которой расположен наш лагерь, и тогда ощущается запах фосфора. Часовой, стоявший в 20 шагах от моей палатки, забыв опустить штык во время грозы, был убит.

Раевский прислал сказать нам, что так как экспедиция кончилась, то мы можем ехать в Тамань и Керчь. Заболевший было горячкою, но оправившийся, хотя и слабый, Нарышкин и я чрезвычайно обрадовались этому позволению и спешили им воспользоваться. Одоевский, получивший недели две тому назад горестное известие о кончине своего отца, совершенно переменился и морально и физически. Не стало слышно его звонкого

* М. В. Юзефович: Это могло быть разве под Эриванью. Мне не случалось слышать этого, хотя Данзас способен был на такую штуку.

смеха; он грустил не на шутку и по целым дням не выходил из палатки и решительно отказался ехать с нами в Керчь. В день нашего отъезда он проводил нас на берег и на наши просьбы ехать с нами упорствовал до последней минуты. «Je reste et je serai le victime»* — были его последние слова на берегу. Чтоб отдалить хоть несколько минут расставания, Одоевский сел с нами в лодку и пожелал довезти нас до парохода. Там он сделался веселее, шутил и смеялся. «Ведь еще успеют перевезти твои вещи: едем вместе», — уговаривал я его... «Нет, любезный друг, я остаюсь». Лодка с Одоевским отвалила от парохода, я долго следил за его белой фуражкой, мы махали платками, и пароход наш, пыхтя и шумя колесами, скоро повернул за мыс, и мы наглядно[9] расстались с нашим добрым, милым товарищем. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире!

На другой день мы были в Тамани и наняли с Нарышкиным в 2 верстах от станции хорошенькую и покойную квартирку с садом у казачьего офицера. В саду много фруктовых деревьев, отягченных плодами, и весь он разделен на участки и принадлежит разным владельцам, которые и живут с доходов от плодов. У самого окна нашей квартиры стоит огромное персиковое дерево, желтое почти от плодов, его покрывающих. Часто, ложась с Нарышкиным на коврах под ним, нам стоило открывать только рты, и персики сами валились на нас. Чтоб не отнимать доходов от бедного владельца, мы купили это дерево за 10 руб. ассигн. и тогда уже смело пользовались им. И мы, и люди наши, и все знакомые Тамани, как-то: Нейдгарт, Дорошенко, Ромберг и проч., — ели вдоволь, и дерево казалось неистощимым.

Я блаженствовал в этом far niente**, но Нарышкин начал скучать по своей жене, которая жила на кавказской линии, в Прочном Окопе.

Скоро и весь отряд вернулся из экспедиции, и товарищи принесли нам горестное известие о смерти Одоевского, которого мы так недавно оставили... Кавказская лихорадка чрез несколько дней после нашего прощания на берегу моря сразила его, и болезнь не уступила всем стараниям медиков. Раевский с первого дня его болезни

* Я остаюсь и буду жертвой (франц.).
** ничегонеделание (итал.).

предложил товарищам больного перенести его в одну из комнат в новоустроенном форте, и добрые люди на своих руках это сделали. Ему два раза пускали кровь, но надежды к спасению не было. Весь отряд и даже солдаты приходили справляться о его положении, а когда он скончался, то все штаб- и обер-офицеры отряда пришли в полной форме отдать ему последний долг с почестями, и даже солдаты нарядились в мундиры. Говорят, что когда Одоевский лежал уже на столе, готовый*, на лице его вдруг выступил пот... Все возымели еще луч надежды, но скоро и он отлетел.

До могилы его несли офицеры. За новопостроенным фортом, у самого обрыва Черного моря, одинокая могила с большим крестом оставила нам воспоминание об Одоевском, но и этот вещественный знак памяти недолго стоял над прахом того, кого все любили. Горцы сняли этот символ христианский. Кончу об милом Саше воспоминанием и стихами Лермонтова на смерть А. И. Одоевского. Поэт наш в своих звучных стихах упоминает о шуме моря, который так любил покойник, и кончает свою поэму:

И мрачных гор зубчатые хребты...
И вкруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет:
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая;
А море Черное шумит не умолкая!

Одоевский немногим пережил своего отца и скончался на 37-м году от роду.

Скоро Нарышкин уехал к жене в Прочный Окоп, я не в силах был вынести одиночества и перебрался в Фанагорию, в мою лачужку, поближе к старым знакомым.

* М. В. Юзефович: Тут явная описка; но что должно быть вместо слова готовый, не мог догадаться[163].

Глава XXII

Осень. — Приезд доктора Мейера. — Поход на Анапу. — Шутки Данзаса. — Обратный поход. — Романтическое происшествие. — Приезд Голицына. — Переправа Цебрикова. — Куриозный случай с Цебриковым. — Знакомство с М. Лермонтовым

Осень быстро наступала, и скука становилась нестерпимою. В одно утро вовсе неожиданно навестил меня доктор Мейер из Керчи и объявил, что назначен главным доктором Восточного берега и что он едет теперь в Анапу к Раевскому, который собирается предпринять экспедицию в горы, к шапсугам, чтоб наказать их за частые грабежи, которые они делали у наших новых поселенцев близ Анапы. Попробую и я сделать этот сухопутный поход, пойду воевать a ma manière* с бедными горцами, которые и мне ничего не сделали и против которых и я ничего не имею. Вздумано, сделано! Я нанял себе казачью повозку и с своим Антипом последовал за Мейером, ехавшим в тарантасе.

Ранним утром, без конвоя отправились мы в путь и скоро достигли казачьего поста Кубани, которая отделяет нас от неприязненного берега. Тут же и переправа на жиденьком плоту. Кубань так быстра при своем впадении в море, что плоту необходимо подыматься вверх по течению почти на версту и тогда пуститься вперерез, чтоб пристать к противоположному берегу. Мы с доктором счастливо совершили свою переправу и потом ехали песчаной дорогой еще несколько верст. Наконец набрели на бедную деревушку, почти зарытую в сыпучем песке, с песчаным валом и ротою солдат для защиты своей. Дело подходило к вечеру, и мы должны были ночевать в этом негостеприимном месте. Доктор и еще один штаб-офицер улеглись в тарантасе, а я едва упросил хозяйку очистить мне уголок ее хаты, загроможденный огромными тыквами, и хоть не на розах, а уснул. Усталость свое возьмет.

Рано утром, по барабанному бою собрались мы у квартиры начальника оказии. Караван наш был велик и разнообразен. Крестьяне-поселенцы с женами, с детьми, отправляющиеся в Анапу за покупками, татары, мирные черкесы — все это составляло мирную толпу под прикры-

---

* по-моему (франц.).

тием 150 рядовых и 30 казаков. Мы выступили, соблюдая обычный порядок, и подвигались медленно.

На Кавказе нельзя никому ни отстать, ни выдвинуться в сторону, и предосторожности строго соблюдаются. Чуть сломалось что-нибудь у кого бы то ни было, весь караван останавливается и не прежде двигается, как все приведено в порядок. Правый фланг нашего небольшого подвижного отряда упирался в море[164], левый шел по небольшим песчаным возвышенностям, из-за которых стали показываться горцы, сначала конные, а потом и пешие, и набралось их несколько десятков.

Я шутил над доктором[165] Мейером, предрекая ему неизбежный плен, но на всякий случай мы намеревались обратить его экипаж в крепость и не дешево продать свою свободу. К большой радости нашей, мы достигли каменной передовой башни, устроенной для сигналов. На верхней платформе стоит постоянно заряженная пушка и 6 казаков зорко следят за окрестностью. Незавидное местечко, и не желал бы я там жить. От башни открылись нам турецкий минарет и Анапа — цель нашего путешествия.

Крепость Анапа довольно обширная и окружена глубоким рвом. Ее трудно взять, однако к[н]. Меншиков взял ее в [18]28 году. Впрочем, и граф Гудович брал ее однажды. По крайней мере, против горцев, и азиатских народов вообще, она представляет оплот совершенно надежный. В Анапе я посетил на досуге коменданта Бринкена, который вообще очень жаловал всех нас, сосланных по 25-му году. Раевского и отряда мы не застали в крепости и на другой день только настигли их в лагере верст за 6 от города. Я с радостью обнял моего ротного командира Масловича и поступил в ряды.

На другой день отряд поднялся в горы и проходил мимо Раевского, лежавшего на бурке и здоровавшегося с людьми. И я в боевой амуниции прошел на своем месте и отвечал русским «здравия желаем» на французское приветствие Раевского ко мне.

Места, шапсугами обитаемые, мне более понравились, нежели прибрежье Черного моря. Там природа громадна, дико-грандиозна, черные скалы упираются в вечно бушующее море, вершины гор подпирают облака и покрыты девственными снегами, — здесь небольшие возвышения, молодой лес, рощицы и полянки, а кой-где и возде-

ланная земля и копны сена. Изредка попадаются в зелени садов сакли горцев, обмазанные глиной и выбеленные, напоминающие вам Малороссию. Но война имеет свои права, и отряд наш без церемонии забирал для своего употребления запасы неприятельские, а мирные черкесы молча, хотя и угрюмо, посматривали на незваных гостей, как делали безответные немцы в [18]14 году в Германии при подобном же нашествии союзных полчищ*.

Мы шли густою колонною с стрелками по бокам. К вечеру мы пришли на возвышенное плато и остановились, чтоб строить новый форт. Так как на дворе был сентябрь месяц, то ночью порядочно морозило. В отряде свирепствовали лихорадки, более от арбузов и дынь, которые раскупались и потреблялись в огромном количестве от умышленных**[9] промышленников, подвозивших их из Анапы. Сам Раевский заболел, но не оставлял отряда, несмотря на советы доктора[166] Мейера, настаивавшего, чтоб он ехал в Анапу.

И октябрь месяц не заставил себя долго ждать. Мы зябли и дрожали от холода, а форт Раевский (это имя дано ему в честь строителя) рос и рос себе понемногу. Какая-то унылость, апатия всех нас обуяла, и мы жаждали хоть бы перестрелки, а то и ее не было. Не слышно в лагере ни музыки, ни песельников; не видно картежной игры и попоек. И только Данзас, вечно веселый, иногда вас рассмешит.

Недавно он нам рассказывал, что сделал открытие в своем батальоне и теперь будто бы убежден, что солдаты его умеют делать каламбуры не хуже какого-нибудь салонного камер-юнкера. Я подошел (говорил он) ночью к огоньку, у которого грелись солдатики, незамеченным и вдруг слышу, как один из них спрашивает: «Отчего это нашего полковника зовут Данзас?» — «Вестимо, — отвечал другой, — отчего. Родился он на Дону и приходится сродни генералу Зассу, ну вот и вышло Дон-Засс». Солдатик-краснобай получил целковый от виновника этой шутки.

Но как всему есть свой конец, то и мы дождались

---

* М. В. Юзефович: Неужели немцы так встречали своих избавителей? Все историки говорят противное.

** М. В. Юзефович: Что тут разумеется под словом умышленный? Злоумышленный или что другое? Нужно это слово заменить более определительным.

обратного восвояси похода. Полковник Бринкен командовал колонною. Едва двинулась голова колонны, как шапсуги начали свое преследование и надоедали и наседали на нас страшно, но пушечными выстрелами их удерживали, и мы, отступая шаг за шагом, наконец избавились от преследования.

При захождении солнца мы уже были в Анапе. Раевский отпустил гвардейцев в Петербург. 6-месячная экспедиция кончена. На площади собрались и остающиеся и отъезжающие. Шум, суета. Друзья и знакомые прощаются с бутылками шампанского. Молодежь едет в Керчь, а там в Петербург. И я, добыв себе коня, пустился в Фанагорию, в мою скромную землянку. Так я кончил мою четвертую экспедицию. Неужели это не последняя? Хотя я уже и был произведен за одну экспедицию в унтер-офицеры, но и за последнюю был представлен к награде на всемилостивейшее воззрение. А, бог знает, каково-то оно будет!

Я зажил прежнею тихою, однообразною жизнию, проводя свое время с книгою и изредка уделяя час — другой моим прежним друзьям — Ромбергу и старушке Нейдгарт, которая с моим возвращением думала иметь во мне лишнего защитника против горцев. Мне не случилось оказать ей подобной услуги, тем не менее очень легко могло осуществиться это предполагаемое нападение горцев, ибо вот что случилось на моей памяти.

В саду, где я жил с Нарышкиным и где мы объедались персиками и который, как я говорил уже, принадлежал нескольким владельцам, жила в соседстве с нами вдова казачьего офицера с молоденькою дочерью. Я часто видел их на паре волов, отправляющихся на хутор, им принадлежащий, расположенный в нескольких верстах. Возвращение их оттуда сопровождалось обыкновенно грудами арбузов, дынь, тыкв, которые, попадая и к нам, продавались на базаре. В одну из таковых поездок семейство не возвратилось, и мы все узнали, что ночью горцы напали на хутор, сожгли его и взяли в плен и старуху, и дочь, и работника. Вскоре старуха, не знаю, каким случаем, возвратилась, но одна, без дочери, и проводила все свое время, прогуливаясь по саду в каком-то самозабвении, и голосила страшным образом. Через месяц стараниями черноморцев дочь выкупили или выкрали, и я опять ее видел в своем саду, веселую, как бы ни

в чем не бывало. Она наивно рассказала мне свое романтическое происшествие, а месяцев через 8 родила — не хочу грешить — горца или русского. Старуха, продав почти все свое достояние для выкупа дочери, ненамного пережила это несчастье и умерла с горя.

Мой отец и командир, храбрый Кошутин, произведен в генералы, и в штабе полка пир горой. Раевский уехал в Керчь к жене, которая должна родить. Мейер при ней неотлучно, а когда наступила критическая минута и все кончилось благополучно, то, вышед поздравить генерала, [он] застал этого храброго человека в страшном беспокойстве. Как сильна в человеке любовь к семейной жизни!

Мрачный ноябрь месяц наступил, и я почти безвыходно сижу в своей лачужке. Однажды утром слышу знакомый голос, осведомлявшийся обо мне, и чрез несколько минут я обнимал своего доброго товарища князя Валериана Михайловича Голицына, который, наконец, получил свою отставку и едет, счастливец, к матери и к братьям. Как истый москвич, после первых дружеских объятий, он потребовал чайку. Я послал сказать Ромбергу, что буду обедать у него с товарищем, угостил покуда приятеля самоваром, а он мне успел передать покуда все затруднения, которые ему делали при получении отставки. И меня, стало быть, ждет подобная же участь. Заботою Голицына в настоящее время было, как бы переправить в Керчь свою карету. Я взялся похлопотать об этом и, пригласив к себе Дорошенку, просил его помощи и содействия. Он обещал достать большую шаланду, но требовал терпения и согласия князя выждать более благоприятной погоды. Волею и неволею надо было согласиться, но ненадолго, ибо на другой же день все было исполнено: карету до Тамани перевезли на волах, а там поставили на большую лодку с 6 человеками гребцов. На берегу я простился с этим милым человеком и весело возвратился к себе в лачужку, радуясь, что и еще один из наших свободен и после 17 лет несчастной ссылки возвращается на родину.

В [18]59 году в Москве я навещал князя Голицына, уже женатого на княжне Ухтомской, и познакомился с его детьми, с сыном и дочерью. Дом их, как и большей части русских вельмож, был открыт и гостеприимен, и мы часто проводили вечера наши в воспоминаниях о Кав-

казе. В князе Валериане Михайловиче много было странного, и при всем его либерализме он был аристократ до мозга своих костей, как говорят французы, и очень часто говаривал про дом Романовых, «que ce sont des parvenus»*, и очень чванился своим гербом, помещая его всюду, где можно и не можно: на набалдашнике своей трости, на экипаже, на ливрее, на серебре и каждой вещи в доме.

Через месяц я имел удовольствие переправить на родину в Россию другого товарища-изгнанника — Цебрикова. Но этот приехал ко мне и возвращался в отечество на перекладной с одним желтым чемоданом и небольшим чайным погребцом. По следственному делу нашему Цебриков отправлен был в гарнизон в Оренбург солдатом, а все преступление его заключалось в том, что он, быв поручиком Финляндского полка и не зная ничего про происшествия 14 декабря и видя полк выступившим на Исаакиевскую площадь, взял знамя с квартиры полкового командира и присоединился к полку**. Вскоре из Оренбурга его перевели на Кавказ, и он попал в самый разгар Персидской и Турецкой кампании и участвовал во всех сражениях этой войны. Храбрость его была замечена, и он получил Георгиевский крест, бывши рядовым, и наконец был произведен в офицеры и теперь только вышел в отставку. Он страшно постарел, голова его покрылась ранними сединами. Он явился ко мне в форменном сюртуке и желтых нанковых панталонах и, кажется, не с блестящим имуществом. Однако был весел и много без желчи рассказывал про прошлое. Вот один куриозный случай, с ним бывший.

При самом своем разжаловании из гвардейских поручиков Цебриков попал в Оренбургский гарнизон, как я уже говорил, к необразованному и неделикатному маиору (какими обыкновенно бывают командующие гарнизонными батальонами), который стал с ним обращаться,

* что это выскочки (франц.).

**М. В. Юзефович: Цебриков был на Исаакиевской площади, но на какой стороне? На стороне людей, убивших Милорадовича и целивших в в[еликого] к[нязя] Михаила Павловича. Он, сверх того, во время атаки Конногвардейского полка командовал своим: «Строй каре против кавалерии!» Этой командой мы часто его дразнили и бесили. Он был чудак, но самый добрый малый.

как с простым рядовым, и вскоре поставил его на часы у своего дома. Цебриков был тогда молод и хорош собою. На беду маиорша была шаловлива, ей приглянулся красавец часовой, и она через окно стала обращать на него слишком большое внимание, присылала ему сласти, делала глазки, наконец кинула записочку и завела, одним словом, игру опасную. Может быть, все это делалось из одного участия к положению несчастного разжалованного, но, во всяком случае, любезничание это не могло понравиться ревнивому мужу, маиору. Не знаю, как он узнал и догадался о проделках своей возлюбленной супруги, однако кончилось тем, что в одно утро сменили с часов Дон-Жуана в солдатской шинели и повлекли на расправу. Разъяренный маиор хотел под эгидою своего служебного места выместить розгами на Цебрикове свое поражение у законной супруги, но смелый любовник тотчас обезоружил пехотного Отелло*, напомнив ему, что он — государственный преступник и что один государь может его наказать, а что ежели г. маиор считает его виновным в новом каком-либо преступлении, то должен донести о нем по команде. Сконфуженный и грубый начальник, не желая делать гласным свое домашнее несчастие, смягчился и запретил только впредь ставить Цебрикова к себе на часы. Зато бедного стали посылать к каким-то соляным магазинам за городом, и зимою часто доставалось ему чуть-чуть не замерзать по беспечности или умышленной неисправности ефрейторов. Но к счастию, Цебрикова взяли на Кавказ, где новое начальство сумело найти в нем и добрую честную душу, и блистательную храбрость. И его я скромно проводил до Тамани и до пристани. Отчаливая от берегов Кавказа, Цебриков стоял в лодке, и я заставил его повторить громко слова Наполеона I: «Adieu, France»!**

«Прощайте, берега Кавказа!» С напутственным благословением и крестом моим переехал он на родину.

---

* В рукописи текст, начиная со слов «пехотного Отелло» и кончая: «не желая делать гласным свое», отчеркнут М. В. Юзефовичем, и на полях им написано, но тщательно стерто какое-то замечание в 7 строк. С большим трудом поддаются прочтению лишь конечные и начальные слова: «Этот рассказ он сам [сочинил?]... и мы доказывали это... и Левушка Пушкин, бывало, сердил его». — М. Н.

** Прощай, Франция! (франц.).

В это же время в одно утро явился ко мне молодой человек в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей, Александры Осиповны Смирновой, письмо и книжку «Imitation de Jesus Chrict* в прекрасном переплете. Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени» и другие его сочинения вышли позже. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному, а говоря с Лермонтовым, он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, и я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных от правительства. До сих пор не могу отдать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка явиться начальству и весною собирался на воды в Пятигорск. Это второй раз, что он ссылается на Кавказ: в первый — за немножко вольные стихи, написанные им на смерть Пушкина Александра Сергеевича, а теперь — говорят разно, — но, кажется, за дуэль (впрочем, не состоявшуюся) с сыном французского посла в Петербурге Барантом.

Глава XXIII

Мое доброе дело. — Пансион старушки Нейдгарт. — Производство в прапорщики. — Поздравления. — Поездка в Керчь. — Зима в доме Херхеулидзевых. — Отъезд в Пятигорск. — Генерал Засс и анекдоты о нем

Приближались праздники рождества Христова. В целой православной России, в особенности же в моей родине, в Малороссии, праздники эти справляются с большой торжественностью, и весь люд, кто имеет малейшие средства, после долгого поста тешит себя излишеством и изысканностью яств. Мне приходилось плохо на этот

* Подражание Иисусу Христу (франц.).

раз по случаю давней неприсылки денег из дому, и я готовился встретить праздники с полтинником в кармане.

Человек мой, Антип, сходил в Тамань и вернулся довольно чистым и незамаранным, солнышко весело играло на голубой лазури, стало быть, и мне можно вылезть из моей конурки, и я вознамерился прогуляться. Только что намеревался я привести свой план в исполнение, как вдруг, вовсе неожиданно, на пороге моей избушки появляется какая-то ветхая старушонка, которой я прежде никогда не видал. «Что тебе надобно, голубушка?» — сказал я ей, надевая фуражку[167]. «Да, пане, — отвечала она мне, — живу недалеко, на хуторку, и часто видаю пана, как он ходит и бродит, грустный, по нашим полям. Добрый человек, подумала я, пан, и пришла до вас... Там, за курганами, в землянке живет офицер с женой и четырьмя детьми. Завтра великий праздник, все добрые люди будут разговляться, а им хлеба не на что купить. Дети валяются по полу и просят есть, а взять неоткуда. Помогите им, пане...» Малороссийское наречие старухи меня тронуло, и я подал ей свой последний полтинник, сказав: «Спасибо за то, что указала мне возможность сделать доброе дело. А как мне отыскать это бедное семейство?» — «А вот за третьим курганом, самым большим, отойдя с версту, увидите копну бурьяну, а тут же и землянка их». — «Сейчас иду, добрая старушка», — отвечал я и пустился на розыски. Вышед от себя, я вспомнил, что помощь моя бедному семейству не будет велика, ежели принесу ему одно соболезнование без вещественного, а так как у меня самого не было ни копейки, то я и задумал обратиться за деньгами к первому мне попавшемуся доброму и достаточному человеку. Благодетельному промыслу угодно было для доброго дела послать мне коменданта Дорошенку, который снабдил меня 25 рублями, и я полетел к несчастному семейству.

Дойдя по рассказам старушки до большого кургана, я вдали увидел копну сена или бурьяну и искал глазами признака жилища. Хоть бы труба какая-нибудь высказывалась на ровной безграничной степи! Да где быть и трубе в местах, где хлебов не пекут и не ставят горшка щей в печь? Я бы не отыскал приюта несчастия и нужды, ежели б не залаяла какая-то жалкая, тощая собачонка. Я пошел по направлению хриплого лая этого и вскоре увидал яму, можно сказать, из которой выполз чело-

век большого роста, в рубахе и больших сапогах, наподобие тех, какие употребляются всеми кавказцами в экспедициях, и тотчас же скрылся. Когда я был уже невдалеке от лачужки, то он снова показался, но в старом военном артиллерийском сюртуке, с медалями на груди... за ним следовали два хорошеньких, но грязных, почти нагих мальчика. Я догадался, что это предмет[9] моей прогулки, но не знал, как начать разговор и не затронуть его самолюбия.

Я спросил, что заставило его поселиться в таком уединенном месте, где он служил, давно ли в отставке и проч., и услышал грустную, но обыкновенную у нас на Руси повесть, которую и передаю здесь вкратце. Бедный старик из нижних чинов дослужился в гарнизонной артиллерии до офицерского звания и в преклонных летах вышел в отставку. Продав небольшое имущество свое, намеревался он поселиться где-нибудь возле Тамани и доживать свой век. Не получая достаточной пенсии, он истратил дорогою все свое наличное богатство на лечение жены и, прибыв в Керчь, уже не имел средств нанять квартиры, но, как было лето, то и поселился на первый случай в заброшенной и никем не обитаемой землянке, которую кое-как поправил своими руками, промаячил лето и осень, а теперь с женою и четырьмя детьми уже не может поправиться из своих стесненных обстоятельств. В конце этого рассказа вышла из норы женщина, довольно еще красивая, в оборванном каком-то капоте, с ребенком на руках. Другой держался за ее одежду. Рассказ старика, при всей его правдоподобности, показался мне обыкновенною нерасчетливостью необразованного и неразвитого человека, который неудачами и несчастием доведен был до нищеты, и я тотчас же предложил ему принесенные 25 рублей. Он взял их с некоторого рода гордостию, а жена его со слезами на глазах чуть не целовала мне рук.

Я был счастлив, что принес радость и покой на некоторое время добрым людям, и вскоре, обласкав детей, ушел домой. На другой день бедная мать приходила ко мне со всеми ребятишками благодарить еще раз за помощь, им оказанную, а я напоил их чаем, накормил досыта булками и приказал сказать мужу, что надеюсь помочь им большим чем-нибудь при посредстве супруги градоначальника Керчи, которая ежегодно постом устра-

ивает концерты в пользу бедных и, вероятно, не откажет мне на этот раз уделить небольшую сумму и для них. Впоследствии мне в самом деле удалось чрез любезную Херхеулидзеву доставить этому бедному семейству 175 руб., и я унес с собою неисчислимые благословения его.

Вскоре, поощренный удачею одного доброго дела, мне удалось и другое. Я частенько заходил к доброй старушке Нейдгарт и, несмотря на ее аккуратность, чистоту, чопорность, замечал, что средства ее должны быть очень ограниченны. Однажды в разговоре я как-то спросил ее, какой пенсион получает она по муже.

— Никакого, мой любезнейший Николай Иванович. Муж мой был под судом и умер хотя неоправданным, но невинным, это я знаю; но суд этого не принимает во внимание.

— Но вы мне говорили, почтеннейшая Анна Ивановна, что и вы и супруг ваш были когда-то в Киеве еще в доме корпусного командира Раевского?

— Да, муж мой командовал тогда батареею, а я была молода, но это давно... да и к чему это вам вздумалось расшевелить мое счастливое прошлое?

— А потому, милая Анна Ивановна, что я на этом обстоятельстве рассчитываю на возвращение вашего пенсиона. Вот в чем дело: нынешний начальник наш — сын корпусного командира, который знал и любил вашего мужа. Я с ним хорошо знаком. Хотите, я напишу ему письмо и изображу ваше стесненное положение, затрону его доброе сердце, прибавлю немного поэзии, и авось нам удастся что-нибудь сделать для вас. Начальник штаба, Филипсон, меня любит и, готовый всегда на добрые дела, вероятно, мне не откажет и представит ваше прошение к командующему войсками. Попытка не шутка, а спрос не беда.

Старушка согласилась, я написал письмо от нее и от себя к Филипсону и отправил в Керчь. Через несколько дней получаю ответ от Филипсона с извещением, что генерал Раевский милостиво принял и прочитал письмо, действительно припомнил, что в юности своей видывал в доме своего отца полковника Нейдгарта, и велел представить прошение в Тифлис. И я, и старушка радовались такому блистательному обороту дела, а старуха начала уже рассчитывать, сколько она может получить. Месяца

не прошло, как добрая Анна Ивановна официальной бумагой извещена была, что ей велено ежегодно выдавать по 300 рублей ассигнациями из феодосийского казначейства. Счастливая женщина, взяв меня за голову обеими руками, со слезами на глазах целовала, как своего благодетеля, а вечером употчевала сухарями своего печения. Впоследствии я докончил свое благодеяние тем, что по просьбе Анны Ивановны, которой затруднительно было в самом деле лично получать свои деньги из Феодосии, перевел ассигновку в Керченское уездное казначейство, где она и довольствовалась впредь.

После праздника рождества Христова, 28 декабря, сижу я, по обыкновению, один-одинешенек в моей хижине. Снег и дождь однообразно колотят в мои окошечки. Азовское море однообразно и уныло шумит, плещется и разбивается у подошвы кручи, на которой лепится моя избушка. Угол землянки стал осыпаться, и дождевая вода неумолимо стала показываться в моем скромном жилище как бы для того, чтоб насильно выгнать меня из него. Едва кончил я свой утренний[168] чай, как входит ко мне казак, обыкновенно занимавшийся перевозкой почты и казенных пакетов в Керчь и обратно, и подает мне пакет. Так как я часто получал письма со всех концов России, то и на сей раз не слишком торопился распечатывать и читать его, а сначала спросил казака, как он решается в такую страшную погоду с большим риском переправляться в Керчь или из Керчи. «На этот раз приказано было, ваше благородие, доставить вам непременно это письмо», — сказал он мне и особенно весело посмотрел на меня. Не знаю отчего, но у меня крепко забилось сердце, и я[169] поспешил сорвать печать.

«Поздравляю вас, любезнейший Николай Иванович, с всемилостивейшим производством в прапорщики. Получен приказ» — вот строки, начертанные дружескою рукою, которые я прочел*. Итак, я еще одним шагом приблизился к свободе. После первых минут восторга, весьма понятного для всякого, мне сделалось грустно. Воспоминания роились в моей голове, и я мысленно проследил всю свою протекшую жизнь. 34 года тому назад этот самый чин получил я в гвардии. Тогда для меня он был

---

* Письмо от Генерального штаба поручика Зальстет [примеч. Н. И. Лорера][170].

высочайшею наградою и осчастливил меня и возрадовал донельзя. Теперь он падает на меня, так же как и в первый раз, служа мне улучшением в моем положении, но мне уже 48 лет, и ощущения уже не те*. Тогда была надежда на будущность, теперь сожаление о прошедшем. Бедный чин прапорщика, ты, как будто оставив меня в юные годы, кружил и маячил по белу свету, падал, тонул и, наконец, обрел меня в дальнем уголку почти незнакомой неизвестной страны. Не тем встретил ты меня, милый товарищ, чем оставил! Мы расстались, когда я был молод, полон сил и здоровья, а встретил ты меня печальным стариком.

Первым делом моим после нескольких минут самозабвения было поблагодарить казака за торопливость его доставить мне это приятное известие, потом я разделил свою радость с Антипом моим и тотчас же послал уведомить об этом важном происшествии друзей моих, Ромберга, Нейдгарт и прочих. Последняя, по словам моего возвратившегося посланца, как услыхала про счастье, меня постигшее, то бросилась на колени перед образами своими и принесла всевышнему подателю всех благ теплые благодарения.

Вскоре радостная весть обежала всю Фанагорию и Тамань, и все мои знакомые прибегали поздравить меня, обнимали, целовали, и я так устал, что должен был лечь в кровать. Краткая записочка, присланная мне с нарочным казаком, была написана рукою хорошего приятеля моего Генерального штаба капитаном Зальстетом, шведом по рождению. Он первый потщился сообщить мне радостную весть эту. Итак, после 12-летней каторги, 5-летнего поселения в Сибири и 6-летней службы рядовым на Кавказе наконец-то выполз я из этой бездны! Бог поможет, и, может быть, я буду, наконец, наслаждаться свободой, за которую пострадал, которую люблю и которой так мало пользовался.

На другой день я ничем больше не мог возблагодарить моих таманских и фанагорийских приятелей за постоянно мне оказываемое в продолжение многих лет истинное внимание, как пригласить их на вечер. На счет

---

* М. В. Юзефович: Так ли, почтеннейший? В 14 ли лет произведены вы в офицеры гвардии? Поверьте эту цифру, чтобы не впасть в ошибку.

будущих благ я запасся всем необходимым на холостой дружеский кавказский вечер, осветил свою келью и в 6 часов принимал своих дорогих гостей: Дорошенко, Ромберг, госпитальные медики, смотритель, комиссар и проч. Хотя было очень тесно, но зато было очень весело, и друзья пили единодушно здоровье нового прапорщика русской армии.

Меня тянуло в Керчь. К счастию, пришел тендер «Часовой» и отвез меня к крымским берегам. Не стану описывать, как обрадовались мне в семействе доброго Херхеулидзева. Счастие мое было бы полнее, ежели б монаршее благоволение осенило бы и еще кого-нибудь из моих сибирских товарищей. Но благодатный солнечный луч озарил меня одного, и мне чего-то недоставало до полного блаженства. Человек так уж устроен, что счастие его неполно, если[171] он не разделит его с кем-нибудь близким. А где они, близкие? И чувства счастия сменяются грустью... Меня утешали тем, что царские милости выйдут и другим, но в позднейших приказах. Дай-то бог!

В Керчи я сшил себе сюртук Тенгинского пехотного полка и когда посмотрелся в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как-то была более к лицу. На другой день я ходил являться и благодарить Раевского, который меня очень ласково принял и оставил у себя обедать, не боясь уже быть скомпрометированным.

Так кончился длинный период моих разнообразных страданий. Были минуты славные, было много поэзии, но было больше горя, тревог, лишений, и часто, очень часто душа изнемогала. Покровительство всеблагого провидения и рука всевышнего поддержали меня, и благодарю господа бога моего.

Почти всю зиму провел я в Керчи, в доме у Херхеулидзевых, весною ездил в Тамань навещать моих тамошних друзей и приятелей, а в мае испросил себе увольнение на Кавказские минеральные воды для излечения недугов.

Дорогой в Пятигорск я заезжал в Ивановское в штаб полка, потом чрез Екатеринодар приехал к друзьям Нарышкиным в Прочный Окоп и провел у них несколько счастливых часов. Нарышкины обзавелись своим домиком, и я застал друзей моих здоровыми и счастливыми. Елизавета Петровна грустит иногда о том, что часто

должна разлучаться с мужем, который не пропускает ни одной экспедиции и был на восточном берегу и с Зассом в горах. В одной из последних он чуть не утонул в Кубани, переправляясь верхом. Лошадь его, сбитая быстрыми волнами, едва-едва успела его вынести на берег. В деле Засс был ранен пулею в нескольких шагах от Нарышкина, — само собою разумеется, что подобные опасности, которыми бывает окружен всякий на Кавказе, не могли внушить спокойствия любящей его жене...

Генерал *Засс*, командующий правым флангом нашей линии, был в то время грозой горцев, и так как он жил в крепости Прочноокопской, в трех верстах от станции, то и Нарышкины, и я часто с ним виделись. С первого моего знакомства с Зассом меня поразила его рыцарская физиономия. Он высок ростом, имеет светло-голубые глаза и огромные висячие усы. В доме его постоянно преобладает какая-то таинственность, и я часто мысленно воображал себя в каком-нибудь ливонском замке, в сообществе тевтонского рыцаря XV века. Часто случалось, что при гостях его таинственно вызывают, шепчут ему на ухо... Бывало, адъютант молча войдет в комнату, наклонится к Зассу, отрывисто произнесет какое-нибудь слово и исчезнет на краткое кивание головой таинственного начальника. В его комнатах постоянно и во всех углах встречаешь людей с загадочными лицами. Может быть, во всем этом и крылось что-нибудь в самом деле важное, а может быть, Засс нарочно окружал себя тайной, чтоб сохранить к себе поболее уважения и страха, — два чувства, сильно действующие на толпу.

Однажды мы были у генерала, и он был как-то особенно с нами любезен, но вдруг исчез. Прождав его довольно долго, мы осведомились о хозяине и узнали, что [он] ушел за Кубань, узнав, что горцы в сборе. В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравится его система войны, и он мне тогда же отвечал: «Россия хочет покорить Кавказ во что бы то ни стало. С народами, нашими неприятелями, чем взять, как не страхом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и А. П. Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сожигая аулы, только этим и успевал более нашего. Еще до сих пор имя его с трепетом произносится в горах, и им пугают маленьких детей».

В поддержание проповедуемой Зассом идеи страха на

нарочно насыпанном кургане у Прочного Окопа при Зассе постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развевались по ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище.

Раз Засс пригласил к себе m-me Нарышкину, и она согласилась с условием, что неприятельские головы будут сняты. Засс исполнил ее желание, и мы все были у него в гостях. Взойдя как-то в кабинет генерала, я был поражен каким-то нестерпимым отвратительным запахом, а Засс, смеючись, вывел нас из заблуждения, сказав, что люди его, вероятно, поставили под кровать ящик с головами, и в самом деле вытащил пред нами огромный сундук с несколькими головами, которые страшно смотрели на нас своими стеклянными глазами. «Зачем они здесь у вас?» — возразил я. «Я их вывариваю, очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам и друзьям моим профессорам в Берлин».

Мне показался страшным генерал Засс, и я невольно сравнил его с анапским комендантом Ротом, который придерживается совершенно противной системы и старается привязать к себе горцев ласковым, человеческим обращением и соблазняет их выгодами и барышами торговли как вернейшим средством указать дикарям выгоду сближения с более образованным народом — русскими. М. С. Воронцов, вполне европейский человек и даже англоман, в более обширных размерах придерживался, в свое управление Кавказским краем, той же системы. В то время, по крайней мере, Засс не достиг своей цели, и горцы так его ненавидели или, лучше сказать, боялись, что присылали депутатов к Роту просить его помочь им пушками и казаками идти вместе с ним против Засса... Такое наивное предложение, по нашему суждению, и совершенно логичное, по понятиям свободных горцев, конечно, не могло быть исполнено.

Про Засса рассказывают много анекдотов, из коих половина, конечно, выдумки; но во всех их проглядывает какое-то таинственное и сверхъестественное моральное влияние, которого и добивался Засс. Он разными шарлатанствами успел уверить диких сынов Кавказа, что сам знается с шайтаном и может знать их сокровеннейшие мысли. Часто дурачил он у себя в Прочном Окопе грубых сынов Кавказа с помощью новейших открытий науки и не пренебрегал ни электрическою машиною, ни

вольтовым столбом, ни духовым пистолетом, ни гальванизмом.

Вот еще одна шутка его, которая могла стоить жизни человеку, с которым была сыграна. У него проживал в доме старинный друг его, маиор в отставке, курляндец по рождению, М. Однажды маиору надоела вечная суета и тревога в доме и во дворе друга. Постоянные приезды лазутчиков, гонцов, князей и всего военного казачьего сброда. Вечное движение, шум, гам гончих и борзых свор и вся суета эта решили[9] наконец маиора уединиться в Ставрополь и расстаться с своим другом. Приближались святки, и маиор получил приглашение от Засса приехать к нему погостить и отпраздновать Мартына Лютера жареным гусем с яблоками и черносливом. Маиор мигом собрался и пустился в Прочный Окоп. Не доезжая до станицы, на экипаж мирного старого маиора нападает партия черкес, завязывает ему глаза и рот, берет в плен и, связанного, мчит в горы. Пленник, окруженный толпою горцев, громко говорящих на своем варварском наречии, предался своему жребию и был ни жив ни мертв. Наконец, он чувствует, что его вводят в дом, слышит, что находится подле огня, который его несколько согревает, а шум и спор между похитителями продолжается. «Вероятно, — думает старик, — они делят меня и спорят о праве владеть мною». Но вдруг снимают с него повязку и удивленному, пораженному маиору представляется кабинет Засса... Сам, довольный, смеющийся, генерал и много[172] казаков, совершенно схожих с неприятелями, которых одежду и вооружение издавна, как известно, себе усвоили. Маиор рассердился за злую шутку, плевался, бранился самыми отборными словами и едва было не рассорился со своим другом, который только и умилостивил разгневанного потомка Ливонских Рыцарей обещанием, ежели б, чего боже сохрани, подобная беда стряслась над маиором в самом деле, то дружба заставила бы непременно его освободить из плена. Вкусный приготовленный гусь помирил друзей. Однако маиор прохворал с неделю, от потрясения ли, страха или несварения желудка — неизвестно.

Глава XXIV

Мой товарищ Назимов. — Приезд в Ставрополь. — Товарищ молодости Хомутов. — Мой племянник Арнольди и его отец. — Пятигорск. — Доктор Барклай де Толли. — Известие о смерти Лихарева. — Лихарев и Лермонтов. — Кавказские воды. Гвардейская молодежь. — Приезд Льва Пушкина в больших эполетах. — Лермонтов и Дмитревский. — «Карие глаза»

Через неделю собрался я в Пятигорск, на воды, чтоб скрепить хоть несколько потерянное здоровье мое после нескольких трудных экспедиций и житья моего в сырой землянке. Товарищ мой Михаил Александрович Назимов мне сопутствовал, и мы в двух повозках отправились. Назимов служил в гвардейском коннопионерном эскадроне, которого шефом был в[ел]. к[н]. Николай Павлович. Великий князь знал его всегда за отличного офицера и очень уважал и любил. Назимов поступил в члены тайного общества вместе с Михайлом Пущиным*, родным братом Ивана Пущина, и оба были истинными друзьями А. С. Пушкина. Когда дело наше было открыто, Назимов был взят и приведен в кабинет к императору, который стал, конечно, упрекать его в заговоре. «Государь, — отвечал Назимов, — меня удивляет только то, что из Зимнего дворца сделали съезжую». Конечно, подобное замечание не могло понравиться государю. Назимова судили, как прочих, и сослали на поселение в Сибирь. Немного людей встречал я с такими качествами, талантами и прекрасным сердцем, всегда готовым к добру, каким был Михаил Александрович Назимов, делал добро на деле, а не на словах и был в полном смысле филантропом, готовым ежеминутно жертвовать собою для других. Все деньги, которые присылались ему из дому, он раздавал нуждающемуся товарищу и неимущим. Прибавьте к этому, что М[ихаил] А[лександрович] обладал многосторонним образованием, читал много с пользою и постоянно встречал вас с приветливою улыбкою, которая очаровывала вас с первого же раза, а черные, бле-

---

* М. В. Юзефович: Михайла Иванович Пущин, не имея никакой причины скрывать правды, формально отрицал принадлежность свою к тайному обществу, но знал о затеях, которым всегда противоречил; желая спасти брата, он пострадал только за то, что не донес о том правительству. Так я слышал от него самого и так он представлен в отчете Следственной комиссии.

стящие глаза так и говорили: «Не нужен ли я? Не могу ли быть тебе полезным?»

Наши судьи-умники сослали Назимова в такую глушь, что фельдъегерь, везший его туда, чуть было не потерялся. Принуждены были воротиться в Иркутск, и тогда только М[ихаила] А[лександровича] поселили в [Витиме][173], в месте, где, по крайней мере, живут люди. Спустя некоторое время он опять переведен был в Курган, где мы жили с ним вместе пять лет и были отправлены солдатами на Кавказ. В настоящую минуту Назимов в отставке, женат и счастливо живет добродетельным философом в своей деревушке. Как отрадно бы было мне пожать еще однажды в этой жизни руку твою, благородный товарищ!

Без приключений прибыли мы в Ставрополь, и я остановился на квартире у молодого Вревского, впоследствии генерала, убитого в сражении при Черной, в Крыму, подле корпусного командира Реада. Тогда еще молодой человек этот подавал уже большие надежды, быв отличным учеником в военной Академии, и со временем оправдал эти ожидания. Так как мне нужно было остаться в Ставрополе на несколько дней, то Назимов не мог меня дожидаться и уехал вперед.

В Ставрополе я нашел моего старого приятеля и однополчанина Хомутова, которого я и пошел навестить. Он занимался в своем саду, и я послал о себе доложить. Мне всегда было странно и как-то неловко встречаться со старыми товарищами молодости, ушедшими далеко по службе. Помнишь, бывало, все проделки юности, шалости, бесцеремонное обращение и вдруг видишь заслуженного человека, какое-нибудь превосходительство! Хорошо еще, что многие из них остались с своими заслугами теми же добрыми людьми, какими были в молодости. Но, покуда в этом уверишься, говорю я, мне всегда было как-то неловко. Я сомневался и в Хомутове, но добрейший Иван Петрович встретил меня по-старому, бросился обнимать, и я радовался, что нашел в нем прежнего штабс-капитана. Он был чрезвычайно предупредителен, оставил меня у себя обедать, и мы весело провели время в сладких воспоминаниях. За обедом, с бокалами шампанского, мы оба пожалели о своей прошедшей молодости и пожелали друг другу возможного для каждого из

нас различного счастия, при стихах Пушкина, которые продекламировал Хомутов:

Давайте чаши! не жалей
Ни вин моих, ни ароматов!
Готовы чаши? Мальчик, лей!
Теперь некстати воздержанье.
Как дикий скиф, хочу я пить
И, с другом празднуя свиданье,
В вине рассудок утопить.

Мы сговорились свидеться в Пятигорске и расстались.

Входя в ворота гостиницы вечного Найтаки, я увидал несколько дорожных экипажей и тут же встретил гвардейского гусарского молодого офицера. Вообразите себе мое удивление, когда, расспросив о проезжающих, я узнал, что это фамилия генерала Арнольди, отправляющаяся на Кавказские минеральные воды. Молодой человек был сыном славного генерала Арнольди, женатого в первом браке на моей родной сестре, и приходился мне племянником. Я тотчас же направился к нему и назвал себя, мы обнялись и тут, можно сказать, познакомились, ибо я оставил его 8-летним мальчиком, при моей ссылке в 1826 году.

Не стану описывать радости моей при свидании с первыми родными, с которыми я сошелся после долгой моей ссылки и изгнания, — каждый поймет мои чувства. Иван Карлович Арнольди — из курляндских дворян, выходцев италианских, получил воспитание во 2-м шляхетском корпусе при известном Мелисино. Произведен в офицеры в 1799 году в артиллерию. Из 74 учеников, представленных на экзамен императору Павлу, четыре юноши, в том числе два брата Арнольди, получили первый офицерский чин. Своими познаниями, ловкостью, исполнительностью молодой человек сумел отличиться и был взят вскоре по выпуске в адъютанты к тогдашнему инспектору всей артиллерии, г. Богданову, и впоследствии был постепенно отличен всеми нашими артиллерийскими знаменитостями — Меллером-Закомельским и графом Кутайсовым, которого Арнольди сделался вместе адъютантом и другом и состоял в этой должности до [18]11 года, то есть до принятия конной батареи № 13, которой начальником был назначен, состоя в армии Чичагова в Турции, находясь в авангарде Чаплица при присоедине-

нии ее к войскам, теснившим Наполеона, Иван Карлович под Березиной в первый раз вступил в бой с Наполеоном. На долю его выпало счастье трое суток простоять против пробивающегося Наполеона и не уступить ни пяди земли. Батарея Арнольди в несколько часов была уничтожена отчаянным неприятелем, и А. П. Ермолов, сделанный в то время начальником штаба и бывший другом Арнольди, уговаривал его отойти с остатками батареи для исправления в ариергард. Но пылкий капитан потребовал подкрепления орудиями чужих батарей и, укомплектовавшись гусарами, продолжал стойко держаться трое суток. Постепенно 6 батарей наших было уничтожено неприятелем на этом месте и 3 лошади убиты под самим молодым и храбрым начальником. Но он достойно исполнил свою обязанность. До самого Немана, при преследовании, 28-летнему капитану пришлось сидеть на пятах бегущего неприятеля. За границей Арнольди состоял во многих отрядах и, как отличнейший, попал, наконец, к принцу шведскому Бернадотту, называвшему обыкновенно 13-ю батарею своими карманными деньгами. Денневицкая сумасшедшая выходка молодого артиллериста передана военною историею, как отвага и находчивость начальника и [пример] твердой веры подчиненных в команду любимого командира. Арнольди в глазах принца и огромной блестящей свиты его с прислугой конно-артиллерийской своей батареи сумел вырвать 2 неприятельские пушки из рядов 3 колонн французских гренадеров и получил за это дело три ордена от трех иностранных монархов: св. Георгий, «Pour le mérite» и шведский «За достоинство» украсили грудь молодого героя. Принц Бернадотт снимал обыкновенно свою шляпу в знак особенного уважения к 13-й батарее. Под Лейпцигом, в этой бойне народов, Арнольди оторвало левую ногу, и государь присылал ему своего доктора Вилье. Он лечился в Таухе. Раною этою он лишен был счастия командовать своею батареею и с нею участвовать во всех славных делах [18]13 и [18]14 годов, до взятия Парижа, где на высотах Монмартра она еще гремела. По выздоровлении Арнольди, произведенный в полковники, снова привел свою батарею в Россию и был назначен начальником гвардейской конной артиллерии, коей, можно сказать, был и основателем. Государь Александр Павлович благоволил во всю свою жизнь к лихо-

му артиллеристу и много давал ему важных поручений по артиллерийским делам. В 1825 году Арнольди случилось лично представлять своему императору отчет по следствию на луганском литейном заводе и вскоре командовать кортежем погребения боготворимого государя. Со смертью императора генерал Арнольди много потерял. Наушники, ласкатели, куртизаны окружили нового царя, и старые, прямые, честные слуги, особенно такие, которые владели таким беспощадным языком, как Арнольди, потеряли всю цену. Арнольди состоял долго при в[ел]. к[н]. Михаиле Павловиче, тогдашнем генерал-фельдцейхмейстере, выпросился в Турецкую кампанию, где был сделан начальником артиллерии вместо г. Левенштерна и отличился особенною находчивостью в единственном полевом сражении этой войны под Кулевчей, а в 30-х годах был назначен начальником конно-артиллерийского резерва, который сам формировал. Наконец, в 1842 году был сделан начальником всей нашей конной артиллерии при инспекторе резервной кавалерии графе Никитине и жил в Кременчуге, уважаемый подчиненными и нелюбимый старшими начальниками и вообще бездарностью, окружавшею трон царя. В 1852 году, по расстроенному здоровью, после 50-летнего служения на конно-артиллерийском седле, 180 сражений и стычек, маститый старец назначен был сенатором в Петербург, где и умер в 1861 году. Арнольди был из числа тех людей, которые, сознавая свое превосходство пред другими, во всю свою жизнь не могут никому подчиниться. Язык его был резок; он ставил правду выше всего и удачно уничтожал мелкое ничтожество.

При захождении солнца я приехал в Пятигорск. За несколько верст от городка вы чувствуете, что приближаетесь к водам, потому что воздух пропитан серой. Первою заботою моею было найти себе помещение поуютнее и подешевле, и я вскоре нашел себе квартиру по вкусу в так называемой «солдатской слободке» у отставного унтер-офицера за 50 рублей на весь курс. Квартира моя состояла из двух чистеньких горенок и нравилась мне в особенности тем, что стояла у подошвы обрыва, а окнами выходила на обширную зеленую развалину*, замы-

---

* М. В. Юзефович: Не равнину ли?

кавшуюся Эльбрусом, который при захождении солнца покрывается обыкновенно розовым блеском.

Устроившись немного, я начал приискивать себе доктора, чтобы, посоветовавшись с ним, начать пить какие-нибудь воды. По рекомендации моего товарища, вскоре явился ко мне молодой человек, доктор, по имени Барклай де Толли. Я тогда же сказал моему эскулапу: «Ежели вы такой же искусник воскрешать человечество, каким был ваш однофамилец — уничтожать, то я поздравляю вас и наперед твердо уверен, что вылечусь». К сожалению, мой доктор себя не оправдал впоследствии и, вероятно, не поняв моей болезни, как бы ощупью, беспрестанно заставлял меня пробовать разные воды. Наконец опыты эти мне надоели, и я с ним простился.

На третий день моего пребывания в Пятигорске я сделал несколько визитов. А вечером ко мне пришел Александр [Арнольди] и артист Шведе, любовались видом и из моих окон положили его на полотно, а Шведе впоследствии снял с меня портрет масляными красками.

Мне сказали, что полковник Фрейтаг, командир Куринского полка, жестоко раненный в шею, привезен из экспедиции и желает со мною видеться. Я поспешил исполнить его желание, и он объявил мне печальную весть о том, что товарищ мой по Сибири Лихарев убит в последнем деле. После него остались некоторые бумаги на разных языках и портрет красивой женщины превосходной работы, который Фрейтаг[174], зная мою дружбу с покойным, хотел мне передать. Я узнал портрет жены его, рисованный Изабе в Париже. Я посоветовал полковнику отправить все эти драгоценности к родным покойного и дал адрес.

Лихарев был один из замечательнейших людей своего времени. Он был выпущен из школы колонновожатых, основанной Муравьевым, в Генеральный штаб и при арестовании его как члена общества состоял при графе Витте. Он отлично знал четыре языка и говорил и писал на них одинаково свободно, так что мог занять место первого секретаря при любом посольстве. Доброта души его была несравненна. Он всегда готов был не только делиться, но, что [труднее], отдавать свое последнее. К сожалению, он страстно любил карточную игру и вообще рассеянную жизнь. В последнем деле, где он был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из

гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле, и часто, в жару спора, неосторожно останавливались. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навылет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не поспели на выручку останков товарища-солдата. Где кости сибирского товарища моего? Подобною смертью погиб бесследно и Александр Бестужев.

Я очень был рад познакомиться с храбрым, славным Фрейтагом, и мы в частых беседах наших вспоминали про бедного Лихарева. Фрейтаг после этого недолго оставался на Кавказе, вскоре, выздоровев, произведен был в генералы и назначен генерал-квартирмейстером к Паскевичу в Варшаву.

Кто не знает Пятигорска из рассказов, описаний и проч.? Я не берусь его описывать и чувствую, что перо мое слабо для воспроизведения всех красот природы. Скажу только, что в то время съезды на Кавказские воды были многочисленны со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах? Какая смесь одежд, лиц, состояний! Со всех концов огромной России собираются больные к источникам в надежде, — и большею частью справедливой, — исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников с своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой [стакан] в колодец, казак с нагайкой через плечо, — обыкновенною [своей] принадлежностью, — бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтоб громко не сказать: «Черт возьми, какая гадость!» Легкобольные не строго исполняют предписания своих докторов держать диету, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии два славных поросенка и велел их обоих изжарить к обеду своему.

Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодости, воды не пьет, конечно, и широко пользуется свободой пос-



ДРУГ Н. И. ЛОРЕРА Л. С. ПУШКИН, БРАТ А. С. ПУШКИНА

А. Орловский. Рисунок. 1820-е гг.
Публ. по: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980, т. 2.

ле трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов: лорнеты и хлыстики их заменяют. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами.

У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их: Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой,

тяжело раненный в ключицу; Тиран, лейб-гусар; Александр Васильчиков, чиновник при Гане для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей[175] и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу. Часто любовались они моею палкою из виноградной лозы, которая меня никогда не оставляла и с которой я таскался по трущобам Кавказа в цепи застрельщиков, — мой верный Антонов, отличный стрелок, как я уже сказал, за меня отстреливался. В одном деле он в моих главах[9] положил двух горцев, и мы после ходили на них смотреть. Я просил своего полкового командира наградить моего телохранителя Георгиевским крестом из числа присылаемых в роты, но, оставив в то время отряд, не знаю, получил ли мой Антонов тот крестик, за который кавказский солдат делает часто чудеса молодечества, храбрости, отваги.

Товарищ мой по Сибири Игельстром все пребывание свое на Кавказе провел в этой охоте за людьми в цепи... В белом кителе, с двуствольным ружьем, вечно, бывало, таскается он по кустам и отыскивает своих жертв. В одном деле и ему удалось положить на месте двух горцев. Генерал Раевский, делая представление об отличившихся, велел написать в донесении своем, что рядовой саперной роты такой-то убил пятерых горцев. Лишь только Игельстром узнал об этом, то отправился к генералу и объяснил ему неверность слухов, дошедших до него, и что он, застрелив только двух, не берет на себя того, чего не сделал. Тогда Раевский, засмеявшись, сказал ему: «Пожалуйста, подари мне этих троих в счет будущего...» Донесение пошло, и Игельстром произведен был в офицеры.

Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в маиоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопыхах, вечно чем-то озабочен, — уж такая натура! Он свел меня с Дмитревским, нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитревский был поэт и в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-[то] прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говаривал обыкновенно: «После твоих стихов разлюбишь поневоле черные и голубые очи и полюбишь карие глаза».

Дмитревскому везло, как говорится, и по службе; он назначен был вице-губернатором Кавказской области, но, к сожалению, не долго пользовался этими благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф его «Карих глаз».

Глава XXV

Пятигорское общество. — Бал. — Лермонтов и «карие глаза». — Конец бала. — Последнее свидание с Лермонтовым. — Дуэль и смерть Лермонтова. — Похороны

Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, а Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера, устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы, но для меня они были слишком шумны, и я не пользовался ими часто. В это же время приехал из Тифлиса командир Нижегородского драгунского полка полковник Сергей Дмитриевич Безобразов, один из красивейших мужчин своего века, и много прибавил к веселью блестящей молодежи. Я знал его еще в Варшаве, когда он был адъютантом в[ел.] к[н.] Константина Павловича. В то время его смело можно было назвать Аполлоном Бельведерским, а при его любезности, ловкости, уменье танцевать, в особенности мазурку, немудрено было ему сводить всех полек с ума. В 1841 году я нашел Безобразова уже не тем, и время взяло свое, хотя еще оставило следы прежней красоты.

В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской публике, которая более или менее, само собою [разумеется], была между собою знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом, стены обтянули персидскими коврами, повесили искусно импровизированные люстры из простых обручей и веревок, обвитых чрезвычайно красиво великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собрались танцевать, развесили,

как говорят, более 2500 разноцветных фонарей... Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами звуки музыкальных знаменитостей нежили слух очарованных гостей*, бальная музыка стояла в аллее. Красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной служить уборною для дам. Она также убрана была шалями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Там было огромное зеркало в серебряной оправе, щетка, гребни, духи, помада, шпильки, булавки, ленты, тесемки и женщина для прислуги. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтоб налюбоваться им. Роскошный буфет не был также забыт. Природа, как бы согласившись с общим желанием и настроением, высказала себя в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружали густыми рядами кружащихся и веселящихся счастливцев.

Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальца[9] Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил:

— Видите ли вы даму Дмитревского?.. Это его «карие глаза»... Неправда ли, как она хороша?

Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и в самом деле нашел ее красавицей. Она была в белом платье, какой-то изумительной белизны и свежести. Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны, а из-за уха только спускались красивыми локонами на ее плечи[176]; единственная нитка крупного жемчуга красиво расположилась на лебединой шее этой молодой женщины как бы для того, чтоб на ее природной красоте сосредоточить все внимание наблюдателя. Но главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длин-

---

* М. В. Юзефович: Не худо бы пояснить, кто были эти знаменитости. [Замечание это позже стерто — вероятно, самим Юзефовичем. — М. Н.]

ными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями. Красавица, как бы не зная, что глаза ее прелестны, иногда прищуривалась, а обращаясь к своему кавалеру, вслед за сим скромным движением, обдавала его таким огнем, что в состоянии была бы увлечь и, вероятно, увлекала не одного своего поклонника. Я не любопытствовал узнать, кто она, боясь разочароваться тою обстановкой, которою она может быть окружена. Я не хотел знать даже, замужем ли она, опасаясь, что мне назовут и укажут какого-либо уродливого мужа — грузина, армянина или казачьего генерала. На другой день бала она уехала из Пятигорска, а счастливый Дмитревский полетел за ней.

Бал продолжался до поздней ночи или, лучше сказать, до самого утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться. Я говорю «расходиться», а не «разъезжаться», потому что экипажей в Пятигорске нет, да и участницы бала жили все недалеко, по бульвару. С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар и белыми пятнами пестрили отблеск едва заметной утренней зари.

Молодежь также разошлась. Фонари стали гаснуть, шум умолк: «и тихо край земли светлеет, и, вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день»[177], а я все еще сидел, погруженный в мои мечты, устремив взоры мои в величественный Машук, у подошвы которого тогда находился. Медленными шагами добрел я до своего жилища, и хотя вся долина спала еще в синем тумане, но Эльбрус горел уже розовым атласом. При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанет для многих, или, лучше сказать, для всех нас, участников, горесть и сожаление?

В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут и потом расстались, а я и не предчувствовал, что вижу его в последний раз... Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 17 июля он был убит.

Мартынов служил в кавалергардах, перешел на Кавказ в линейный казачий полк и только что оставил служ-

бу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, называя Мартынова «homme à poignard»[178], потому что он в самом деле носил одежду черкесскую и ходил постоянно с огромным кинжалом у пояса, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда они однажды снова сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не переменит.

Наутро враги взяли себе по секунданту: Мартынов — Глебова, а Лермонтов — А. Васильчикова. Товарищи обоих, находя, что Лермонтов виноват, хотели помирить противников и надеялись, что Мартынов смягчится и первым пожелает сближения. Но судьба устроила иначе, и все переговоры ни к чему не повели, хотя Лермонтов, лечившийся в это время в Железноводске, и уехал туда по совету друзей. Мартынов остался непреклонен, и дуэль была назначена. Антагонисты встретились недалеко от Пятигорска, у подошвы Машука, и Лермонтов был убит наповал — в грудь под сердце, навылет.

На другой день я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вегелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал:

— Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?

Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. «Когда? Кем?» — мог я только воскликнуть.

Мы оба с Вегелиным пошли к квартире покойного, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе сни-

мал портрет с него масляными красками. Дамы — знакомые и незнакомые — и весь любопытный люд стали тесниться в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами... Полный грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на всех аллеях только и было разговоров, что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Они, как черные враны, почувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтоб узнать, отчего, почему, зачем, и потом доносить по команде, правдиво или ложно.

Глебова, как военного, посадили на гауптвахту, Васильчикова и Мартынова — в острог, и следствие и суд начались. Вскоре приехал начальник штаба Траскин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел.

Со смертью Лермонтова отечество наше лишилось славного поэта, который мог бы заменить нам отчасти покойного А. С. Пушкина, который так же, как и Грибоедов, и Бестужев, и Одоевский, все умерли в цветущих летах, полные сил душевных, умственных и телесных, и не своею смертью.

На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжение своей короткой жизни, нашлись, чтоб почтить последнею почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я — от Тенгинского пехотного, Тиран — от лейб-гусарского и А. Арнольди от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено.

Через год тело Лермонтова по просьбе бабки его перевезено было в родовое именье его, кажется Пензенской губернии.

Глава XXVI

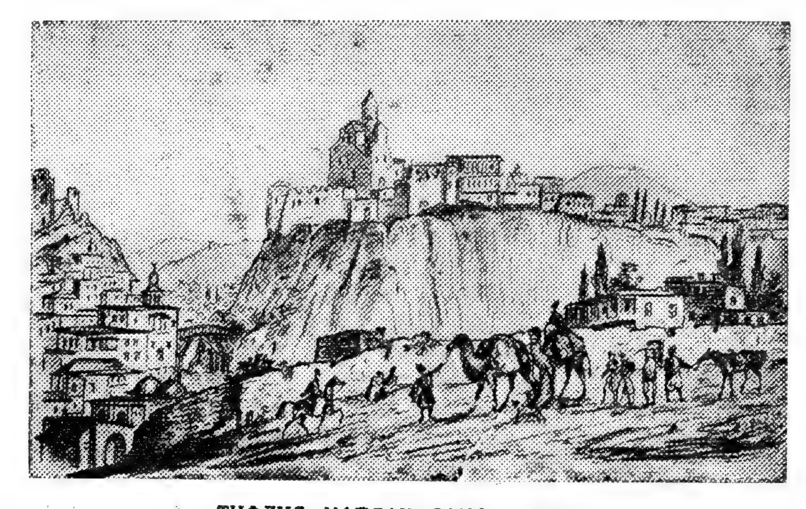
Переезд в Железноводск. — «Шотландка». — В Пятигорске у Хомутова. — Судьба Мартынова — убийцы Лермонтова. — Хомутов и колонисты

На другой день я переехал в Железноводск, где находилась и половина семейства Арнольди. Железноводск, по-моему, еще лучше Пятигорска, хотя не так обстроен и не имеет тех удобств для материальной жизни. Он весь лежит в горах, покрытых тенистым вековым лесом. Извиваясь, красивые дорожки приведут вас непременно к какому-нибудь целительному ключу, бьющему из ребр отвесных гор. Сюда должен удалиться человек, который ищет уединения... Здесь только, беседуя с прекрасно разнообразною природою, может он обрести тишину душевную. А в созерцательной жизни, живя с природою рука об руку, и человек-то делается лучше. Для описания красот Железноводска нужна кисть пошире моей, а потому я и остановлюсь покуда.

Я забыл сказать, что по дороге от Пятигорска к Железноводску красиво разбросалась и существует давно уже колония шотландцев, отчего называется «Шотландкою». Чистые на немецкий манер домики имеют садики и огороды, и вся постройка тонет в зелени садов. Зажиточные колонисты часто отдают свои домики под пикники, устраиваемые наезжающими сюда семействами из Пятигорска. Подобных роз сентифолий, какие я рвал в «Шотландке», мне не случалось видеть нигде.

Однажды одному польскому семейству вздумалось устроить небольшую прогулку[179]. Пригласили меня и моих двух сибирских товарищей, и я отправился заранее позаботиться о некоторых приготовлениях. Стол накрыли в саду между кустами роз, которые красным ковром устилали лужайку, на столе красовался огромный букет тех же цветов. К обеду подали кислое молоко, спаржу, жареных цыплят, яйца, пиво, шампанское и черешни. Мы дружески, весело отобедали и после осматривали колонию. Жители живут в довольстве и покое, но лет десять тому назад подвергались набегам горцев.

В некоторых болезнях медики минеральных вод предписывают своим пациентам после серных ванн железные. Я испытал на себе благотворное действие их и после 10 ванн уже почувствовал какую-то необыкновенную силу.



ТИФЛИС, МАЙДАН. ЗАМОК МЕТЕХИ
М. Ю. Лермонтов. Рисунок. 1837 г.
Публ. по: Лермонтов. Картины, акварели, рисунки.
М., 1980

Все нервы ваши укрепляются, расположение духа вашего меняется к лучшему, ноги ваши несут вас в горы легко и свободно. Вы шагаете и не чувствуете усталости. Да, Железноводск и меня, видимо, оживил.

Однажды явился ко мне казак с известием, что губернатор Хомутов приехал и просит меня в Пятигорск. Я собрался и поехал. При выезде из Железноводска урядник останавливает моих лошадей.

— Что это значит? — спросил я его.

— При захождении солнца не велено никого выпускать.

— Но, помилуй, солнце еще высоко.

— Никак нельзя, ваше благородие.

— Вот тебе, любезный, двугривенный, пусти меня и [я] успею засветло переехать благополучно в Пятигорск.

— Извольте ехать, ваше благородие, солнце и впрямь еще не село, — сказал мне соблазненный часовой, и я поехал.

На другой день я прошатался с Хомутовым и племянницей его по Пятигорску, а вечер провел на бульваре, в толпе гуляющих, при звуке музыки полковой, кото-

рая особенно часто тешит публику любимым [Aurore-valse][180].

— Чем кончится судьба Мартынова и двух секундантов? — спросил я одного знакомого.

— Да ведь царь сказал: «туда ему и дорога»*, узнав о смерти Лермонтова, которого не любил, и я думаю, эти слова послужат к облегчению судьбы их, — отвечал он мне.

И в самом деле, в то время, когда дуэли так строго преследовались, с убийцею и секундантами обошлись довольно снисходительно. Секундантам зачли в наказание продолжительное содержание их под арестом и велели обойти чином, а Мартынова послали в Киев на покаяние на 12 лет. Но он там скоро женился на прехорошенькой польке** и поселился в своем собственном доме в Москве[181].

В это пребывание мое в Пятигорске я зашел одним утром к губернатору Хомутову и застал его окруженного колонистами. Его превосходительство что-то очень горячился, кричал и шумел. Я стал прислушиваться, в чем дело. Колонисты жаловались на несправедливости чиновников, на станового, говорили, что их притесняют, разоряют, требуют незаконно каких-то денег за землю и подать собирают по несколько раз в год. Губернатор наконец прогнал их и сердитый вошел в комнату, где я немым сидел слушателем.

— Как мне надоели своими жалобами эти немцы! — обратился он ко мне.

— А какое решение дал ты им? — спросил я.

— Да прогнал их, вот и все.

— Напрасно! Я думаю, почтеннейший Иван Петрович, что твоя святая обязанность хладнокровно выслушивать всякие просьбы. За что же ты получаешь чины, кресты, жалованье, почести? За что тебя встречали у въезда комендант и полицеймейстер? Не забудь, любезный, что бедные люди ожидали тебя целый год, думая найти в тебе начальника справедливого, и вот как ты их разочаровываешь. Нехорошо, нехорошо... Я говорю с тобой, как с моим старым товарищем, и желаю оправдать

---

* П. Бартенев: Кому это известно? Как все объясняют в дурную сторону. Накажи строго, нашли бы и это дурно. У нас всегда были снисходительны по дуэлям.

** М. В. Юзефович: Уж очень нехорошенькой!

тебя. Пошли за ними, вели воротить их, выслушай и разбери их жалобы.

Хомутов, ходивший большими шагами по комнате, вдруг подошел ко мне и пожал мою руку, а вслед за сим послал за колонистами-просителями, выслушал их хладнокровно и приказал чиновнику своему разобрать все дело. Счастливые колонисты кланялись ему в пояс и разошлись, а мы, довольные каждый собою, весело провели свое утро за чайным столиком.

Глава XXVII

Богатырь-вода — Нарзан. — Отъезд с минеральных вод. — В Прочном Окопе. — Прошение об отставке. — Отставка пошла в Петербург. — А. О. Россет — madame Récamier du Nord. — Письмо от А. О. Россет и записочка Клейнмихеля. — Отставка подписана! — Смерть Кошутина. — Сборы

Весь выздоравливающий Пятигорск переехал в Кисловодск, чтоб погружаться в богатырь-воду — нарзан. Это последнее очищающее и укрепляющее средство, это венец лечения кавказских минеральных вод. Здесь выздоравливающим разрешают все есть и пить. Это самый холодный источник, и в нем не бывает никогда более 9° тепла; но что делает его выносимым — это газы, которыми он изобилует, покрывающие обыкновенно тело купающегося мелкими пузырьками, подобно искрам пенящегося шампанского. Мне доктор не позволил купаться в нарзане, но я отправился туда из любопытства только и сопутствовал Хомутову.

Не доходя до ванн еще, мы услыхали ужасные крики и визг, как будто бы горцы налетели и делают похищение в роде саби[ня]нок! Это были голоса купающихся дам! Да и не мудрено, что нежные творения эти не с таким терпением выносят те страшные ощущения холодной кусающейся воды, когда и редкий мужчина может просидеть в бассейне не более пяти минут, а обыкновенно ограничивает свое купанье тем, что, погруженный по горло, пройдет только бассейн[182] во всю его ширину, которая ограничивается 2—3 саженями. Один Лев Пушкин высиживал там 1/4 часа, и еще с бутылкой шампанского в руках, которую и выпивал там. Но подобные шутки кончаются мгновенным ударом, т. е. апоплексией. Княги-

ня Гагарина, урожденная Поджио*, после бала взяла холодную ванну нарзана и тут же умерла от удара. Рассказывали про одного чудака генерала, впрочем здорового человека, который из любопытства в Пятигорске погружался в Александровский источник (теперь иссякший), в воду, имевшую 41 градус тепла, где яйцо сваривалось всмятку в несколько минут, и в Кисловодске в цельный нарзан, при 9 градусах тепла. После этого опыта генерал здоровым уехал в Россию.

По возвращении моем в Пятигорск я стал подумывать об отъезде своем в обратный путь. Август был в исходе. Я проводил моих родных в Россию. Добрый племянник мой Александр Арнольди спешит на службу в Петербург. Когда-то мы с ним увидимся? Я обнял его родственно и радовался, что нашел в нем благородную, чистую душу и славного, по отзывам товарищей-гвардейцев. фронтового офицера.

В один день я еще в последний раз прошелся по пятигорскому бульвару. Аллеи и скамейки были пусты, и только изредка попадались неизлечившиеся хромые или кривые**. Лошади мои были готовы, и я отправился в Ставрополь.

Там я нашел моего приятеля Вревского, о котором говорил уже выше. Новая встреча моя с ним утвердила меня в намерении подать в отставку, так как Вревский, служа при военном министре, заведовал отделением, в котором производились подобные дела, и мог быть мне полезен. Я откровенно сообщил ему мое намерение, а он обещал свое содействие, предупреждая только, чтоб прошение и все документы, требуемые положением, были бы верны, точны, безошибочны.

Полный надежд в скором времени оставить Кавказ и службу, я приехал в Прочный Окоп к друзьям своим Нарышкиным. М[ихаил] М[ихайлович] только что возвратился из экспедиции и был представлен в офицеры на всемилостивейшее воззрение, которое, как я после узнал, и на этот раз не воспоследовало.

В штабе полка я отыскал отличного мастера-худож-

---

* Декабрист П. Н. Свистунов: Бороздина. [Она] была в первый раз замужем за Поджио.

** М. В. Юзефович: Кривой означает безглазого. Здесь нужно, кажется, другое слово.

ника писать прошение об отставке. Долго занимались мы этим делом и наконец, как казалось, уладили его, у меня как гора свалилась с плеч. Полковая канцелярия отправила мою отставку в Тифлис на утверждение корпусного командира, потом ее пошлют в Петербург к военному министру Чернышеву, а там представят и царю на всемилостивейшее воззрение. Господи! сколько хлопот и писания о бедном армейском прапорщике! Но не забудьте при этом, что в формуляре этого прапорщика в графе происхождения значилось: «из государственных преступников».

Оставалось терпеливо ждать окончания задуманного мною дела, и я поехал в свою Фанагорию, к друзьям моим Дорошенке, Ромбергу с женою и почтенной старушке Нейдгарт. На этот раз я остановился не в прежней своей лачужке, а у Ромберга, однако ж навестил свою прежнюю хозяйку, и в комнатке, [в] которой я провел четыре скучные зимы, нашел я груды тыкв, арбузов, кочаны капусты... Она служила складочным местом.

На другой день я сделал свою последнюю прогулку к курганам и у Турецкого фонтана напился из ключа холодной воды. Потом пришел знакомый уже читателям тендер «Часовой» с лейтенантом Десятым, и я собрался в Керчь. Ромбергу нужно было съездить в Керчь, и он меня провожал. До этого мы зашли к коменданту, и тут я был обрадован, узнав, что княгиня Херхеулидзева прислала моему бедному отставному артиллеристу 175 рублей, — бедняк, говорят, верить не хотел своему благополучию. Сегодня же поблагодарю милую княгиню за такое щедрое приношение на пользу неимущих, мною рекомендованных.

Итак, мы втроем благополучно достигли Керчи, и я вечером был уже у Херхеулидзевых и благодарил княгиню за добро, которое она сделала. Во всю мою жизнь я находил более людей симпатичных и готовых на добро, чем черствых и равнодушных. Пушкин где-то сказал: «Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою». Поверьте, если не все добро делают, то все добро знают, а это не безделица. Слова эти истинны и справедливы и служили к утешению моему в продолжение всей моей жизни. Я решился перезимовать в Керчи, по неотступной просьбе милых хозяев.

Музыка, книги, круг избранных друзей, чего мне искать лучшего? — останусь.

Вскоре я получил уведомление, что отставка моя, просмотренная в Тифлисе, пошла в Петербург. Слава богу! Главное сделано, стало быть. Однако и в это время я сильно беспокоился в счастливом окончании дела, получив письмо от родственника моего, генерала Арнольди, из Петербурга, в котором он пишет, что, принимая во мне родственное внимание, говорил обо мне с Дубельтом (тогда весьма значащим человеком) и спрашивал его, есть ли надежда получить отставку такому-то, и что будто бы генерал отвечал ему, чтобы я и не смел думать об увольнении из службы ранее шести лет. Подобный совет или предостережение не могли, конечно, подействовать на меня благотворно. Мне оставалось рапортоваться больным и ждать в Керчи развязки, чтоб избавиться от трудной, по моим летам, кавказской службы, где прапорщикам, даже и 48-летним, ежедневно выпадают случаи ходить с оказиями за камышом, за дровами, за провиантом. Итак, уповая на свою счастливую звезду, я проводил время свое в Керчи в мечтах о минуте, которая позволит мне сбросить с себя тяжелое и ненатуральное положение, в котором я находился. Кому не мила свобода? Меня же тянуло после 20-летнего отсутствия на родину, мне хотелось еще раз в этой жизни обнять брата, сестер, родных, близких моему сердцу.

Я говорил уже в своих записках о существе, которое влиянием своим облегчило уже однажды судьбу мою в то время, когда я по ее просьбе одним из первых вырвался из Сибири и переведен был рядовым на Кавказ! Это была моя племянница А. О. Россет, тогда фрейлина императрицы, а в минуту, когда я пишу эти строки, в замужестве за Н. М. Смирновым. Одаренная красотой телесной и душевной, она умом своим имела сильное влияние и при дворе, и в кругу великосветских, сильных мира сего. Все наши знаменитые поэты пели ее в своих стихах — Пушкин, Жуковский, Лермонтов, князь Вяземский, Мятлев, Хомяков дарили ей свои послания. В позднейшие времена она сдружилась с Гоголем и была с ним долгое время в переписке. Она олицетворяла в себе идеал тех женщин Франции, которые блестели в золотой век ее, и название Madame Récamier du Nord*[183] шло к

* Северная мадам Рекамье (франц.).

ней как нельзя больше. Направляя к добру все свое влияние, она многим помогала во всю свою жизнь. Так однажды, известясь, что Гоголь нуждается за границей даже в необходимом, она на балу смело подошла к Николаю Павловичу и просто сказала: «Государь, наш народный поэт умирает в Риме в нищете, помогите ему... Он просит только 3000 рублей». — «Скажите Алексею Федоровичу, чтобы завтра мне об этом напомнил», — отвечал царь. Смирнова пошла отыскивать Орлова, поймала его наконец и объяснила ему волю государя.

— Что это за Гоголь? — спросил ее Орлов.

— Стыдитесь, граф, что вы — русский и не знаете, кто такой Гоголь.

— Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах? — возразил Орлов.

Однако на другой день было послано Гоголю 3000 рублей.

Выпущенная из Екатерининского института, с первым шифром M-lle Rossette взята была прямо ко дворцу фрейлиной к императрице Марье Федоровне, а по кончине ее перешла к императрице Александре Федоровне. В вихре светских удовольствий Александра Осиповна находила достаточно времени, чтоб обогащать свой ум разными новыми сведениями, которых в институте приобрести, конечно, не могла. Она выучилась итальянскому, английскому языку, а потом изучала греческий и еврейский, владея в совершенстве французским, немецким и, в особенности, своим отечественным, русским языком. Она в часы досугов написала записки о своей юности и впечатлениях при дворе, и Хомяков, которому она их читала, говорил мне, что считает их перлом русской прозы. К сожалению, племянница моя сожгла их в минуту сознания, что все на сем свете суета сует....

Многие из наших сочинителей и поэтов представляли на ее суд свои произведения и пользовались ее советами. Так однажды и Хомяков прислал ей какую-то политическую брошюру, прося ее передать при удобном случае императору Николаю. А[лександра] О[сиповна] пригласила к себе Вяземского и занялась прочтением ее; и результатом этого совещания было решение не подавать брошюры государю, а Вяземский сказал при этом случае, что и «вы и Хомяков непременно будете сидеть в крепости». Не знаю, что это было, но, верно, что-нибудь

уже чересчур неперевваримое для тогдашнего времени.

К этой-то умной, влиятельной женщине и моей доброй племяннице написал я письмо и просил ее ходатайства и заступничества к увольнению меня из службы.

Сижу я однажды у себя в комнате, в квартире Херхеулидзева, грустный, задумчивый... Ветер страшно свистел в окнах. Густой туман лежал над всею Керчью, и часто проливной дождь затоплял окрестность. Вдруг мне подают письмо... почерк руки моей племянницы... печать сорвана... у меня сильно забилось сердце. Маленькая записочка выпала из конверта:

«Спешу поздравить А. О. Смирнову. Сегодня подписана государем отставка дядюшки вашего Н. И. Лорера по болезни.

Клейнмихель»*

Конечно, я не дал себе времени читать письмо моей племянницы, — бегу, кричу:

— Князь, княгиня, я свободен... я счастлив!

Чудак князь, обнимая меня, поздравлял, приговаривая: «Поздравляю, но не радуюсь до тех пор, пока не увижу имени твоего в приказах».

Но вот принесли «Инвалид», и я в числе бесчисленного множества производств, наград, перемещений, отставок прочел и свою фамилию, а неверный Фома мог смело дать волю своим восторгам. Скоро весь город узнал о моем счастии, и все спешили меня поздравлять. Даже дети Керченского института, куда я часто ходил, быв знаком с их начальницей г-жой Телесницкой, и которым часто нашивал конфект, приняли участие в моей радости. Бедненькие, они воображали, что я с ними останусь и буду по-прежнему лакомить их!

Князь дал обед в честь моей отставки, и друзья пили тост за мою новую жизнь. И в Фанагории откликнулась моя радость, и там радовались за меня добрые знакомые и друзья.

Я дал знать о своей свободе всем родным моим в Россию и собирался вскоре и сам на родину, но, признаюсь, после минутных восторгов я скучал по своей хижине в Фанагории, по своим курганам с фонтанами, по

---

* П. Бартенев: Он был тогда дежурным генералом Гл. штаба.

уединению... Странно создан человек! Он вечно чего-нибудь желает... Тогда были надежды, теперь они стали действительностью, и я вступаю в общую колею.

Я стал дожидаться из Тифлиса своих документов, а между тем в один день получил приглашение на похороны моего храброго полкового командира Кошутина. Сколько раз странствовали мы с ним по горам Кавказа, сколько раз видал я его с шашкою наголо впереди своих колонн, и смерть его щадила, и вдруг он умер спокойно, на своей постели, в своей деревушке, в 12 верстах от Керчи. Сниму же и я свою военную форму на его могиле, подумал я, и в последний раз оделся в военные доспехи и поехал на похороны. После панихиды в доме родные и корпус офицеров полка, которым командовал полковник, понесли своего отца и командира на бедное сельское кладбище, в вечное его успокоение... Там мы оба вышли в отставку, там сба вместе исключены были из списков Тенгинского полка.

Наконец я получил свои бумаги в Керчи и стал ожидать весны, чтобы ехать на родину к брату, которого не видал более 20 лет... Я оставил его бодрым, свежим, теперь, вероятно, обниму старика, да и во мне он, конечно, найдет большую перемену.

На третьей неделе великого поста, отслужив благодарственный молебен творцу всеблагому, пожав руки друзьям, которые постоянно ласкали, лелеяли меня, я из дома князя Херхеулидзева выехал в г. Херсон 1842 [года] апреля 17-го числа. Отставка моя довольно оригинальна тем, что по исчислении моих подвигов на Кавказе как рядового начальство не поместило моей военной службы до ссылки в Сибирь и в графе о происхождении прописало: «из государственных преступников» и запретило въезд в обе столицы, подчинив меня надзору местной полиции. И тут еще не полное прощение, не полная свобода.

Глава XXVIII

В Херсоне. — Владимир Пестель. — Свидание с братом. — Представление Воронцову. — Поселение в сельце Водяном. — Заключение. — Память о верных слугах декабристов: Анисья, Акулина, гувернантка Трубецких. — Семья Трубецких. — Конец

Наконец я на родине, в Херсоне. Я явился к гражданскому губернатору В[ладимиру] Ивановичу Пестелю,

которого знал еще в кавалергардском полку. Он был родным братом покойного Павла Ивановича, моего друга, которого казнили, и сделан был флигель-адъютантом в тот самый день, когда брат его смертью своею искупал свое заблуждение, по мнению Николая-импеоатора.... Какая жалкая насмешка над человеческим" увствами — как будто можно чем-нибудь утешить огорченное сердце брата!

Пестель принял меня ласково, с участием и объявил мне, что я буду под надзором земской полиции и в случае желания моего перемещения обещал давать мне письменное разрешение. Странное стечение обстоятельств! Я кончил свою службу до ссылки в Сибирь под начальством одного Пестеля и после 20 лет разных мытарств попадаю опять под заведование другого брата Пестеля! Таким образом, и на своем родном пепелище я не нашел той свободы, о которой мечтал так детски всю мою жизнь, да и вряд ли она и есть где-нибудь.

Меня много обрадовало и утешило свидание с родным братом моим, который нарочно приехал по этому случаю из своей деревни мне навстречу. С каким восторгом мы обнялись и он прижал к груди своей брата-изгнанника — легко можно себе вообразить. Мне позволили удалиться в деревню к брату, и я уехал с ним в свое родное гнездо. Из сельца нашего сделалась деревня, и все изменилось. Что оставил я молодым, состарилось: кусты нашего сада разрослись в огромные деревья, а многих стариков слуг я не застал уже в живых. Невестка моя также состарилась, а из шести мною оставленных сестер я нашел в живых одну... На могиле моей матери, похороненной у нас в саду, я плакал о потерянных счастливых днях своей юности.

Я съездил в Одессу, чтоб одеться в гражданское платье. Граф М. С. Воронцов был тогда там генерал-губернатором Новороссийского края. Граф меня знал лично в Варшаве, когда мы возвратились из-за границы в 1815 году, и я почел своим долгом представиться ему. Адъютант его Суворов представил меня графу в его кабинете. Внимательный, ласковый старик спросил меня, чем может быть мне полезным, и требовал, чтобы я всегда лично к нему обращался с моими просьбами. Граф был тип вельможи и обладал европейским образованием, каким в то время не многие из наших сановни-

ков пользовались. Он истинно любил Россию, а южный край и Одессу, свое создание, — в особенности. Веллингтон о нем справедливо отнесся, назвав звездою России. Но вмешательство правительства много мешало Воронцову в осуществлении его благих предначертаний и намерений, равно как и Дюку-де-Ришелье, первому основателю благоденствия южного края, который говаривал даже: «Пусть правительство забудет этот край на 25 лет только, и я ручаюсь, что он сделается цветущим краем, а Одесса перещеголяет Марсель в коммерческом отношении». Г. Ланжерон заменил Дюка-де-Ришелье, и все еще кое-как дела шли своим чередом, но тут Аракчеев уже, видимо, стал портить будущую судьбу южного края. Не постигая нужд края, он, как известно, завел военные поселения, которые впоследствии умертвили все жизненные силы народа под управлением создания Аракчеева — графа *Витта**, совершенно затормозили процветание новороссийских степей. Но я не стану описывать исторических ошибок нашего времени... Кто их не знает, кто их не видит! Они не касаются моей жизни.

С моим возвращением моя политическая и гражданская деятельность кончилась. Я поселился мирным поселенцем в родительском доме сельца Водяной. Благодаря бога, пользуюсь на 70-м году полным здоровьем и обладаю еще вполне всеми дарами природы. Все мои прошлые невзгоды не навели на сердце мое черствой коры, и я еще горячо сочувствую всему теплому, прекрасному.

Товарищи моего изгнания, после коронации государя Александра Николаевича, все уже, подобно мне, на свободе, и из декабристов теперь нет ни одного в Сибири и на Кавказе[186]. Они живут тихо по своим уголкам. Но многие из них положили свои головы на Кавказе, многие умерли своею смертью и в Сибири.

Я хотел было поставить точку, любезный читатель, но не могу окончить своих записок, не передав потомству, не назвав тех верных слуг, которые не оставляли

---

* М. В. Юзефович: Это ошибочно: Аракчеев терпеть не мог Витта, пользовавшегося особенным расположением государя, и делал ему всевозможные шиканы[184], о чем свидетельствуют тогдашние приказы по военному поселению[185].

П. Бартенев: Совершенно справедливо. У меня много этих приказов.

своих господ и в дни их тяжелых испытаний и несчастий.

Правительство не позволяло женам преступников брать с собой крепостных своих слуг, но эти последние добровольно последовали за своими господами.

Графиня Анна Ивановна Коновницына, не желая лишить свою дочь прислуги, к которой она привыкла, собрала всю свою дворню и вызывала охотников на добровольное изгнание, обещая каждому, последующему за дочерью, волю после пятилетнего служения как им самим, так и семействам их. Охотников нашлось много, но выбор пал на сестру с братом. 20-летняя Анисья последовала за Нарышкиной и усердно, верно исполнила свою обязанность. Поведением своим она заслужила уважение даже самого Лепарского, который обыкновенно при встрече с нею здоровался, снимая свою фуражку. Все власти, имевшие какое-либо влияние на ее господ, Анисья ненавидела и выражала свою антипатию к ним тем, что обыкновенно отворачивалась от них. Впоследствии она сделалась, можно сказать, другом своих господ и умела всегда утешить и успокоить их. После пяти лет службы и Анисья и брат ее, по обещанию, получили свободу от своих господ, но верные слуги остались при своих благодетелях и только просили дозволения съездить в Россию, чтоб повидаться с престарелыми родными своими. Конечно, Нарышкины поспешили исполнить желание этих добрых людей, снабдили их деньгами, подорожной и благословили в дальнюю дорогу. Бедная женщина в пути своем подвергалась в каждом городе строгому осмотру, и правительство опасалось, чтобы подобным путем сосланные не вошли в сношение с свободною Россиею. Мужественная Анисья выдержала все эти обиды и по прошествии пяти месяцев снова была в Сибири, готовая к услугам своих добрых господ. Она пренаивно рассказывала, что однажды в Петербурге, встретив государя, совсем было решилась упасть к ногам монарха и просить прощения своим господам, но удержалась, подумав, что может повредить им своим неуместным заступничеством. К тому же она в Петербурге еще узнала, что участь ее господ несколько облегчена и что они живут на поселении в Кургане Тобольской губернии.

Другая личность, подобная этой, была Акулина, принадлежавшая Т. С. Уваровой, родная сестра которой

была матерью М. С. Лунина. Уварова знала, что брату ее нужны деньги (кому они не нужны?), но Лунину хотелось иметь их непременно золотом. Желая исполнить фантазию брата, Уварова решилась поручить это дело горничной. Храбрая Акулина, снабженная законным видом и большой суммою денег, садится на перекладную и перелетает 6000-ное пространство от Петербурга до Петровского завода. В каждом губернском городе она подвергалась осмотру и, несмотря на это, сумела выполнить поручение своих господ и доставила в целости Лунину большую сумму денег золотом. О прочих верных слугах, оставшихся при своих господах, можно также отнестись с большою похвалой.

Е. И.[187] Трубецкая, пробыв в замужестве более 10 лет, не имела детей, ездила за границу, лечилась и оставалась бездетною. В Сибири, как бы в наслаждение достойной супруге, она сделалась матерью трех [дочерей?] и сына. Когда дети подросли и стали нуждаться в научном образовании, княгиня, имея средства, не жалела на приискание хорошей гувернантки огромных денег. Но всех пугала отдаленная Сибирь. Наконец нашлась одна достойная женщина свободной Англии, которая взяла на себя эту обязанность и добросовестно исполнила ее, воспитав умственно, морально и телесно всех троих детей*. По возвращении из Сибири все три дочери Трубецкой вышли замуж: одна за Ребиндера, что ныне сенатором; другая за сына изгнанника Давыдова; а третья за Николая Свербеева, которого сестра замужем за моим племянником Львом Арнольди**.

Молодой Трубецкой, кончив курс в Ришельевском лицее, перешел в Московский университет и подает большие надежды.

Екатерина Ивановна скончалась в Иркутске и похоронена в 6 верстах от города, в монастыре. Старшая дочь, бывшая за Ребиндером, умерла от чахотки в Дрездене. Николай Свербеев умер в 1860 году, оставив

---

* Декабрист П. Н. Свистунов: Две дочери княгини Трубецкой были воспитаны в Иркутском институте, а старшая дома немкой-гувернанткой. По выпуске младшей из института при ней была гувернантка-полька, но не англичанка.

** М. В. Юзефович: Ребиндер женился в Сибири, Свербеев тоже; да и Давыдов, кажется, тоже во время поездки своей в Сибирь.

жену свою, урожденную Трубецкую, с двумя малолетними детьми, и сам старый князь Сергей Петрович Трубецкой умер в Москве в 1860 году, в одно почти время с дочерью и молодым Свербеевым. Мир праху их.

Конец[188]

Все, что знавал, все, что любил,
Я невозвратно схоронил,
И в области веселой дня[189]
Ничто уж не живит меня.
Без места на пиру земном,
Я только лишний гость на нем.

Сельцо Водяная,
августа 5-го 1867 г.[190]

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РУССКОГО ОФИЦЕРА[191]

(Посвящается княгине Е. А. Черкасской)

В 1813 году после сражения под Лейпцигом Наполеон спешил как можно скорее возвратиться во Францию. Мы шли за ним по пятам. Император Александр I, желая дать отдых своей гвардии, имел намерение разместить оную по квартирам; но главнокомандующий союзными войсками князь Шварценберг опасался, чтобы в том случае, когда Наполеон вздумает остановиться и придется дать ему сражение, резервы наши не были слишком удалены от театра войны: потому гвардия наша продолжала идти вслед за неприятелем по большому шоссе.

Между тем Наполеону предстояло сразиться с другим врагом своим — баварцами, которые отрезывали ему путь во Францию. Под местечком Ганау его встретил фельдмаршал Вреде; но смелый полководец со свойственной ему прозорливостью предупредил его: баварцы были разбиты наголову, Вреде был тяжко ранен, а Наполеон продолжал свое отступление. Путь наш лежал по направлению к Франкфурту-на-Майне. Долго тянулись мы за неприятелем. Наконец наступает и ноябрь, погода ужасная. Медленно подвигаясь вперед, изнуренные, оборванные, голодные, ночуя только на биваках, мы уже теряли и надежду на зимние квартиры. Однажды неожиданно увидели мы скачущего нам навстречу на форшпанке (крестьянская повозка) полковника и фли-

гель-адъютанта господина З., который, остановив полк, спросил, где наш полковой командир, и вслед за тем начал с ним разговаривать. Мы бросились узнавать, в чем дело, не остановился ли где Наполеон и не будет ли дано сражение? Но какова же была наша радость, когда узнали мы, что вся гвардия получила приказание разместиться по квартирам на целые шесть недель! Флигель-адъютант поздравил нас с этим счастьем и объявил, что он везет дислокацию для всей гвардии, что первая гвардейская дивизия и все три главные квартиры союзных императоров будут в Франкфурте, а вторая гвардейская дивизия должна расположиться по местечкам вокруг него. «Вашему полку назначен город Офенбах, — сказал он, указывая вдаль, — вот он в виду у вас, вы видите его церкви. Генерал, прикажите отправить вперед в ратушу квартиргеров за билетами». «Государю императору угодно, — прибавил он, — чтобы полк ваш вступил в город парадом, потому что в Офенбахе проживает принцесса Изенбургская, родственница его величества короля прусского». С сими словами он отправился далее.

Можете себе вообразить, как мы обрадовались: тут нам представилась и теплая квартира вместо оледенелой постели на сырой земле, и сытный обед, и добрые хозяева-немцы с их кофеем, и прочее тому подобное. Между тем квартиргеры собрались идти в город, и каждый из нас просил их достать квартиру получше, в том числе и я требовал, чтобы выбрали мне приличное помещение. Наконец полк был готов к вступлению в город; мы приоделись кое-как. Знамена распустили, музыка грянула, и мы входим в Офенбах церемониальным маршем. Жители города встретили нас с восторгом. На главной улице нас ожидали наши квартиргеры и роздали билеты. Затем капитаны начали разводить свои роты. Проходя улицами, я увидел в окнах некоторых товарищей, которые уже из своих новых квартир кричали мне, что они успели пообедать и что их хозяин и хозяюшка преласковые люди. Отыскав моего квартиргера, я спросил: «Где же моя квартира?» — «В винограднике*, ваше бла-

* В Германии есть обыкновение строить маленькие домики в средине виноградников; там укрываются от непогоды во время снятия винограда; а после того домики остаются пусты до следующей осени. [Примеч. в тексте «Русской беседы».]

городие», — отвечал он. — «Как в винограднике? И неужели в доме нет хозяина?» — «Есть, ваше благородие, какой-то старичок, он что-то мне сболтал по-своему, вестимо, немец; я его не понял, а билет-то он принял от меня да еще и пожал плечами».

Ну, думаю себе, дело плохо! «Однако послушай, — говорю ему, — я отправлюсь лично осмотреть квартиру, а потом ты пойдешь в ратушу и достанешь мне билет на квартиру в самом городе, да скажи наперед, далеко этот виноградник от заставы?»

— В полуверсте, ваше благородие.

Я отправился верхом. Подъезжая к заставе, вижу, что от Офенбаха к Франкфурту между каштановыми аллеями по обеим сторонам ведет прекрасно устроенное шоссе.

— Где же домик? — спрашивал я квартиргера.

— Да вот вправо-то, ваше благородие.

И действительно я увидел каменный домик с зелеными запертыми ставнями; на крыльце, смотрю, стоит напудренный старичок в синем фраке. Слезая с лошади, в весьма дурном расположении духа, голодный, озябший, я спрашиваю его по-немецки, кто он такой?

— Я, — отвечал он мне очень вежливо, — министр финансов ее высочества принцессы Изенбургской, владетельницы Офенбаха.

Окинув его взглядом с ног до головы, я невольно улыбнулся (мне тогда было всего девятнадцать лет) и притом с любопытством спросил:

— Для чего у вас в доме заперты ставни?

— Вы видите, господин офицер, — отвечал он мне, — что я живу почти на большой дороге; теперь время военное, и проходящие войска составлены из всякого народа; кто может положиться на их бескорыстие? Особенно же для меня страшны эти казаки и киргизы, которые вот вчера даже, проезжая мимо дома моего, начали стучать в окна, требуя вина и воды; а кто-то из них разбил стекло пикой и ужасно перепугал меня с детьми. Я человек вдовый, и у меня три дочери — так вот что заставляет меня наглухо запирать ставни. Не правда ли, господин офицер, что теперь иначе и нельзя?

— Да, — отвечал я, — но с этой минуты будьте покойны, г. министр, — я постараюсь быть вашим защит-

ником; только прикажите, пожалуйста, теперь же открыть ваши ставни и войдемте в комнаты.

— А ты, — сказал я, обратясь к моему квартиргеру, — помоги им открыть скорее ставни.

Войдя в гостиную, министр представил меня своим дочерям, и я нашел их прехорошенькими. Благодаря знанию немецкого языка, я скоро с ними познакомился. Они были премило воспитаны; мы скоро сделались друзьями, и они стали звать меня своим братом, а старик был от меня в восхищении. Вот как необходимо военному человеку знать какой-нибудь иностранный язык — чем иначе можно привлечь к себе благорасположение хозяев в чужой земле?

Желая угодить императору Александру, владетельница города, принцесса Изенбургская, давала блестящие праздники для нашего полка — обеды, балы и вечера не прерывались, но я не участвовал в них; мне так было хорошо в доме моего старика-барона, где я имел все удобства жизни, что, само собою разумеется, о перемене квартиры, как я сначала приказывал квартиргеру моему, и в помине не было. Все шесть недель, которые я провел безотлучно в этом милом и добром семействе, пролетели для меня самым приятным и счастливейшим образом, как будто шесть часов. Часто мы ездили все вместе в шарабане (род экипажа) по окрестностям Офенбаха, Франкфурта и по берегам Майна. Счастливое было времечко! Век не забуду!

Раз как-то очень много наехало гостей из Франкфурта; это были друзья и родственники моего хозяина, собравшиеся, может быть, из любопытства видеть русского офицера. Весь вечер провели мы самым веселым образом, танцевали долго, рассказов было много; все слушали меня с большим любопытством; просидели за полночь и расстались все довольные друг другом. Я отправился к себе в антресоли. Только что я стал засыпать, как слышу необыкновенный шум и стук ружьев; открываю глаза и вижу огни, отражающиеся в окнах моей комнаты. Сначала я подумал, не пожар ли в доме, как вдруг вбегает ко мне кто-то, смотрю — горничная.

— Что это значит? — спрашиваю я.

— Вставайте, ради бога, скорей, господин поручик, у нас в доме несчастье.

Сказав это, она скрылась.

Сначала я подумал, не обижают ли здешних наших киргизы или донские казаки! И, одевшись на скорую руку, бегу стремглав к дверям и, взглянув в окно, вижу множество солдат и с ними офицера. Это были австрийские гвардейцы в медвежьих шапках и белых мундирах. Спускаюсь вниз — и что же! У всех комнат расставлены часовые; дом весь освещен; в зале сидит мой хозяин в шлафроке с вскло[ко]ченными волосами, совершенно потерянный, возле него австрийский офицер, а в соседней комнате его дочери в слезах ломают себе руки. Я хочу подойти к старику — меня не пропускают часовые; но когда я объявил офицеру, что я здешний постоялец, русской гвардии офицер, и что я имею к нему очень нужное дело, он согласился меня впустить.

— Что это значит? — спросил я старика.

— Я и сам ничего не знаю, — дрожащим голосом отвечал он. — Они присланы от австрийского императора объявить мне, что я — государственный преступник, и отправить меня в Вену, где будет наряжен надо мною суд.

Это меня озадачило, я любил старика.

— Чем могу я вам быть полезен?

— Благородный юноша, — отвечал он мне, — единственное мое утешение — мои дети; пожалуйста, прикажите скорей запречь коляску и отвезите их во Франкфурт к другу моему, барону Герцу; уезжая отсюда, мне тяжело будет видеть их свидетельницами моего несчастья. Я поручаю вам их.

— Свято исполню ваше поручение, — с живостью отвечал я.

Как скоро коляска была готова, взяв всех трех дочерей, из коих самой меньшей было 16 лет, я отправился в путь. Ночь была темная, дождь лил как из ведра. Въехавши в темную каштановую аллею, едва-едва пробирались мы чрез войска, шедшие во Франкфурт; тут смешаны были кавалерия, пехота и артиллерия, на каждом шагу кричали мне: «Направо и налево, раздайся!» И при каждом таком крике мои бедные спутницы трепетали от страха. Я их утешал, как умел. Наконец, с трудом добравшись до города, мы приблизились к дому барона. В доме все спало. Я стучал изо всей силы в железное кольцо (которое в Германии заменяет наши колокольчики). Показался огонек во втором этаже, и вы-

сунулся из окна белый колпак. После долгих объяснений двери были для нас отворены; я вбежал наверх и с удивлением увидел осмидесятилетнего старика в парчовом шлафроке, похожем на наши ризы, и в красных туфлях, а что всего страннее, на голове его был такой же колпак штофный и превысокий, как у католических епископов во время богослужения. Не успел я объяснить причину моего посещения, как мои спутницы вбежали и со слезами бросились его обнимать. Но мне надо было позаботиться и об отце их, и я спешил к нему воротиться, поручив дочерей барону Герцу в надежде скорого свидания.

Стало уже рассветать, когда я возвратился в мой виноградник. Я нашел хозяина все в том же виде, в каком его оставил, вместе с офицером, не отходившим от него ни на шаг; другой чиновник в синем фраке и с орденом в петлице преважно разбирал бумаги, печатал комоды, шкафы и бюро министра. Подойдя к бедному хозяину моему, я объявил, что исполнил его поручение и благополучно передал, кому следует, дочерей его. Он с чувством пожал мне руку. Я опять спросил его, нет ли еще поручения, которое бы я мог исполнить для его пользы? Старик отвечал: «В час пополудни ее высочество принимает у себя; потрудитесь объявить ей, что я арестован по повелению Франца II и что я прошу ее ходатайства».

Верный своему обещанию, в назначенный час, нарядившись в полную форму, я отправился в Офенбах прямо во дворец. Я никогда не бывал у Изенбургской принцессы, не знал внутреннего расположения дворца, а вместе и мало думал о тогдашнем этикете, господствовавшем при немецких дворах. Единственною моею заботою было освободить бедного старика, министра ее высочества. У дворца стоял караул из двенадцати человек с алебардами. Я взошел по большой мраморной лестнице и в передней комнате спросил человека в ливрее: «Дома ли ее высочество?»

— Она принимает, — отвечал он, — извольте идти: ее высочество в четвертой комнате.

Я пустился по анфиладе комнат и, дойдя до четвертой, отворяю двери. Каково же было удивление и смущение мое, когда я увидал императора Александра с принцессою! Она сидела на роскошном диване, госу-

дарь в креслах. От такой неожиданности я совершенно потерялся; мною овладел такой страх, какого я не испытывал даже в те часы, когда две тысячи орудий гремели под Лейпцигом.

Увидав меня, государь грозно спросил: «Зачем вы здесь?»

При этом вопросе принцесса пристально посмотрела на меня. (Это была женщина лет сорока, с орлиным носом и черными глазами навыкате.) От этого взгляда пот выступил на лице моем, и я, сделав пренизкий поклон сперва государю, а потом принцессе и выпрямившись, объявил на французском языке, что я послан к ее высочеству от ее министра финансов донести, что он, по повелению австрийского императора, объявлен государственным преступником и что, находясь под арестом, просит защиты ее высочества.

Произнося эти слова, я тотчас заметил, что государь улыбнулся очаровательной, ему одному свойственной улыбкой.

— Мой министр под арестом, говорите вы?! — спросила принцесса.

— Точно так, ваше высочество, — отвечал я.

— Где же дети, его дочери?

— Я отвез их во Франкфурт к барону Герцу.

В эту минуту мои глаза остановились на лице государя. Вдруг он захохотал, играя своим белым султаном, что, разумеется, ободрило меня. Как будто что-то отлегло у меня от сердца. Впоследствии я часто имел счастие видеть государя, но никогда он не казался мне так прекрасен, как в эту минуту. Он был в кавалергардском вицмундире и, что меня удивило, в светло-зеленых перчатках. Чем долее я говорил с принцессой, тем больше он смеялся и, наконец, обратясь к ней, сказал по-французски: «А ведь согласитесь, ваше высочество, престранное обстоятельство: мой молодой офицер пришел из далеких стран севера защищать вашего министра финансов». Тут он снова захохотал и потом спросил меня: «Однако скажи мне, что это значит, что ты так усердно хлопочешь о старике? Верно, ты влюблен в которую-нибудь из его дочерей? Что, они хороши собой?»

— Да, ваше величество, они очень милы, — отвечал я с смущением.

— А! понимаю, — начала принцесса, — я вспомни-

ла теперь вашу фамилию; не правда ли, я имею удовольствие видеть г. Л[орера]? Мой министр не нахвалится вами, а его семейство от вас без памяти. Это с вашей стороны очень любезно; но я должна вас упрекнуть за то, что вы до сих пор ни разу меня не посетили. Знаю, знаю, вам тепло было там!

Я поклонился ей, а сам покраснел и сконфузился; пот с лица моего катился градом. Тут государь, обратившись ко мне, милостиво и ласково спросил мою фамилию и затем прибавил: «Мне приятно слышать, что мои храбрые воины так прекрасно ведут себя на квартирах и приобрели такую о себе прекрасную репутацию, особенно в чужом краю. Ступай, — продолжал он, — и успокой своего хозяина».

Раскланявшись, я выхожу из комнаты; но, о ужас! новая беда, хуже прежней: в соседней комнате прохаживался, заложа руки назад, начальник Главного штаба к[н]. П. М. В[олконск]ий.

— Откуда это вы, г. офицер? — спросил он, останавливая меня. — Как вы смели, — продолжал он, возвышая голос, — входить в ту комнату, где находится государь? Вы должны знать, что это не позволено!.. Я вас сейчас отправлю на гауптвахту!

Но вдруг, на мое счастье, послышались шаги, и государь вышел от принцессы. Заметя мое смущение и гнев на лице своего адъютанта, он остановил его и сказал: «Оставь его в покое, он делает доброе дело, он защищает своего хозяина».

Тогда начальник штаба улыбнулся, а государь, положа руку свою ко мне на плечо, тихо сказал ему что-то, потом кивнул мне головой. Оба они смеялись, выходя из комнаты. Экипаж был подан, они вдвоем сели и поехали во Франкфурт; а я с радостью поспешил домой, передал о счастливом событии своему хозяину и тем много успокоил его. Австрийский офицер, все тот же, также не отходил от него, а прочие офицеры и солдаты завтракали, как заметно было, довольно плотно за счет хозяина.

Через час после того на шести лошадях цугом, в большой карете с позолоченными дверцами подъехала к калитке дома, сокрытого в винограднике, принцесса Изенбургская и, подозвав меня к себе, сказала: «Старайтесь успокоить своего хозяина, я еду к императору

Александру и к императору австрийскому просить об освобождении его».

И действительно в тот же вечер прискакал придворный чиновник с повелением снять караул и освободить г. министра. Старик обнял меня и в награду доставил мне великое удовольствие поехать во Франкфурт, объявить радость детям и привезти их домой. Вечером мы весело сидели за чайным столом все вместе.

Теперь остается пояснить, за что министр финансов принцессы Изенбургской был арестован. Этому следуют пункты. В 1809 году при занятии Вены французскими войсками принц Изенбургский, принадлежавший к Рейнскому союзу, был назначен от Наполеона губернатором австрийской столицы, а хозяин мой, барон Гольтнер, был у него секретарем и доверенным чиновником; когда войска наши подходили к владениям Изенбургского принца, принц Изенбургский побоялся мести Меттерниха и уехал в Швейцарию. Не нашедши принца, правительство Австрийское вздумало наказать его секретаря, барона Гольтнера, который и должен был своим спасением всеобщему примирителю — нашему государю.

По окончании благополучной кампании, возвращаясь из Парижа, батальон наш был послан в Варшаву для занятия караулов. В 1815 году, после Венского конгресса, государь император приехал в Варшаву. Назначен развод — он был великолепен. Государь верхом, окруженный своим блестящим штабом, ездил по площади. Когда я подходил к нему с рапортом и генерал произнес мою фамилию, государь улыбнулся и сказал: «А! Это мой старый знакомый!» — милостиво поднял руку и ласково поклонился мне. Эти слова заинтересовали всех, бывших на разводе, и даже публику; но когда стали расспрашивать меня, почему государь назвал меня старым знакомым, я придал этим словам гораздо более важности и объявил, что это мой секрет.

После приятного отдыха и квартирования в окрестностях Франкфурта-на-Майне гвардейский корпус получил приказание выступить в поход. Я простился с моим добрым хозяином и с его милым семейством. В прекрасную солнечную погоду рано утром полк наш выступил из Офенбаха, принадлежащего принцессе Изенбургской, добрые жители проводили нас до заставы. Путь наш лежал в Швейцарию, к Рейну. В Гейдельберге я посе-

тил сына моего офенбахского хозяина, молодого студента, и передал ему письма от его сестер. По случаю дневки в этом городе мне удалось осмотреть городской замок и знаменитую бочку[192].

Мы подвигались медленно к границам Франции. В Базеле мы должны были переправиться через Рейн. На походе нас застала ужасная погода; снег и дождь с большим ветром замедлил наше движение. Наконец мы приблизились к берегам Рейна. Глубокий снег белой пеленой покрывал берега, а синий Рейн грозно бушевал и кипел. Император Александр лично следил за переправой. Он стоял у самого моста, и гвардия, несмотря на ужасную погоду, прошла, как на параде, церемониальным маршем, прямо спустилась на мост, быстро и стройно перешагнула реку, словно отдавая честь знаменитому старому Рейну. Мы прошли город Базель без остановки. В крепости находился французский гарнизон, и нам не избежать бы его выстрелов, но, пользуясь темнотою наступившей ночи, мы тихомолком миновали крепость, так что гарнизон и не заметил нас, и к утру мы были уже на квартирах. Итак, переходом через Рейн судьба привела нас расплатиться с гордым врагом за наш Неман. Жители по ту сторону Рейна говорят не по-французски, а каким-то смешанным, дурным немецким наречием, так что трудно их и понимать.

Я воспользовался дневкою и отправился в Базель посетить своего родственника П. П. К[оновницына], героя [18]12 года. Он лежал здесь раненый после Бауценского сражения; я застал его в постели.

— Здравствуй, мой миленький (так он всегда называл меня)! Видишь, как оцарапала меня французская пуля!

«Да, — подумал я, — и хороша царапинка — чуть ноги не отрезали!» Впоследствии германские воды излечили доброго воина, и он был еще полезен отечеству.

Там же, в Базеле, встретил я храброго полковника Тернера, раненного двумя пулями в грудь в одном из сражений. Странное стечение обстоятельств! Я знал его еще капитаном, когда, возвратившись из Прусского похода 1807 года, он с своею ротою квартировал у нас в деревне, в Малороссии. Мне было тогда лет одиннадцать; он часто возил меня на своих беговых дрожках, — и вот судьба привела меня встретиться с ним на бере-

гах Рейна через столько лет и вдали от дорогой, родной Малороссии. Он чах от тяжких ран, но был еще молод; теперь он старик, еще жив, покрыт сединой и от лет и от трудной, долгой службы.

Мы шли форсированным маршем во внутренние области Франции.

О Наполеоне и об его армии ничего не было слышно. Путь наш лежал в Шампань, через город Лангр. Позднее осеннее время и дождливая погода чрезвычайно затрудняли наш поход. Наконец по некоторым движениям стало заметно, что мы приближаемся к неприятелю, идем прямо навстречу ему и что скоро придется сразиться. От самого города Лангра мы начали делать разные марши и контрмарши, — двигались то вперед, то назад, — и поэтому догадывались, что неприятель должен быть близко. Но я не описываю военных, стратегических действий; я — фронтовой офицер, передаю только то, что видел, что испытал в этот знаменитый поход.

Мы шли по широкому шоссе и в полдень увидели в отдалении большое строение на возвышенном месте. Это был замок.

— Что за здание? — спросили мы француза, служившего провожатым в нашем полку.

— Шато-Бриен, — сказал он.

Чем ближе мы подвигались, тем слышнее становился какой-то гул, подобный громовым ударам; наконец мы ясно могли различить сильные пушечные выстрелы и рев орудий. Грохот переливался по всей линии с одного конца до другого. Только приблизившись к месту битвы, мы узнали, что давно уже идет сражение, знаменитое в военных летописях. Это упорное сражение, конечно, имело для Наполеона грустно-поэтическое значение: он защищал пепелище того самого замка, в котором мирно текли годы его юности, где он учился и воспитывался, готовясь к военному поприщу; те самые террасы, по которым бегал мальчиком.

Вот и мы вступили в линии и стали резервами. Второю дивизией, в которой находился мой полк, командовал незабвенный герой Отечественной войны А. П. Ермолов. Наступил вечер. Деревня Шато-Бриен пылала в огне, и гром пушек не умолкал. Погода была холодная и дождливая, грязь страшная, мокрый снег валил хлопья-

ми. Солдаты разложили огонь; офицеры собрались в кружок и грелись у огня, дожидаясь дальнейших приказаний. Тут подъехал к ним наш начальник А. П. Ермолов и поздоровался с нами. Ему подали барабан, на который он сел, играя своей нагайкою. Он взглянул на нас. «Товарищи! У кого из вас есть лошадь?» — спросил он. Указали на меня. Он подозвал меня, я снял фуражку и почтительно остановился перед ним. «Поезжай скорее навстречу Преображенскому полку и скажи генералу Р[озену], чтоб он шел скорее: резервы уже все тут, а его еще нет... Но смотри, не повстречайся с государем, — и тебе, и мне будет беда, если государь узнает, что резервы не все на своих местах».

Нечего было делать! Я сел на своего бедного коня и пустился рысью по шоссе. Жидкая грязь обрызгивала меня со всех сторон, но у меня об одном только и была забота — как бы не встретиться с государем и не навлечь неприятности на начальников, а вместе и на себя.

И что же? Этой все-таки не избежал я встречи! Едва проехал я несколько верст, как вижу скачущую свиту, а впереди взвод лейб-казаков. «Без сомнения, это император, — подумал я, — куда скрыться?» Тут не было ни леса, ни кустарников, шоссе лежало высоко, а по обеим сторонам глубокие рвы. Что тут делать? Я старался, по крайней мере, держаться одной стороны шоссе. Вот уже я поравнялся с государем. «Остановитесь!» — сказал он громким голосом и, подъехавши ко мне, спросил, куда я еду. Я смешался, однако сказал ему откровенно, в чем дело. «Давно ли идет сражение? — спросил он. — Поезжай и скажи Р[озену], что я недоволен. Я требовал, чтоб резервы были уже на местах. Давно ли дело началось?» — «Два часа началась канонада».

Государь был на серой лошади, которая от грязи казалась как бы совсем черною; на нем была семеновская шинель. Возле него ехал неразлучный с ним прусский король, в одном синем сюртуке, только на шее была турецкая шаль, а за пазухою виднелась военная карта. По обеим сторонам подле него бодро скакали два сына его, — один из них теперешний король прусский.

Продолжая путь свой, скоро я встретил и Преображенский полк, медленно тянувшийся, с песельниками впереди; полк только что выходил с проселочной дороги на шоссе. Я передал барону Р[озену] приказание гене-

рала Ермолова. Узнавши от меня о встрече с государем, он закричал: «Прибавь шагу!» — и вскоре присоединился к прочим гвардейским полкам.

Исполнивши возложенное на меня поручение, я возвратился; но уже не нашел своего полка на прежнем месте: он двинулся вперед, чтобы быть ближе к делу. Наступила темная ночь; сражение начало умолкать. Наполеон употребил все силы, чтобы устоять на позиции, упорно защищал место своего воспитания, несколько раз пытался взять приступом террасы школы, на которых некогда под тенистыми деревьями тихо и усидчиво изучал математику и военные науки; несколько раз он был окружен нашей кавалерией, его свите и ему самому приходилось обнажать шпагу для отражения беспокойных казаков. И, однако, сражение кончилось тем, что знаменитая колыбель славы и величия Наполеона осталась в наших руках. Честь этого решительного дела принадлежит вполне генералу Остен-Сакену.

Полк наш расположился ночевать на биваках, на месте сражения. Задымились костры, в котлах люди варили себе щи, кашицу, — знак, что будет отдых.

Утром я отправился с нашим полковым доктором осмотреть знаменитый замок, мирное училище великого и дивного человека. Замок совершенно уцелел, только двери и окна были разбиты. Мы вошли внутрь. Больно было сердцу при виде безжизненности и беспорядка, какие представлялись взорам нашим: представьте себе — большая зала была наполнена снизу доверху тысячами книг разного формата и в разных переплетах, можно сказать, книги лежали горами. Мы с доктором вскарабкались на самый верх этих драгоценных гор, а ноги наши так и скользили по книгам в роскошных гладких переплетах. Сколько трудов, сколько богатства нужно было, чтобы собрать такое множество книг. Доктор, к величайшей своей радости, нашел здесь много нужных медицинских книг на латинском языке. Я машинально поднял из-под ног первую попавшуюся книгу: это была «Илиада» на английском языке, и я со всею силою живого, молодого воображения перенесся к счастливому, беспечному времени своей первой юности, когда я, посреди роскошных садов благословенной Малороссии, читал славные сказания слепца Гомера о цветущем детстве сынов прекрасной Эллады. Быть может, думал я, и юноша На-

полеон нередко держал эту книгу в руках своих и размышлял, кому подражать из славных героев Троянской войны — Ахиллу или Аяксу, но уж, верно, выбор его не падал на несчастного Гектора, которого поразила мощная рука гневного Ахилла! На первый раз мне попалась третья часть «Илиады». Я порылся между книгами и нашел обе первые части. Эта находка и до сих пор хранится у меня. Доктор набрал столько книг, что не мог нести их в руках, развернул полу своей шинели и едва-едва тащился с своей ученою добычею к бивакам.

Наши солдатики, похлебав кашицы, выступили вечером из Бриена. Не помню, с какого именно места союзные войска стали направляться прямо к Парижу. Но верно то, что счастливая и смелая мысль идти на Париж принадлежала нашему государю. Мы шли форсированными маршами, вступили в Шампань, самую бедную страну Франции, прошли город Ножан, или, лучше сказать, дымившееся пепелище Ножана, взятого и сожженного еще прежде нашего прихода союзными войсками. Прошли мы и город Труа и, наконец, вступили в обширную долину, где к ночи остановились и получили приказ от Ермолова. Очень жалею, что не имею при себе этого славного приказа и не могу передать здесь сильных благородных выражений его. Сколько я могу припомнить, содержание приказа было следующее: «Так как войска приближаются к тому месту, где был убит сраженный ядром великий полководец Тюрень, то, желая почтить память падшего героя, предписываю 2-й гвардейской дивизии собраться около памятника его в парадной форме, пройти церемониальным маршем и отдать честь падшему герою». Памятник был сооружен на том самом месте, где был убит Тюрень. У памятника стоит маленький домик, в котором живут четыре старика-инвалида; тут же у домика и засохшее дерево, то самое, возле которого герой был убит; на дереве, на чугунной цепи, висит и роковое ядро, сразившее славного мужа.

Приказ был исполнен. Мы прошли парадом мимо памятника, знамена наши преклонились. Ермолов стоял у самого памятника и смотрел, как проходили взводами. После парада мы осматривали инвалидный домик; на столе лежала большая книга. Инвалид подал книгу генералу, и он вписал свое имя со всею гвардейскою дивизиею, ко-

торою он начальствовал aves tous les officiers de la 2-de division de la garde impériale*. Таким образом русская гвардия в неприятельской земле почтила память падшего французского полководца.

Между тем мы подвигались все ближе и ближе к Парижу; переходы были трудны; мы делали по сорока верст в день; ненастная и дождливая погода затрудняла наш путь. Гвардия тянулась по большому шоссе. В одно утро мы довольно ясно услышали пушечные выстрелы; подходя ближе, мы удостоверились, что впереди нас идет жаркое сражение при Фер-Шампенуазе, но с кем — нам, фронтовым офицерам, вовсе не было известно, — мы знали только наши взводы: фронтовой офицер только тогда узнает, что за дело, в котором предстоит ему помериться с противною силою, когда носом наткнется на неприятеля или когда ядра и картечь начнут приветствовать его. Мы поднялись на возвышение и оттуда увидели зрелище неожиданное, необыкновенное, поразительное! Представьте себе — тут была собрана вся кавалерия нашего и союзных войск; ясное весеннее солнце ослепительно блистало на их оружии. Перед соединенными войсками Шварценберг разъезжал в полной форме, в одном мундире, на возвышении стоял государь со свитой. Кавалерия готовилась к серьезному делу. На обширной долине чернелось несколько неприятельских колонн, построенных в каре; они медленно подвигались к лесу по направлению к Парижу; но против них стояла густая масса нашей кавалерии, и им, следовательно, предстояло или отразить наши силы, или повергнуть оружие к стопам государя. Великодушный государь наш, не желая кровопролития, послал сказать французам, чтоб они сдались и положили оружие. Ответом был сильный залп из пушек и ружей. Тогда государь приказал войскам идти в атаку, и кавалерия стройно, рысью понеслась к неприятельским колоннам. но меткие ружейные и пушечные выстрелы остановили нашу кавалерию. Тогда государь приказал кирасирам с легкою кавалерийскою дивизией и баварскою кавалериею идти напролом и ударить на французов. Сам Шварценберг впереди повел атаку. Зрелище было страшное: сердца всех дрогнули. «Пропали

---

* со всеми офицерами 2-й дивизии императорской гвардии (франц.).

колонны», — сказали мы. Кавалерия с страшным криком бросилась на смелого врага в виду самого государя, и целые три колонны французские легли на месте, только были пощажены жены и дети, которые находились в экипажах внутри каре.

При этой атаке погиб флигель-адъютант Рапатель, прежний адъютант генерала Моро, потерявшего обе ноги под Дрезденом. И начальник и подчиненный подверглись одинаковой судьбе: оба они возвратились из Америки; но Рапателю суждено было умереть на родной земле от французской пули, пущенной из тех же самых рядов, в которых находился родной брат его. Так кончилось знаменитое сражение при Шампенуазе.

До самого Парижа гвардейский корпус, сколько мне известно, не встречал более неприятелей; это было последнее сражение на полях Франции. Движением к Парижу каждому из нас задана была трудная задача, и каждый серьезно призадумывался над ней; в Париже полтора миллиона жителей; как-то они нас встретят? по всей вероятности, не миролюбиво. Притом в тылу у нас — Наполеон со всею армиею, и мы двигаемся, так сказать, между двумя огнями. Так рассуждали молодые офицеры, мои товарищи.

Мы шли безостановочно, никто нас не тревожил, а песельники впереди полков весело распевали незатейливые родные песни. Офицеры менялись друг с другом разными вопросами и расспросами: «Где Блюхер? где Сакен? где граф Витгенштейн»? и т. п., и нам казалось, что мы шествуем совершенно одни, в своего рода военной прогулке. Нам было все чуждо, все было для нас покрыто мраком неизвестности. Я пишу только свои собственные воспоминания: я был тогда еще очень молод, служил во фронте, да еще вдобавок в резервах, оттого и все действия нашей главной армии были мне вовсе неизвестны.

Приближаясь к Парижу, мы восхищались при мысли, что со взятием французской столицы все понесенные нами труды и лишения, начавшиеся от самого Рейна, прекратятся: что, кончивши со славою кампанию, мы бодро и весело возвратимся в отечество на долгий покой.

Прекрасная весенняя погода придавала нам какую-то приятную веселость и оживляла наши ослабевшие силы. Офицеры, между ними и я, ехали небольшой кучей около

своего любимого полковника графа И. П[олиньяка]; его веселый характер, его кроткое братское обхождение с подчиненными, его любезность привязывали к нему всех. Он был выходец из Франции. Тогда было много французских офицеров в гвардейских полках, много отличных офицеров, верных священному долгу присяги. Привожу пример: генерал Сен-При был убит, защищая Реймс; многих, подобных ему, я мог бы назвать. Полковник наш, окруженный офицерами, ехал впереди батальона грустный и задумчивый. «Господа! — сказал он. — Видите вы вон там, влево от шоссе, большое здание? В этом замке я родился, он принадлежал моим предкам, моему отцу. Не знаю, кому он достался после революции. Я жил здесь шестилетним ребенком. Хотелось бы мне взглянуть на место моего рождения. Хорошо было бы там и поужинать». — «Мы все проголодались. Идем, едем!» — закричали мы в один голос, и полковник повернул свою лошадь. Мы — за ним. Приближаемся к лесу и видим: что-то горит, и высоко поднимается густой дым. Не горит ли замок? Рысью въезжаем мы на обширный вымощенный двор; тут множество казаков, лошади привязаны, пики расставлены у каменного забора. Казаки сидели вокруг большого огня, опаливали поросенка, этот-то огонь мы и видели с дороги.

— Какой это полк? — спросил полковник.

— Конвой графа Матвея Ивановича Платова, — отвечали казаки.

— Где же он сам?

— В главной квартире и еще не возвратился.

Не помню почему, наш полковник не вошел в замок: трудно припомнить все подробности по прошествии сорока шести лет.

Мы сошли с лошадей, вошли в калитку, разделявшую флигель от большого дома, во флигеле увидели огонек. Почти ощупью вошли мы в низенькую, маленькую комнатку. На столе стояла свеча, возле стола сидела старушка, облокотясь руками на стол. Она вздрогнула, увидевши нас.

— Madame! — приветливо сказал ей полковник. — Чей это замок?

Старушка поднялась со своего места и отвечала:

— До революции замок этот принадлежал графу Полиньяку.

— А теперь чей он? — спросил граф.

Старуха не отвечала.

— Давно ли вы в этом доме? — продолжал он.

Старушка вздохнула:

— Я была няня маленького графа Ираклия Полиньяка.

Мы взглянули на полковника.

— А вы знаете, где он находится теперь?

— Слышала я, что он в России, а брат его сидит в заключении в Венсенне.

— А узнали ли бы вы теперь своего маленького Ираклия?

— Как мне узнать! — воскликнула она. — Это было так давно.

— Да ведь это я, Ираклий ваш!

При этих словах старушка всплеснула руками и бросилась к нему на шею. Граф целовал ее, мы тоже обнимали добрую старушку. После восторга от неожиданной встречи мы спросили, нет ли чего поужинать, потому что порядком проголодались. Она жаловалась нам, что казаки все забрали, перерезали всех кур, взяли единственного поросенка, какой был у нее; но, несмотря на это, добрая старушка принесла нам хорошего вина, хлеба и сыру. Мы пили за ее здоровье. Граф вынул из кармана золотую монету и подарил ей. Простившись с нею, мы поспешили сесть на коней, чтобы догнать свой полк, который уже стоял на биваках.

Мы были теперь в нескольких милях от столицы Франции. Во время последних наших переходов сердце мое сжималось неизъяснимо какою-то непонятною грустью, каким-то тяжелым чувством, да и все мы испытывали, кажется, то же самое. Это происходило оттого, что на всех нас действовали одинаковые впечатления. Не слышно было ни веселого говора солдат, ни звучных военных песен, ни забавных шуток; все шли тихо; вдали не слышно было ни одного пушечного выстрела, — как будто перед нами нет ни Парижа, ни французской армии с ее великим гением полководцем. Товарищи мои, веселые, любезные, беззаботные молодые люди, ехали на своих лошадях около взводов задумчиво и тихо; каждый был погружен в какую-то грустную думу. В таком печальном настроении духа мы тихо подвигались к Парижу. Да и самая погода была хотя и теплая, но пасмурная. Это было в марте месяце, на страстной неделе.

Вот мы уже и недалеко от Парижа. Вдруг раздался страшный гул от множества пушечных выстрелов, и высоко взвился дым. Эти громовые выстрелы орудий возвестили нам, что приблизилось наконец кровавое, огненное разрешение той трудной задачи, которая так живо занимала каждого на пути к Парижу. Мы и солдаты как бы очнулись и невольно перекрестились. Шум и грохот стали увеличиваться и распространяться по всей линии; потрясающие удары орудий доходили до такой силы, что деревья, окружавшие предместья, трескались и падали.

Гвардия наша подвигалась все ближе и ближе; наконец открылся нам и Париж, но в облаках дыма. Нам было в то время уже не до Парижа, потому что сражение было во всем разгаре. «Катать шинели, господа!» — закричал полковник*.

Мы сомкнулись в густую колонну и двинулись вперед. Нам представилось удивительное зрелище, которое едва ли кто-нибудь из нас забудет: обширная равнина до самого предместья Бельвиль была усеяна войсками, мы же остались в резерве; влево от нас стояла прусская гвардия, впереди корпус Раевского, вправо гора Монмартр с ветряными мельницами; на этой горе стояло множество орудий, которые обстреливали всю равнину. Войска густыми стройными колоннами шли прямо на приступ, а со стороны Сен-Дени видно было, как тянулась армия Блюхера. Влево от нас на самой вершине горы Шомон стояли государь, прусский король, генерал Шварценберг и Барклай де Толли; тут же находилось 60 орудий, страшно грозивших гордой столице. Против нас стояли два французских корпуса — Мармонта и маршала Мортье. В защите города принимали деятельное участие воспитанники политехнической школы, много парижских жителей и мещан. День уже склонялся к вечеру; генерал Ермолов был неотлучно с нами. Потребовали лейб-гвардии гренадерский и Павловский полки. Храбрый генерал Желтухин, с простреленною фуражкою, бодро повел их в дело, и скоро мы увидели несколько ране-

* Обыкновенно, когда вступают в дело, офицеры скатывают свои шинели и надевают через плечо, чтобы иметь их при себе, и часто случалось, что находили по несколько пуль в шинели. [Примеч. в тексте «Русской беседы».]

ных офицеров этих полков. Завязалась страшная резня. Прусская гвардия вступила в дело; мы двинулись за ней в подкрепления. Не прошло и четверти часа, как пруссаки без лошадей, на себе везли отнятые ими неприятельские орудия, и на одном из лафетов лежал раненый полковник.

Пришла очередь подраться и нашему Литовскому полку; против наших колонн устроена была батарея; студенты и ученики политехнической школы свезли туда орудия и начали метко стрелять по нашим колоннам.

Никогда я не забуду, как Ермолов приказал выдвинуть вперед два орудия. При них шел, прекрасный собою, молоденький офицер, почти дитя, весь в новом, — эполеты, шарф, кивер, как будто с иголочки, ну точно женишок в белых перчатках; он представлял собою страшный контраст с нашими оборванными шинелями.

Ермолов, завидя его, спросил: «Откуда, товарищ, таким щеголем?» — и сравнил с ним нас, закопченных дымом и черных от грязи.

Офицер объявил генералу детским голосом, что он недавно выпущен из артиллерийского училища и, прибыв вчера только в армию и к своей батарее, поспешил тотчас в дело.

— Хорошо, товарищ! — сказал Ермолов. — Вон видишь там, впереди, башню? Там твои юные товарищи по искусству пробуют уже над нами свое умение. Заставь их замолчать, докажи, что ты лучше знаешь свое дело, приветствуй их нашими ядрами!

— Слушаю! — был ответ юноши.

Он поставил свои два орудия, навел их, приложил фитиль: первое ядро свистнуло, за ним другое, третье, десятое... и пошли летать каленые орехи в гостинец французским юношам, разбили башню, и французские пушки умолкли. Генерал записал фамилию молодого артиллериста.

Между тем упорный бой кипел по всей линии Парижа, и его окрестностей не было видно за облаками густого дыма; да, впрочем, нам и не до него уж было. Солнце начало склоняться к горизонту; скоро наступил и вечер. Заметно, выстрелы становились реже; лишь только вправо от нас, у подошвы Монмартра и на верху его, страшно ревели пушки, и слышны были ободри-

тельные крики «ура!». Войска наши подвигались к Монмартру.

Наполеон сказал однажды: «Если Монмартр будет взят, Париж должен сдаться», — и слова великого человека оправдались на деле: Монмартр взят, и Париж шлет парламентеров. Русские знамена развеваются на вершине Монмартра, и недаром крутые бока его облились дорогою русскою кровью: ею куплена была возможность великодушному Александру спасти смятенную столицу Франции.

И вот орудия умолкают... Повсюду воцарилась тишина. Влево на горе, где находился государь во все время сражения, заметно было какое-то непонятное для нас движение, беготня: оттуда беспрестанно мчались в разные стороны, на все пункты флигель-адъютанты и ординарцы. Говорят, что в ту минуту, когда пришла к императору весть, что Париж сдается, государь обнял своего неразлучного друга, прусского короля, обнял Барклая и тут же поздравил его генерал-фельдмаршалом.

Я стоял при моем взводе и не мог хорошо видеть, что делается впереди; слышу только по всем войскам громкое, радостное «ура!» и вижу, как шляпа нашего доброго командира торжественно летит вверх. Я не вытерпел и побежал вперед. «Что это значит?» — спросил я моего товарища. «Париж сдался». Я бросился к нему на шею. Нет! Перу не передать восторга и радости нашей. Колонны наши стояли молча; но когда наш почтенный начальник подъехал и поздравил их с победою, молодцы наши грянули восторженно: «Рады стараться, ваше превосходительство. Слава богу!» Увлеченные общей радостью, и мы закричали вместе с ними: «Славу богу!»...

Un pareil spectacle ne peut se rendre, et la sensation en est encore présente à mon souvenir. De quelle ivresse nos soldats n'étaient-ils pas transportés! Quel prix pour deux ans de travaux! Quelle ardeur, quelle confiance n'inspire pas à une armée un pareil résultat!*

Не могу вспомнить без умиления, без особенной радости незабвенный вечер под Парижем. Мой добрый ба-

---

* Нельзя описать подобное зрелище, и впечатление от него и поныне живет в моем воспоминании. Каким восторгом были опьянены наши солдаты! Какая награда за два года трудов! Какой жар, какое доверие внушается армии подобным результатом! (франц.)

талионный командир полковник С., вполне русский и сердцем, и душою, со слезами на глазах обнимал меня, вспоминал о своей жене и детях в надежде скорого свидания с ними. Толстый мой капитан, особенный организм которого постоянно требовал пищи и который вследствие этого вечно страдал от голода, проговорил почти сквозь слезы: «Чего бы нам поесть? право, умираю с голоду. Ступай, пожалуйста, к маркитанту да купи хоть сколько-нибудь сыру и хлеба». Я и сам проголодался порядочно, а потому поспешил исполнить поручение капитана и отыскал кибитку маркитанта. На облучке сидел мальчик, играя беспечно своим кнутиком, возле хозяина толпилось множество солдат и денщиков. «Что вам угодно, ваше благородие? — спросил он. — Нет у меня ничего кроме пряников и табаку. Парень еще не подъехал с другою повозкою».

Я возвратился в лагерь. Едва я пришел, как унтерофицер, искавший меня по полку, сказал мне: «Ваше благородие! команда готова с манерками, чтобы идти за вином для людей». Но куда идти? еще слышны частые ружейные выстрелы. Однако я направился с командой по направлению к Бельвиль, предместью Парижа. Боже мой! Какое тут раздолье и веселый беспорядок! Во всех полках гремела музыка; песельники, крик, шум, ржание лошадей, — какая смесь солдат в разных мундирах и одеждах! С трудом пробирался я со своею командою: тут раскинута палатка, там поставлен шалаш, в ином месте пылает бивачный огонь, в другом располагается артиллерия, кавалерия, здесь стоит пехота, скачут адъютанты, а там тянутся донские казаки, движутся прусские полки, переходя на другие места. Таким образом мы прошли всю армию соединенных войск и добрались до форштата. Все погреба были открыты; я вошел в первый попавшийся погреб. Красное вино лилось ручьями из откупоренных бочек; солдаты разных полков сидели около них, набирали вино, потом выходили из погреба. Французский солдат с прусским и с русским мирно хлопотали около одной и той же бочки: первый, который за час перед тем так ожесточенно дрался с последним, ставил теперь беззаботно свое ружье рядом с их ружьями, преспокойно садился у бочки и цедил себе вино. Я приказал моим людям откупорить штыком первую попавшуюся бочку и скорей наливать в манерки: уже насту-

пала ночь и нам надобно было торопиться. Тут рассмешил нас донской казак, вошедший в это время в погреб с пикою в руке и подошедший прямо к бочке: не имея во что налить вина, он преспокойно наполнил им свою засаленную шапку и, истомленный долгою жаждою, пил из этого импровизированного ковша с таким наслаждением, какое едва ли когда-нибудь испытывал избалованный и пресыщенный сибарит, вкушая дорогое свое вино из великолепного бокала. Напившись вдоволь, казак встряхнул шапку и лихо надел ее набекрень: «Славно, — сказал он в полном удовольствии, — отвел душу! Везде вот искал воды и не находил, а тут пей, сколько душе угодно. Да еще какая водица-то! красненькая». Когда я возвратился со своей командой, уже варился ужин: набранного вина влили в котлы, положили туда говядины, и щи вышли превосходные.

Мы чистились, готовясь к торжественному вступлению в Париж. Вечером флигель-адъютант М. Ф. Орлов привез составленную им конвенцию о сдаче Парижа. Конвенция, сколько помнится, была следующего содержания: «Армия и гвардия вступят в Париж; корпуса маршалов Мармонта и Мортье должны выступить из города, а национальная гвардия займет караулы». Вечером того же дня был отдан по войскам высочайший приказ: к 9 часам утра следующего дня быть всем войскам в полной форме, стоять в густых колоннах и так ожидать прибытия государя императора. Наступление торжественного дня отняло у всех сон; для нас не было ночи, как не было ее когда-то для малочисленной, но бодрой духом армии русской накануне роковой Бородинской битвы.

Этот незабвенный день начался прекраснейшим утром. Солнце взошло и осветило все пространство; взорам нашим представился Париж с его многочисленными трубами и домами. Незабвенное утро! Весенняя тихая, теплая погода как бы торжествовала вместе с нами и увеличивала нашу радость и веселие. Всех занимала одна и та же мысль: «сегодня будем в Париже!» Гвардейские офицеры уже в полной форме прохаживались вдоль по шоссе; колонны собирались и становились; гвардейская кавалерия мунштучила лошадей. Я с товарищем ходил по шоссе и рассуждал о том, что Париж любит деньги, а из нас ни у кого не было ни гроша. Вдруг ви-

дим: едет трубач, а впереди его парламентер. Товарищ мой взглянул и сказал: «Знаешь ли, кто это едет? Это Коленкур».

— Да ты почем знаешь?

— Как мне не знать: я часто бывал на его блестящих балах, когда он был посланником у нас в Петербурге.

Коленкур ехал шагом на высокой белой лошади; на нем был большой синий плащ и шляпа с черным плюмажем; сам он был бледен. Мы окружили его; он улыбнулся нам, но эта улыбка была вынужденная, горькая. Генерал Ермолов встретил его и указал путь к государю. При встрече с нашим генералом Коленкур снял шляпу, распахнул свой плащ, и мы увидели на нем шитый золотом мундир.

Наконец настал вожделенный час. Вся гвардия, кавалерия, армейские корпуса и армия соединенных монархов стройно стояли в колоннах, готовясь вступить в Париж; они ожидали только прибытия нашего возлюбленного монарха, виновника наших побед и славы. Воцарилась глубокая тишина. Вдруг в воздухе раздалось громкое «ура!» и возвестило нам прибытие Александра. Государь скакал на своей любимой лошади Бьюти в генеральском мундире с андреевскою лентою. Как он тогда казался молод и прекрасен! Многочисленная свита, дипломатический корпус и иностранные принцы скакали вслед за ним. Пожалованный фельдмаршалом, Барклай стоял со шпагой в руке пред войсками. И вот мы двинулись: колонны наши с барабанным боем, музыкою и распущенными знаменами вошли в ворота Сен-Мартен. Сожалею, что не могу отчетливо описать, каким порядком передовые войска вступали в город, знаю только, что государь, желая польстить своему верному союзнику Францу II, приказал австрийским гренадерам вступить первым в Париж.

Любопытное зрелище представилось глазам нашим, когда мы прошли ворота Сен-Мартен и очутились у Итальянского бульвара: за многочисленным народом не было видно ни улиц, ни домов, ни крыш; все это было усеяно головами, какой-то вместе с тем торжественный гул раздавался в воздухе. Это был народный ропот, который заглушал и звук музыки и бой барабанов. По обеим сторонам стояла национальная Парижская гвар-

дия. Мы шли повзводно. Я командовал стрелковым взводом в третьем батальоне, вдруг слышу с правого фланга унтер-офицер закричал мне: «Ваше благородие! Мы отрезаны от прочих». И действительно, между моим взводом и полком валил народ так, что полка нашего не было видно. Уговорить народ очистить нам путь было невозможно, а потому я скомандовал своему взводу на штыки и бросился сам вперед: тогда только густая толпа хлынула, подобно волнам, во все стороны и почти сбила с ног стоявшую тут же национальную гвардию; я соединился с полком.

Наконец открылось нам и место, где стоял государь, он мне показался серьезен и мрачен; подле него стояли прусский король, кн. Шварценберг, фельдмаршал Барклай и генерал Блюхер. От десятого часа утра войска шли церемониальным маршем до трех часов. Время было прекрасное, но к вечеру пошел мелкий дождь. Мы прошли через весь Париж до самой заставы (не помню ее названия) и остановились в поле, на пахотной земле.

Некоторые из офицеров, которые были поживее, приезжали к нам и рассказывали, что они уже успели поужинать в гостинице Палерояля и что там чудо как хорошо. Скоро нас двинули опять назад в Париж. Весь город уже спал, когда мы проходили с музыкою по улицам; барабанный бой и музыка наша разбудила уснувших жителей; в окнах показывались французы в колпаках и француженки в спальных чепцах, и до нас долетали слова: «Ce sont les russes»*. Наконец мы дошли до назначенных нам казарм Бабилон, квадратного строения в четыре этажа. Полк наш был размещен; я же и еще четыре офицера, мы отправились искать себе какого-нибудь приюта вне казармы.

Голодные и утомленные, мы пошли бродить по неизвестным улицам, узким и грязным; долго мы ходили таким образом и наконец, выбившись из сил и потеряв терпение, принялись беспощадно стучать в дверь первого попавшегося нам дома. Дверь отворилась: на пороге нас встретил старичок и спросил, что нам нужно. Мы отвечали, что мы русские гвардейские офицеры и ищем ужина и ночлега. «Милости просим, — сказал старик, — но предупреждаю вас, господа, что у меня ничего нет

---

* Это русские (франц.).

горячего в настоящую пору, а что найдется — предложу вам охотно». Мы вошли в большую комнату. Хозяин в туфлях и с повязанною фуляром головою поставил на стол прекрасный холодный ужин. Мы с жадностью бросились к столу и без церемонии начали уписывать все, что попадалось нам под руку. «Я должен вам сказать, господа, — сказал он, — что жена моя русская, да еще московская уроженка, я сейчас вам ее представлю». И, действительно, хозяйка скоро вышла к нам, и мы так обрадовались неожиданной встрече с землячкою в чужом городе, что по-русски бросились обнимать ее. С ее появлением явился еще лучший ужин, еще лучшее вино; за то мы плотно по-русски и поужинали, были веселы и вполне счастливы. Нам постлали на полу тюфяки, и мы, как снопы, повалились, расправляя усталые члены. О, какое это было счастливое время! Верно, никто из нас его не забудет! Скоро мы погрузились в глубокий сон.

Рано утром яркие лучи солнца осветили нашу комнату. Товарищи еще спали крепким, как говорится, убитым, сном. Мне послышался какой-то шум на дворе; я вскочил и взглянул в окно. Хозяин наш с домочадцами суетился и хлопотал, и я, к величайшему удовольствию, увидел на дворе наших людей и денщиков с вьюками. «Петр! Фадей! Андрей! Дмитрий! Петр! сюда! — кричу им. — Мы здесь!» Вьюки наши были весьма непригожи на вид: на них громоздились кастрюли, одеяла, куры и проч., и проч.,; все это было награблено. Люди наши были страшные мародеры: они рыскали везде, и что попадало им в руки, они считали своим достоянием. Между тем и товарищи мои проснулись; люди вошли. «Как вы попали сюда? Как вы нас отыскали?» — спросили мы все в один голос.

— Как попали? Мы вошли в город парадом, — сказал Петр, — да еще и ночью.

— Как парадом? Как ночью? — спросили мы все, смеясь.

— Да так. Был приказ генералу Ставрикову* соб-

---

* Генерал Ставриков был добрый и почтенный старик: он служил прежде адъютантом при Суворове. В кампании 1814 года он был комендантом главной квартиры и имел поручение в порядке ввести в Париж все наши вьюки, а вместе людей, денщиков и оставшихся солдат, дабы они не разбрелись по городу. [Примеч. в тексте «Русской беседы».]

рать всех денщиков со всей гвардии и армии, составить из нас колонну и ввести в Париж ночью, чтоб нас не видели жители в таком безобразном виде.

— Да, таких уродов и в разных костюмах... — смеясь, сказали мы. Но мы рады были, что они нас отыскали; теперь, по крайней мере, можно было одеться. Простившись с радушным хозяином и с дорогою землячкою, мы отправились в казармы Бабилон, где был расположен наш полк. Войдя в казармы, я увидел моего баталионного командира полковника С., который прохаживался по обширной казарменной площади, держа в руках какой-то билет. «Мне дали квартирный билет: прочти, что тут сказано», — сказал мне полковник. Я прочел на нем следующий адрес: Faubourg St. Germain, rue Grenelle № 81. Hôtel de M-r le comte Boigelin*. «Славная будет вам квартира», — сказал я.

— Нет, любезный, так как предлагают на выбор взять квартирою или деньгами, то я лучше возьму деньги и найду себе номер в трактире. Я ведь по-французски-то, брат, не знаю, да и обедают там в 6 часов, да пойдут еще разные церемонии да комплименты. Бог с ней, с графской квартирой. Но знаешь что, любезный, возьми-ка ты этот билет да и становись у графа; пожалуй, скажи, что ты мой адъютант. А я в своем трактире буду отдыхать после трудов и похода; будут у меня свои щи да каша, и буду сам себе господин».

Я, конечно, обрадовался этому предложению, взял билет и отправился отыскивать улицу Гренель. Везде меня приветливо встречали, и, когда я спрашивал, куда идти, мне с любезностью указывали дорогу и улицу; так как я был в мундире, то мальчишки бежали за мною и кричали: «C'est un Russe! c'est un Russe!»**

Наконец я отыскал улицу Гренель и дом графа. Сквозь чугунную решетку я увидел дом в два этажа, по обеим сторонам которого были флигеля с зелеными ставнями; на окнах развевались шелковые занавески. У самой решетки стоял маленький домик, занимаемый привратником, который на мой стук тотчас и вышел. Он был в колпаке и казался мне уже стариком. «Что вам

---

* Предместье С.-Жермен, ул. Гренель, № 81, дом г-на графа Буажелена (франц.).

** Это русский! Это русский! (франц.).

угодно, государь мой?» — спросил он меня. «Мне нужно видеть графа», — отвечал я. «Извольте идти во флигель, который на правой стороне», — и с этим словом он мне отворил калитку. Когда я вышел в первую комнату, меня встретил лакей, который тотчас и доложил обо мне. Скоро меня ввели в комнату графа; после обычного взаимного приветствия я показал ему мой билет. Он мне очень вежливо ответил, что ему приятно видеть у себя русских, наговорил мне бездну французских любезностей, но заметил при этом, что билет назначен для гвардейского полковника. «Я его адъютант, — возразил я, — он сам занят службою и не может скоро быть у вас, граф». — «Извините, пожалуйста, что я принимаю вас еще не одетый», — сказал граф с любезностью. Это был старик лет шестидесяти, чрезвычайно худой и бледный и, можно сказать, весь обтянутый фланелью; однако голова его была вся в папильотках. «Не угодно ли вам войти в эту комнату, покуда я оденусь?»

Когда я вошел в указанную мне комнату, взор мой был поражен портретом прекрасной женщины, изображенной во весь рост; живописец, казалось, хотел изобразить идеал совершенства женской красоты. Она была представлена в саду, среди зелени и цветов; дорожка, по которой она шла, была усыпана желтым песком, на котором отпечатались следы ее маленьких ножек. Все в этой картине дышало такой жизнью, что казалось, как будто и самый воздух наполнен был каким-то чудным ароматом. Я не мог отвести глаз и стоял как прикованный перед этим дивным художественным произведением. В экстазе моем я не заметил, что в отдаленном углу комнаты у окна стоял человек и молча следил за выражениями моего восторга.

«Вы, милостивый государь, любуетесь портретом, — сказал он, — это дочь графа, графиня Беранже; портрет снят с натуры великим художником Жераром, тем самым, который так верно изобразил картину сражения под Аустерлицом, находящуюся на плафоне Тюльерийского дворца».

Говоривший был довольно высокого роста мужчина с огромными усами и в сюртуке, застегнутом на все пуговицы; он был очень бледен, и голова обвязана черным платком. Говоря со мною, он сделал особое ударение на слова «Аустерлиц». Я отвечал ему, что надеюсь завтра

увидеть в Тюльерийском дворце эту картину и уверен, что теперь русским уже не стыдно смотреть на нее. Из слов его я заметил, что он должен быть бонапартист. В это время вошел граф. Он показался мне до крайности смешным; старик, которого я за несколько минут перед тем видел всего закутанного фланелью, превратился вдруг в молодого человека, завитого, раздушенного, в щегольском фраке, с талиею, затянутой в рюмочку, и чуть ли еще не в корсете. В руках у него был хлыстик, а на шее висел большой лорнет.

— Вы любуетесь портретом моей единственной дочери? — сказал он. — Да, она действительно хороша, и Жерар не преувеличил красоты ее. Но бедная моя дочь несчастна: на 22-м году своей жизни она потеряла обожаемого ею мужа, бывшего адъютантом у Наполеона и убитого в сражении под Дрезденом. Да, г. офицер, это большое несчастье.

— В таком случае я боюсь, граф, чтобы присутствие мое не пробудило в дочери вашей горестных для нее воспоминаний.

— Чем же вы виноваты, — сказал граф, — это участь всех военных. Прошу вас только об одном: когда вы познакомитесь с моим семейством, то при разговорах не вспоминайте о Дрездене. А теперь позвольте мне показать вам ваши комнаты.

Я отправился вслед за графом.

— Жену и дочь мою я отправил в Лион, когда союзные войска подходили к Парижу. Не могу довольно оценить великодушия вашего государя. Я роялист, моя фамилия была всегда верна и предана Бурбонам.

— Позвольте спросить, граф, кто это с завязанной головой и в черном сюртуке?

— Это господин Л., мой родственник и в душе наполеонист; вчера он храбро дрался с вами, был ранен и не может перенести, что Париж в руках русских; вы увидите, что он худо кончит свою карьеру.

Я вошел с графом в приготовленные для меня комнаты. Это был нижний этаж; стеклянные двери отворялись прямо в сад; словом, квартира была прекрасная.

— Скоро ли возвратится ваше семейство из Лиона? — спросил я: портрет молодой графини не выходил у меня из памяти.

— Через неделю, и я уверен, что жена и дочь моя

будут рады видеть у себя такого любезного русского. Да, скажите, пожалуйста, точно ли вы русский? Ведь ваша фамилия иностранная.

— Я — русский, мать моя русская, и дети должны быть по матери русские.

Тут мы простились с графом. Я начал осматривать свое помещение, отворил стеклянные двери и в ту же минуту узнал сад, который был изображен на портрете графини: те же деревья, те же дорожки, покрытые желтым песком, те же мраморные статуи. Задумчиво ходил я по саду, а сад был во всей своей красоте, — сколько тут цветов, что за запах! А только что апрель месяц. Какая судьба военного человека! Еще третьего дня гремели тысячи орудий, распространяя гибельную смерть повсюду; не прошло двух дней, и я с бывшим, может быть, моим врагом мирно брожу по его прекрасному саду и по тем дорожкам, по которым хаживала, может быть, за неделю перед сим милая и прекрасная женщина. То, что я в эти минуты ощущал, можно чувствовать только после такого важного события, какое совершилось на глазах наших и притом в 20 лет от роду. Задумчиво ходил я по дорожкам, как подошел ко мне человек с салфеткой в руках, в башмаках и в черном фраке.

— Графу угодно узнать, в котором часу вы желаете обедать?

— А в котором часу обедает граф?

— Завтракает в 12, обедает в 6 часов.

— Я буду обедать в 2 часа, а по воскресеньям буду обедать с графом.

— Что изволите кушать по утрам?

— Кофе, — сказал я.

— Граф приказал предложить вам, что если вам угодно будет пригласить к себе двух или трех товарищей ваших, то вы всегда можете требовать для них три куверта.

Такое внимание поразило меня: едва мы с ним познакомились, а он усердно заботится о моем спокойствии.

Несколько дней бродил я по Парижу и, так сказать, на лету осматривал все, что было любопытного. Тогда ожидали прибытия принца д'Артуа, а потом и Людовика XVIII из Англии. Возвращаюсь однажды домой — у калитки встречает меня привратник и объявляет, что

утром приехала графиня. И действительно, я увидел экипаж; на дворе суматоха; в левом флигеле окна были открыты, все чистилось, портнихи бегали из дома в дом, лакеи носили вещи, двор обратился в своего рода небольшую площадь.

Я вошел в свою комнату и смотрел в сад: день был светлый, прекрасный; легкий ветерок нес ко мне приятный аромат от цветов; мраморный купидон, который стоял в зелени сада, лукаво грозил мне своим пальчиком. Мне стало грустно, сердце билось сильно. В то время я даже не желал, чтобы семейство графа приезжало: я влюбился в прелестный портрет и боялся видеть лицом к лицу ту, которая на нем была изображена. Лучше бы они оставались в Лионе. Послышались шаги, и граф вошел ко мне.

— Жена и дочь приехали, — сказал граф. — Madame de Boigelin желает с вами познакомиться; им очень любопытно видеть в первый раз русского офицера у себя.

— Верно, они ожидают встретить страшного сына севера, — улыбаясь, сказал я.

— О, вовсе нет: они увидят молодого, милого, образованного юношу.

Я поблагодарил за этот комплимент.

— Позвольте же мне одеться, граф. Через час я к вашим услугам.

— Мы вас ожидаем.

С этим словом граф вышел. Я начал одеваться и никогда так не старался одеться как можно лучше: надел мундир, эполеты, белые перчатки, чтоб представиться как можно приличнее графине, чтоб она и дочь увидели и поняли русского порядочного человека. С взволнованным сердцем всходил я по широкой лестнице, уставленной деревьями и цветами. Когда я приблизился к дверям, человек, стоявший у дверей, открывая обе половины их, громко прокричал мою фамилию. Искренно признаюсь, мне казалось, что я словно иду на батарею. Первый предмет, который я увидел по входе в комнату, был портрет молодой графини, но уже не в том виде, как я видел его в кабинете графа, во флигеле: она сидела, облокотившись на руку; я покраснел.

На диване сидела старуха графиня, а на креслах ее дочь; я старался казаться ловким, — и был неловок, голос мой дрожал. Старуха графиня была женщина лет

пятидесяти, маленького роста, с приятными чертами лица, несмотря на то что на нем были красные пятна. В ее манерах и в разговоре видно было, что она женщина большого света. Молодая же графиня была в цвете лет, — ей было 22 года, — с большими карими глазами, в которых было столько жизни, столько прелести, черные густые локоны вольно спускались по плечам; она была небольшого роста, вся в черном. Глаза ее наполнялись слезами, и в то же время видна была легкая улыбка на устах, когда я говорил; а что я говорил? Теперь не помню, — помню только, что слова мои были несвязаны. К счастью моему, резво вбежало в гостиную премиленькое дитя, дочь молодой графини.

— Ваша дочь? — спросил я графиню. — Как зовут?

— Габриель, — отвечали мне.

— C'est la charmante Gabrielle*, — повторил я.

— Как, вы знаете нашу историю?[193]

— Как не знать, графиня, вашего добродетельного короля Генриха IV, который говорил, что будет тогда совершенно счастлив, когда у каждого поселянина будет курица в горшке.

Старик граф вертелся на одной ножке возле меня, то смеялся, то повторял: «C'est charmant, c'est charmant»**. Я ободрился и свободнее пустился в разговоры. Меня просили, чтобы я никогда не стеснялся; мне с наивностью сказали, что мое присутствие будет очень приятно; между прочим, на прощанье пригласили на другой день обедать. Я раскланялся и, спускаясь по лестнице, вздохнул свободнее; но пошел прямо в кабинет графа взглянуть на портрет прекрасной графини и сличить его с живым оригиналом. Трудно сказать, что было лучше.

На другой день я обедал с семейством графа. Молодая графиня была со мною любезна и ласкова и с любопытством наблюдала всякое мое движение; не было в ней никакой принужденности; я ободрился, сделался смелее и разговорчивее. Все слушали меня с любопытством, когда я рассказывал им о своей далекой России, о нравах и обычаях русских.

Мне было так хорошо тогда, что прошло уже 44 го-

* Это прелестная Габриель (франц.).
** Прекрасно, прекрасно (франц.).

да, а я еще живо припоминаю себе все впечатления юности, — и то далекое и невозвратное для меня счастливое время, и эту важную и блестящую эпоху для нашего любезного отечества.

Возвращусь теперь к рассказу.

При вступлении в Париж государь остановился в доме Талейрана. В карауле стоял Преображенский полк, окружая весь дом и меняясь по батальонам. Потом государь переехал в Елизе-Бурбон, и туда ходила одна рота с знаменем в караул. Скоро у нас началась прямая серьезная служба: были наряжаемы дежурные по полку и баталиону, ходили в караул, были разводы, при которых всякий раз присутствовал государь со всеми маршалами французскими; все это было чрезвычайно блестяще.

Однажды четверо из нас офицеров условились осмотреть окрестности Парижа; поездка наша должна была начаться с Мальмезона, а оттуда в Сен-Клу и Версаль. Мы наняли на три дня довольно поместительный фиакр и в прекрасную погоду весело пустились в путь. Наше первое желание было осмотреть Мальмезон, где проживала императрица Жозефина, первая супруга Наполеона. Мы взошли в калитку и прямо в сад, начали осматривать все редкие тропические растения и тысячи разнообразных цветов; осмотрели и птичню, видели любимых черных лебедей императрицы. Вот подошел к нам человек в ливрее и сказал, что императрица, узнав, что русские офицеры приехали к ней в сад, приказала для них приготовить завтрак во дворце. Трое наших, которые помоложе, в том числе и я, с радостью приняли приглашение; но четвертый, постарше, а следовательно, благоразумнее нас, молодежи, сказал: «Господа, мы так плохо одеты, в сюртуках, без эполет и в фуражках, что будет весьма неприлично войти во дворец к императрице; а что будет, если государь, который часто навещает ее, застанет нас за завтраком в таком неблаговидном одеянии? Ручаюсь, что мы все будем на другой день сидеть под арестом». Мы приняли его добрый совет. Садовник, который водил нас по саду, обратясь в ту сторону, откуда шли две дамы, сказал нам: «Вот видите, вот идет императрица». Чтоб видеть ее, мы пошли к ней навстречу, остановились, сняли почтительно фуражки и поклонились ей.

Она была маленького роста, лицо смуглое, и я заметил, что на руке у ней был большой браслет с портретом Наполеона. Она ласково поклонилась нам и вошла в противоположный флигель. Едва успели мы передать друг другу наши замечания и впечатления, как слышим стук колес по мостовой дворца; караул Семеновского полка, стоявший у дворца, вышел к ружью, и барабанный бой возвестил, что приехал государь. Мы поспешили выйти из сада через заднюю калитку; там стоял наш фиакр, и мы пустились далее в Сен-Клу.

Не буду описывать этого дворца с замечательным его парком, — кто его не знает? Мы взошли в кабинет Наполеона, известный le cabinet de Saint-Cloud, и встретили тут капитана нашего Генерального штаба, который сел на роскошный диван и отсюда из большого окна любовался чудною панорамою: весь Париж был как на ладони. Сложив руки и смотря на внутреннюю роскошь покоев, он вдруг сказал: «Охота же ему была идти к нам в Оршу». Мы все засмеялись такой оригинальной выходке: Орша самое бедное, грязное жидовское местечко в Белоруссии.

Из Saint-Cloud мы отправились в Версаль. Тут опять встретили капитана Генерального штаба, с которым только что перед тем познакомились. Резво, с смехом, спустились мы по обширной и превосходной мраморной лестнице, но капитан нас остановил. «Господа, — сказал он, — не спешите, подумайте хорошенько. Если вы не забыли истории, с благоговением ступайте на каждую ступень. По этой самой лестнице всходили великий Конде, Тюрень, Людовик XIV; какие прелестные своей красотой женщины проходили здесь: Лавалиер, Maintenon, Pompadour и пр. Вольтер в своей молодости ходил сюда, и Людовик XVI сходил по этой лестнице, чтобы умереть в Париже. Всякая ступень напомнит вам целую историю». И мы пошли тихими шагами по лестнице.

Узнав, что в Версале прусский король и что для него пустят фонтаны, мы поспешили в сад, оставивши нашего рассудительного капитана в пустом дворце размышлять об истории Франции. Как мы тогда были молоды и ветрены!

Мы посвятили два дня этому путешествию в окрестностях Парижа.

Отобедав в Версале, мы вечером возвратились, потому что на другой день должны были идти в караул. На обратном пути мы были удивлены неожиданною встречею: едет несколько фур, наложенных черным сукном. Что бы это значило? Мы остановились и спросили погонщиков: «Куда и для чего везете столько черного сукна?» Ответ был: «Везем в Мальмезон для умершей императрицы, она скончалась вчера». Это нас поразило. Как! Третьего дня мы видели ее еще здравою, а теперь встречаем погребальный костюм, — для бедной Жозефины!.. Задумчиво мы возвратились в Париж, и я поспешил к своим хозяевам.

Графиня ласково встретила меня, спросила, доволен ли я своей поездкою... «А знаете ли, вы непременно должны быть сегодня в театре — дают «Нерона», и Тальма будет играть. Да знаете еще, что моя Gabrielle спрашивала про вас: «Ou est le beau Cosaque?»* Так меня называло это милое дитя. Я привязался всею душою к прекрасной графине Цецилии (так ее называли) и к старухе графине; они меня также полюбили; видя мою молодость и мое цветущее здоровье, они берегли меня, и я всякий раз должен был отдавать подробный отчет, где я был и отчего так поздно возвращался домой. Старуха строго требовала от меня отчета, а милая молодая графиня улыбалась, смотрела мне в глаза, как бы желая в них прочесть, говорю ли я правду? Так я проводил время в этом достойном семействе, среди людей, воспоминание о которых никогда не изгладится из моей памяти; теперь, будучи стариком, я всегда с особенным наслаждением и признательностью возвращаюсь мыслями к этому давно минувшему времени. Но к графине Цецилии, я это сам чувствовал, я был вовсе не равнодушен; она это замечала, она видела хорошо, что я не какой-нибудь варвар-вандал, и, узнав меня (так заносчиво мое самолюбие!), она, кажется, полюбила вообще русских. О Дрездене и речи не было; усмехаясь, она мне повторяла, что все мы русские — оригиналы, и что в откровенности нашего характера есть что-то рыцарское, и что мы умеем горячо любить, несмотря на то что мы жители холодного севера. О графе Boigelin я мало говорю: он был светский человек; рано уезжал, поздно возв-

* Где красивый казак? (франц.)

ращался; со мною он был постоянно ласков и добр, часто заставал меня поздно в разговоре с графиней.

Наступил праздник святой пасхи. Графиня спросила меня про то, как мы, русские, празднуем этот великий день. Я ей передал, как сам знал, весь обряд нашей церкви, рассказал ей, как православные радостно приветствуют друг друга и целуются по три раза.

— А женщины? — спросила с живостью графиня.

— Все равно, и надеюсь завтра поздравить вас по-русски.

Старик граф засмеялся и сказал: «Непременно, Цецилия, ты должна поцеловать завтра господина Л[оре-ра] à la russe, absolument»*.

— Неужели молодые дамы позволяют себе это?

— Дамы и девицы, — сказал я.

— Как это странно, — повторила несколько раз графиня.

— И я, русский, непременно завтра поцелую вас.

— Нет, нет, я этого не позволю; не говорила ли я вам, что вы, все русские, престранные, хотя и очень любезны.

В таком веселом разговоре мы провели вечер за полночь.

Следующий день был уже радостным днем св. пасхи. У графа было большое собрание, и, возвратившись из полковых казарм, я взошел прямо в гостиную, где было уже множество гостей, и поздравил старуху графиню и графа; когда же я подошел к молодой графине, она покраснела и сказала: «Я надеюсь, что вы меня станете поздравлять по-европейски, а не по-азиатски?» Но граф подбежал и заставил ее похристосоваться со мною по-русски. Нечего было делать — графиня без жеманства поцеловалась со мною, я притом крепко пожал ее руку, как будто благодарил ее.

Скоро предстояло нашей роте вступить в караул к государю императору в Елизе-Бурбон. После блестящего развода мы заняли караул. Мы вошли с музыкою и остановились вправо от дворца; против нас стал корпус национальной гвардии; наши солдаты вдоволь насмеялись над неловкостью солдат-граждан. Едва мы привели корпус в порядок и разместили часовых, как пока-

* по-русски, непременно (франц.).

вался на крыльце дворца начальник Главного штаба князь П. М. Волконский, подозвал караульного капитана и отдал ему приказание следующего содержания: «Государь ожидает к себе генерала Костюшку: он желает, чтоб караул встретил его со всеми почестями, какие отдаются генерал-фельдмаршалу. Точно так же проводите его и при отъезде. Смотрите, не прозевайте, — строго требовал князь, — а то будете отвечать». Я стоял неподалеку от князя и слышал приказание. Но вот затруднение: как его узнать? И в каком экипаже он будет ехать? К счастью, я мог успокоить своего капитана. Во время перехода через Польшу я видел портрет Костюшки у одного пана и помнил, что он курнос и небольшого роста. Мы не отходили от платформы, ожидая этого знаменитого польского патриота.

Дворец Елизе-Бурбон имел особенные преимущества: еще при французских королях было установлено, что одни принцы крови имеют право въезжать в экипаже на широкий двор и под крыльцо дворца; все же прочие должны были оставлять свои экипажи у ворот и проходить с открытою головою до крыльца; этот придворный обычай строго наблюдался и в то время.

Множество экипажей беспрестанно подъезжали ко дворцу, несколько богатых карет въехало прямо на двор и к крыльцу, — это были принцы крови: принц Беррийский, принц д'Артуа и пр., пр.; тут я видел также шедших через двор маршалов французских: Нея, Мармонта, Бертье и генерала Груши и еще других — всех не припомнишь. Вот уже разъехались все; стало пусто, и воцарилась прежняя тишина, а мы все смотрим на ворота и вдруг видим, видим: тащится на двух клячах старый желтый фиакр, — на дверях означено белою краскою № 29-й; оттуда выходит старик, седой, в синем мундире, с малиновым воротником, с маленькой шпагой и с шляпой под мышкой. Не помню, как это было, но как бы по какому-то инстинкту мы все закричали: «Это генерал Костюшко». — «Вон! — закричал капитан, — к ружью, на караул!» Ударили в барабан. Генерал прошел скорыми шагами, ласково и низко поклонился нам. В ту же минуту вышел к нему навстречу князь Волконский и провел старика к государю. «Слава богу, не прозевали», — сказали мы друг другу. Таким образом русская

гвардия отдала честь великому мужу и другу Вашингтона.

По возвращении из караула я нашел моих хозяев в большом восторге: они читали письмо государя к вдове известного страдальца генерала Моро. Государь с чувством душевной скорби утешал вдову и приглашал ее к себе в Петербург. Письмо было напечатано во всех журналах. К сожалению, я не имею теперь этого письма, которое произвело приятное впечатление на всех парижских жителей: оно затерялось при возвращении моем в отечество. Вскоре король Людовик XVIII торжественно въехал в Париж.

По войску был отдан приказ, чтобы ни офицеры, ни солдаты не показывались на улицах в день въезда короля; это было сделано из деликатности к французам: попадаясь на глаза, мы бы им слишком живо напомнили, что по милости русских штыков король возвращается в свою столицу. А хотелось нам видеть это редкое торжество, и, нечего греха таить, на этот раз дисциплина пострадала; переодевшись в гражданское платье, мы смотрели на въезд короля.

Король ехал в открытой коляске вместе с своей племянницей, принцессой Ангулемской. Коляску везло семеро белых лошадей; возле экипажа ехали все принцы; маршалы шли рядом возле королевской коляски. Экипаж остановился на площади Людовика XV. Принцесса закрыла лицо платком: эта площадь вызвала в ней тяжелое печальное воспоминание. На этом самом месте умер на эшафоте отец ее, король Франции Людовик XVI. Шумные толпы народа, покрывавшие площадь, замолкли, как бы уважая святыню воспоминаний принцессы; но вдруг раздался всеобщий громогласный крик: «Да здравствует принцесса d'Angouléme!* Коляска тихо подвигалась к великолепному собору Notre-Dame**. И я толкался между народом, но в собор не было никакой возможности пробраться. Я возвратился домой, нашел своих добрых хозяев за чайным столом и имел удовольствие передать им свои впечатления.

Я должен теперь рассказать одно случившееся со мною происшествие, при мысли о котором и теперь мне

---

* Ангулемская (франц.).
** Парижской богоматери (франц.).

стыдно и которое я могу только оправдать неопытностью молодости. Видно, судьбе угодно было вторично свести меня, и притом самым неприятным образом, с князем П. М. Волконским, начальником Главного штаба, так точно, как я уже прежде встретился с ним во дворце принцессы Изенбургской в Офенбахе. Но теперь дело было совсем иное, теперь я был кругом виноват.

Вот как это случилось. Хозяева мои, граф и молодая графиня Цецилия, пожелали быть в придворной церкви, видеть русскую церковь и православное служение, посмотреть вблизи на государя, послушать наших придворных певчих. Они просили меня устроить это. Ну как не исполнить их просьбы? Как не доставить удовольствие любезной и милой графине? Мне казалось тогда, что я бы с радостью бросился в огонь и воду для нее; а теперь, когда уже подходит седьмой десяток, мне кажется странным — быть таким ветреным, поступать так необдуманно.

Церковь была устроена в доме, в большой зале, и украшена с благолепием. Вход в церковь всем был дозволен; но бывало так тесно при богослужении от стечения любопытных, что государю угодно было приказать князю Волконскому кроме военных не иначе впускать в церковь как по билетам, причем приказано было также записывать фамилии посетителей; список подавался Волконскому перед обеднею. Я узнал от товарищей, что введен новый порядок, что билеты только можно получать от князя лично, и отправился к князю. Войдя в переднюю залу, увидел двух дежурных фельдъегерей и спросил у них, дома ли князь. «Дома, занят». — «Нельзя ли доложить обо мне его сиятельству?» — «Сейчас выйдет его камердинер, он доложит...» Человек вышел, я просил доложить князю, что гвардейский офицер желает его видеть. Камердинер ушел, возвратился, сказав, что князь приказал подождать. Проходит час, другой; наконец я потерял терпение, прошу доложить еще раз; пошли. В эту минуту выбегает князь с пером в руке, чрезвычайно озабоченный, полагая, верно, что я желаю сообщить ему что-нибудь очень важное, а он по обязанности своей должен все знать.

Грозно спрашивает меня: «Что скажете?» Вообразите его удивление, когда я ему объявил, что я прошу три билета в церковь на следующий день. Князь отступил

три шага от меня. «Как вы осмелились снять меня со стула для ваших билетов? Да разве я капельдинер? Я не имею покою ни днем ни ночью, не дают мне времени вздохнуть покойно... я пишу день и ночь маршруты для всей армии... Да вы кто такой? Да вы знаете, кто я?.. Сейчас же вас арестую... подайте шпагу! Господи, тут сойдешь с ума! Какая дерзость! Нет, я вас проучу...» Признаюсь, я не знал, что и отвечать, чувствовал вполне свою вину и непростительное легкомыслие, краснея, стоял перед взбешенным князем и ни слова не мог выговорить. Князь бегал около меня, как лев разъяренный, а я держал уже шпагу, готовый отдать ему ее. «Да, — закричал он, заикаясь, — я вас проучу, будете сидеть у меня под арестом».

Но судьба вторично освободила меня от гнева рассерженного князя. Фельдъегерь вбежал в комнату и торопливо доложил, что оба великие князя, Николай и Михаил Павловичи, приехали. Тут князь бросил свое перо мне под ноги и выбежал из комнаты; я также в свою очередь пустился бежать, весь в поту, и, к счастью моему, наткнулся на хорошего моего знакомого, впоследствии и приятеля Михайловского-Данилевского.

— Что было с тобою? Отчего князь на тебя так кричал? — спросил меня Д[анилевский].

— Я просил у него билет в церковь.

— Помилуй, любезный друг. Как это можно? для нас нет покоя, — мы не знаем Парижа: государь на днях едет в Лондон, мы заняты так, что пообедать нам некогда, а князь от работ и страшной переписки, право, умрет. Билеты-то у меня. Пойдем ко мне, я тебе дам.

Этого только мне и было нужно. Я получил три билета и записал фамилию моих хозяев. Прощаясь с добрым Д[анилевским], я сказал, что, верно, князь пошлет меня под арест. «Будь покоен: он забыл уже. Ты не первый и не последний, уходи только скорее, чтоб он не встретил тебя, а то беда».

Я, забыв и горе свое и столкновение с сердитым князем, спешил обрадовать моих хозяев. Итак, думал я, завтра я доставлю большое удовольствие милой молодой графине. На другой день граф с женой и с дочерью отправились в придворную церковь, я встретил их у подъезда; генералы, ожидавшие прибытия государя, видели, как я подал руку графине при выходе ее из экипажа, и спра-

шивали меня: кто эта прелестная женщина и почему она в таком глубоком трауре? А между гвардейской молодежью только и слышны были восклицания: «Comme elle est belle, comme elle est jolie!»* Я не смел показаться в церкви, потому что, когда двери отворили, я увидел в них грозного князя, который встречал приезжающих и расставлял дам по левую сторону, мужчин по правую, дабы государю было свободнее пройти. Наконец государь приехал, все пришло в движение и волнение; тогда и я вошел в церковь вслед за генералитетом. При выходе из церкви государь расспрашивал о даме, которая была в черном платье; Данилевский объявил государю, что это вдова графа Б[еранже] — адъютанта Наполеона, убитого в сражении под Дрезденом (как я и записал, когда брал билеты); тогда государь подошел к ней и, взяв просфору от кн. Волконского, подал ей. Можете себе представить радость мою и восторг моих добрых хозяев. Графиня была очень довольна этим лестным отличием. Приехав домой, она спросила у меня, для чего употребляется просфора и какое ее значение. Я ей рассказал, как умел, о значении и употреблении у нас священного хлеба.

— Удивляюсь, — сказала графиня, — как этот великодушный государь, такой европейский, благовоспитанный человек, с такими великими достоинствами, царствует и управляет вашими дикими народами, казаками, татарами, киргизами! Александру следовало бы царствовать над нами!

Впоследствии граф Буажелен был представлен государю, король дал ему лестное для него поручение в Лионе.

Так для меня проходили в Париже незабвенные, счастливые дни. Я тогда и не думал о мрачном будущем, вполне наслаждаясь настоящим.

Но я более и более привязывался к графине; я уже стал отказываться от всех увеселений, находил одну отраду возле нее; слушать ее и говорить с ней было для меня высшим наслаждением. Она видела, что я очень неравнодушен к ней, и старалась удерживать в должных границах мои сердечные порывы, наблюдала и за мною и за собою с величайшею осторожностью. Однажды я спросил графиню, почему она не пользуется своим садом, который так прелестен и так искусно изображен Жераром в ее

---

* Как она красива, как она хороша! (франц.)

прекрасном портрете. «Потому, — отвечала мне графиня, — что надобно бы для этого проходить через ваши комнаты, а я не хочу беспокоить вас».

— О, в таком случае я готов просить графа дать мне другое помещение.

— Прошу вас этого не делать, оставайтесь в вашей комнате. Вместо меня вы видите мою Габриель, которая ежедневно бегает через ваши комнаты.

Я всеми силами старался уговорить графиню, чтобы она решилась проходить чрез мои комнаты, говорил, что я постараюсь не бывать в то время там, что я буду уходить всякий раз, когда узнаю, что ей угодно будет вместе с ее маленькою и с няней идти в сад. Но нет, графиня упорствовала, не соглашалась и, улыбаясь, сказала: «Я вам готовлю сюрприз, с тем условием, что вы мне дадите честное русское слово, что вы будете благоразумны (sage) и скромны».

Прошло несколько времени; однажды я возвратился до крайности утомленный с прогулки — смотрел, как снимали бронзовую статую великого человека, Наполеона. Вот вам и слава и надежда на благодарность толпы! Его статую тащили, так же тащили и его самого союзные комиссары в изгнание на остров Эльбу. Здесь я припомнил себе слова офицера Генерального штаба: «Что ему была за охота идти на Оршу?» Не пойди он на нашу матушку-Россию, великий памятник его стоял бы еще долго; но ему тесно было в Европе, — испытай же теперь тесноту на острове Эльбе. Такие мысли занимали меня по возвращении с прогулки, как человек мой сказал мне:

— Графиня прохаживается по саду.

— Как? Она прошла через мою комнату?

— Нет, — сказал человек.

Я побежал в сад, она задумчиво и медленно ходила по тем желтым дорожкам, которые были изображены на ее портрете. Я поздоровался, пожелал ей доброго утра и спросил, каким образом она взошла в сад, не чрез тайный ли ход? Графиня мне отвечала: «Не забывайте наши условия: я сказала правду, для вас, конечно, это сюрприз. Не правда ли?»

Мы стали с нею ходить; я был весел и счастлив, что мог быть наедине с этой милой и прекрасной женщиной. Чудный, светлый день, душистые цветы, густые кусты зе-

лени, все придавало какую-то особенную силу, сладость и упоение сердечному чувству.

Я заметил, что графиня была не весела. «Правда ли, я слышала, что гвардия выступает из Парижа? — сказала она. — Я, как патриотка и как женщина, любящая свое отечество, давно желала бы этого. Грустно видеть австрийцев и пруссаков в нашей столице».

— А русских? — перебил я с живостью.

Она посмотрела на меня пристально, и в ее прелестных глазах выразилось столько живого участия и сочувствия, что я уже более и не домогался ответа от нее. Здесь-то я высказал ей свои чувства благодарности и признательности за все время, у них прожитое, прибавил тут же, что дни, проведенные среди их семейства, останутся лучшими в моей жизни, всегдашним светлым предметом воспоминания о Париже.

— Матушка ваша, графиня, берегла меня, как своего сына, а вы своим вниманием и расположением доставили мне столько сладких и неоцененных минут...

И нежная белая рука графини была уже в моих руках, и я только что хотел поцеловать эту ручку, как графиня сказала мне:

— Знаете что? Нас тут кто-то подсматривает, будьте скромны и осторожны, — и быстро указала пальцем на купидона, который, лукаво усмехаясь, грозил нам пальчиком.

— Теперь нам пора расстаться. Уходите, пора, — повторила графиня несколько раз, а нежный голос ее дрожал, в глазах видны были слезы. Я просил, чтоб она позволила проводить ее до тайного входа.

— Нет, это невозможно, а если у вас ко мне хоть сколько-нибудь уважения, не требуйте этого от меня.

Она подала мне руку и скорыми шагами скрылась. С сердечною грустью возвратился я в комнату; никуда не хотелось выходить, обедал дома и утешал себя тем, что вечером увижусь с нею. Вечер, действительно, я провел с нею; она была со мною ласкова и любезна. Старуха графиня поехала ко двору, а мы остались одни и вдоволь наговорились. Графиня с живым любопытством слушала мои рассказы о нашем любезном отечестве, о моем семействе. Особенно занял ее рассказ о происхождении моем, по матери, от грузин: мать моя была грузинка, княжна Ц[ициано]ва; она принадлежала к одной из первых фа-

милий. в Грузии, близко соединенной по родству с большими царями Грузии. Старая графиня возвратилась из Тюльерийского дворца: король, принимая ее, спросил о здоровье графини Беранже. Уходя к себе, я спросил Цецилию (я любил и привык называть ее по имени), будет ли она завтра утром в саду.

— Может быть, — сказала она, — но не через ваши комнаты.

Я простился, и она подала мне руку. «Вы видите, что я начинаю к вам привыкать», — и, кивнув мне головою, ушла.

На другой день утром я сыграл с графинею шутку: когда вспомнишь о ней, то и теперь смешно. Я достал лестницу, поставил у проклятого мальчишки-купидона, влез к нему, обмотал большим черным платком ему лицо и руки, словом, ослепил его, и купидон стал весь черный, — ни пальчика, ни лица не было видно. «Теперь не будешь ты, — подумал я, — грозить мне и пугать меня — ты слеп».

День, как нарочно, был превосходный. Ко мне прибежала со своей няней милая Габриель; я поцеловал дитя и дал ей игрушек, и малютка побежала в сад.

Скоро явилась в саду и Цецилия, я пошел к ней навстречу. Мы шли извилистыми дорожками; на пути она начала собирать букет цветов. «Есть ли у вас в России подобные цветы?»

— О, могу вас уверить, любезная графиня, что я мог бы там собрать для вас отличный букет, и ваше имя я мог бы также подобрать из наших северных цветов.

Мы были веселы, много шутили; я старался быть любезным и вместе чувствовал себя покорным ей и любви, как дитя. Я был тогда еще неопытен, да едва ли это не была первая любовь моя.

Я заметил, что и графиня не была совсем равнодушна ко мне, но чрезвычайно владела собою и держала меня в почтительном повиновении. Она любила со мною шутить, как кошка с пойманной мышкой, но чувствовала, что рано или поздно сама может попасться в этой игре, и вот что ее страшило. Она любовалась моими густыми кудрями, — тогда щеголи гвардейцы носили длинные волосы, — любовалась моим стройным станом, моим живым разговором и веселым, беспечным характером; она читала в моем сердце, что я ее люблю, и сознание этой сердеч-

ной любви заставляло ее строго удерживать и себя и меня. А мы оба были еще молоды. Мне тогда было едва 20 лет, графиня была двумя годами старее меня, однако умела управлять собою, умела рассуждать холодно и отчетливо. Долго мы ходили; она устала, мы сели на скамейку. С грустью объяснил я ей, что придется скоро расстаться, и тихо взял ее за руку. «Знаете, cher L[ohrer]*, я буду покойна и рада, когда вы оставите нас; но вас забыть я не могу». Я бросился целовать ее руку; графиня старалась охладить мой страстный порыв, указала мне на своего будущего защитника, на купидона, — но вдруг увидела его черного как арапа. Держа меня за руку, она рассеянно спросила: «Что это значит?»

— Я его сделал слепцом.

Тут она несколько засмеялась, держась за руку; мы хохотали, как дети, стоя перед черною статуею.

— Теперь я его не боюсь, — сказал я милой Цецилии. — Он слеп и не видит нас.

— Тем не менее, cher L[ohrer], не расстраивайте спокойствия моего. Как странно русские объясняются в любви.

Между тем послышались голоса; мы пошли навстречу гостям: это были отец графини и еще два какие-то посетителя. Они шли прямо к нам, но графиня ловко повернула на другую дорожку, а мне кивнула, чтоб я скорее снял платок, наброшенный на купидона. Я стремглав бросился в комнату за лестницею, насилу успел снять платок и никем не был замечен.

После этого я более не виделся в саду с милою Цецилиею. Все исчезло, исчезло и минутное, упоительное наслаждение, осталось одно лишь воспоминание. Вечером я был у графини, она встретила меня с невыразимо веселою улыбкой, однако погрозилась на меня. Я застал у них гостей — маршала Нея, известного героя, le brave des braves**, героя и беглеца [18]18 года, и генерала Груши. Ней был высокого роста, курнос, блондин, с лысиной и имел суровый взгляд, по крайней мере, мне так показалось. Мог ли я тогда думать, что этот человек, теперь так спокойно державший чашку и разговаривавший с графинею, через год будет расстрелян? Гости разъеха-

---

* дорогой Лорер (франц.).
** храброго из храбрых (франц.).

лись, графиня жаловалась, что у нее голова болит; я сидел с графом, и мы говорили о предстоящем скором нашем выступлении из Парижа, а старуха графиня утешала меня тем, что скоро увижу свою мать, сестер, и просила передать им, что она особенно берегла меня. Цецилия сидела задумчиво, но видно было, что ей хотелось как-нибудь скрыть свою грусть. Я оставался долго за полночь с графом и собирался уже уйти, как в комнату взошел человек и, подавая моему хозяину ключ, сказал: господин Л... уехал, запер свою комнату, приказал вручить вам ключ.

Это был тот самый, которого я видел в кабинете графа с повязанною головою и которого я принял за ревностного бонапартиста.

— Вы увидите, — сказал граф, — этот человек худо кончит, я боюсь за него; он, верно, тайком уедет на остров Эльбу.

Но я почти не обратил внимания на замечание графа; мысли и сердце были заняты совсем другим.

Три месяца простояла гвардия в Париже тихо и покойно. Париж и в особенности парижанки были в восхищении от нас. Настало время и выступления нашего. Дали еще одну неделю приготовиться в поход. Куда? — в любезное отечество... Мы как бы отвыкли от него, нам казалось, что мы стали чужды ему, и не верилось, что мы возвращаемся в Россию.

Вот уже был отдан приказ корпусного командира: «Гвардейский корпус выступает такого-то числа... Собраться на площади и ожидать прибытия в[еликого] к[нязя] Константина Павловича». Грустно вошел я к графине; мать и дочь сидели на балконе, выходящем в сад; я сел подле них; мы все молчали.

— Итак, вы от нас уходите? — заговорила старуха графиня. — Вы наконец увидите отечество, успокоите и обрадуете вашу добрую матушку, милых ваших сестер.

— Все это так, любезнейшая графиня. Но я желал бы еще остаться здесь... Мне у вас было так хорошо. И я расстаюсь с вами с большою горестью... Через несколько часов гвардия выступает, и я, чтоб проститься, проведу с вами последний вечер, а там догоню полк.

От графини я возвратился в свою комнату, все было пусто — люди мои ушли с вещами. Как все было тихо и

печально! Я посмотрел на сад из окна; тут купидон, казалось, насмехался надо мною, все тот же — стоял и грозил; я задумался. Слышу шаги, сердце вздрогнуло — вот входит старик, граф.

— Любезный Л[орер]! Вы уходите, путь ваш далек, вам нужны будут деньги: позвольте вам предложить 100 червонцев; вы возвратите их в Петербурге банкиру, который мне их доставит.

Я был тронут участием графа, обнял его, и мы поцеловались на прощанье, как отец с сыном.

— Нет, граф, благодарю вас, денег мне не нужно, деньги у меня есть.

— Дочь моя просила, что если вы будете отказываться, сказать вам, что она просит вас принять непременно, она этого желает.

В душе моей я благодарил графиню, но отказался.

В час пополудни гвардия выступила. Было предположено всю гвардейскую пехоту посадить на суда; для этого пришла целая эскадра из Кронштадта и прибавлено к ней два английских военных корабля. Мы шли на Шербург. Первый ночлег наш был в Saint Germain.

Проводив полк до заставы, я возвратился к моим добрым хозяевам. Долго мы сидели на балконе; ночь была превосходная; густой, темный сад, лишь только показалась луна, слабо осветился; и статуи между дерев и по сторонам аллей выступали на темном поле дерев и зелени и, как тени, в белых саванах, глядели на нас; купидон был покрыт тенью. Я взял Цецилию за руку и, полный живым вниманием, ловил каждое ее слово.

— Пишите к матушке, — сказала она между прочим. — Когда вы оставите уже нашу Францию и будете приближаться к своим добрым землякам и родным, я буду беспокоиться о вас и буду рада, когда узнаю, что вы благополучно достигли конца ваших долгих и далеких странствований. Вы так молоды, сердце ваше так чувствительно и нежно, так тепло — слишком даже. Не вините меня за то, что я вас иногда удерживала, я сама боролась с чувством самосохранения: я вас люблю как брата, как любезного юношу.

Я слушал и целовал ее руку. На мою просьбу сойти в сад она задумалась, наконец сказала:

— Нет, сохраним лучше нашу взаимную дружбу до последней минуты, и вы останетесь благородным юношей,

и я сохраню память о том, что русские умеют ценить и уважать добродетель женщины.

Графиня встала с кресла и, держа меня за руку, сказала:

— Знаете ли, я имею к вам просьбу. Gabrielle моя теперь спит. Я знаю, что русские любят детей, — благословите ее. Перекрестите ее вашим крестом, она будет счастлива...

Правду сказать, просьба эта удивила меня, я с радостью согласился, подал ей руку, и мы прошли несколько темных комнат. Сердце мое сильно билось, кровь бросалась в голову. Цецилия скорыми шагами увлекла меня в свою спальню.

В спальне горела лампа; две нянюшки сидели у кровати Габриели, дитя спокойно спало в маленькой кровати с занавеской. Я быстро окинул одним взглядом всю спальню. Все было просто и прекрасно.

— Как хорошо, графиня, у вас, — век бы здесь остался.

Нянюшка стояла молча у постели малютки. С умилением взглянул я на этого невинного ангела, благословил и перекрестил, — потом перекрестил и Цецилию и поцеловал ее в прекрасный лоб.

Мы вышли; я был так расстроен, что с трудом говорил.

Старуха графиня дремала в своих креслах, было за полночь. Я простился с ними и бросился в приготовленный кабриолет. Весь двор был поднят на ноги: люди, кучера, женщины толпились около моего экипажа; желали мне здоровья и благополучного пути; я роздал им денег, George, который мне служил во время обеда, бросился меня целовать; я его щедро наградил. «Adieu! Adieu!»* — кричали вслед меня, когда кабриолет тронулся и выехал из двора. «Прощай, Париж! Прощай, добрый граф и его милое семейство! Прощай, милая, незабвенная графиня, добродетельная женщина!»

На рассвете я приехал в Saint Germain, где нашел и полк. Здесь получили мы новый маршрут: первая гвардейская дивизия едет морем, в Кронштадт, а вторая пойдет сухопутно с кавалериею; мы пошли на Берлин, где для

* Прощайте! прощайте! (франц.)

нас прусский король готовил большие праздники, желая угостить своих союзников.

ЛЕЙБ-КУЧЕР ИЛЬЯ БАЙКОВ[194]

В 1822 или 1823 году (не помню хорошо) служил я в лейб-гвардии Московском полку. Мне случилось тогда вступить в караул с моею ротою на главную гауптвахту в Зимний дворец. Не успел я расставить своих часовых и ефрейторов, как является ко мне придворный лакей с запиской от коменданта Башуцкого, чтоб «по воле его величества содержать под арестом лейб-кучера Илью, впредь до приказания». Зная Илью лично, видавши его часто то на козлах, то в коляске, то зимою в санях, я обрадовался принять такого знаменитого гостя, который с лишком двадцать лет имел счастие возить государя по всей Европе и по всей России (потому что обыкновенно почтовый ямщик не садился на козлы, а только запрягал лошадей, правил же ночь и день лейб-кучер Илья).

Всякому известно, как несносно стоять целые сутки в карауле, не снимая ни знака, ни шарфа. Со мною были два младшие офицера моей роты, по установленным правилам. Я принял почтенного Илью Ивановича Байкова самым радушным образом, уверенный, что мне и моим товарищам не будет с ним скучно. Я приказал придворному лакею подать завтрак, к коему пригласил и Илью. Он поблагодарил и сказал мне, впрочем, что «нашему брату есть особенные каморки». «Нет, почтеннейший, вы будете с нами», — возразил я и налил ему рюмку водки и две рюмки вина. Я радовался, что он кушал с аппетитом, и, заметив, что у него выступал пот, я его пригласил снять кучерскую одежду и облегчить себя, что он охотно исполнил: на нем оказался бархатный черный жилет и бархатные шаровары, спущенные в сапоги.

— Скажите мне, за что вас посадили?

Он улыбнулся и сказал:

— За слово *«знаю»*! Известно вам, что его величество никогда не скажет, куда именно изволит ехать; но я беспрестанно поворачиваюсь к нему, и он мне кивнет то направо, то налево, то прямо. Не понимаю, как скользнуло

у меня с языка сказать: «Знаю, ваше величество». Государь вдруг сказал мне с гневом: «Кучер ничего не должен знать, кроме лошадей!» Приехали мы благополучно, и я доставил его во дворец к его маленькому крыльцу, откуда государь обыкновенно выезжает и куда приезжать изволит. Двадцать лет вожу его — как на ладони, но прежние силы мне изменяют, теперь не то! Поездка его величества в Швецию в 1812 году на свидание к шведскому королю, где я не слезал почти с козел день и ночь, между скалами и обрывами, меня изнурила; тут я лишился и силы моей, и моего здоровья. Бывало, целую четверку на всем скаку мигом останавливал, так что она осядет на задние ноги.

Подали нам обед, и мы сели весело обедать. Илья Иванович стал разговорчивее.

— Мой прежний господин был известный силач, моряк Лукин. Силач! Он ломал подковы, из железной кочерги делал крендель. Однажды флот должен был выступить. Государь взошел на корабль и нашел моего барина грустным. Его величество изволил это заметить. Спросил — отчего? Лукин сказал ему, что он чувствует, что не воротится на родину. «К чему так думать? Конечно, мы все под властью божьею. Подари мне что-нибудь в память свою». — «Что мне вам подарить, ваше величество?» И, поискавши в своем кармане целковый, слепил ему чашечку как будто из воску и поднес. Государь любил моего барина. Предчувствие его сбылось: он не возвратился на родину — ядром были у него оторваны обе ноги!

Наступил вечер, я потребовал чаю и сделал хороший пунш. Илья Иванович, прихлебывая, рассказал нам замечательный анекдот.

— Я был у моего прежнего господина и за кучера, и за камердинера, иногда и нянчил его маленькую дочь. Так в старину это делалось — теперь уже не то время. Тогда господа и люди были лучше. Мой барин был небогат. Поехали мы один раз на своих в отпуск в Курск; он с женою и с дитятею, я за кучера. Перед ночью застигла нас большая буря, и летели мы так, что света не видать было. Мы въехали в лес, наткнулись на избу, взошли туда. Она была довольно просторная и теплая. Поставили самовар. Я вошел в против лежавшую хату. Тут увидел я троих людей, сидевших за столом с кнутами в руках. Лица их мне не понравились, они зверски на меня погля-

дывали. Я вышел и, взойдя к барину, сказал ему, что тут что-то неладно. Он мне сказал: «Пойди к дверям, Илья, и послушай, что они говорят». Я потихоньку подкрался и услышал, что они сговариваются убить прежде меня, а потом барина и госпожу и обокрасть их кибитку. Я вызвал барина, чтоб жена не слышала и не перепугать ее, и рассказал ему слышанное. «Пойдем туда оба». Мы взошли оба к ним. Барин спросил: «Что вы за люди?» Они отвечали грубо: «Какое тебе дело?» Один из них подошел к нему и хотел взять барина за грудь. Не думая долго, как свистнет барин его кулаком в лицо, тот и упал без чувств. Двое соскочили, барин закричал мне: «Илья, принимай!» Схватил близ стоявшего, встряхнул его так, что он потерял ум, и бросил его ко мне. Я схватил его и стукнул головою об стену — он и присел. Таким образом мы управились со всеми, перевязали их и отвезли их в ближайший город. Не будь барин так силен, мы, может быть, погибли бы.

— Однажды ее величество императрица Мария Федоровна пригласила барина обедать в Павловск и за обедом просила, чтобы Лукин показал свою силу. «Ваше величество, с радостию исполнил бы ваше милостивое желание, но ничего не найду, что бы вам показать». В это самое время, как он оглядывался, поставил ему придворный лакей серебряную тарелку. Он потребовал другую. Государыня обратила свое внимание. Он взял в руки обе тарелки, свернул в дудочку самым легким образом, встал и поднес сверченные обе тарелки, и так искусно, что нельзя было сказать, что тут две тяжелые серебряные тарелки.

— Скажите, Илья Иванович, говорят, что вы сделали много добра тем, которым трудно приблизиться к нашему доброму государю?

— Иногда бывало, — отвечал Илья самым простодушным образом. «Расскажите, расскажите!» — сказали все нас трое в один голос. Он говорил очень хорошо, но некоторые фразы и слова были кучерские. Был бы он грамотен, какие бы он записки мог написать для наших журналов и для отечественной истории!

Так он начал: «В 1805 году, перед Аустерлицем, где нас в пух разбили и вся армия бежала, я едва мог отыскать государя. Он был болен, лежал на соломе в немецкой избушке. Я привез ему его шинель. За неделю до от-

крытия кампании генерал Лошаков женился на очень хорошенькой польке. Одним словом, была красотка! После сражения он без спроса уехал к жене, которая была очень близко от наших границ, и за такой поступок главнокомандующий Кутузов отдал его под суд, а император приказал послать в Киевскую крепость в каземат. После окончания войны, когда все уже успокоилось, госпожа Лошакова приехала в Петербург хлопотать о своем муже. Она, бедная, ходила по всем министрам, даже к Аракчееву. Только и слышно: «не принимать, не принимать!» Как чумную! Бедная генеральша скиталась по улицам, а полиция во все глаза за нею. Однажды какая-то старушка, встречая ее часто на улице и видя ее молодость и красоту, сказала ей: «Эх, матушка родная, не ищите в них покровительства и сходите лучше к лейб-кучеру Илье Ивановичу: он добрый человек и пожалеет вас». Она показала дом мой, что на Фонтанке. Лошакова, выслушав старуху, отправилась ту же минуту ко мне, взошла и плачевным голосом сказала: «Милостивый государь, я генеральша Лошакова, пришла к вам просить вашего покровительства, доставьте мне свидание с императором, чтоб я могла подать ему мою просьбу». Признаюсь вам, господа, я задумался; просил ее сесть и успокоиться; подумал и сказал: «С богом берусь за это дело, хотя для меня это весьма опасно. Я не иначе могу доставить вам свидание, как по моему делу, по кучерскому. Теперь слушайте меня внимательно, чтоб нам не ошибиться! Завтрашний день император в троечных санях выезжает в Царское Село. Остановитесь вы на Адмиралтейском бульваре, против маленького подъезда Зимнего дворца, наденьте на себя что-нибудь яркое или цветное, чтоб я мог заметить вас, потому что тут народ и зеваки стоят: прохожие как увидят, что сани государевы стоят для отъезда, то ожидают выхода его, взглянуть на императора. Да чтоб прошение ваше о муже вашем было готово у вас! Вы отделитесь немного от толпы, чтоб лучше мне распознать вас. Надеюсь, что бог поможет нам». Настало утро пасмурное, пошел снег. Надобно, господа, знать, что император не любит останавливаться в толпе народа до того, что мы иногда объезжаем толпу. Садясь в сани, когда его величество бывает в хорошем нраве, всегда изволит сказать: «Здорово, Илья!» Но тут, не поздоровавшись, сел в сани, и мы тронулись. «Ну плохо!» — подумал я. Как только я уви-

дел Лошакову и поравнялся с нею, я дернул правую лошадь, и она переступила постромку.

— Как вы это сделали? — спросил я.

— Вы это не поймете, это наше кучерское дело. Сани остановились; другой кучер, который стоял поодаль, прибежал и освободил лошадь; я же, не слезая, стоял в санях готовый. Лошакова бросилась к ногам императора. Государь поспешно вышел из саней, поднял ее, стал с нею говорить милостиво на иностранном языке. Она подала ему прошение свое; он взял его, ласково поклонился, и мы быстро помчались. Когда проехали мы Московскую заставу: «Илья, — сказал государь, — это твои штуки?» Тогда я осмелился рассказать ему все дело. «Спасибо тебе! Я прощу Лошакова, произведу его в действительные статские советники, пошлю фельдъегеря, чтоб его освободили из Киевской крепости, но строго приказываю впредь не доводить меня до таких свиданий», — и при этом сам улыбнулся. Тогда я снял шляпу и перекрестился. «Слава господу богу! все кончилось благополучно!» На другой день генеральша пришла со слезами благодарить меня и была в восторге от нашего императора. Она принесла гостинца моим детям, игрушек, пряников, два ящика конфект, а на другой день уехала в Киев, чтоб встретить своего счастливого мужа, освобожденного из крепости.

Теперь да позволено мне будет сказать несколько слов моего собственного суждения насчет Ильи.

Если мы читаем с любопытством и интересом записки камердинера Наполеона Констана, если мы с удовольствием прочли о верном слуге и камердинере Наполеона Маршане, который добровольно с самоотвержением оставил свою родину и сопутствовал своему господину в изгнание на остров Елену, где до самой смерти Наполеона неотлучно находился при нем, успокаивал его по возможности, развлекал его, утешал, и тот по своей признательности за его верную службу называл его своим другом, и он был возведен в графское достоинство, — то почему же мы, русские, не почтим память умершего кучера Александра I? Байков был крепостным человеком, но сколько благородных чувств в этой простой оболочке, сколько чистой преданности к монарху! Судьба возложила на него печальную и последнюю обязанность проводить тело государево на траурной колеснице из Таганрога до Петербурга[195].

НАПОЛЕОН[196]

Стихотворение Н. И. Лорера

У моря, на скале угрюмой,
Главу на грудь уныло преклоня,
Державный пленник, с тяжкой думой,
Один сидел. Светило дня
На западе из черных туч сияло
И пурпурной порфирой покрывало
Бездонную пучину синих вод.
«Торжествен твой и запад и восход.
Ты не померкнешь в туче черной;
Ты не погаснешь в глубине;
Твой лик нетленный, животворный
Царит, как бог, в небесной вышине.
Не твой удел на жребий выпал мне;
Как ты, моя звезда приветливо сияла,
В пучине звезд соперницы не знала
И, грозная, носилась над землей,
Пророча смерть и разрушенье, —
Но все похитило единое мгновенье...
О, Ватерло! теперь судьбы моей
Едва приметен луч над современной бездной;
Без славы и без битв, душой осиротев,
Под сворой дружных псов я усмирен, как лев,
И лицемерным сном дремлю в тюрьме железной.
Кричат: «Он побежден!» Так что ж? Я — Аннибал!
История, твои заветные скрижали
Несчастием его не упрекали;
Ты врезала на них: «он Римлян побеждал».
Моя соперница — Россия,
Но победитель мой — судьба...
Я шел не по следам Батыя,
И не бессмысленна была моя борьба:
Я движим был не погремушкой славы.
Я видел пепл Москвы, но я не Герострат...
Все царства я б сложил в итог одной державы...
Я прав перед людьми, пред богом — виноват.
Я не постиг его предназначенья,
Но, ослеплен успехом чудных дел,

Хотел переступить в пылу самозабвенья
Божественным перстом начертанный предел;
Хотел десницею железной
Внезапно завладеть веков грядущих бездной —
И те века до срока призвал я,
Чтоб предрассудков цепь заржавленную скинуть
И к цели высшей бытия
Ленивую громаду передвинуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПИСЬМА[197]

1. ГЕНЕРАЛУ П. Д. КИСЕЛЕВУ[198]

М. Тульчин, 25 декабря 1825 г.

Ваше превосходительство!

Вчерашнего числа генерал-адъютант Чернышев мне объявил, что я должен с ним ехать в Петербург. Два дня я не мог собраться ни мыслями, ни чувствами и потому не мог объявить, что мне трудно собраться в такую дорогу, а особливо зимой; я страдаю вот уже два года мучительной болезнию — остановкою мочи, которая иногда продолжается трое суток; в полку известно всем, как я страдаю иногда; я начал только что лечиться, — то покорнейше прошу вашего превосходительства, нельзя ли упросить генерал-адъютанта, чтоб он столь милостив был и уважил мою просьбу, оставил меня, чем вечно буду благодарен. Надеюсь также на вашу милость и останусь с истинным моим почтением и совершенной преданностью вашего превосходительства всепокорнейший слуга

Николай Лорер

[На обороте:] Его превосходительству генерал-адъютанту и кавалеру в собственные руки.

2. А. Ф. ФОН БРИГГЕНУ[199]

Село Таракановка, 1837, ноября 20-го дня

Давно я собирался к тебе писать, любезный друг Александр Федорович, но никак не мог исполнить до сей поры моего душевного желания, потому что только что месяц, как я приехал на постоянные свои квартиры. Теперь голова и сердце успокоились, принимаюсь за перо и

по возможности опишу тебе все случившееся со дня нашего отъезда из Кургана. Не буду теперь говорить, с каким грустным сожалением я оставлял Сибирь и тебя, почтенный друг! Но все мы при воспоминании о тебе утешали себя тем, что ты желал этого сам, а служить тебе, в твои лета и отслужа жестокие и достопамятные три кампании, будет невозможно — и перенести все предстоящие трудности войны, которые только и сотворены для молодых людей и юношей и для молодых ног. Но тем, которые топтали поля Бородинские, Кульмские и Лейпцигские, тем пора успокоиться, и потому в особенности я не только что сожалею о тебе, но завидую тебе и твоему жребию.

Не забуду, любезный друг, дружбу твою ко мне, которая была постоянна и так приятна для человека, который вполне умеет ценить. Ты нас проводил, как родных своих, и потому с удовольствием скажу тебе слова добрейшей нашей Елизаветы Петровны [Нарышкиной] и знаю, что этим сделаю и тебе приятное: «Я благодарна доброму Александру Федоровичу за дружеское его участие к нам; я видела, как больно ему было расставаться с нами; он старался скрыть, но я видела, что ему больно, и он чувствовал, что нам предстоят новые испытания».

Приехав в Казань, нас встретили: [княгиня] Голицына, которая приехала из Москвы, чтоб увидеться с братом своим Michelem, на другой день прискакал 75-летний старец [князь] Одоевский из Владимира, чтоб обнять и благословить своего сына Александра Одоевского; встреча его была чувствительна, и старик провожал нас до города Симбирска, где мы простились. В Казани Степан Степанович Стрекалов очень интересовался о тебе и удивлялся и сожалел, что тебя нету с нами; он ожидал тебя увидеть и был уверен, что он тебя обнимет; но не мог придумать, почему тебя одного оставили. Это всем загадка. Проехав благополучно Симбирск, Пензу, Тамбов, наконец, въехали во владение донских казаков. Елизавета Петровна с княгиней Голицыной уехали в свою деревню, где графиня Анна Ивановна[200] ее будет ожидать. Мы с ними расстались еще в Казани. Приехав в Ставрополь и не доехав до Тифлиса, нам было объявлено каждому свое назначение; все мы определены в корпус генерала Вельяминова, только по разным полкам: Нарышкин — в Навагинский пехотный полк, квартирует в Прочном Окопе; Назимов — в Кабардинский полк и квартирует в Пашковке;

Лихарев — в Куринский полк и квартирует от нас в пятистах верстах; Лорер и Черкасов — в Тенгинский пехотный полк и квартируют в деревне Ивановке. Я и А. И. Черкасов[201] попали в один полк, но по разным ротам: я — в 9-ю, Черкасов — в 7-ю роту. Дивизионная квартира же под начальством генерала Фезе в городе Екатеринодаре.

Вся же дивизия расположена вдоль по Кубани, так что быструю сию речку видно; по ту же сторону Кубани — земли черкесов и цепь больших гор. 1 апреля назначен поход за Кубань, дабы очистить место, пройтить чрез горы до Черного моря и построить крепости. Экспедиция будет продолжаться 6 месяцев, а потом, кто жив останется, может воротиться опять в свои кантонир-квартиры...

А. И. Одоевский проехал в Тифлис, но в какой полк, еще нам неизвестно; полагают, что в Новгородский драгунский полк. Про нашего почтенного А. Е. Розена мы решительно ничего не знаем, доехал ли он, но ему назначено в г. Тифлис. Из старых наших знакомых и товарищей Сибири я виделся с Голицыным, который уже офицером и надеется выйтить в отставку; также Кривцова видел, он фейерверкер с Георгиевским крестом, но еще не офицером; полагают, что он не офицером, потому что был 3 месяца в отпуску дома. Цебриков[202] прапорщиком; я его видел. Игельстрома и Вегелина[203] я также видел в Екатеринодаре. Игельстром уже унтер-офицером и служит в Инженерной роте, а Вегелин — в Кабардинском полку рядовым.

Вот тебе, любезный друг, краткое, но подробное описание о начатой нашей службе в Кавказском корпусе. Что далее будет — не знаю; но полагаю, что не один раз будем сожалеть о мирной жизни Кургана; я еще не могу сказать, что худо, но не могу сказать, что и хорошо. Верно, никто так не будет вспоминать и сожалеть Сибирь, как я. Обыкновенно здесь производят разжалованных за первую экспедицию в унтер-офицеры, а за вторую — в прапорщики, но они и дорого стоят. А. Бестужев убит. Я много видел офицеров, которые служили с твоим братом Миклашевским, — и его чрезвычайно как любили. Я живу теперь в своей роте и нанимаю маленькую малороссийскую хату за 10 руб. Квартиры здесь так дороги, как и в Кургане. Терплю ужасную скуку, книг нету, разлучен от товарищей, и, право, голова кругом ходит, когда подумаешь о судьбе своей. И когда все это кончится? Не-

ужели не будет тому конца? Вот вопросы, которые я поминутно себе делаю. Вчера принесли мне амуницию — шинель, ранец, мундир — для пригонки; я ее надел и невольно вздохнул; несколько минут было тяжело, но потом поправился, примерил и сказал: «Хорошо!» Любезный Александр Федорович, надобно большую силу души, чтоб перенести то, что мы в продолжение 13 лет пронесли. Голицын уверяет, что это все так кажется сначала, а потом будет лучше, но я сомневаюсь. Охотно бы поехал в Курган к тебе в твой переулок, в Пластеев домик, где мой добрый философ Бригген[204] поживает; там бы уселся в кресла против милого друга. Меня одно утешает — то, что я надеюсь увидеться с братом, который живет в Херсонской губернии и недалеко теперь от меня. Я к нему писал и просил, чтоб он приехал. Здесь необходимо надо иметь своего человека и две лошади и свою собственную палатку. И вот опять новые издержки.

Прошу исполнить лично мой поклон, если можно, всем добрым моим знакомым, которые меня любили, а именно: прошу засвидетельствовать и обнять за меня старого моего начальника и почтенного Федора Ивановича, которого душевно уважаю, люблю искренно и не забуду его постоянную дружбу ко мне; мы дорогой беспрестанно его вспоминали и всегда с новым удовольствием; при сем прошу засвидетельствовать милостивой государыне Августе[205] Даниловне мое усердное почтение. Прошу, любезный друг, обнять за меня доброго и почтенного Савицкого; скажи ему, что я пред ним виноват и не виноват: я не мог ему возвратить занятые мною 210 руб., потому что и в Тобольске не было прислано моих денег; но теперь я уже на месте и писал домой. Как только получу, то тою ж почтою отошлю ему. Обними его за меня крепко; я никогда не забуду его дружеское и бескорыстное внимание. Дай бог и желаю от души скорого им возвращения и чтоб он обнял своих детей и нашел свое почтенное семейство благополучно. Господину Череминскому также мой душевный поклон; Воронецкому[206], этому доброму старцу, кланяюсь душевно; скажите сему последнему, что я буду хлопотать у Сангушки, чтоб он ему денег прислал и чтоб он, бедный, не нуждался. Дудкевичу и Краевскому и всем моим хорошим знакомым посылаю мой задушевный поклон. Что делает доброе семейство нашего протопопа? Прошу, милый друг, обо всем мне подробно

написать; я сам старику буду писать, но прошу тебя ему кланяться. Скажи Е. К., чтоб она берегла моего миленького крестника Митю[207] и смотрела за ним, как за своим глазом. Я как деньги получу, то прямо на ее имя вышлю, а покамест пускай потерпит. Я надеюсь, что его часто видишь, но прошу лично ей передать мое тебе к ней поручение. Я буду с нетерпением ожидать твоего письма и при сем на особом листочке прилагаю мой адрес.

Если И. Ф. Фохт в Кургане, то обнимаю его искренно и скоро буду к нему писать.

Прости же, мой незабвенный друг, позволь тебя обнять дружески и от всего сердца. Извини, что так много и притом худо пишу. Впрочем, утешаю себя тем, что дал тебе полное понятие о всех наших.

Твой друг Н. Лорер

P. S. A madame et monsieur Kletskowck'им прошу сказать им душевный мой поклон, а Лизу-малютку целую. Прости.

3. ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА К М. Ф. ФЕДОРОВУ[208]

Фанагория, 28 февраля 1839

...Вчера я получил письмо из Керчи, что наш отрядный начальник генерал Раевский был чрезвычайно хорошо принят царем; все, что он ни представил, было милостиво принято, расхвалено, утверждено. Н. Н. Раевский назначен начальником от Поти до Тамани; ему дозволено жить в Керчи, и он в первых числах апреля будет в Керчи с супругою, где уже нанят для него дом за три тысячи рублей. Экспедиция наша будет производиться тем же порядком, как и прошлого года. Эскадра прибудет в апреле месяце. Серебряков назначен главным начальником — устраивать адмиралтейство в Цемесе, к нему идут два полка из Крыма. Государь беспрестанно рекомендовал Раевского всем генералам, говоря: «Знаете генерала Раевского? Советую с ним познакомиться...»

4. М. М. НАРЫШКИНУ

Фанагория, 1841, февраля 19-го дня

Любезнейший друг Михайло Михайлович!

Прожив целых два месяца в Керчи, провел все праздники и, встретив новый год в кругу милого семейства кня-

вя Захар Семеновича, я от усталости и[209] от шума возвратился и поспешил в свой тихий и мирный уголок на первую неделю поста; и первая моя мысль была подумать о моем незабвенном друге Michel и добрейшей, почтеннейшей Елизавете Петровне, которой с душевным уважением целую дружески ручку: прошу исполнить.

Не буду тебя занимать описанием городских веселостей, в которых я участвовал и был повсюду зван et même pourtant suitain*. Добрый Херхеулидзев везде таскал меня[210] и на одном прекрасном вечере, который[211] дан был для князя, где девицы были одеты в разных приличных костюмах, одна была одета Пантикопейской царицей, и так далее, и кончилось тем, что мы с князем, два старика, танцевали грос-фатер[212] и так устали, что на другой день мы не могли с ним передвигать ноги, удостоверились и убедились наконец[213], что нам обоим 48 лет.

Два раза в неделю я обедал у генерала Раевского и наконец познакомился с его семейством. Я нашел madame R[aevsky] une bonne et excellante femme** и прекрасно воспитана; но полюбил очень madame Danenberg, — ласковая и милая женщина, совершенная немка и вроде хернхутеров, не оттого ли она мне так понравилась? Madame Danenberg воспитывала с малолетства Раевскую, и это ей честь делает; что же касается до самого генерала, то он тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ, но для края, который он создал, полезен и благонамерен, но часто начал поговаривать о путешествии в Неаполь и в Италию... Часто тебя вспоминал, но я старался отклонять разговор, [как он] начнет говорить о всех нас[214].

У нас здесь на левом фланге до сей поры все благополучно. Но поговаривают, что горцы в марте месяце хотят взять две крепости и несколько раз были в большом сборе, впрочем, говорят, что меры все взяты для сохранения [от] них, — дай бог.

Что же вы поделываете, милые друзья мои? Давно не имею я никаких известий из Прочного. Здоровы ли вы все, в особенности наша благодетельница Елизавета Петровна? Что пишут вам из столицы? Здорова ли графиня

---

* А иногда и хвостом ходил (франц.). Здесь «французский» язык Лорера очень своеобразен (слово «suitain»!), и перевод может быть лишь приблизительным. — М. Н.

** мадам Раевскую доброй и превосходной женщиной (франц.).

Анна Ивановна [Коновницына], есть ли внучка у Григория Петровича? Много, много я задал вам вопросов моих, но не могу ничего узнать!

Теперь — немного поясниться о моем неожиданном производстве: тут не участвовал никто, а одна только счастливая судьба и милосердие бога. В Керчи я получил письмо от Смирновой[215], посылаю, любезный друг, копию: тут ты найдешь, как близко ты в памяти у всех тех, которые тебя уважают и любят, и что радость в доме Смирновой не вполне и огорчило их крепко[216]. Но не будем об этом более говорить, через год мы оба можем подать в отставку, потому что ты теперь — прежний дворянин. Я вступил в Фанагорийский госпиталь и прошусь на воды и с радостной надеждой тебя лично и искренно обнять первого мая я намерен отправиться, и брат Дмитрий обещается выслать 1000 рублей, — итак, жди меня. Не горячитесь насчет ваших экспедиций, сидите смирно дома и ожидайте 1 июля и октября месяца.

Два раза я был болен моими недугами, которые не оставляют меня и старостью начинают меня чаще навещать.

Из Анапы приехал в Керчь больной Дивов в лихорадке, я с ним познакомился, нашел ему теплую квартиру, и добрый Николай Васильевич [Мейер] пользует его, и он при мне стал поправляться и просил всем кланяться.

Копия из письма А. О. Смирновой[217]

«Любезный дядюшка, вы можете себе представить, с каким радостным удовольствием мы узнали о производстве вашем в офицеры; но после первой радости [я] вспомнила о вашем друге, почтенном М[ихайле] М[ихайловиче], сопутнике общего вашего несчастия, который остался в том же чине, и подумала, что и вам, верно, больно будет, что милость государя не простиралась и на него. Добрейшая графиня Коновницына очень опечалена этой мыслию и была [в] недоумении[218]. Она даже думала, что я об вас просила, но, по несчастию, тут моего, кроме доброго и живого участия и желания, ничего нет, и как могла добрая графиня полагать, что я, просивши об вас, могла умолчать об Нарышкине, который для вас и друг и благодетель и который заслуживает всеобщее уважение? Мы истинно соболезновали все вместе, и я чуть не заплакала, но делать

нечего. Скоро, скоро все будете на покое — через год вам будет покойный приют» и так далее.

Теперь ты видишь, любезный друг, что судьбе угодно было так, и я ей охотно покоряюсь и благодарю. Кланяюся всем моим товарищам, обними за меня почтенного М. А. Назимова. Н[иколай] Васильевич [Мейер] просит вас его не забывать и любить его по-прежнему, он остается при Раевском покамест и будет смотреть по обстоятельствам. Все мои, благодаря бога, здоровы. Сестра Варвара Григорьевна благополучно возвратилась с Митенькой из Воронежа, где сам архиерей его причащал. Сестра узнала о моем производстве у своего брата, когда Мите сказали, то он перекрестился, вздохнул и сказал: «Слава богу». Все это меня много утешает. Часто думаю об нем — и благодарю своего создателя, что он в таких хороших руках, и я покоен, с тех пор я стал веселее и здоровье мое лучше; возвратившись домой, займусь его воспитанием. Итак, почтенный Михайло Михайлович, не прощай, но до свидания и напиши мне о твоих намерениях, — застану ли я вас в Прочном Окопе? — и не оставь твоей дружбою, которую я храню, как лучшее сокровище мое. Да будет Христос с вами и да сохранит вас.

Н. Лорер

[P. S.] Наконец я написал письмо сестре Марии Ивановне Лорер[219], где ей напомнил, что тому 28 лет назад был произведен в прапорщики в ее доме, что на Садовой улице, и что она и я мы были молоды, — не знаю, будет ли мне отвечать.

Кланяюсь душевно Анисии Петровне[220], надеюсь ее застать здоровою и подле ее шкафа и в хлопотах о масле и сливках и ничем не довольной — ни краем, ни людьми, ни чиновниками, ни посетителями. Прошу передать мой душевный поклон почтенному старику Степановскому, скажи ему, что я надеюсь скоро сидеть с ним и рассуждать о великих победах Наполеона, который уже покоится у нас в Европе, а не за экватором[221]. Сейчас узнал, что madame Раевская родила благополучно другого сына[222].

5. М. М. НАРЫШКИНУ

19 августа 1841

С душевным удовольствием могу тебя обрадовать, незабвенный друг мой Michel, что я с божиею помощию вы-

лечился от моей болезни, которая мучила меня, как тебе известно, около шести лет. Я обязан сему непредвиденному случаю дружбе и бескорыстному вниманию нашего приятеля Ивана Петровича Хомутова и искусству господина Нормана, который под конец курса по просьбе Хомутова взял меня на свои руки и в три недели вылечил меня. Когда увидимся, тогда тебе все передам.

Но теперь parlons d'affaire*, об котором я обещал, и больно будет, если ты не исполнишь. Третьего дня Иван Петрович Хомутов уехал в Ставрополь и через три недели уедет совсем в Петербург, просил меня убедительно дать тебе знать и просить тебя приехать к нему хоть на три дня и чтоб остановились у него на квартире.

Он искренно, душевно желает тебя видеть и обнять дружески: следовательно, доставь ему, этому благородному человеку, это приятнейшее удовольствие, — тебя не затруднит съездить 60 верст, и я уверен, что ты проведешь самым приятным образом время, а вместе с тем сделаешь этим много удовольствия нашему однополчанину. Садись в телегу и отправляйся, я прошу и целую твои ручки.

Avez vous des nouvelles de notre chère Lise[223]? que fait elle?** Около первого октября я буду у тебя во Прочном, но поеду через Ставрополь. Ты встретишь Лорера выздоровевшим и юным мальчиком. Adieu, au revoir. Je vous embrasse bien tendrement.

Tout à vous.

Lohrer***

[P. S.] Загорецкому поклонись.

[На обороте:] Милостивому государю Михайле Михайловичу Нарышкину в Прочный Окоп, прошу доставить в собственный дом. Чрез *Ставрополь*.

6. А. Ф. ФОН БРИГГЕНУ

Керчь, 1841, декабря 5-го дня

Полных шесть месяцев протекло, почтеннейший друг Александр Федорович, как мы ничего друг от друга не

---

* поговорим о деле (франц.).

** Есть ли новости о нашей дорогой Лизе? Что она поделывает? (франц.)

*** Прощай, до свидания. Целую вас нежно. Весь ваш Лорер (франц.).

знаем. Скоро полгода, как никто из нас не знает, что делают наши друзья, товарищи и в особенности, что поделывает наш любезный Бригген, как здоровье его и жив ли он.

Эти два вопроса беспрестанно преследовали меня, беспрестанно напоминали мне, где я ни был, следовали [за мною] повсюду. Наконец, чтобы успокоить себя и совесть свою и прекратить нестерпимое беспокойство души, я приступил к самому лучшему средству — написать к тебе полные две страницы, узнать, расспросить и ожидать милого твоего ответа.

Начну, во-первых, с наших товарищей. Все они благодаря бога здоровы; я их всех видел в проезд мой из минеральных вод Пятигорска; был в Прочном Окопе, виделся, когда туда ехал, с Елизаветою Петровною, но на обратном пути — она еще не возвращалась из деревни старухи графини. Michel наш здоров и бодр и не унывает, что еще не офицер, а юнкер; при мне он отправлялся в экспедицию с генералом Зассом; я его проводил за Кубань, а сам отправился в полк в Черноморию. У нас здесь на восточном берегу Черного моря была сильная экспедиция под командой генерала Анрепа, того, который, я думаю, в твое время был адъютантом у Дибича. Потеря была сильная и бой кровопролитный; 25 верст дифилеи войска проходили, беспрестанно натыкались на завалы, кое-где русские штыки опрокидывали все, и наконец дошли мы до крепости Сочи. Теперь по случаю позднего времени и глубокой осени экспедиции прекратились, войска возвратились обратно, и я на некоторое время приехал в Керчь, где штаб генерала Анрепа.

Нынешнего лета я пользовался на минеральных водах в Пятигорске; там был и Назимов и Черкасов. Пятигорск мне очень понравился, но, к несчастию, вода мне очень мало помогла; медики объявили, что недуги мои неизлечимы, и засвидетельствовали аттестатами.

Возвратясь из Пятигорска, я принужден подать в отставку и надеюсь на милость божию и царскую получить ее. Возвращусь на родину, чтоб похоронить старые кости на родимой земле, увижу брата, сестер и родных, которых не видел 17 лет.

От этого времени все черты их совершенно изгладились из памяти: я забыл наружность брата и родных и помню их как во сне, смотрю теперь на них, как на пред-

мет чрез закопченное стекло. Отставку я подал вот уже месяц, но не прежде ее я получу как в апреле месяце будущего года, потому что [она] должна пройти чрез все мытарства, от полка до бригады, а там в дивизионную, там в Ставрополь, потом в Тифлис, а оттуда в Петербург. Когда получу, любезнейший друг, то тебя непременно уведомлю, чтоб ты порадовался.

Не знаю, что ты делаешь. Как здоровье твое? Так давно не получал от тебя писем, что меня беспокоит много[е] насчет тебя.

Выезжая на воды, я к тебе писал и, кажется, уведомлял тебя о моем отъезде. Когда будешь писать ко мне, напиши мне обо всем, что делается у вас в Кургане. Все ли по-старому; в чьем доме ты живешь? Кто жив, кто умер? Счастлива ли молодая Калугина?[224] Крепко сомневаюсь; я думаю — он ее поколачивает, — сама избрала, и поделом. Теперь я очень рад, что отъезд мой на Кавказ расстроил мои предположения женитьбы, — и много, много в этом тебе и твоей милой дружбе обязан и искренно тебе благодарен, хотя тогда было и трудно<...>[225] Ты мне тогда писал, что метрику О<...> писать к архиерею. Если можешь, похлопочи у матери и скажи, чтоб Елена прислала прямо на имя брата Дмитрия Ивановича. Она знает его адрес. Я просил брата, чтоб он ей послал немного денег, и я полагаю, что он исполнит просьбу мою. Митя прекрасно учится, уже читает по-русски и по-французски начинает учиться; все его чрезвычайно любят, особливо невестка моя Варвара Григорьевна; брат к нему привязан, как [к] своему ребенку; на днях я получил его портрет. Где и что делает Иван Федорович [Фохт]? Как поживает он? Что его больная нога? Поклонись ему от меня. Я также к нему писал перед отъездом моим.

Два брата Беляева также были в большой экспедиции в Нагорном Дагестане, были при взятии Черкея (укрепленное место чеченцев) и возвратились благополучно. Они теперь в полку около крепости Грозной. Недавно я писал к Michel и поздравлял его с именинами 8 ноября, но не получил еще ответа. Помнишь, друг мой, восьмого ноября в Кургане, когда мы собиралися к его хорошему обеду, — где тихо в кругу своих мы празднуем этого милого человека именины. Ты надеваешь свой черный праздничный сюртук; наш длинный методист Розен валит на своих длинных дрожках. Как все тогда было хорошо,

дружно, и все это, мой друг, судьба одной рукой разметала нас по всему белому свету. Иных давно уже нет в живых, другие далеко! Грустно вспоминать.

Если будешь писать, так пиши просто мой адрес: Таврической губернии в город Керчь. Вегелин, Черкасов и Назимов после экспедиции были в Пятигорске на водах. Им всем очень они помогли. Там я не нашел никого из знакомых, ни из старых, ни из молодых, все новое поколение, новые лица, обряды, характеры, все для меня новое и чуждое. Странно мне было смотреть... 80 серных ванн было мною взято... Железноводск есть по мне одно из лучших мест. Тут надобно жить поэтам или вздыхающим о своей любезной, умирающим от тоски изменой в любви неверной; тут места самые романтические, и я находил наслаждение самое приятное: после ванн, напившись зеленого чаю, отправляюсь карабкаться по горам и ущельям; воздух всегда чист и прекрасен. Это есть любимое место всех приезжающих.

От нашего доброго Розена давно не получал писем, но недавно писал к нему. Он покойно живет в своей деревушке.

Что тебе сказать еще, любезнейший Александр Федорович? Скорблю часто [и] много о тебе. Неужели добрые милые люди должны расстаться навсегда, и судьба не переменится к лучшему. Все это приходит часто на мысль, и потому всегда больно мне и тяжело сказать тебе «прощайте»! Все хочется сказать «до свидания»! Но где? Кто поручится за будущее? Грустно мыслить о нашей непрочности.

Кланяйся всем знакомым моим и мирным жителям Кургана. Помнят ли они нас? Вот уже 4 года, как мы с тобою расстались, распростились с Сибирью. Тебе, я думаю, известно, что В. А. Жуковский женился на молоденькой 17-летней хорошенькой девушке, следовательно, и мне надежда жениться на 48-й год. Прощай же, мой незабвенный, добрый Александр Федорович. Целую тебя искренно и остаюсь с неизменной любовью и дружбою к тебе.

Н. Лорер

7. М. М. НАРЫШКИНУ

Водяная, 1843 года, июля 20-го числа

Почтеннейший друг
Михайло Михайлович!

С неизъяснимым удовольствием, или, лучше сказать, с детскою радостью, получил твое милое письмо, которое я так давно и с таким нетерпением ожидал. Спасибо тебе, что доставил радость.

Из письма твоего я вижу, что ты еще не знал, что ты произведен в прапорщики, — я сам читал в «Инвалиде», и вот каким образом: недавно я ездил в Николаев и посетил моего доброго знакомого полковника Ребиндера[226], который был комендантом в Петровском на место покойного Лепарского, на другой день он звал меня обедать, и — только что вхожу в залу — этот милый человек выбегает ко мне с «Инвалидом» навстречу: «Читайте, читайте, — Нарышкин произведен!» Я бросился ему на шею и ну его целовать. Поздравляю тебя, мой друг, но почему шесть месяцев не раньше? добрая старушка покойнее переселилась [бы] в лучший мир. Но так богом определено! За обедом первый тост был бокал шампанского за твое здоровье, другой — за добрую Лизу твою, а потом — за невесту мою[227], и я провел этот обед самым приятнейшим образом[228] у благородного человека, который теперь комендантом в Николаеве.

Приехав домой, я поспешил отправить нарочного — письмо к моей Наденьке, — извещая ей эту радость. Все семейство сидело за чайным столом: как только Nadine прочла о тебе, все вдруг перекрестились, и все сказали с радостным вздохом: *«Благодарим господа»*, но Наденька была [в]восторге. Итак, ты близко живешь с нами, и в наших сердцах всегда ты с нами, да может ли иначе быть? Более не нужно и не могу сказать. Знаю, тебя[229] порадует.

Я пишу это письмо к тебе, мой незабвенный друг, накануне моей свадьбы, которая назначена послезавтра, 23-го сего месяца, а завтра отправлюсь в деревню к сестре, а в пятницу [в] деревне, в 7 верстах, буду венчаться. Шаг делаю важный, но обдуманный. С характером кротким Наденьки я буду счастлив — я не сомневаюсь — воспитание ее самое чистое и нравственное[230], и, что прекрасное в ней, — что, несмотря что скоро она вступит в 24-й год, она сохранила невинность детскую, мыслями, душою и сердцем. Так что иногда она меня удивляла. Тебя она не только что любит, но обожает. «Сочту себя счастливой в ту минуту, — говорит она, — когда увижу доброго Миха[ила] Ми[хайловича] и пожму ему истинно дружески руку».

Соболезную душевно о болезни нашего доброго Назимова. Я полагаю, что воды Пятигорска ему помогут; я ему писал; кланяйся ему от меня. Еще у меня там хороший знакомый госпо[дин] Кашпар — старичок добрый и услужливый, скажи ему, что я ему кланяюсь и всегда помню его ласки и услуги.

Теперь у меня к тебе[231] есть просьба: сделай милость, когда будешь ехать на родину или на твое новое пепелище в Высокое к Лизе, то бери дорогу на Черноморию и в Керчь — это самая приятная дорога, — из Керчи на Симферополь, захватишь немного Крым, а потом чрез Николаев ко мне. У меня отдохнешь, но не буду удерживать; увидишь наших, увидишь жену мою, а потом на покой, и тогда и мы приедем к тебе в Тульскую губернию. Обещай, сделай, как я тебя вместе с Наденькой умоляем. В Керчи ты увидишь доброго нашего друга Н[иколая] Ва[сильевича] Мейера[232], увидишь князя Херхеулидзева, и напомнит тебе те места, где мы с тобою живали и находили добрых людей.

В бытность мою в Николаеве комендант сказал мне, что нашего бедного Никиты Муравьева уже нет на свете: он скончался, а Нонушку увезли в Москву. Мир праху твоему, добрый товарищ, он [на] 10 лет пережил жену свою, и оба в стране холодной и изгнания легли.

Подавай в отставку, милый друг, спеши к Лизе твоей, которой я недавно писал, но, не зная ее адреса, послал письмо чрез Марию Ивановну. Я рад, что ты получил письмо мое. Вегелин был у меня и отправился в Полтаву на жительство. Моя жизнь будет постоянная на Водяной и очень одинаковая и уединенная; многое меня пугает и тревожит меня насчет будущей жизни моей, о которой со временем с тобою поговорю, но лучше, если ты сам ко мне заедешь, — тогда переговорю с тобою о семейной моей жизни, как единственному другу, со всею откровенностью.

Да сохранит тебя бог для тех близких к тебе и для тех, которые имеют счастие знать тебя, любить и уважать тебя.

Брат Дмитрий Ива[нович] и невестка Варвара Григорьевна душевно тебе кланяются и поздравляют тебя. Поцелуй твой Наденьке я завтра сам ей отдам. Да будет, Michel, спаситель наш всегда с тобою и да сохранит

тебя. Обнимаю тебя от всего сердца, жму руку comme garçon, — dans deux jours je serai dejà marié*.

N. Lohrer

[P. S.] За приписку доброго Н. А. Загорецкого душевно я благодарен и поздравляю его с чином, равным с моим, благодарю бога, что он весел, бодр и здоров и приписует не так, как дикий сибиряк, но как образованный юный прапорщик. Он достиг чин этот личной храбростью и охотником подраться. Жму ему руку[233].

8. М. М. НАРЫШКИНУ

Ноября 20-го дня 1843. С. Водяное

Я полагаю, что письмо это тебя еще застанет в Прочном Окопе, мой любезнейший друг Michel. Я спешу тебя обрадовать несколькими строками, хотя ты ко мне давно не писал. Теперь получил[234] вчерашнего числа от твоей доброй Елизаветы Петровны из нового вашего пепелища письмо ее от 9 ноября. Она, благодаря бога, здорова, хотя по временам хворает своей сибирской болезнью. Она нам обоим отвечает на наши письма — жене и мне, и пишет обо всем подробно, за что ей премного признателен, потому [что], не получа ни от тебя, ни от М. А. Назимова никакого известия, я совершенно не понимал и не знал, где вы и что с вами делается. Лиза твоя грустит по тебе очень и с нетерпением ожидает своего доброго и милого Михайлу. По всем вероятностям, тебя, мой друг, ожидает мирная, приятная и покойная жизнь в Высоком, хотя двор и имение в расстройстве, как обыкновенно случается с продажными имениями, — устроенного не продадут. Зато вы устроите по своему вкусу, и слава богу, что у вас есть прекрасная церковь.

Жена твоя пишет, что ты теперь занят продажею твоего ветхого кавказского дома, а в Кургане твой замок продан — и продан, по крайней мере, нашему товарищу, а не диким жителям Сибири, — я этому очень рад. Прошу тебя, Michel, не отвечать мне на это письмо, а приезжай сам к нам на Водяную — ей-ей, грешно будет, если ты поедешь по другому тракту; поверь, что кругу нет. Будешь в Керчи, простись с добрым Н. В. Мейером, который тебя с нетерпением ожидает, а потом отдохнешь у меня, познакомишь-

---

* как холостяк, — через два дня я буду уже женат (франц.).

ся[235] с женою, с милой моей Наденькой, которая писала к Елизавете Петровне, рекомендовалась[236] и просила принять ее в родственную ее дружбу, но я недоволен тем только, что жена титулирует жену мою «Madame», — между ними не должно быть этих приличий, принятых пустым светом.

Мы все, благодаря бога, здоровы, живем чрезвычайно уединенно, я часто выглядываю в окошечко, — не едет ли 27-летний друг наш Michel и чтоб нам с женою поспешить на крыльцо и встретить и обнять тебя. Я знаю тебя, если у тебя есть[237] сильная воля, которая тебя никогда не покидала, то непременно будешь у меня, если же ослабла (что я не думаю), то тогда — прощай и, кажется, надолго, а может быть, и навсегда, и в этом[238] [мире] мы более не увидимся.

Все новости, которые Лиза твоя ко мне пишет, не буду тебе повторять, потому [что наверно] я знаю, что она тебе прежде писала. К[отъ]езду твоему к тебе будут все близкие тво[и и] родные соберутся к вам.

Ж[ена] моя тебе искренно жмет руку и [по]сылает тебе дружеский поклон. От Черкасова я получил письмо, он уже дома, он получил мой должок, который я два года хлопотал у брата, чтоб ему отослал, и вся сумма состояла в *трехсот* рублей, но такие наши обстоятельства — худы и плохи: нынешнего лета бог нам немного поправил урожаем, а то брат терял надежду и хотел продать имение. Обнимаю тебя от всего сердца и желаю скорей тебе отставку и поспешай к нам, а от нас уже Тула не далее — в 5 дней ты дома.

Твой друг Н. Лорер

[P. S.] Если увидишь доброго Степановского, то передай ему поклон. Спроси его, получил ли он Ségure, которого к нему послал[239].

[Н а о б о р о т е:] Его благородию Михайле Михаиловичу *Нарышкину* в к[репость]*Прочный Окоп*. Прошу доставить в станицу и в собственный его дом, что на площади.

9. М. М. НАРЫШКИНУ

Февраля 22-го. Г. Николаев, 1845

С того начну, любезнейший друг, что я пишу по желанию жены моей, которая твердит мне всегда «да скоро ли будешь писать к доброму Михайлу Михайловичу? с ним

ты не должен считаться письмами». Конечно, я с этим совершенно согласен и доказываю это на деле.

Как же вы поживаете, милые друзья мои? Теперь вы должны наслаждаться спокойствием и не болеть, чтобы не нарушить вашего счастия. Молю всевышнего создателя, да пошлет он вам долгие лета на радость всех тех, кто знает вас.

Мы еще в Николаеве, ждем марта месяца, чтобы переехать в деревню, теперь же у нас ужасная распутица, и снег и дождь, и морозит и тает, что заставляет всех сидеть дома, ждать лучших дней. У нас все здоровы; жена и я хлопочем и нянчимся с нашей девочкой, которая подрастает и умнеет и хорошеет, — так, по крайней мере, я замечаю; она целует ручки незабвенной Елизавете Петровне и твои также.

Vous connaissez, j'espère, la nouvelle du jour? Notre terre de gloire, Caucase, va s'emparer d'un héros de plus: le c. Woronzoff est nommé наместником Кавказа; je désire à ce brave et digne homme un laurier de plus à ses cheveux blans. Les gens bien intentionnes se rejouissent de sa nomination, j'en fais autant connaissant les grands mérites du comte*.

Вегелин проездом в Одессе был у меня, я не нашел в нем никакой перемены: он весел и аккуратен по-прежнему и доволен своей судьбой, как и бывало. Он ищет частного места. Захар Чернышев живет в Одессе.

Не знаешь ли ты что-нибудь о М. А. Назимове, в отставке ли он или нет, и где теперь Загорецкий? Все это меня интересует, как [новости] о моих добрых товарищах.

Я постоянную переписку веду с Мейером и Розеном. Наш Николай Васильевич начинает хворать, и в письмах его нет прежней энергии, нет веселья и соли. Лета свое берут, и я уже не тот: как шагнул за 50, то и чувствую маленькие недуги, а жаль, что оказываются[240] физические немощи, когда душа сильна для дружбы и любви! В жизни этой нет ничего вечного, и потому роптать напрасно, а

---

* Надеюсь, вы знаете последнюю новость? Земля славы нашей — Кавказ — скоро обогатится новым героем: граф Воронцов назначен наместником Кавказа; желаю этому храброму и достойному человеку новых лавров на его седые волосы. Благонамеренные люди радуются его назначению, — я также, зная большие заслуги графа (франц.).

покориться, как доброму христианину должно, итак, да будет его святая воля.

Наденька моя передает добрейшей Елизавете Петровне и тебе, мой друг, свое душевное уважение и не перестает надеяться вас видеть, это есть ее постоянное желание. Улиньке и Анисии Петровне много кланяюсь, первая должна быть уже grande demoiselle*, а вторая, конечно, не забыла старого своего приятеля. Тебя же обнимаю так сильно, как люблю, а благодетельнице моей также сильно жму ручку. Твой верный друг

Н. Лорер

10. М. М. НАРЫШКИНУ

23 июля 1845 г. С. В[одяное]

Любезнейший друг!

Сегодня ровно два года нашей свадьбы, и, отслужа благодарственный молебен господу богу, [я] доставил [себе] приятнейшее удовольствие поговорить с тобою. Уже давно, очень давно не имею от тебя писем, писал тебе из Николаева, который я оставил еще в апреле месяце, но не получил ответа, и потому справедливым нахожу нашего умного и доброго приятеля Н. В. Мейера, его собственное замечание; спрашивая о тебе, говорит, что «отсутствие — [поэтому] и отношение понемногу охладело. Это естественное последствие семейного быта: есть возле себя о ком заботиться, — зачем мысленно пускаться вдаль? Редко пишут, понемногу и это перестанут — а пройдет еще несколько времени, [и] некому будет писать — пальцы охладеют». Кого любишь искренно, грустно читать его замечание.

Как ты поживаешь, милый друг, и как здоровие нашей достойнейшей Елизаветы Петровны? Я и жена моя желаем узнать — она не отстает от меня дружбою, уважением к вам обоим: часто говорит об вас и всегда с наслаждением вспоминаем о милых людях, с которыми я провел вместе столько лет. А когда увидимся, любезный друг? Я не теряю надежду тебя еще раз в этом мире прижать к моему сердцу. Но наверно полагать можно, что увидимся стариками.

Наше семейство, благодаря бога, здорово. Китя моя

---

* большая барышня (франц.).

подрастает, а вместе с тем[241] начинает капризничать, — ей десятый месяц, и Елизавета Петровна отгадала, что я буду баловать, а Наденька — та, напротив, и часто мне и брату Дмитрию выговаривает; она гораздо благоразумнее нас. Душевный поклон посылает жена моя вам, а девочка моя целует ваши ручки.

Я не выезжаю из деревни, по временам только в Херсон или в Николаев; в мае месяце мы приняли прекрасного юношу — великого князя Констан[тина] Николаевича, который проездом своим в Цареград обедал в доме брата, Дмитрия Ива[новича]. Я играл ролю только зрителя из своего флигеля, смотрел на эту суету; его высочество был так доволен, что подарил брату перстень в знак памяти и угощения.

От Розена, Бриггена и Мейера получаю по временам письма; только от вас, добрый друг Michel, не получаю. Вегелин теперь в кругу своих, а живет с племянницей своей Еслен[9], муж которой командует здесь Кира[сирскою] дивизиею, теперь же приехали к ним Madame Козенес из Петербурга. Как велико твое семейство в поместии Высоком? Кто с вами теперь из жильцов? Ты, Елизавета Петровна, Улинька и неизменный друг Анисия —кто еще у вас поживает? опиши мне, любез[ный][242] друг. У нас все погорело от зноя, не запомнят такого жара, палит да палит, 36 гра[дусов] в тени, и я [и] Nadine не знаем, куда деваться от непомерного жара и удушливости; как у вас?

Обняв вас всех, поцелуй ручку у Елизаветы Петровны; постоянно молю творца небесного о сохранении вас всех во всей силе этого слова.

Н. Лорер

11. М. М. НАРЫШКИНУ

С. Водяное, 1847, февраля 10-го дня

Давно, очень давно не получал я от тебя писем, любезнейший друг Michel! Что бы это значило? Все ли у вас здоровы и все ли у вас[243] благополучно? Если я к тебе не писал, то я почти месяц был в отлучке, и вот только что неделя, как я возвратился домой. Я был в Малороссии, в Полтавской губернии, посетил, наконец, друга моего детства Илью Петровича Капниста. После его убедительных просьб я, наконец, решился исполнить давнишнее мое же-

ление, еще раз взглянуть на священные места моего детства. И вот перед праздниками 19 декабря при хорошей санной дороге (что у нас очень редко) пустился в дорогу. Со мною же был товарищ, племянник мой — горбатый Вороновский, которого ты знаешь, он был у тебя в Прочном Окопе. Можешь себе живо представить радость и удовольствие доброго моего друга Ильи. 27 лет минуло с тех пор, и время также наложило печать этой грустной перемены как на человека, так и на природу. Годы и время все изменило; там, где поляна, — там лес стоит, там, где тропинка, — там стоит амбар, а где наши детские цветники, там поставлен огромный дом, в котором встретил моего доброго седого хозяина Капниста. Познакомился с его милым семейством. Его бог благословил большим семейством и прекрасными детьми — четыре дочери и четыре сына, один уже офицер и служит на Кавказе, две дочери невесты. Там я провел счастливый месяц, искренно сожалел, что Наденька не могла воспользоваться. Она, бедненькая, оставалась с детьми, для коих теперь надобно иметь строгий надзор, ибо старшей моей Кити уже 2 года с половиной — резвый и умный ребенок.

Кто знает, может быть, и к тебе я таким образом нечаянно представлюсь в твоем Высоком; я не теряю надежды обнять тебя, мой незабвенный друг Michel, и расцеловать ручки добрейшей нашей благодетельнице Елизавете Петровне; будем надеяться и уповать крепко на господа бога. Грустно, что ты ко мне не пишешь. Меня беспокоит здоровие Елизаветы Петровны, а что у вас делается, право, не знаю — так давно не имею от вас[244] известий.

У нас все, благодаря бога, благополучно, дети мои здоровы. Жена моя душевно вам кланяется, а Китинька целует ваши ручки. Также брат Дмитрий и невестка Варвара Григорьевна свидетельствуют вам всем свое душевное почтение. Меньшая моя дочь Вера, которой теперь 8 месяцев, прехорошенькая будет девочка, брюнетка и вся в бабушку или сестру покойную Надежду Ива[новну].

Вообрази, друг мой, что я сижу и пишу к тебе в очках; худо вижу и не могу читать без очков. Как твои глаза? Пиши о всех подробностях, касающихся до тебя и до Елизаветы Петровны. На письмо мое о рождении дочери моей я не получил ответа и потому полагаю, что оно потеряно, от тебя я получил. Где теперь проживает бедная

ваша невестка Madame Кологривова? не верится, что доброго Гриши нет!

Мне кажется, что Бриггена уже нет на свете — вот уже 2 года, что он ко мне не пишет, тогда как он [раньше] постоянно ко мне писал. Спасибо Розену, он меня не забывает и чаще пишет, чем ты. L'absence est la pierre de touche de nos affections*. У нас теперь вторая неделя поста. Все тает, и реки шумят, и дорога ужасная. Весною будут у меня большие занятия: я пристраиваю комнату в моем флигеле, делаю комнату для детей, становится тесно. Много хлопот, но главное — что не могу найти няню для детей, ищу везде простую немку, но нигде не могу отыскать; и как трудно для жены с ее слабым здоровьем и не отходить от детей, одевать их, класть спать, шить все самой для них, и ей[245] нет минуты свободного времени, она мне напоминает madame Rosen — toujours les enfants**, помните, в Кургане? Я знаю из письма, что вы навестили этих благочестивых людей. Rosen с такою радостью мне написал. Прощай же, мой незабвенный друг. Всем вашим кланяюсь, Улиньке и Анисии мое почтение. Где Загорецкий? не у тебя ли? С душевным уважением целую ручку твоей женушки, остаюсь тебя иск[ренно][246] любящий друг.

Н. Лорер

12. М. М. НАРЫШКИНУ

29 апреля 1849 г. С. Водяная

Многоуважаемый Михаил Михайлович!

Сначала я не мог понять причины твоего молчания, старался оправдать тебя, убеждал себя, что разные обстоятельства препятствовали тебе вести со мною переписку, отдаляя от себя мысль, что холодность и равнодушие могли руководить тобою. Но, по дошедшим до меня слухам, загадка разгадалась. Из всего должен я заключить, что вы недовольны мною за неуплату моего долга, состоящего в 2000 ру[б]. ассигна[ц]., занятые мною еще в Кургане. Родные твои, не зная обстоятельств моих, обвиняют меня в медленности уплаты, и даже мне приказано об этом на-

---

* Отсутствие — пробный камень нашей привязанности (франц.).

** мадам Розен — всегда о детях (франц.).

помнить. Последнее напрасно, я не мог забыть обязательного твоего займа и участие, которое ты тогда принял в моем жалком положении. До сих же пор молчал и не упоминал о моем долге, потому что не предвидел возможности возвратить тебе эту сумму. Теперь же, когда дело коснулось об этом обстоятельстве, я принужден откровенно высказать, в каком нахожусь положении, мне кажется, что я еще по сие время не передавал тебе настоящей моей жизни. Брат мой дает мне на содержание 1500 ру[б]. ассигна[ц]. в год, кроме стола и квартиры. Конечно, сумма так ничтожна, что я не только прежние долги [не] уплатил, но с прибавлением семейства сделал новые и довольно значительные, судя по моим средствам; болезнь жены умножила долги, а доход все один и тот же. Чтобы поправить немного дела мои, я решился с товарищем взять подряд: его залоги, мои труды. Это дело началось в [18]47 году, но еще до сих пор длится, и неизвестно, окончится ли в мою пользу и получу ли я ожидаемые деньги, чтобы расплатиться с моими кредиторами, которые не терпят отлагательств и уже скучать[247] меня. И твой долг приходил мне на мысль и тревожил меня, но я, полагаясь на твое постоянное снисхождение, успокаивал себя, ожидая лучшего времени, когда я буду в состоянии располагать маленьким куском земли, который мне достанется[248], полагая также, что теперь ты не имеешь в них особенной нужды и можешь подождать, пока мне представится возможность уплатить тебе долг мой. Скажу еще несколько слов о брате Д[митрии] Ивано[виче]: он человек благородный, добрый, но самоуправный и тяжел в семейной жизни. К несчастию, он меня не понял, во мнениях мы с ним не сходны, и он видит во мне не брата и друга, а бедного родственника; благодаря моему тихому и покойному характеру, я переношу все невзгоды терпеливо и, сколько могу, утешаю Наденьку, но все же это положение трудное иногда сильно тяготит душу. Я бы мог уплатить тебе, но лишив семейство мое ежегодного содержания, — на этом основании возможно ли мне уплатить тебе мой долг? Как честный человек, я ничего не увеличил, бог мне в том свидетель. Многого нельзя передать, да и эти обстоятельства я прошу, чтобы остались между нами; как прежнему другу и человеку, доказавшему мне столько приязни и одолжений, я говорю откровенно; малейшее же подозрение брата может поселить вражду между нами и лишить де-

тей моих куска хлеба. Изложив тебе, любезнейший друг, все подробно, я надеюсь, что ты извинишь меня и оправдаешь перед Елизаветой Петровной, которая, конечно, также меня обвиняет и уже наказывает, показывая такое равнодушие. Потрудись передать Елизавете П[етровне], что как только получу я свою часть, то заложу последний кусок земли и уплачу долг мой, а теперь, к несчастию, не в силах, бог видит! Целую с уважением ее ручку.

Я скажу тебе прямо как другу, что известие о моем долге, дошедшее до меня, крайне меня огорчило, и, если на это письмо не получу я ответа, тогда я принужден буду прекратить переписку, которою я столько лет дорожил, и с стесненным сердцем сказать «прости» человеку, которого я привык считать и другом и благодетелем. Но в здешнем мире должно переносить испытания и быть готовым на все. Жена моя приветствует вас обоих, дети целуют ваши ручки. Жму дружески твою руку и остаюсь неизменный твой друг.

Н. Лорер

13. М. М. НАРЫШКИНУ

30 августа 1849. С. Водяная

Любезнейший друг
Михайло Михайлович!

Зная всегда твою возвышенную и прекрасную душу, твое дружеское внимание ко мне и к ближнему, я с чувством глубокой горести почел долгом известить тебя и добрейшую Елизавету Петровну о смерти моей доброй Наденьки. Она скончалась 28-го сего месяца в 5 часов вечера — тихо, покойно, без ропота страдалица покинула свой временный путь, оставила по себе память, омоченную нашими слезами. Я охотно отдал ее богу, лишь бы только прекратить страдания больной!! Последние ее слова были «о, боже мой, боже мой», и [с] этим словом она утихла навсегда.

Добрейшая сестра Вера Ивановна во все время болезни покойницы не оставляла ее ни на минуту и этим облегчила тяжкие минуты ее кончины; троих сирот моих на время [она] увезла к себе, и теперь, когда я остался один, когда могу раздумать, чего я лишился в покойной моей подруге жизни и доброй матери — страшная тоска давит сердце, делается невыносимо тяжело, любезный друг!

Не буду этот раз писать тебе много, не могу и не в силах, — еще так свежа память о Наденьке. Я один живу во флигеле моем, все так тихо, так пусто и как тяжело...

Собравшись с мыслями и если буду более покойнее, я думаю на некоторое время оставить Водяную.

Прощайте, дорогие друзья, будьте счастливы и покойны, дай бог, чтобы вас ничего не тревожило, не огорчало. Обняв со слезами вас всех и пожав руку твою, незабвенный друг Michel, остаюсь искренно любящий[249] друг

Н. Лорер

[P. S.] Если можно этот листочек послать доброму А. Е. Розену, — потому что теперь [я] не в силах писать к нему. Он всегда так дружески принимал во мне и в моем семействе сильное участие.

14. М. М. НАРЫШКИНУ

С. Водяная, 1849 г., ноября 1-го

Незабвенное 8 ноября приближается, — день всегда памятен для всех тех, которые имели счастие пользоваться твоей дружбою. И для меня он дорог и потому поздравляю тебя от всего сердца моего, любезнейший друг Михайло Михайлович. Молю господа бога моего о даровании тебе счастия, здоровья и совершенного благополучия на многие, многие лета. Сколько лет мы праздновали этот день с тобой вместе, где ни встречали мы этот день, в каких местах, в каких климатах и под какой крышей, — и всегда радостно встречали и поздравляли тебя от чистого сердца. Прошло много времени с тех пор, много радостей, много горести пролетело мимо нас, — и я остался сиротою, ничего мне не улыбается. Искренно желал провесть этот день с тобою вместе. Как прекрасно было бы это утро для твоего друга! Грустно мне теперь, что никого нет со мною, кто бы разделил и успокоил тоску мою. Живу я хотя с братом, но все одинок. Никто так не утешал в скорби, как ты, мой незабвенный Michel, потому что у тебя[250] теплая и высокая душа; я говорю тебе истину, и, верно, все со мною согласятся, кто только тебя знает. Я живу с сиротками в моем уединенном флигеле, они теперь неразлучно со мною: дети эти еще не постигают, какую они потерю сделали, лишившись своей матери[251], которая так заботливо смотрела и приуча-

ла их к добру. Я получил письмо от Марии Ивановны, признателен ей за родственное участие. Из писем я усматриваю, что вы проводите эту осень с нею вместе в Гараи и в Перово. Поклонитесь за меня усопшим нашим друзьям.

Мой старый друг К. Херхеулидзев переменяет место своей службы: он назначен ближе к вам военным и гражданским губернатором в г. Орел; напиши об этом Волд. Голицыну[252]: он будет рад, он его знает за благородного и честного человека. Пусть эти многие люди собираются в один уголок, тогда и я навещу вас.

Не хотелось пропустить почту — спешу. Цель моя была единственная — обнять тебя, расцеловать тебя и поздравить тебя и добрейшую Елизавету Петровну с днем ангела твоим. Дай бог, чтобы ты встретил этот день со всеми твоими счастливо и вспомнил о близких твоих друзьях далеких. Жму руку твою, остаюсь искренне тебя уважающий друг.

Н. Лорер

15. М. М. НАРЫШКИНУ

Ноября 30-го 1849 г. С. Водяное

Любезнейший друг
Михайло Михайлович!

Истинно дружеское письмо твое, которое меня премного утешило и печаль мою на некоторое время рассеяло[253]; я с радостию в первую минуту принял твое и достойнейшей Елизаветы Петровны предложение, чтоб [в] эту зиму навестить вас. Как ни радостна была эта мысль увидеть, обнять тебя, поговорить с вами, побеседовать и подчас и посмеяться, порывы этого счастливого чувства не долго меня радовали — подобно, как дитяти дают новую игрушку и в минуту после этот восторг исчезает, или comme le nuage qui hier attirait nos regards*. Когда настало время нашего холодного размышления, когда сердце уступило рассудку, я погрузился в прежнее печальное положение. Итак, любезнейший друг, эту зиму по разным обстоятельствам не могу и не в силах приехать к вам. Почему? Будет твой первый вопрос. Троих сирот моих я перевез к себе на Водяную, взял их от сестры Веры Ивановны Мазараки, хотя им было хорошо, но

---

* как облако, что вчера привлекало наши взоры (франц.).

я их часто не мог видеть, и меня это беспокоило, в особенности без хорошего надзора. Теперь они при мне, и я неразлучно с ними. Анна Ивановна Остен-Сакен по дружбе [к] покойнице жене моей и по вниманию ко мне взялась приискать в Одессе хорошую няню-швейцарку: следовательно, я должен лично видеть и узнать, познакомиться и передать детей на руки. В таком случае я могу отлучиться и тогда только могу быть покойным. Болезни моей Наденьки и, наконец, печальные приготовления[254] расстроили этот год мои домашние дела, так что я теперь вынужден экономничать[255], дабы иметь что-нибудь на будущий год. Последнее же[256] обстоятельство это, что у меня ничего нет зимнего и теплого[257], у меня нет ни шубы, — ничего такого, чтоб я мог предпринять такой дальной, в мой 56-й год, вояж. Конечно, полетел [бы] к вам, но прошли те счастливые годы, добрый мой Michel, что я скакал на перекладных, чтоб поспеть на пир товарищей и друзей. Все это миновалось, прошло!

Если милосердный бог сохранит мне жизнь, то буду собираться на будущую зиму[258], приеду к вам и поживу с вами в кругу твоего благословенного семейства. Завидую вам, друзья мои, что вы можете располагать и временем, и обстоятельствами, и независимостью в своих действиях, покоряюсь без ропота моему трудному положению. Еще должен тебе сказать, что [с] нынешнего года мое крепкое здоровие[259] начинает мне изменять, я чувствую приближение недугов: до сей поры был всегда крепким духом, но последнее несчастие, последний удар был слишком чувствителен для бедного сердца, и здоровие — оно начинает мне изменять. Этот год я поседел и чувствую, что физика моя заметно разрушается. По три раза в ночь осматриваю детей своих, и всякой крик меня тревожит, а в мои лета быть няней тяжело. Дети, покинутые матерью, — они много утратили с нею! Прошу прощения, многоуважаемый друг, что я тебя, может быть, огорчаю моим описанием. Утешаю себя тем, что я пишу человеку, которому[260] у нас подобных немного. Впрочем, любезный друг, бог милостив, — надеюсь получить от его благости светлые дни и не буду унывать, а на будущую зиму приеду к вам и поживу в вашем прекрасном поместии Высоком, где все дышит спокойствием, радушием, вниманием, скромной веселостию, где найдется[261] и пища для души и сердца, где найду двух милых людей.

Клянусь, что я помолодею и берусь рассмешить Елизавету Петровну своими рассказами и своим воображением... Поручаю тебе передать твоей Лизе мою душевную признательность за добрую приписку в твоем письме. Целую ее благосклонную ручку.

Счастливый путь! Кланяйтесь всем, которые меня запомнили и помнят меня. Тебе же дружески жму руку. Напиши мне, любезный Михайло Михайлович, по возвращении твоем из Москвы домой в Высокое. Я не сомневаюсь, что вы проведете время самым приятнейшим образом в кругу милых родных. Поцелуй за меня М. А. Назимова, скажи ему, что прежняя его дружба ко мне всегда мне памятна и не забыта. Передай мой поклон доброму графу Алексею Петровичу [Коновницыну] и сестре Марии Ивановне и поклонись праху за меня брата Александра. Да сопутствует вам Христос-спаситель. Прощай.

Н. Лорер

[P. S.] Проездом из Москвы Лев Пушкин заезжал ко мне и искренно сожалел, что тебя не видел, живя с тобой в одном трактире. Недавно я видел А. И. Вегелина проездом в Полтаву, ты с ним виделся в Москве. Прошу прощения, что так худо пишу: спешу, почта отходит. Ожидаю твоего ответа по возвращении твоем.

Брат Дмитрий Ив[анович] тебе душевно кланяется. Невестка моя Варвара Григорьевна уехала к екатеринину дню к madame Лазеровой в Николаев и увезла с собою мою старшую дочь Китю: это ее первый дебют: она — крестница Лазеровой[262].

16. П. И. БАРТЕНЕВУ

19 мая 1857 г.

Милостивый государь Петр Иванович.

Получил 25 р. и не понимаю за что. Неужели мой рассказ русского офицера, который я шутками рассказал княгине Е[катерине] Алекс[еевне] Черкасской, стоит 25 рублей? Дорого, щедро платите за подобные рассказы! Впрочем, увидимся, переговорим. Обнимаю вас, добрейший Петр Иванович. Сердечно сожалею, что скоро с вами расстанусь; постараюсь воспользоваться последними минутами, чаще вас видеть. Примите мое душевное уважение, с коим имею честь быть вашим покорнейшим слугою.

Н. Лорер

17. Е. И. ЯКУШКИНУ[264]

Добрейший Евгений Иванович! На этих днях я имел удовольствие быть у вас, но не застал вас дома. Имел честь беседовать с вашею супругою: просил передать вам о портрете покойного Новикова. Князь Черкасский хочет сделать фотографию — потом с благодарностью возвратит вам. Посылаю нарочного к вам, благоволите ему передать.

Свидетельствую мое душевное почтение милостивой государыне супруге вашей, милых и прекрасных деточек ваших сердечно целую. С нетерпением ожидаю почтенного батюшку вашего Ивана Дмитриевича, его приезд доставит всем нам большую радость, буду счастлив его лично обнять.

Примите уверение в моей искренней дружбе и совершенной моей преданности к вашему милому семейству.

Н. Лорер

18. М. М. НАРЫШКИНУ

С. Водяная, 1860 г., октября 15-го д[ня]

Очень давно ни ты, ни я не имели от друг друга никакого известия, душевно уважаемый друг! Начинаю беспокоиться или, лучше скажу, что совесть моя начала выступать с упреком, что не пишу к моему незабываемому другу, товарищу во всех переворотах нашей прозаической и поэтической жизни. Таким образом, первый подаю тебе мой голос. Как здоровье твое и нашей глубокоуважаемой Елизаветы Петровны? Как поживаете в вашем славном Высоком? Собираетесь ли на зиму в Москву? Здорова ли madame Compére, ее милая дочь — хорошенькая Sophie и ваша добрая хозяюшка Анисия. Все они мои большие друзья. Надеюсь, что все у вас по-старому, все при своих местах; желательно, чтоб все было по-старому, потому что у вас все было так хорошо, так мирно, так весело, на всех лицах было довольствие и все лица приветливо улыбающиеся. Пусть Высокое со всеми с жителями так и остается. Это есть мое душевное желание. Теперь словечко о себе и о моем семействе. Мы все, благодаря бога[265], здоровы. Kitie моя после института, где они голодали, теперь полнеет, но вместе с тем и хорошеет. По случаю переправки в моем флигеле она живет в доме графини Остен-Сакен — милые и прекрасные люди, и [в] 12 верстах от нас, таким образом, я ее часто навещаю, чтоб по-

любоваться ею и послушать ее приятную игру, до которой Kitie имеет хорошее расположение и не ударила [бы] лицом [в грязь] сыграть с тобой в четыре руки. Как только флигель будет окончен и горенки ее будут оклеены обоями, которые выписаны из Одессы, тогда я ее переведу к себе, — и вот новая хозяюшка вступит в собственный свой дом, и просим вас на новоселье с пирогом.

Добрейшая сестра Мария Ивановна была так внимательна, прислала для Kitie 100 р. с., присовокупила премилое письмо. Премного ей признателен. Не знаю только, где теперь сестра, в Петербурге или в Гораи. Мое здоровие, благодаря бога, хорошо, несмотря на мой 67-й год, но очень поседел, лич[и]ко мое стало морщиться. Но надеюсь не умереть, чтоб тебя не обнять и [не] побывать у тебя в Высоком. Тяжело, мой дорогой Michel, что будто мы никогда уже не увидимся — и походить по твоим полям и по лесам, которые так роскошны у вас в Тульской губернии, а у нас степи и степи, глазу нет места отдохнуть. Будем надеяться и молиться, и все будет хорошо.

Похвала со всех сторон о моем рассказе [о] вступлении в Париж 1814 года[266] и приглашение от редакции Русской беседы продолжать, думаю писать в другом роде, то есть *Читинский острог* — совершенная противоположность Югу, как в климатическом, так и в нравственном смысле. Только буду [ли] я в силах изложить этот важный эпизод в подробности? Впрочем, это по сию пору еще мечта, но многие меня упрашивают и приглашают. Посмотрим! Как здоровье сестры твоей, княгини Евдокии Михайловны? Меня огорчила смерть нашего Валериана Голицына. Я узнал о сей горести и преждевременной смерти в Киеве, но мне не[267] верится, ты же мне ничего не написал, — дай бог, чтоб было несправедливо.

На этих днях я был обрадован увидеть моего Митю Коромтина, сибиряка, который произведен в офицеры с двумя Георгиевскими крестами и герой мрачного Кавказа. Вышел славный малый, но привез с собою лихорадку, которая мучает его из года в год. Вот тебе наши степные новости. Пиши ко мне. Обнимаю тебя от всей души. Поручаю поцеловать ручку Елизавете Петровне, и всем мирным жителям [в] Высоком мой задушевный поклон, равно и священнику отцу Василию и его супруге. Береги свое здоровие, в особенности после южной Франции, лета наши позволяют носить тоненькую фланелевую фуфайку — не-

пременно. Целую тебу много раз, мой душевно уважаемый друг. Прощай.

[P. S.]. Мое душевное почтение Юлии Михайловне Давыдовой и ее супругу. Как они поживают? Что их дети? Ладят [ли] они с Высоким?[268]

19. М. И. СЕМЕВСКОМУ[269]

12 января 1871 г.

Мой сосед гр[аф] Остен-Сакен хочет непременно выписать «Русскую старину». Она распространилась с большою славою по нашей матушке-России. Покорный слуга.

Н. Лорер

СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ ЦЕНЗУРНЫХ КУПЮР В ПУБЛИКАЦИЯХ «ЗАПИСОК» Н. И. ЛОРЕРА В «РУССКОМ БОГАТСТВЕ» (1904) И «РУССКОМ АРХИВЕ» (1874)

Начало «Записок» Н. И. Лорера (по настоящему изданию — главы I — XVI, кончая фразой «стали собираться в дорогу») печаталось в «Русском богатстве» (1904, № 3, 6, 7), конец же в «Русском архиве» (1874, кн. 2, 9) (с главы XVI до конца, причем начало публикации «Русского архива» дублирует конец публикации «Русского богатства» и начинается с фразы «Городничий мне сказал...»). Опубликованный в указанных журналах текст изобилует купюрами и разночтениями, легко устанавливаемыми путем сравнения рукописи «Записок» с журнальным текстом.

Число всех купюр и разночтений — 1803. Ясно, что полный перечень их занял бы слишком много места и едва ли был бы комунибудь нужен, в случае же необходимости каждый может установить купюры и разночтения сверкой нашего текста с журнальным. Поэтому ниже помещается перечень лишь наиболее крупных по объему или интересных по содержанию купюр. Большинство их имеет характер цензурных изъятий, но возможно также, что некоторые из перечисленных ниже купюр возникли в результате простых редакционных сокращений в целях экономии места в журнале. Вероятно, в число последних могли попасть места, показавшиеся редакции неинтересными, а может быть, и неправильными. Но такие спорные по характеру купюры — редкие исключения в нашем перечне. Большинство имеет, бесспорно, цензурный характер.

В перечне слева помещены страницы настоящего издания, на которые приходится журнальная купюра, справа — начальные и заключительные слова выброшенного текста. Если выбрасывалась маленькая часть фразы или одно лишь слово, то справа эта часть или слово приводятся целиком. Некоторые из этих купюр заменены в журнальных публикациях новым, составленным в редакции текстом, являющимся отчасти перефразировкой выброшенного, но с изъятием из него всех «опасных» выражений.

с. 42 — курносый
с. 42 — самою неприличною
с. 47 — мелкому
с. 50 — В городе они ловили офицеров... приятности военного звания
с. 50 — и мученье
с. 52 — но им солдаты кричали «Отъезжай, вы еще молоды!» — и
с. 55 — Когда государь... приветствовал нас
с. 58 — Союз обратился в пользу одних самовластных монархов.
с. 60 — Рассказывали тогда... между царями есть тираны.
с. 64 — в. к. Николая Павловича
с. 64 — Всем известно... не мог этого простить К[апнисту], и
с. 66 — Я всегда говорил, что Россия... прогресса под другим именем.
с. 69 — Пестель был действительно... через меру честолюбием.
с. 69 — участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I.
с. 70 — главному члену общества
с. 77 — В самый перелом нашей судьбы... капитаном Майбородой
с. 88 — безобразным
с. 88 — как будто моя голова должна была отделиться от туловища... нечего было отвечать, и
с. 89 — Вот причина... не мог видеть его взгляда
с. 89—90 — Как я жестоко в нем обманулся... лишнего черного пятна в его царствовании
с. 90—91 — После этой либеральной выходки... еще Елизавета и Екатерина II
с. 91 — да ежели еще предъявит... то и того прописывай
с. 91 — как коршуны за своей добычей.
с. 95 — подобно рыцарям XV века... а то бы и концы в воду.
с. 96—97 — В молодости своей... честолюбивых заговорщиков
с. 97 — Строжайший приказ не дозволять... никогда нас не покидало.
с. 97 — Следственная комиссия была пристрастна... в каторжную работу.
с. 98 — невзирая ни на какие... вы мне сулите
с. 99 — он знал очень хорошо, что его ожидает смерть
с. 99 — правым
с. 103—104 — Конечно, в Англии... душегубцами и извергами.
с. 105 — о решении, которое... кончится судьба твоя
с. 107—108 — Верховный уголовный суд... до 6 часов вечера.
с. 108 — Спрашивается, где же законы... к смерти.
с. 109 — Этот процесс... до самых высоких.
с. 110—11 — На деревянных подмостках расхаживали палачи... чувствам великого князя
с. 113 — Это такое местечко... ангела на нем.
с. 114 — дочери Елизаветы Петровны и графа Разумовского.
с. 114—120 — Г. Подушкин... сладко спал эту ночь...
с. 121 — свой вечный God save the king
с. 122 — похвальное
с. 122 — и опять... патриотическую песенку.
с. 123 — По всему видно, что новый император... буду об нем говорить
с. 138 — et une somme de 3000 roubles... frais du voyage.
с. 145 — чего доброго, в отравлении генерала

с. 149 — И в этой милости царской... правительства.
с. 165—166 — вот она... de notre Patrie!
с. 168 — Мать его подавала... и скончался.
с. 168 — Конечно, подобная... в самодержавном государстве.
с. 168 — царь своею неограниченною волею
с. 168 — Он не должен... никакого облегчения!
с. 169 — Такая унизительная... на каторгу!
с. 170—171 — Странно непонятна... чем другие.
с. 173 — в жестоком генерале.
с. 180 — и говорил, что желает... армии Николая Павловича!
с. 181—182 — Не ребячество... разъяренной толпы.
с. 183 — предательским
с. 185—186 — В разговорах он сообщил мне... татарам от этого не легче.
с. 190—191 — Комендант стал отстегивать... клочья полетели.
с. 191—192 — И без суда... несчастного повлекли далее.
с. 192 — ханжа и педант
с. 192 — понимавший всех этих капралов-генералов
с. 192 — В Ставрополе познакомился... друг декабристам.
с. 203—205 — Однажды мы пошли с ним... Пушкин, о старом забудем
с. 208 — Однажды Раевский пригласил... домашним арестом.
с. 213 — в последней безумной войне.
с. 220 — Огонь и меч... свободою и собственностью
с. 225 — Каждый из нас мог... на эту строчку.
с. 226 — и в нем поселилась... и направление.
с. 229—230 — монаршим повелением
с. 230 — Более способный к делам коммерческим... и оставив службу
с. 249 — Романовых*
с. 251 — от правительства.
с. 259 — Такое наивное... не могло быть исполнено.
с. 261 — Назимов служил... друзьями А. С. Пушкина.
с. 261 — Государь, — отвечал Назимов... понравиться государю.
с. 264 — называвшему обыкновенно... карманными деньгами.
с. 265 — окружавшею трон царя.
с. 266 — один из замечательнейших людей своего времени. Он был
с. 266 — так что мог... при любом посольстве.
с. 272—273 — Мартынов служил в кавалергардах... На другой день
с. 274 — Они, как черные враны... правдиво или ложно.
с. 274 — Со смертью Лермонтова... и не своею смертью.
с. 274 — деньги сделали свое
с. 277 — Чем кончится судьба Мартынова... в своем собственном доме в Москве.
с. 281—282 — Одаренная красотой... к увольнению меня из службы.
с. 285 — смертью своею искупал... сердце брата!
с. 285 — да и вряд ли она и есть где-нибудь.
с. 286 — под управлением создания... новороссийских степей
с. 287 — свободною
с. 288—289 — Е. И. Трубецкая... мир праху их.

---

* В «Русском архиве» заменено: Р-ых.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Наверху страницы надпись карандашом: «Переписывал штаба 14-й пех. дивизии писарь Артемьев». Но не вся рукопись писана одной рукою, очевидно, переписчики менялись.

[2] Иностранный текст здесь и в некоторых случаях далее вписан рукою Н. И. Лорера, что в дальнейшем не оговаривается.

[3] Указание Лорера на то, что 23 «генваря» 1812 г. было «ровно 50 лет тому назад», дает возможность установить, когда Лорер начал писать «Записки»,— очевидно, этой датой является 23 января 1862 г. Окончание же «Записок» датировано самим автором как 5 августа 1867 г. (см. с. 289 настоящего издания). Что же касается его возраста в 1812 г. (18 лет), то тут необходимо следующее пояснение: «официальный», проставленный в формуляре возраст Лорера не соответствует действительному: в марте 1826 г. Лорер показывает Следственной комиссии (см. следственное дело Лорера — ВД, т. 12, с. 50), что ему 28 лет — следовательно, вероятнее всего предположить, что год рождения Лорера 1797; это же подтверждается указанием в самом конце «Записок» (см. с. 286 наст. издания), что Лореру к моменту их окончания (5 августа 1867 г.) идет семидесятый год. По формуляру же (см. следственное дело Лорера — ВД, т. 12, с. 24) ему к моменту следствия — 31 год, следовательно, «официальным» годом его рождения считался 1795-й. Это обычная история: возраст вступавшего в службу молодого дворянина проставлялся старше действительного для большего удобства получения соответствующего чина. Отсюда ясно, что в 1812 г. Лореру было в действительности 15 лет, а указываемый им возраст — 18 лет — является лишь его «официальным» возрастом в то время. Домашнее воспитание Лорера, следовательно, закончилось в 15 лет.

В рукописи деревня, где воспитывался Лорер, сокращенно названа «Т», ее полное название — Турбайцы — легко восстанавливается на основании воспоминаний С. В. Капнист-Скалон (см.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931, т. 1, с. 312) — племянницы П. В. Капниста, у которого воспитывался Н. И. Лорер. Там же дано описание этой деревни, находившейся в Полтавской губ., и дома П. В. Капниста: «Небольшой домик дяди был устроен вдали от селения, на острове, окруженном тростником и болотистою рекою Хоролом. Сад был вроде английского парка: небольшая дорожка шла вокруг острова, покрытого отдельными кур-

тинами больших деревьев и кустарников и зелеными лужками, усеянными разнообразными полевыми цветами. Домик был окружен клумбами душистых цветов, которыми любила заниматься жена нашего дяди».

[4] В рукописи вместо «воспитанию» стоит «восстании», но это не дает все же оснований прочесть текст, как «товарищем по восстанию». Илья Петрович Капнист, с которым воспитывался Лорер, не принимал никакого участия в восстании декабристов.

[5] Фамилия воспитателя Н. И. Лорера — Нидерштеттер (см. следственное дело Н. И. Лорера — ВД, т. 12, с. 52). Гернгутер (в следственном деле и в переписке Лорер дает это слово в транскрипции «херихутер») — член коммунистической секты «Моравские братья», возникшей в XVI в. Спасаясь от правительственных гонений, анабаптисты Южной Германии, Швейцарии и Тироля нашли себе убежище в Моравии, где основали несколько десятков общин. В общинах «Моравских братьев» основным правилом была общность имущества; потребление, а также отчасти производство было основано на коммунистических началах. В XVII в. Моравские братья были изгнаны из Моравии и пытались обосноваться в разных странах. Мирный утопический коммунизм гернгутеров был лишен революционного содержания. Лорер на всю жизнь сохранил теплое отношение к гернгутерам, что видно из его переписки с М. М. Нарышкиным (см. приложения, с. 348).

[6] В рукописи: Брина.

[7] В рукописи «хрыплым» — явное влияние украинского произношения. Аналогичные примеры: Меттерных, мылостиво, Вытебск, термын. Подобные особенности в публикации не отражены.

[8] Как известно, отказ Константина от престола, «полагавшегося» ему после смерти Александра I в 1825 г., послужил причиной междуцарствия, которым воспользовались декабристы для своего выступления. Объяснение, даваемое Н. И. Лорером отказу Константина, не вполне выяснено в литературе, не приходится сомневаться, что тут играли большую роль обстоятельства убийства Павла I: Константин, принимавший вместе с Александром участие в организации убийства отца (к тому же похожий на него лицом), боялся, что испытает ту же судьбу, если станет царем.

[9] Так в рукописи.

[10] Замечание Д. Н. Свербеева имеет сокращенную подпись: Сверб. Это единственное во всей рукописи «Записок» замечание на полях, имеющее подпись лица, его сделавшего.

[11] После этого слова в рукописи оставлено пустое место, очевидно для иностранного текста, оставшееся незаполненным.

[12] Речь идет о польском восстании 1830—1831 гг.

[13] «Отократ» (франц. autocrate) — самодержец.

[14] См. примеч. 12.

[15] После слова «книги» в тексте оставлено пустое место, возможно для вписки иностранного текста, оставшееся незаполненным.

[16] Редакция «Русского архива», начиная с этого места, вычеркнула все описания восстания Семеновского полка 1820 г. и на полях поставила ремарку: «вписать как у Свистунова». Текст последнего, очевидно, более удовлетворял редакцию, считавшую П. Свистунова знатоком фактической истории декабристов и дававшую ему большое место на страницах «Русского архива» для возражений на по-

явившиеся работы о декабристах (см.: Рус. архив, 1870, № 8; ср. 1871, № 2).

Вероятно, вставка Свистунова была написана на отдельных листках. При переписке «Записок» Н. И. Лорера в редакции (рукопись ГБЛ) описание его было заменено описанием П. Свистунова, гораздо более богатым фактами, а заодно и более умеренным по тону. Оставляя описание Н. И. Лорера на своем месте в основном тексте, приводим здесь описание П. Свистунова, впервые опубликованное нами в 1930 г.: приготовленный к печати в редакции «Русского архива» текст Лорера в первой части «Записок» не был опубликован (описание же Семеновского восстания находится как раз в этой части); первая часть Записок была опубликована «Русским богатством», но и там описание Семеновского восстания было несколько урезано из цензурных соображений (см. прилагаемый список важнейших цензурных купюр). П. Свистунов, как офицер-гвардеец, был прекрасно осведомлен о восстании и в своем описании дал ряд интересных деталей, поэтому приводимое ниже описание имеет интерес исторического источника.

Для связи в начале и в конце приводимого отрывка даются фрагменты тех фраз рукописи Лорера, к которым предполагалось «прикрепить» описание Свистунова:

«<...> чтобы лучше оценить вытягивание носка. Подобное обращение с солдатами вывело их из терпения, так что однажды рота его величества собралась и выстроилась во фрунт в шинелях и фуражках, просила фельдфебеля доложить ротному командиру Николаю Ивановичу Кошкарову о том, что имеет обратиться к нему с покорнейшею просьбой. Рота просила его довести до сведения корпусного командира, что им под командованием Шварца служба сделалась невыносима и что они умоляют лишь о том, чтобы им назначили другого полкового командира. Кошкаров доложил о их просьбе батальонному командиру Ивану Федоровичу Вадковскому, который рапортовал о том Шварцу. Последнему следовало явиться перед ротой для увещания ее или усмирения. Вместо того он поскакал к бригадному [начальнику] в[еликому] к[нязю] Михаилу Павловичу и потом скрылся. От бригадного весть дошла до дивизионного начальника Паскевича и, наконец, до корпусного командира г. Васильчикова. Последний, собравшись ехать на охоту, отложил разбирательство дела до другого дня. Возвратившись с охоты, он приказал привести роту в экзерциргаус, где предварительно собран был батальон Павловского полка, с заряженными ружьями. Тут, как ни стращал их Васильчиков, они при изъявлении покорности и преданности царю объявили ему, что от своей просьбы отступить не могут. Оттуда их повели в Петропавловскую крепость. По возвращении Павловского батальона в казармы один из солдат этого батальона прибежал в Семеновский полк и сообщил весть о заключении в крепость государевой роты. Молва побежала по всем ротам, всполошился весь полк и, закинув на себя шинели и надев фуражки, собрался на Семеновскую площадь.

Сергей Муравьев-Апостол, к которому солдаты питали полное доверие и любовь, успел роту свою удержать в казармах. Но когда караул, наряженный из этой роты в театр, воротился оттуда и увидел собравшийся весь полк на площади, он [караул.— М. Н.] кинулся к товарищам, оставшимся в казармах, и, укоряя их в измене,

увлек за собою на площадь. Узнав об этом, прискакали и корпусный начальник г. Васильчиков, и генерал-губернатор граф Милорадович, и великие князья, и Паскевич. На их увещания и укоризны они [солдаты. — М. Н.], не отказываясь в покорности и в повиновении, просили лишь о том, чтоб возвратили им государеву роту, без которой полк — как без головы, или отвели бы их в крепость для соединения с нею. Собравшийся военный совет постановил отправить 2-й баталион в Кексгольм, 3-й — в Свеаборг морем, первый же баталион — в крепость для предания его военному суду. Те, которых сочли зачинщиками, подверглись наказанию шпицрутенами и ссылке в Сибирь — кто на каторгу, кто на поселение. Из офицеров отданы под суд и разжалованы в солдаты: баталионный командир Вадковский, командир государевой роты Кошкаров, кн. Щербатов, командовавший 1-й ротой, и Ермолаев, прежний командир роты его величества. Они содержались под караулом в городе Витебске до воцарения Николая Павловича, который сослал их на Кавказ выслуживать себе помилование. Ни в участии, ни в подстрекательстве, ни в потворстве по этому делу никто из них не был уличен, и на них со стороны солдат не было ни одного обвинительного показания. Остальные же все офицеры были переведены с тем же чином в армию, с лишением права проситься в отпуск или в отставку, а солдаты 2-го и 3-го баталионов раскассированы по армейским полкам. Крутые и жестокие меры, принятые против солдат, виновность коих заключалась лишь в заявлении пред начальством справедливых жалоб, возбудили общий ропот в городе. Во многих полках гвардии обнаружились признаки негодования вследствие несчастной участи, постигшей семеновцев, и это настроение умов предвещало пагубные последствия, не будь гр[афа] Милорадович[а], который, пользуясь доверием к нему гвардии, не употребил все свое влияние на успокоение ее. С тех пор он сделался любимцем вдовствующей императрицы, приписавшей ему, по всей справедливости, окончательное водворение спокойствия. Большинство в городе признавало ген[ерала] Васильчикова виновником этого печального события, не сумевшего принять при самом начале должных мер ко вразумлению и успокоению сильно взволнованных солдат — семеновцев.

Государь находился тогда на конгрессе в Троппау <...>» и т. д.

[17] Переписчик первоначально написал: «Мария Павловна», рукою Н. И. Лорера последнее слово заменено сверху словом «Федоровна».

[18] Против этого места на полях рукою П. И. Бартенева написано: «Конгресс в Троппау был в 1820 году в октябре и зимой». Ниже старческой дрожащей рукой одного из сотрудников Бартенева приписано: «В Лайбахе (1820-21)».

[19] Это не соответствует действительности: первое известие о восстании Семеновского полка было получено Александром I в Троппау 29 октября: кн. Васильчиков послал в Троппау фельдъегеря с донесением от 19 октября, а Чаадаев приехал в Троппау 30-го. Меттерних узнал о восстании поздно — только 3 ноября (ст. стиля) и именно от Александра I: иностранные курьеры были задержаны на границе невыдачей паспортов по приказанию министра внутренних дел Кочубея (Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 149—150).

[20] В рукописи: и пригласил.

[21] В рукописи: Лаубаха.

[22] В рукописи здесь и далее: Хербтовича.
[23] В рукописи: Бенешевичах.
[24] В рукописи здесь и далее стоит: А. Ш. Эти инициалы, вероятно, скрывают имя И. Д. Щербатова.
[25] В рукописи: прорубя.
[26] Слова «не помню других» внесены рукою Н. И. Лорера. После «Щербатов» в рукописи стоит: «А. Ш.», которое в предыдущих строках было криптонимом И. Д. Щербатова. Ср. примеч. 24.
[27] После «Бартеньев» рукою Лорера приписано: к генералу Инзову.
[28] В рукописи здесь и далее: Е. К.
[29] В рукописи: возможностью.
[30] В рукописи: пожертвование ими личными. Очевидно, «ими» — лишнее в данном контексте.
[31] Утверждение Е. П. Оболенского, что в цели общества входит замещение членами «мест самых невидных», не соответствовало действительности: следственное дело убеждает в обратном — тактика «военной революции», принятая декабристами, требовала замещения членами тайного общества крупных командных постов. Возможно, что в первом разговоре с Н. И. Лорером Е. П. Оболенский сказал о «невидных» постах нарочно, для испытания новичка.
[32] Год вписан рукою Н. И. Лорера.
[33] «Раевский» здесь и двумя строчками ниже вписано рукою Н. И. Лорера.
[34] В рукописи ошибочно: как.
[35] Васильковская управа входила в состав Южного общества. Во главе этой управы стоял С. И. Муравьев-Апостол. Управа держала себя очень самостоятельно, поэтому весьма характерно выделение ее Н. И. Лорером. Не менее характерно и название управою совершенно самостоятельного Северного общества: в такой трактовке отразилась борьба П. И. Пестеля за единый фронт декабристов — им положено много сил на объединение Северного и Южного обществ, так и не состоявшееся. Декабристы наметили 1826 г. годом собрания съезда Северного и Южного обществ для окончательного решения спорных вопросов — но, увы! — в 1826 г. они уже были за решетками Петропавловской крепости. Однако в своих показаниях следствию Пестель так же, как и Н. И. Лорер, упорно утверждал, что общество было единым и делилось лишь на Северную и Южную управы (см.: ВД, т. 4, с. 103, 105, 109, 110, 111, 115, 117, 134, 157, 161, 169, 187 и др.).
[36] Эта цифра не соответствует действительности. Южное общество фактически образовалось после съезда Союза благоденствия в 1821 г.; следовательно, в 1823 г., о котором идет речь, оно существовало лишь третий год. Даже с начала основания первой организации тайного общества — Союза спасения, возникшего в 1816 г., прошло к этому времени лишь 8 лет.
[37] Грузино — имение Аракчеева.
[38] На полях рукописи редакция «Русского архива» против этого места пометила: «Гр. Киселев про него говорил: «У Пестеля голова в ящиках. Хочет говорить о политике — вынимает этот ящик, о финансах — другой, и не спорь с ним». Эту вставку предполагалось сделать в находящейся дальше характеристике Пестеля («Пестель был действительно человек с большими способностями<...>»).
[39] В рукописи ошибочно: недостаточно.

[40] После слова «Юшневскому» над строкой, по-видимому П. Н. Свистуновым, вписано: Давыдову.

[41] Исправлено чернилами: Дашкове.

[42] В рукописи — явная описка: в первой фразе, открывающей главу («Вечером приехали два офицера <...>»),— Черкасский, здесь: «отдали на руки Крюкову и Черкасову». Декабриста по фамилии Черкасский не было — был Черкасов. Судя по следственному материалу, было поручено спрятать «Русскую правду» Крюкову и Заикину — Черкасов в этом не обвинялся, и вообще о нем известно очень мало; с этой точки зрения, все, что Лорер говорит о Черкасове, очень любопытно: можно предположить, что действительно, кроме Заикина и Крюкова, имел какую-то причастность к этому делу и Черкасов — в этом нет ничего неправдоподобного. Зарывали же «Русскую правду» братья Бобрищевы-Пушкины. О том, как была спрятана и отыскана «Русская правда», есть ряд документальных свидетельств (см. следственные дела Крюкова, Заикина, Пестеля, особенно — рапорт штабс-ротмистра Слепцова, руководившего розысками на последнем их этапе и привезшего «Русскую правду» в Петербург (ВД, т. 4, с. 127—128). Сохранился нарисованный Заикиным план местности, где была зарыта «Русская правда» (воспроизведен в ВД, т. 12, с. 416). В центре плана — село Кирнасовка, из которого обозначена дорога на местечко Тульчин. Ниже плана справа даны обозначения условных знаков, а слева — расшифровка буквенных обозначений: «А — школа; В — корчма; С — мельников двор, в коем я стоял; К — вторая гребля (плотина); D — начало старой канавы; F — конец ее; Е — место, где зарыты бумаги аршина на $1^1/_2$ с лишком в самой канаве, как раз по направлению межи (а может быть, и несколько в какую-нибудь сторону, особенно же вдоль рва и к той стороне, где дорога). Между D и F находится меж несколько, но сия примечательна тем, что возвышеннее других и шире». На нижней половине публикуемой страницы дано описание дороги: «Описание дороги, ведущей до места, где зарыты бумаги. Въезжая от м. Тульчина в с. Кирнасовку и достигнув корчмы, находящейся на правой стороне дороги (сия корчма означена в чертеже под литерою В), должно поворотить налево и ехать до второй гребли, означенной под литерою К; проехав оную и поворотя налево, ехать мимо мельникова двора (означенного в чертеже под литерою С и находящегося на левой стороне дороги); на расстоянии 30 или 40 сажен от мельникова двора должно поворотить направо и ехать дорогою, восходящею на гору и идущею в лес. От сей дороги, не доезжая сажен 50 или 60 до креста, который будет виден, идет старая канава (существующая без всякого употребления) в левую сторону под прямым почти углом. В сей самой канаве на некотором расстоянии от дороги (кажется, около 180 моих шагов) зарыты бумаги как раз или поблизости направления межи, отличающейся от прочих своею возвышенностью и шириною. При выкапывании должно захватывать более места от направления межи в сторону (особенно же к дороге), ибо я зарывал ночью».

Следствие показало, что сам Н. Заикин рукопись не зарывал, а лишь имел сведения об ее зарытии. Привезенный на указанное им место, он не смог сразу дать точного указания, где зарыты бумаги,— это сделал его брат подпрапорщик Ф. Заикин (см. следств. дело Заикина — ЦГАОР, ф. 48, д. 424, а также указанный выше рапорт штабс-ротмистра Слепцова). По свидетельству штабс-рот-

мистра Слепцова, бумаги были отрыты в канаве, в месте, «показанном и подпоручиком [Н. Ф. Заикиным], но не в самом углублении канавы, а немного под берегом», — поэтому нарисованный Заикиным план сохраняет интерес, несмотря на неточность места, указанного литерой Е: «Русская правда» была отрыта где-то вблизи, под «берегом» указанной на чертеже канавы.

[43] «не» вписано над строкой рукою Н. И. Лорера.

[44] В рукописи: заходил.

[45] В рукописи вместо «так как» стоит «что».

[46] В рукописи вместо «Он» стоит «и»

[47] В рукописи вместо «в доведении армии» — «довести армию».

[48] «Генерал-адъютантские эполеты» вписано над строкой рукою Н. И. Лорера.

[49] В рукописи: подарить.

[50] В рукописи: Цициянова. На полях — редакционная пометка «Русского архива»: «У заставы, где после помещалось Вольное экономическое общество».

[51] Эти слова, здесь приписанные Н. И. Лорером себе, в дальнейшем тексте Записок приписываются М. А. Назимову (см. с. 261 наст. изд.). Конечно, возможно, что сравнение Зимнего дворца со съезжей, напрашивавшееся само собою в этот момент, пришло сразу в голову нескольким декабристам.

[52] Стертую М. В. Юзефовичем фразу «Да и у Пестеля были черные глаза» с большим трудом можно разобрать лишь при сильном освещении. Очевидно, написав это, Юзефович заметил, что эти слова противоречат предыдущему утверждению о том, что «черных глаз покойный государь не убегал», и тщательно стер написанную фразу.

[53] Возможно, что впечатление о лучшей (по сравнению с оценкой Н. И. Лорера) оценке «великодушия» Николая I кн. Е. Оболенским М. В. Юзефович вынес из чтения «Воспоминаний» Е. Оболенского, впервые напечатанных в журнале «Будущность» («L'Avenir») в Париже (№ 9, 18 марта 1861) и в «Русском заграничном сборнике (1861, т. 5). Другой возможный источник осведомленности Юзефовича — его личное знакомство с Оболенским.

[54] В вычислении «20 лет» М. В. Юзефович, безусловно, ошибся: «Либеральная выходка» ген. Левашова имела место в момент допроса декабриста Н. И. Лорера, т. е. в самом начале 1826 г., «освобождение» же крестьян, на которое явно намекает Юзефович, произошло в 1861 г., т. е. через 35 с небольшим лет.

[55] «Совет десяти» — орган аристократической диктатуры в Венецианской республике XIV в., имевшей целью бороться с революционными заговорами (учрежден после заговора Тьеполо в 1310 г.). «Мост вздохов» (Ponte dei sospiri) вел в здание государственной тюрьмы — по нему проводили осужденных на смертную казнь. Лорер, очевидно, намекает на предание о том, что тайное судилище «Совета десяти», без огласки покончив с осужденным, бросало труп в воду и тем заметало следы.

[56] В рукописи ошибочно: «тирана и деспота».

[57] Сначала замечание М. В. Юзефовича начиналось словом «Справедлив», но оно тщательно стерто и по стертому написано: «Беспристрастен».

[58] «лживы» вписано рукою Н. И. Лорера.

[59] Этот рассказ Н. И. Лорера в основном соответствует действительности: 16 января 1826 г. Пестель собственноручно написал в ответ на вопрос Следственного комитета о «Русской правде»: «Должен сказать по всей справедливости, что я сии бумаги сам лично отдал Крюкову 2-му в моей квартире в Линцах в присутствии маиора Лорера. Полковник Пестель». В тот же день был спрошен о том же Лорер, и, вероятно, приведенный выше ответ Пестеля был ему, действительно, показан. Вот ответ Лорера: «Утверждаю по сущей справедливости, что действительно правда, что однажды в присутствии моем была отдана «Русская правда» поручику Крюкову для сохраненья, который и хотел для лучшего обеспеченья отдать члену ее г. Абрамову, адъютанту генерала Киселева. Маиор Лорер» (ВД, т. 4, с. 121—122). В тексте «Записок» добавлено в передаче показания Пестеля упоминание о Черкасове и подробности о зарытии «Русской правды», а ответ Лорера, в действительности довольно пространный, сведен до краткого утверждения.

[60] В рукописи: и он.

[61] Рассказ о том, как была найдена «Русская правда», тут неточен (см. примеч. 42). Около фразы «Не помню фамилии члена» рукою М. В. Юзефовича вписано: «Заикин, мой товарищ по пансиону». Но Заикин не зарывал сам «Русской правды», а лишь знал обстоятельства ее зарытия. Что же касается замечания М. В. Юзефовича, то не удалось установить, о каком именно пансионе идет речь. Приводим выдержку из следственного дела Н. Ф. Заикина, подробно указывающую на места его обучения: «В 1810 и 1811 годах я был в пансионе у Димитрия Филипповича Делесаля в Москве. В начале 1812 года я переведен был в пансион к Ивану Вильямовичу Борденау. Вступление французов в Москву заставило меня оставить Москву и удалиться в деревню к моим родителям, где я и жил без учителя до 1815 года, в начале коего я отдан был в пансион к надворному советнику Василью Степановичу Кряжеву; в 1817 году, окончив ученье, я из оного вышел и до 1819 года жил в деревне у моих родителей без учителя. В 1819 году я определился в корпус колонновожатых, в то время состоявший под начальством господина генерал-майора Муравьева, где и кончилось мое воспитание».

Относящийся к этому же месту упрек М. В. Юзефовича Пестелю в том, что он якобы «выдал все и всех», — клевета на Пестеля. Дело Пестеля ясно показывает, что он начал «выдавать» лишь тогда, когда увидел, что сам он выдан собственными товарищами.

[62] Первоначально М. В. Юзефович написал «в России», но после стер и заменил «для России».

[63] Первоначально в рукописи стояло «Павловский», но рукою Лорера зачеркнуто и исправлено на полях на «Мысловский». Характерно, что в том экземпляре, с которого печатался текст «Русского богатства», очевидно, фамилия осталась неисправленной, и редакция, оставив в тексте ошибочное «Павловский», сделала примечание, что в воспоминания Лорера в данном случае вкралась ошибка. Вместо «Павел Николаевич Мысловский» должно быть: «Петр Николаевич Мысловский».

[64] Тут в рукописи фамилия осталась неисправленной: Павловский.

[65] «Из гроба пел я воскресенье» — это строка из стихотворения А. Одоевского «Пробила полночь».

[66] В рукописи, очевидно, спутана последовательность слов, в ней стоит: тогда мною испытанных, а впоследствии о много слышанном.

[67] «родного» вписано рукою Н. И. Лорера.

[68] Перед «Орлова» рукою М. В. Юзефовича вписано: Мих. Фед.

[69] Этот вопрос М. В. Юзефович после стер — очевидно, потому, что в дальнейшем тексте сейчас же упомянуто имя Николая Бестужева и вопрос оказался излишним.

[70] А. С. Пушкин встречался с М. В. Юзефовичем на Кавказе (ср.: Пущин Мих. Записки. — Рус. архив, 1908, № 12; Майков Л. Н. Из записок о Пушкине. II. О поездке Пушкина на Кавказ в 1829 г. — Рус. вестн., 1893, № 9, с публикацией записки М. И. Пущина «Встреча с А. С. Пушкиным за Кавказом»). О самом М. В. Юзефовиче А. С. Пушкин говорит в «Путешествии в Арзрум».

[71] Несомненно, М. В. Юзефович слышал этот рассказ от З. Чернышева на Кавказе, куда последний был сослан по делу декабристов. Этот ответ Захара Чернышева уже известен в литературе, в частности, из публикации того же Юзефовича — и всегда слышавшие этот рассказ ссылаются на встречи с Чернышевым на Кавказе (ср.: Вейденбаум Е. Декабристы на Кавказе. — Рус. старина, 1903, № 5, с. 491; Юзефович М. В. Памяти Пушкина. — Рус. архив, 1883, кн. 3, ч. 2, с. 436). Вероятно, З. Чернышев не раз рассказывал его на Кавказе в дружеской компании.

[72] В тексте рукописи не «пятеро», а «5».

[73] В рукописи: нас же всех политических смертью в каторжную работу.

[74] «может быть» внесено над строкой рукою Н. И. Лорера. В предыдущей же фразе в рукописи (очевидно, ошибочно) стоит: «стояли уже обвиняемыми» — по смыслу контекста нами исправлено: обвиненными.

[75] В рукописи ошибочно: Алексей.

[76] На полях — добавление редакции «Русского архива»: «8 часов утра на Волковом поле».

[77] По «всеподданнейшему» донесению с.-петербургского генерал-губернатора сорвались с виселицы Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол.

[78] В рукописи фамилии не названо, а стоят вместо нее инициалы: Р. К. и С. К.

[79] У этого места на полях было замечание М. В. Юзефовича в 10 строк, позже стертое. Можно разобрать с большим трудом отдельные слова: «Это все неясно. Как же там? [далее три строки, совершенно не поддающиеся прочтению], слушать приговор был... того же каземата... вы[ходит] как будто вышли оба из одного же». Очевидно, расстановка слов в фразе Лорера о каземате Пестеля показалась сначала М. В. Юзефовичу неясной.

[80] Далее в рукописи стоит: «которых хотя не могу всех припомнить, однако ж привожу некоторые куплеты. Начала не помню».

Это место «Записок» Н. И. Лорера особенно любопытно тем, что приводимое ниже стихотворение А. П. Барятинского ранее было совершенно неизвестно в печати.

Перед нами не первый случай того, что богатая память Н. И. Лорера удержала большое по объему поэтическое произведение. Так, именно памяти Н. И. Лорера, А. Е. Розена и ряда других декабрис-

тов мы в значительной степени обязаны сохранением поэтического наследия декабриста А. Одоевского: публикатор стихотворений последнего А. Е. Розен был в переписке с Лорером, и, вероятно, оба приятеля обоюдными усилиями памяти восстановили ряд стихотворений.

Приводимое ниже стихотворение является самым крупным по объему и одним из значительнейших по содержанию в скудном поэтическом наследии А. П. Барятинского: от него, как известно, осталась небольшая книжечка стихов, объединенных самим поэтом под заглавием «Quelques heures de loisir á Toultchin (Moscou, 1824)». Известны экземпляры: библиотеки Пушкинского Дома, принадлежавший П. Е. Щеголеву, и экземпляр Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Последний любопытен тем, что содержит собственноручную стихотворную надпись автора и авторские поправки текста. Затем Н. П. Павловым-Сильванским в статье «Материалисты 20-х годов» (Былое, 1907, № 7) процитированы конец и начало гораздо более крупного и значительного по содержанию произведения А. П. Барятинского, чем стихи «Тульчинских досугов». Некоторыми исследователями процитированные Павловым-Сильванским начальные и конечные строки ошибочно принимались за цельное, слитное небольшое произведение (см.: Розанов И. Н. Декабристы-поэты. Атеист А. П. Барятинский.— Красная новь, 1926, № 3). На самом же деле это — начало и конец крупного поэтического произведения, о чем свидетельствует подлинник в фонде следственного дела Барятинского. Это — своеобразная атеистическая поэма, имеющая философский характер. В отличие от этой поэмы «Стансы в темнице», написанные в Алексеевском равелине,— глубоко лирическое произведение. Полностью оно может быть понято лишь на фоне всей обстановки, окружавшей А. П. Барятинского, и тяжелого тюремного режима равелина. Текст перепечатан в книге: Декабристы. Антология в 2-х т. Сост. Вл. Орлов. Т. 1. Поэзия. Л., 1975, с. 388—391 (Пер. с франц. М. В. Нечкиной). Нужно упомянуть, что строки, посвященные в стихах отцу и матери,— не пустая риторика: мать Барятинского бросила мужа и детей и ушла от семьи (см.: Модзалевский Б. Декабрист Барятинский и его стихотворения. — Былое, 1926, № 1, с. 2). Вероятно, боль этой разлуки и затаенную любовь к матери Барятинский сохранил на всю жизнь. Что же касается отца Барятинского, то он действительно был дряхл и тяжело болен во время ареста сына; мольбы о свидании с отцом часты в следственном деле Барятинского (см.: ВД, т. 10).

В рукописи «Записок» Н. И. Лорера, хранящейся в Архиве АН СССР, имеется лишь часть строф помещенного ниже стихотворения А. П. Барятинского. В нем отсутствуют первые три строфы стихотворения, 5-я строфа (Eh quoi? la mort...») и три последние строфы. Переписчик оставил в рукописи свободное место, и Лорер вписал своею рукою все остальные строфы, кроме указанных выше. Для последней вписанной Лорером строфы («Mais si ton onde impétueuse...») не хватило места, и три ее последние строки вписаны им сбоку на полях. Лорер вполне отдавал себе отчет, что вспомнил не все стихотворение, и указал на это в строках рукописи, стихотворению предпосланных и упомянутых в начале настоящего примечания. Но, очевидно, уже отослав П. Бартеневу рукопись, он

вспомнил и остальные строфы и, вероятно, прислал их ему дополнительно. Поэтому в копии, сделанной с «Записок» в редакции «Русского архива» (рукопись ГБЛ — она хранится в ОР ГБЛ, шифр М. 6051; стихи Барятинского в т. 1 на с. 103—107), вставлены все пропущенные первоначально строфы и в конце французского текста приписано по-французски название стихотворения, перенесенное нами в его начало. Чтобы не портить внешности стихотворения условными знаками и ссылками, все замечания относительно публикуемого текста сосредоточены лишь в настоящем примечании. В основу нами положен рукописный текст самого Н. И. Лорера (рукопись ААН), он дополнен отсутствующими в рукописи ААН строфами, о которых речь шла выше, взятыми из рукописи ГБЛ. Название стихотворения, отсутствующее в рукописи ААН, взято из рукописи ГБЛ, где оно стоит в конце стихотворения (ОР ГБЛ, М. 6051, т. 1, с. 107), и перенесено нами в начало. Обе рукописи — и ААН и ГБЛ — изобилуют орфографическими ошибками, а в двух случаях дают и совершенно непонятную транскрипцию, толкуемую мною условно: 1) третья строфа, считая с начала стихотворения, 1-я строчка, переданная мною Gémis donc, fortune cruelle...», в рукописи ГБЛ имеет следующий вид: «Jonis done [?], fortune cruelle»; в рукописи же ААН данная строфа, как сказано выше, отсутствует целиком; 2) та же строфа, 6-я строка сверху, переданная мною: «N'éreinte plus un nouvel effort», в рукописи ГБЛ имеет такой вид «Ne eraînds [?] plus un nouvel effort». Кроме этих двух условно исправленных нами текстов есть ряд случаев, где спорна лексика стихотворения и не всегда соблюдены строгие правила французской версификации, что легко установить при внимательном чтении французского текста. По общему правилу, принятому для данного издания, подлинник дан в современной французской орфографии, и орфографические ошибки подлинника исправлены без оговорок.

Русский перевод стихотворения Барятинского, приведенный в подстрочном примечании, не претендует, конечно, на буквальную точность, что и невозможно в стихотворном переводе, а стремится передать лишь общий смысл и настроение подлинника.

81 В фразе: «Но на этот раз мне показалось, [что] часы очень фальшиво пели» «что» вставлено карандашом рукою М. В. Юзефовича и позже обведено чернилами при редакционной правке «Русского архива»; «часы» внесено чернилами на полях рукою Н. И. Лорера. Вместо «пели» в рукописи стоит: пел он.

82 В рукописи 2 — цифрой.

83 При редакционной правке «Русского архива» добавлено карандашом: «другой был кн. Борис Алексеевич Куракин». Добавление соответствует действительности. Письма Б. А. Куракина к гр. Бенкендорфу опубликованы в юбилейной литературе о декабристах. Лорер ошибочно указывает Иркутск как место встречи с сенаторами В. К. Безродным и Б. А. Куракиным. Посещение сенаторов имело место в Тобольске — вероятно, в мае 1827 г. Об этом свидетельствует донесение Б. А. Куракина к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу от 18 июня 1827 г. (Модзалевский Б. Л. Декабристы на пути в Сибирь. Донесения сенатора кн. Б. А. Куракина, 1827. — В кн.: Декабристы: Неизданные материалы и статьи /Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана.— Труды Пушкинского Дома при Рос. Академии наук. М., 1925, с. 106, 116). Кура-

кин в этом донесении зачисляет Лорера в разряд государственных преступников, «кои находились в раскаянном и совершенно отчаянном положении» (там же, с. 116).

[84] «гайда» вписано рукою Н. И. Лорера.

[85] В рукописи: излишним уже по предусмотрительности или напрасной осторожности, немало еще стесняло нас.

[86] В рукописи: в 2000 чел. с каторжниками (варнаками).

[87] «которые» вписано рукою Н. И. Лорера над строкой. Вероятно, им же исправлено стоящее рядом «готовыми» на: готовы.

[88] «детей» вписано рукою Н. И. Лорера. Первоначально это слово, написанное рукою писца, стояло перед «могущих», но потом зачеркнуто Лорером при сделанной им перестановке слов.

[89] «фельдмаршала» вписано над строкою рукою Н. И. Лорера. После «Захара Григорьевича» первоначально стоявшее «но» заменено им же словом «только».

[90] Сверху над «графине» написано карандашом: «княгине». Возможно, что это — поправка М. В. Юзефовича.

[91] «ее» — вставлено рукою Н. И. Лорера над строкой.

[92] В рукописи, очевидно, ошибочно: «брак с ним»; «с ним» было зачеркнуто М. В. Юзефовичем, и им же перед словом «брак» было вставлено карандашом: этот. Последнее слово позже написано поверх карандаша чернилами при редакционной правке в «Русском архиве».

[93] М. В. Юзефовичем «сделал» поставлено перед «например» (писано над строкой карандашом), а написанное писцом «сделал» зачеркнуто. После по карандашу слово было написано чернилами при редакционной правке «Русского архива».

[94] «Львовича» написано рукою Н. И. Лорера вместо стоявшего первоначально «Ивановича».

[95] «Она» и «прежде» вписаны рукою Н. И. Лорера.

[96] Рукою Н. И. Лорера первоначально написанное писцом «В то время» переправлено на «Во время», им же вписаны над строкой года: 12-го, 13; далее рукою М. В. Юзефовича приписано карандашом после этих цифр: «годов». Позже слово «годов» было написано по карандашу чернилами при редакционной правке «Русского архива».

[97] Писцом было написано: Визик. Вероятно, рукою Н. И. Лорера конечное «к» переправлено на «н».

[98] В рукописи ошибочно: Левашов.

[99] В рукописи: Mad.

[100] «вот» и «Ивашев» вписаны рукою Н. И. Лорера. Первоначально в рукописи было: И Ивашев однажды.

[101] После «Старуха» рукою Н. И. Лорера написано: старуха D.

[102] После «прибыла» в рукописи было оставлено пустое место, очевидно для французского текста, но Н. И. Лорер пропустил это место, оставив его незаполненным: рукою М. В. Юзефовича на этом месте написано карандашом: m-lle Dantu. Редакция «Русского архива» по фамилии написала: Ledantu.

[103] На полях в редакции «Русского архива» сделано справедливое замечание: «Цепи сняты были в Чите, а Ивашев женился в Петровском» (ср.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 118—119). Ивашев женился в Петровском Заводе, свадьба состоялась 16 сент. 1831 г.

[104] В рукописи здесь и далее: Янтальцева, Янтальцев.

[105] В рукописи: Елатурске.

[106] Первоначально было: примечательной. Исправлено Н. И. Лорером.

[107] Первоначально было: отца своего. Исправлено Н. И. Лорером.

[108] В рукописи далее тем же почерком переписчика стоит в скобках: (не мешало бы поместить лучшую). Очевидно, Н. И. Лорер предполагал дальше дать текст какой-либо из басен П. С. Бобрищева-Пушкина. Это, вероятно, не было выполнено потому, что пришла мысль дать отдельное приложение из произведений декабристов. В этом «Прибавлении к моим запискам», написанном рукою Н. И. Лорера (см. примеч. 190), среди других произведений помещены следующие басни П. С. Бобрищева-Пушкина: «Дровни» («Крестьянин зимнею порой...»), «Брага» («Крестьянин молодой по древнему обыкновенью дедов...») и «Шахматы» — последняя опубликована впервые в издании «Записок» Лорера 1931 г. Она чрезвычайно интересна по своей возможной политической тенденции. Вот эта басня:

ШАХМАТЫ

Однажды шахматы по воле игроков
По шахматной доске, болтая вздор, слонялись
И между прочих пустяков
Друг перед дружкой величались:
Слон
Хвастался, что он,
Вблизи царя и ферзи стоя,
Не знает ни на час себе покоя,
Трудясь для общего добра,
И что одним
Лишь им
Вся держится игра.
Ладья кричит всем без умолку,
Что, окроме ее, ни в ком нет толку,
А конь — старинный хват —
Кричит, как будто на подряд,
Что он ни в чем, нигде препятствия не знает,
Что, говоря нередко «мат»,
По головам и ферзей и слонов шагает.
И, словом, все — и пешки, и коня,
Слоны, и ферзи, и ладьи —
Без всякой совести свои
Друг перед дружкою заслуги выставляли
И верно б так кричали
И спорили до сей поры,
А может быть, без дела стоя
На шахматной доске, крик подняли б и втрое, —
Но, к счастию, с концом игры
Хозяин кончил их и хвастовство пустое,
А вместе с ними дал и добрый нам урок:
Он положил их всех в один мешок.

В вышеприведенном тексте особенности орфографии (а заодно, очевидно, и произношения) Н. И. Лорера, напр.: «кричить», «зна-

есть», не соблюдены. После строки «Не знает ни на час себе покоя» нами опущена, вероятно ошибочно вставленная, строка: «Трудясь для общего покоя», в подлиннике зачеркнутая карандашом. В 6-й с конца строчке слово «быть» почему-то зачеркнуто Н. И. Лорером. Строка: «Хвастался, что он» в рукописи слита с последующей и разделена нами.

109 В этой фразе слова «Вольф» и «всех» вписаны — возможно рукою Н. И. Лорера — над строкой.

110 После «взаперти» оставлено было пустое место, почему-то не заполненное Н. И. Лорером при перечитке рукописи. Редакция «Русского архива» вставила тут: «у старика». Эта вставка правильна, так как из мемуарной литературы известно, что декабристы так действительно называли Лепарского.

111 В рукописи (вероятно, ошибочно): проболтали (sic!).

112 В рукописи стоит вместо текста, взятого в квадратные скобки, слово «которых».

113 После «Мордвинов» рукою Юзефовича вписано карандашом: «бывший председатель департамента законов». Рукою редакционного работника «Русского архива» эта надпись по карандашу повторена чернилами. Эта поправка неточна: Н. С. Мордвинов состоял председателем департамента государственной экономии Государственного совета, а позже — председателем департамента гражданских и духовных дел. Поправка же Юзефовича, сделанная на полях («Мордвинов никогда не был председателем Государственного совета»), совершенно правильна.

141 «из дому Разумовских» вписано на полях рукою Н. И. Лорера.

115 Первоначально было: Буркашева. Исправлено рукою Н. И. Лорера: Бурнашева.

116 Выражение «королева ходит, как наш конь», очевидно, показалось редакции «Русского архива» непочтительным по отношению к королеве, поэтому выражение это было заменено фразой: «ферзь кроме присвоенных ей ходов имеет также коневой ход».

117 Переписчиком было первоначально написано «с толпой». Это вызвало на полях вопрос М. В. Юзефовича: «С какою толпой?» Позже указанное место текста было переправлено чернилами на «толпой» и замечание Юзефовича вычеркнуто чернилами.

118 В рукописи ошибочно: Бламжини.

119 В редакции «Русского архива» исправлено: селе Урике. Действительно, Никита Муравьев был на поселении в Урике («слободе Уриковской») Иркутской губ.

120 В отличие от прежнего этот французский текст, видимо, механически скопирован переписчиком, и лишь слова «Champagne», «envoyé» и «il y a 40 ans» вписаны Н. И. Лорером. В фразе есть орфографические исправления, сделанные рукою Юзефовича.

121 «теплую» написано рукою Н. И. Лорера поверх зачеркнутого им первоначального слова «темную». Рассказ о пребывании Н. И. Лорера в Мертвом Култуке подвергся сильнейшей редакционной правке «Русского архива». Многочисленные исправления и дополнения внесены в рукопись ААН тем же почерком, которым скопирована рукопись ГБЛ, направленная для набора в типографию. Не удалось точно установить, мог ли автор знать о сделанных изменениях и дал ли он свое согласие на это. Исправления и добавления не меняют коренным образом содержания, они стремятся лишь драматизиро-

вать рассказ, обогатить его мелкими бытовыми деталями. Так, в первоначальном тексте про варнаков сказано: «они весною как хищные звери идут толпами с Яблонового хребта, жгут деревни, грабят и убивают людей<...>». Это место после редакционной правки приняло такой вид: «<...> в это время из Нерчинска уходят проклятые варнаки: сотнями бегут они по лесам с Яблонового хребта, режут, убивают, кто попадется навстречу, жгут целые селения и страшный разбой творят». Очевидно, в тех же целях драматизации косвенная речь заменена прямой: так, в первоначальном тексте стояло: «Хозяин мой вошел ко мне в комнату и сказал, что с горы катит кто-то», в позднейшем же: «Что-то шибко гудит с горы,— сказал он [хозяин. — М. Н.], входя в горенку, — аль это ветер?» Правка коснулась и фактической стороны: в первоначальном тексте (см. с. 165 наст. изд.) неправдоподобно сообщение о том, что весть о переводе Н. И. Лорера из Мертвого Култука в Курган и письмо от Е. П. Нарышкиной привез тот же казак, который перевозил Лорера в Мертвый Култук: за три дня он не успел бы вернуться в Иркутск и вновь, вторично, добраться до Култука. Новый текст вводит в круг действующих лиц второго казака, который уже ехал за Лорером, в то время как первый казак, его отвозивший, возвращался обратно. Текст принял такой вид: «Николай Иванович! Едем в Иркутск; пришло повеление! Я встретил моего товарища казака, который ехал за вами. «Стой, куда едешь?» — спросил я. «За тем барином, которого ты отвез в Култук».— «Добрый, славный барин! Я еду с тобой». И вот мы оба приехали. «А вот письмецо от Нарышкиной!» — «Что? Как?» и т. д.

122 В рукописи: за.

123 «ближе к России» вставлено над строкой рукою Н. И. Лорера.

124 «городе» вписано над строкой рукою Н. И. Лорера.

125 На эту приписку М. В. Юзефовича редакционный работник «Русского архива» заметил: «Курган ближе к России, чем Тобольск».

126 В рукописи: Елатурск.

127 Это утверждение Н. И. Лорера о сдаче Севастополя кн. М. Д. Горчаковым вызвало бурный протест кн. В. Васильчикова (см. его Письмо к издателю — Рус. архив, 1874, тетр. 6, стб. 1580—1582), участника севастопольской обороны. В. Васильчиков в письме в редакцию «Русского архива» утверждал, что факта сдачи Севастополя вообще не было, так как сдачей называется такое «действие», при котором начальник крепости вступает в переговоры с неприятелем. Поскольку этого не было, то М. Д. Горчаков не сдал Севастополь, а лишь «вывел из него войска, вверенные его начальству, и отступил на северную сторону бухты».

128 В рукописи непонятное: потпускать. М. В. Юзефовичем это слово зачеркнуто и написано сверху: построить. Вся фраза осталась неоконченной.

129 Далее в рукописи стоят буквы: П. С.

130 Текст стихотворения А. Одоевского в передаче Лорера имеет разночтения с текстом, переданным А. Е. Розеном (ср.: Полное собрание стихотворений кн. А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 46), важнейшее из них в 5-й строке сверху: у Лорера — «пышный посох странника», у Розена: «пытливый посох странника», что вернее.

[131] Несколько ниже этого места на полях рукописи ААН редакцией «Русского архива» дано примечание: «вписать, как поправил Свистунов». Декабрист П. Свистунов действительно написал свой текст для замены той части текста Н. И. Лорера, где рассказано о Семенове (рукопись ААН, ч. 1; подлежал замене текст, расположенный на с. 379—381). Вставку П. Свистунова легко выделить из рукописи ГБЛ — она находится в ч. 1, с. 195 и сл. Вот этот ранее неизвестный текст Свистунова (для связи даны разрядкой те части фраз текста Н. И. Лорера, между которыми предполагалась вставка):

«<...> и сослан был только на жительство в отдаленные города. Семенов определен был на службу в г. Туринск в звании канцелярского служащего, откуда переведен был в город Семипалатинск Омской области. Областным начальником назначен был дивизионный генерал Сен-Лоран, несмотря на то, что он убедительно просил государя не поручать ему управление обширным краем, отзываясь полным неведением по части администрации. Николай Павлович успокоил его следующими словами: «Я командовал дивизиею, когда вступил на престол, и могу сказать, что не хуже другого управлял государством; поверь, что наша военная часть мудрее всякой другой». Эти слова были переданы С. Лораном Семенову, которого он из Семипалатинска перевел в Омск в качестве чиновника по особым поручениям при нем. Вступивши в управление области, Сен-Лоран очутился как в лесу. Не имея понятия об администрации и не видя вокруг себя никого, кто бы мог ему помочь советом или на кого можно было бы положиться, он осведомился о сосланном в Семипалатинск декабристе Семенове и, узнав о его редкой честности и опытности по гражданскому делопроизводству, просил его быть ему наставником и руководителем. Когда приехал в Омскую область барон Гумбольдт для астрономических [поправка П. Бартенева: естественноисторических. — М. Н.] наблюдений и приказано было Сен-Лорану отрядить для сопровождения его по краю чиновника, сведущего и дельного, он, желая угодить знаменитому ученому, назначил ему в спутники магистра Московского университета, служившего при нем Степана Михайловича Семенова. Гумбольдт, возвратившись в Петербург и рассказывая государю о своем путешествии по Сибири, с намерением, вероятно, польстить ему, высказал, насколько он удивился, встретив в таком дальнем и диком крае человека весьма образованного и начитанного в лице мелкого чиновника, сопровождавшего его. Государь велел узнать, кто это такой был, и, когда ему доложили, что это был один из причастных к делу 14 декабря, он приказал министру сделать строгий выговор Сен-Лорану*. Впоследствии Семенов поступил начальником отделения Главного управления Зап[адной] Сибири при г[енерал]-губерн[аторе] кн. Горчакове. Вследствие доноса смененного тобольского губернатора Талызина, будто Семенов, пользуясь неограниченным к нему доверием кн. Горчакова в Омске, управлял всею Зап[адною] Сибириею, он просил перевода в Тобольск и поступил в должность советника губернского правления. Умер на службе в 1852 г.

Мы ехали очень шибко <...>»

---

* Со слов «Государь велел узнать», кончая словами «выговор Сен-Лорану», зачеркнуто, вероятно, П. Бартеневым из цензурных соображений.

[132] Фраза «Недолго старик пережил свое детище» — очевидно, небрежность речи: Лореру известно, что старик Одоевский умер раньше сына (ср. с. 241); старик И. С. Одоевский умер 6 апреля 1839 г., декабрист А. И. Одоевский — 10 октября 1839 г.

[133] Вся фраза вписана на полях рукою Н. И. Лорера. Вероятно, ошибочно, в рукописном тексте стоит: сказал ему П. Е. Ермолов.

[134] «Реада» довольно неразборчиво вписано чернилами рукою Н. И. Лорера вместо ошибочного «Ревда», поставленного писцом. М. В. Юзефович зачеркнул написанное Лорером и отчетливо написал карандашом: Реада.

[135] «зятем» вставлено (рукою Лорера?) неразборчиво в оставленное переписчиком свободное место. М. В. Юзефович сверху ясно написал карандашом: зятем.

[136] На полях около слов «ханжа и педант Головин» М. В. Юзефовичем было написано какое-то замечание, но стерто так тщательно, что его невозможно разобрать.

[137] «в Питер» вставлено над строкой рукою Н. И. Лорера.

[138] Вся фраза вписана рукою Н. И. Лорера.

[139] В рукописи здесь и далее ошибочно: Масловский.

[140] В рукописи в этом случае: «де-Коссы», но ниже «де-Косси».

[141] М. В. Юзефович был адъютантом Н. Н. Раевского-младшего и находился с ним в дружеских отношениях.

[142] Свидетельство М. В. Юзефовича о разнице отношений А. С. Пушкина к Александру и к Николаю Раевским очень интересно: эти сведения М. В. Юзефович почерпнул, несомненно, от самих Раевских, вернее всего, от Николая.

[143] То же замечание М. В. Юзефовича о цвете волос А. С. Пушкина мы имеем в воспоминаниях М. В. Юзефовича (Памяти Пушкина.— Рус. архив, 1883, кн. 3, ч. 2, с. 435).

[144] Слово «Почтенный» в рукописи разделено переносом между двумя строчками (поч-тенный). В начале второй строки (т. е. фактически в середину этого слова) рукою Н. И. Лорера вставлены слова: «первого выпуска», очевидно относящиеся к предыдущей фразе о том, что Пущин в один год с Пушкиным вышел из Царскосельского лицея. Как известно, это и был первый выпуск лицея.

[145] Это место Записок Н. И. Лорера особенно интересно: до него в литературе ни разу не встречалось указания на то, что сосланный в Михайловское Пушкин хотел самовольно выехать в Петербург в декабре 1825 г. по вызову Пущина. Насколько правдоподобно это сообщение Н. И. Лорера, окончательно будут судить специалисты-пушкиноведы. С точки же зрения историка декабристов оно не противоречит ни датам, ни детальной фактической истории восстания 14 декабря. С этой точки зрения в свете всех обстоятельств, предшествовавших восстанию, легко критически оценить сообщение Н. И. Лорера и устранить все неправдоподобное.

Как известно, И. И. Пущин сознательно не вовлекал А. С. Пушкина в тайное общество,— с одной стороны, щадя его талант, с другой — боясь его легкомыслия и рассеянной жизни, в результате которых тайны общества могли бы открыться правительству. В своих записках о Пушкине И. Пущин подробно говорит о своих колебаниях и внутренней борьбе по этому поводу и о «податливой готовности» Пушкина стать членом тайного общества (П у щ и н И. И. За-

писки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 68—73). В тайном обществе декабристов Пущин был одним из старейших и активнейших членов. В 1824 г. он получил место надворного судьи, уехал в Москву, но не прерывал ни сношений с Петербургом, куда сходились все нити заговора, ни собственной деятельности по обществу. Известно, что Пущин был обвинен, между прочим, и в создании Московской управы общества. В том же 1824 г. Пущин узнал о ссылке Пушкина в Михайловское и, несмотря на опасность навлечь подозрение правительства, посетил в Михайловском своего ссыльного друга в январе 1825 г. Летом 1825 г. Пущин решил, что вновь поедет в отпуск в Петербург, и писал об этом брату Михаилу из Москвы от 26 июля 1825 г.: «Я располагаю нынешний год месяца на два поехать в Петербург — кажется, можно сделать эту дебошу после беспрестанных занятий целый год» (т а м ж е, с. 96). В том, что предполагаемая поездка имела целью не только отдых и свидание с родителями, но и деятельность по тайному обществу, не приходится сомневаться. Это, кстати, видно из письма его к брату из Москвы от 9 ноября 1825 г.: «В начале декабря непременно буду — в письме невозможно всего сказать: откровенно признаюсь тебе, что твое удаление из Петербурга для меня, больше чем когда-нибудь, горестно...» (т а м ж е). В свете развернувшихся в то время событий отъезд Пущина в Петербург принимает особый смысл: с 17 ноября в Петербург из Таганрога стали приходить тревожные известия о болезни Александра I. Скакавшие из Таганрога в Петербург фельдъегеря рассказывали по дороге все, что знали по слухам, следовательно, многие важнейшие известия Москва получала раньше Петербурга. 25 ноября Петербург узнал о с м е р т е л ь н о й опасности заболевания императора — Москва же узнала об этом, вероятно, числа 23—24-го. В атмосфере всеобщих разговоров и предположений на эту тему Пущин 26 ноября подает просьбу по начальству об отпуске в Петербург (см. следственное дело Пущина — ВД, т. 2, с. 227). 19 ноября Александр I умирает в Таганроге, в Петербург эта весть доходит 27 ноября, — следовательно, Москва узнает о ней не позже 26 ноября, т. е. как раз дня подачи Пущиным прошения об отпуске. Ясно, что из всех совершающихся событий И. Пущин сделал определенный вывод, что для тайного общества настало время решительных действий. Каких именно — может быть, И. Пущин и не представлял себе достаточно конкретно, но нет сомнений, что вопрос о н е и з б е ж н о с т и о т к р ы т о г о в ы с т у п л е н и я был ясен И. Пущину уже в это время. Начальство задержало отпуск, и выехать в Петербург удалось только 5 декабря (ВД, т. 2, с. 227), т. е. уже после присяги Константину, происшедшей в Москве 30 ноября. Перед отъездом Пущин виделся с членами тайного общества — Фонвизиным, Семеновым, Митьковым. К первому он заехал, уже выехав из Москвы (Фонвизин жил в подмосковном имении), как показывает сам следствию (т а м ж е). Картина совершенно ясная, и Следственная комиссия справедливо спрашивала И. Пущина: «С каким намерением вы приехали сюда [т. е. в Петербург. — М. Н.], ежели не с твердою решительностью воспользоваться вестью о болезни покойного государя и не сие ли самое известие родило в вас мысль покушения на возмущение, исполненное 14 декабря?» (ВД, т. 2, с. 223). Конечно, И. Пущин отрицал это, указывая на то, что якобы Москва о болезни царя в то время не знала — формально он был прав, так как о ф и ц и а л ь н ы е

вести Москва получала, конечно, позже Петербурга, но фактически, как показано выше, дело обстояло иначе. В Петербург Пущин приехал 8 декабря (ВД, т. 2, с. 217, 227, 211) и на следующий же день утром виделся с Рылеевым и Оболенским. Он попал в самый разгар лихорадочных приготовлений к восстанию: следственное дело день за днем обрисовывает его кипучую деятельность по подготовке 14 декабря, захватывая его чуть ли не по нескольку раз в день на собраниях декабристов за выработкой планов, выбором руководителей (ВД, т. 2, с 211, 212, 216, 217 и мн. др.). Эта деятельность ясно показывает, что до вечера 13 декабря Пущин вовсе не думал о неизбежном поражении. Это необходимо подчеркнуть, так как некоторые исследователи рисуют И. Пущина разочарованным в обществе задолго до восстания, придавая слишком много веры воспоминаниям его брата (см.: Штрайх С. Я. Иван Иванович Пущин. Биогр. очерк.— В кн.: Пущин И. Записки о Пушкине и письма из Сибири. М., 1925, с. 48). Да и сам Пущин в показаниях следствию определенно и ясно говорит о своем убеждении в необходимости восстания (ВД, т. 2, с. 227), хотя роль скептика, тормозящего дело, была бы очень выгодна для него в глазах следствия и, без сомнения, смягчила бы суровый приговор суда. Поддержание связи между восставшим Петербургом и сочувствующими заговору в других местах входит в план его действий — он пишет и рассылает письма с извещением о предстоящих собраниях, за два дня до восстания Пущин письменно сообщал об этом М. Орлову, и письмо стало известным также Митькову и Фонвизину — (см.: ВД, т. 2, с. 216, 217, 233; ср. дело Фонвизина — ВД, т. 3, с. 64, 74, 75, 91).

Возможно, что, веря в восстание во время его подготовки и считая, что оно одним ударом может все разрешить (фраза в письме Семенову: «когда будете читать письмо, все будет кончено»), Пущин и захотел, чтобы А. С. Пушкин не остался чужд этому решительному моменту, и поэтому вызвал его письмом в Петербург. Ясно, что речь шла не о простом свидании друзей: такое свидание было в январе 1825 г., а вызвать опального Пушкина из деревни просто для дружеской встречи Пущин, явное дело, не мог. Если так, то, может быть, Пущин писал ему об этом не из Москвы, а из Петербурга.

На основании ряда свидетельств о попытке Пушкина поехать инкогнито в Петербург приходится приурочивать его отъезд приблизительно к 11—12 декабря, так как А. С. Пушкин рассказывал позже, что приехал бы поздно вечером и попал бы прямо на совещание 13 декабря к Рылееву (Погодин М. П. Простая речь о мудреных вещах. М., 1875, с. 24; позже этот рассказ подтвержден П. А. Вяземским — см.: Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811—1817). СПб., 1911, с. 107). Если Пушкин действительно, как говорит Лорер, выехал «мигом» и «не долго думая» после получения письма Пущина, то вероятно предполагать, что письмо было послано из Петербурга, а не из Москвы, которую Пущин покинул уже 5 декабря (ср.: Нечкина М. В. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях.— Каторга и ссылка, 1930, № 4).

Добавим, что Пущин в своих Записках о Пушкине совершенно пропускает момент восстания, даже вскользь не упоминает о нем: он закрывает занавес на свидании с Пушкиным в январе 1825 г. и вновь открывает его лишь на 1828 г., на читинском периоде сибирской каторги.

146 В рукописи: его.

147 Вписано рукою Н. И. Лорера.

148 «2-я часть» написана карандашом рукою Н. И. Лорера. Заметим, что аналогичной пометки для 1-й части «Записок» в рукописи нет.

149 Первоначально было: при шарфе. Исправлено карандашом рукою Н. И. Лорера.

150 Эти сведения совершенно справедливы. После русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Н. Н. Раевский находился в опале (см. примеч. 152, 155), с половины 1831 г. стал получать незначительные назначения и лишь в 1837 г., «помирившись с государем» (см. примечание М. В. Юзефовича на с. 207 наст. изд.), получил назначение начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии. Крымское имение Н. Раевского — Тессели (Форос): там главным образом и предавался он своему увлечению ботаникой и садоводством. Сохранилась обширная переписка Н. Раевского по этим вопросам с известным ботаником Ф. Б. Фишером, а также Х. Х. Стевеном, Н. А. Гартвисом и др. — см.: Архив Раевских. СПб., 1909, т. 2. Там же сохранились присланные Н. Н. Раевскому записки Ф. Б. Фишера об учреждении Общества поощрения и улучшения садоводства (с. 143, 182). Там же опубликован диплом Н. Н. Раевского на звание почетного члена императорского Московского общества испытателей природы (с. 127—128).

151 Цифры вписаны чернилами рукою Н. И. Лорера в оставленное переписчиком пустое место. Рукою М. В. Юзефовича карандашом приписано над строкой после «1828» «и 1829».

152 Во всем этом замечании М. В. Юзефовича много пометок и исправлений, сделанных отчасти им самим, а отчасти, может быть, редакцией «Русского архива». Так, зачеркнуто: «в г. Обояни, Курской губ., где я у него гостил несколько дней». Также зачеркнуто: «куда я опять к нему ездил и пробыл месяц». Первоначально вместо слов «Вскоре получил» было: «И тогда-то он»,— при зачеркивании и выпало необходимое «он», вставленное мною в квадратных скобках. Слова «но не на место Вельяминова» также зачеркнуты. Также зачеркнута последняя фраза: «Место же Вельяминова занял Граббе».

Очевидно, М. В. Юзефович запамятовал ряд обстоятельств службы Н. Н. Раевского, поэтому не все сведения, сообщаемые им тут, верны. После ареста Н. Н. Раевского в декабре 1829 г. за близость с декабристами он подвергся формальной опале. К ней присоединились планомерные преследования его И. Ф. Паскевичем, воспользовавшимся случаем, чтобы выместить на талантливом сопернике всю свою зависть и злобу. Несмотря на то что 18 декабря 1829 г. был дан приказ начальником штаба е.и.в. о переводе Н. Н. Раевского на службу в Россию, Паскевич, опасаясь, очевидно, дальнейшего продвижения Н. Раевского по службе, принял меры, чтобы задержать его на Кавказе. Предлогом была сдача Н. Раевским Нижегородского полка, которую Паскевич оттягивал всеми законными и незаконными способами — в архиве Раевских сохранился ряд ярких документов, об этом свидетельствующих (см.: Архив Раевских, т. 2, с. 2, 3, 22—24, 29, 90, 93 и мн. др.). Лишь весной 1831 г. Н. Раевский, наконец, сдал Нижегородский драгунский полк подполковнику К. М. Доброву — квитанция о сдаче полка помечена 10 марта 1831 г. (Архив Раевских, т. 2, с. 38—40). Очевидно, лишь летом 1831 г. Н. Раевскому удалось вырваться с Кавказа:

25 июня 1831 г. он еще в Кисловодске (Архив Раевских, т. 2, с. 83), а в конце августа Н. Раевский уже в Ораниенбауме и переписывался с В. Ф. Адлербергом относительно возможности приезда в Петербург (Архив Раевских, т. 2, с. 84—86). В 1831—1837 гг. Н. Раевский официально числился сначала по кавалерии, затем состоял при начальнике 4-й гусарской дивизии, затем назначен был командиром 2-й бригады 2-й конноегерской дивизии и опять числился состоящим по кавалерии. Настоящее назначение Н. Раевский получил лишь в 1837 г.— он был назначен начальником отделения Черноморской береговой линии. Таким образом, утверждение М. В. Юзефовича, что «Раевский сдал Нижегородский драгунский полк в начале 1830 года, оставил тогда же Грузию», неправильно.

153 Речь идет о флигель-адъютанте военного министра Н. А. Бутурлина.

154 В рукописи первоначально стояло вместо «Д. Е. Сакена» — «Сакена» без инициалов; потом это слово было стерто и поверх стертого написано «Д. Е. Сакена».

155 В этом замечании имеется ряд поправок, сделанных отчасти, вероятно, М. В. Юзефовичем, отчасти — редакцией «Русского архива»: так всюду «рыжий Бутурлин» и «Бутурлин» заменены лишь начальной буквой — «Б». Фраза «Арест Раевского пришел уже в Карагачах» зачеркнута, вместо нее написано рукой правщика: «Раевский был арестован на 2 месяца». От слов «Он получил при мне и при Льве Пушкине» до конца зачеркнуто. Очевидно, ссора Н. Н. Раевского с И. Ф. Паскевичем из-за Д. Е. Остен-Сакена имела отношение к известному инциденту, связанному с судом над Сакеном и смещением его с поста начальника штаба. Подробно об этой истории рассказывает Мих. Пущин в своих «Записках» (Рус. архив, 1908, № 12, с. 539—549). Лишенный крупных военных талантов, Паскевич отличался завистью и мстительностью по отношению к своим талантливым подчиненным. В одном номере «Journal des Débats» за 1829 г. петербургский корреспондент сообщал о Паскевиче, что он — самых обыкновенных способностей, а победы его надо отнести за счет талантов его начальника штаба (т. е. Д. Е. Остен-Сакена) и сосланных на Кавказ декабристов. Этот номер «Journal des Débats» пришел в Закавказье и попал в руки Д. Е. Остен-Сакена, который должен был отнести его вместе с другой почтой к И. Ф. Паскевичу. М. Пущин, присутствовавший при разборе почты, не советовал Сакену отдавать Паскевичу этот номер, но Сакен, «как рыцарь благородства», счел это недостойным и газету отдал. Сейчас же вслед за этим, как по мановению волшебного жезла, отношение к нему Паскевича резко изменилось. Паскевич стал придирчив, раздражителен, недоверчив. Под Эрзерумом Паскевич послал Сакена во главе крайне утомленного кавалерийского отряда преследовать неприятеля, уже час тому назад ушедшего с поля. Сакен не смог выполнить поручение, которое считал к тому же нелепым. Взбешенный Паскевич сейчас же учредил военный суд, судивший Сакена в 24 часа. Сакен был арестован, уволен от должности начальника штаба и, очевидно, понес еще какие-то кары. «Вот как отозвался на Сакена № «Journal des Débats»,— заключает Мих. Пущин (с. 542). Он же сообщает, что после этого палатка Сакена стояла в лагере «как зачумленная» (с. 544). Эта расправа с талантливым соперником вызвала в военной среде много толков, и ряд лиц проявил себя сторонниками

Сакена. Раевский был в их числе. Под предлогом болезни Н. Раевский получил отпуск и двинулся в Тифлис.

Обед с декабристами, за который и Н. Раевский и декабристы так дорого расплатились, произошел, вероятно, 6 сентября 1829 г. в Гумринском карантине, где Раевский вынужден был задержаться. Обо всех обстоятельствах этого дела Н. Раевский сообщает И. Ф. Паскевичу (см.: Архив Раевских. СПб., 1908, т. 1, с. 490—494).

Декабристы Захар Чернышев, Валериан Голицын, Александр Бестужев (Марлинский), как видно из слов Юзефовича, сами «напросились в конвой» (возможно, что этим отъездом они также показывали демонстративно свой протест против суда над Сакеном). На обеде у Раевского присутствовал и декабрист майор Семичев, отправлявшийся в Кара-Агач для приема полкового ремонта. Кроме декабристов, в Гумринском карантине вместе с Н. Раевским оказались и разжалованные по другим причинам: Н. С. Ворцель, разжалованный за участие в польских тайных обществах, его товарищ С. С. Карвицкий и разжалованный за дуэль Довгер. Раевский был арестован на 8 дней, приказ об аресте датирован в Петербурге 10 декабря 1829 г. О гнусной роли «рыжего Бутурлина» единодушно говорит ряд современников и исследователей.

Все это замечание М. В. Юзефовича чрезвычайно любопытно и освещает много новых деталей, неизвестных даже исследователям вопроса: так, историку Нижегородского полка В. Потто была неизвестна истинная причина отъезда Раевского из-под Эрзерума и пр. (ср.: П о т т о В. История 44-го драгунского Нижегородского полка. СПб., 1894, т. 3, с. 133).

156 В рукописи вместо вставленного нами слова «жены» стоит: своего. Очевидная описка.

157 В рукописи: последним укрепленным местом нашим.

158 В рукописи стоит: «донесли государю, на которой он собственноручно написал...»,— т. е. какое-то слово перед «на которой» пропущено («реляцией»?). В рукописи кто-то (возможно, что и Лорер) зачеркнул «которой» и сверху написал «донесении».

159 «и» вписано под строкой — вероятно, рукою Н. И. Лорера.

160 «С удовольствием» вписано рукою Н. И. Лорера в оставленное переписчиком пустое место.

161 «продуктами» вписано рукою Н. И. Лорера.

162 «спустили гичку» — вписано рукою Н. И. Лорера над строкой.

163 По контексту ясно, что «готовый» употреблено в смысле «убранный», «омытый».

164 В рукописи: к морю.

165 «доктором» вписано над строкой рукою Н. И. Лорера.

166 «доктора» вписано над строкой рукою Н. И. Лорера.

167 Первоначально было: картуз. Исправлено рукою Н. И. Лорера.

168 Первоначальное «вечерний» зачеркнуто Н. И. Лорером и сверху им написано: утрений (sic!).

169 «я» пропущено переписчиком и вставлено Н. И. Лорером.

170 Примечание сделано рукою Н. И. Лорера на полях рукописи. Ниже Зальстет назван к а п и т а н о м.

171 Первоначально ошибочно было «или» — рукою Н. И. Лорера карандашом исправлено на «если».

172 «много» вписано над строкой рукою Н. И. Лорера.

173 «Витиме» вписано карандашом на пустом месте, оставленном

в рукописи переписчиком. Вероятно, вставка эта произведена редакционным работником «Русского архива».

[174] Переписчиком было написано: «Фрей». Рукою Н. И. Лорера к этому слову было приписано «ман» — получилось Фрейман, но по контексту видно, что речь идет о Фрейтаге. В редакции «Русского архива» фамилия еще раз (правильно) переделана на Фрейтаг.

[175] В рукописи: Манаее.

[176] «плечи» вписано рукою Н. И. Лорера над строкой. Вероятно, им же вставлена в одно из предыдущих слов («красивыми») пропущенная переписчиком буква «р».

[177] Стихи А. С. Пушкина (Евгений Онегин, гл. 2, строфа 28).

[178] В рукописи — пустое место для французского текста, очевидно, случайно оставленное Н. И. Лорером незаполненным. На этом месте (рукою М. В. Юзефовича?) чернилами вписано: homme à poignard («человек с кинжалом»).

[179] «прогулку» вписано в текст рукою Н. И. Лорера в оставленное переписчиком пустое место.

[180] После «любимым» оставлено пустое место, на котором кем-то, вероятно из редакции «Русского архива», вписано: Aurore-valse.

[181] «в Москве» первоначально было приписано М. В. Юзефовичем карандашом, затем по карандашу было повторено чернилами.

[182] Переписчиком было написано в слове «бассейн» одно «с», по-видимому, рукою Н. И. Лорера вставлено второе (чрезвычайно редкий случай орфографической правки Лорера).

[183] В рукописи: «La madame Récamier du Nord»; французский текст вписан рукою Н. И. Лорера.

[184] «Шиканы» — т. е. каверзы, ябеды (франц. chicane).

[185] Текст, к которому относится замечание М. В. Юзефовича, отчеркнут на полях вертикальной чертой.

[186] «и на Кавказе» вписано рукою Н. И. Лорера над строкой.

[187] В рукописи ошибочно: Г. И. Исправлено карандашом.

[188] «Конец» написано рукою Н. И. Лорера.

[189] В рукописи первоначально ошибочно стояло «день». Исправлено карандашом.

[190] Написано рукою Н. И. Лорера.

После страницы Записок с заключительными стихами и датой на следующей странице начинается «Прибавление к моим запискам: копии с писем и литературных произведений в прозе и стихах товарищей моего изгнания в Сибири».

В отличие от текста «Записок» страницы Прибавления не пронумерованы. Часть этого Прибавления с большими пропусками и искажениями была опубликована в «Русском архиве» (1874, № 7) вместе с концом «Записок» Н. И. Лорера. Значительная часть Прибавления в отличие от текста «Записок», написанных в основном рукою переписчика, тщательно написана рукою Н. И. Лорера, имеются карандашные поправки П. И. Бартенева и редакции «Русского архива». Так как это Прибавление не содержит текстов, автором которых являлся бы Н. И. Лорер, мы не публикуем его в настоящем издании, ограничиваясь характеристикой Прибавления, даваемой в настоящем примечании. Некоторые материалы этого Прибавления использованы для комментария настоящего издания «Записок» Н. И. Лорера (ср. примеч. 108) и в моей работе «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях» (Каторга и ссылка, 1930, кн. 4).

Некоторые содержащиеся в Прибавлении произведения до сих пор не опубликованы. Большинству помещенных в Прибавлении произведений Н. И. Лорер предпослал краткие замечания об их происхождении или с пояснениями содержания, а после произведения большей частью дается его дата. В Прибавлении помещены по порядку следующие произведения: 1. Стих. А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...». 2. Стих. С. Муравьева-Апостола «Je passerai sur cette terre... с русским прозаическим переводом. 3. Стих. А. Одоевского «Звучит вся жизнь, как звонкий смех...». 4. Его же «На смерть П. П. Коновницына...» («На грозном приступе в пылу кровавой битвы»). 5. Его же «Далекой путь», посв. К. Ивашевой («По дороге столбовой...»). 6. Его же «В странах, где сочны лозы виноградные...». 7. Его же «Ты знаешь их, кого я так любил...». 8. Письмо А. Е. Розена к Н. И. Лореру (1840), содержащее стихотворение А. Одоевского «Глас песни мною недопетый...». 9. Письмо А. фон Бриггена к А. Е. Розену из Пелыма от 15 ноября 1833 г. 10. Второе письмо А. фон Бриггена к А. Е. Розену из Пелыма 15 ноября 1833 г. 11. Н. Бестужев. Похороны. Рассказ. 12 Стих. А. Одоевского «Два образа» («Мне в ранней юности два образа предстали»). 13. Стих. И. В. Л.....ь «Мне не забыть твоих суждений...». 14. Стих. А. Одоевского «Светлое Христово воскресенье» («Пробила полночь!..»). 15. Его же «Соловей и Роза» («Что склонилась так печально»). 16. Басня П. Бобрищева-Пушкина «Дровни» («Крестьянин зимнею порою»). 17. Его же басня «Брага» («Крестьянин молодой...»). 18. Его же басня «Шахматы» («Однажды шахматы по воле игроков<...>» — ср. примеч. 108). 19. P. D. La verité sur la Russie (Обзор истории тайного общества декабристов).

191 Рассказ Н. И. Лорера «Из воспоминаний русского офицера» был опубликован в «Русской беседе», по тексту которой он и напечатан здесь. Начало рассказа помещено в «Русской беседе» за 1857 г. (кн. 3, с. 81—89), датировано «Москва, февраль 1857» и подписано «Н. Л.», конец помещен в «Русской беседе» за 1860 г. (кн. 1, с. 81—118) и подписан также «Н. Л.», но заглавие рассказа уже не имеет посвящения Е. А. Черкасской — на месте его стоит подзаголовок: «Париж 1814 года». В помещаемых ниже письмах Н. И. Лорера есть письмо к П. И. Бартеневу относительно этого рассказа (см.: Приложения. Письма, письмо № 16). Н. И. Лорер, видимо, ценил этот рассказ и просил редакцию «Русского архива» при публикации его «Записок» вставить в текст последних и этот рассказ в соответствующем месте. Указание на это содержится как в редакционной записке, вложенной в рукопись ГБЛ, так и на полях рукописи АНН, где стоит в т. 1 на с. 18 следующая надпись: «Непременно поместить сюда все, напечатанное в «Русской беседе» и ниже рукою П. И. Бартенева вопрос: «Позволит ли издатель Р. беседы?» Текст публикуется по новой орфографии, явные опечатки исправлены без оговорок, несколько изменена пунктуация «Русской беседы», затрудняющая чтение: так, точка с запятой в некоторых случаях заменена точкой, введены новые красные строки. Текст в квадратных скобках, как и всюду, принадлежит нам.

Рассказ характерен не только как образец литературного творчества Н. И. Лорера. Он интересен и как документ идеологического порядка.

192 Знаменитая «гейдельбергская бочка», восстановленная в

1751 г., «славится» тем, что имеет 8,5 м длины и 7 м ширины и может вместить 236 тыс. бутылок вина.

[193] У французского короля Генриха IV была известная возлюбленная Габриэль д'Эстре (Gabrielle d'Estrées), славившаяся своей красотой.

[194] Рассказ Н. И. Лорера о лейб-кучере Илье Байкове помещен в «Русском архиве» (1872, № 11, стб. 2261—2268) и озаглавлен «Рассказы и воспоминания Н. И. Лорера. 1. Лейб-кучер Илья Байков». Как видно из заглавия и из цифры 1, редакция намеревалась поместить в следующих номерах еще какие-то тексты Лорера. Рукописный оригинал этого рассказа не удалось разыскать, он печатается по «Русскому архиву».

[195] В «Русском архиве» тут сделано примечание П. Бартенева (подпись: П. Б.): «Прекрасный портрет Ильи Ивановича Байкова в кучерской одежде (масляными красками) случилось нам видеть у бывшего профессора Московского университета С. А. Рачинского».

[196] Стихотворение Н. И. Лорера «Наполеон» печатается по тексту, опубликованному С. Сухониным (Поэзия декабристов. Несколько слов по поводу начинаемых печатанием в России неизданных стихотворений декабристов. — Всемирн. вестн., 1903, август, с. 160—172. Стихи Н. И. Лорера на с. 165—166). 12 строк этого стихотворения были ранее напечатаны Буткевичем в журнале «Вера и разум».

[197] Здесь помещены в хронологическом порядке все письма Н. И. Лорера, которые удалось собрать. Подлинники 12 писем его к М. М. Нарышкину, написанные рукою Н. И. Лорера и им же датированные (впервые опубликованы мною в издании «Записок» 1931 г.), хранятся в Отделе рукописей (шифр 133. 5820. 1). Остальные письма опубликованы ранее — в примечаниях к заголовкам этих писем указано, кем и где (см. примеч. 198, 199, 208, 263, 269).

Переписка Н. И. Лорера была очень обширной — до нас дошла лишь незначительная ее часть. Очень возможно, что в каких-либо архивных фондах или у частных лиц имеются еще неопубликованные письма декабриста Н. И. Лорера.

[198] Это письмо печатается с текста, опубликованного С. Я. Штрайхом в сб. «Утренники» (кн. 2, с. 74—75) в числе других писем декабристов, разысканных им «в бумагах Н. К. Шильдера, кн. А. И. Чернышева, гр. В. В. Левашова, проф. И. В. Помяловского, Н. В. Гербеля в Российской публичной библиотеке». Оно относится к эпохе следствия над декабристами и тесно связано с теми документами следственного дела, которые относятся к допетербургскому периоду следствия.

[199] Два письма Н. И. Лорера к А. Ф. Бриггену (см. далее письмо № 6) печатаются по тексту, опубликованному С. Брайловским (Лит. вестник, 1901, т. 2, кн. 7, с. 232 и сл.). Их подлинники хранятся в Пушкинском Доме Академии наук СССР. Упомянутое в начале письма № 2 село Таракановка — квартира 9-й роты.

Нами исправлена датировка первого из этих писем (у С. Брайловского ошибочно: 1873)

[200] Коновницына, мать Е. П. Нарышкиной.

[201] В тексте публикации: Я. И. Черкасов.

[202] В тексте публикации: Кребриков (Цебриков?).

[203] В тексте публикации здесь и дальше: Вегилин.

[204] В тексте публикации: Бриген. В письмах № 10 и 11: Бригин.

[205] В тексте публикации: Айгусте.

[206] О Воронецком см. «Записки», с. 172.

[207] «Крестник Митя — «незаконный» сын Н. И. Лорера, прижитый в Сибири. Ниже мы узнаем его фамилию — Коромтин.

[208] Отрывок из письма Н. И. Лорера к М. Ф. Федорову приведен в произведении последнего «Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 г.» (Кавказский сборник. Тифлис, 1879, т. 3, с. 155—156). М. Ф. Федоров предпосылает письму следующие строки: во время «пребывания моего в Ивановке я получил письмо от Н. И. Лорера, которое сохраню на память об этом веселом страдальце».

[209] «и» вписано над строкой.

[210] «меня» вписано над строкой.

[211] «который» (в подлиннике: которий) вписано над строкой.

[212] Перед «грос-фатер» (в подлиннике: гроз-фатер) зачеркнуто: Горос.

[213] «наконец» вписано над строкой.

[214] Очевидно, Н. И. Лорер потому избегал говорить с Н. Н. Раевским о декабристах, что воспоминание о них могло привести на память последнему крупные служебные неприятности, перенесенные им на Кавказе за близость с декабристами. Ср. примеч. 150 и 152.

[215] От Александры Осиповны Смирновой-Россет.

[216] Н. И. Лорер просил А. О. Смирнову ходатайствовать о производстве в следующий чин за себя и за М. М. Нарышкина, своего друга: Н. И. Лорер получил производство, а М. М. Нарышкин нет — отсюда огорчение последнего и подозрение, что А. О. Смирнова за него не ходатайствовала.

[217] Заголовок подлинника. Копия письма А. О. Смирновой списана Н. И. Лорером как непосредственное продолжение его письма. Дальнейший текст также непосредственно примыкает к копии. Текст копии заключен в кавычки нами.

[218] В письме: была недоумением.

[219] Мария Ивановна Лорер — жена старшего брата Н. И. Лорера — Александра, в доме которого Н. И. Лорер жил в юности, приехав в Петербург из «благословенной Малороссии». В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранятся многочисленные письма Марии Ивановны Лорер, урожд. Корсаковой, к ее племяннице, жене декабриста, Елизавете Петровне Нарышкиной (мать последней Анна Ивановна была урожд. Корсаковой, родной сестрой Марии Ивановны Лорер). Таким образом, декабрист Н. И. Лорер находился в отдаленном свойстве с Нарышкиными.

[220] Анисия Петровна — прислуга Нарышкиных, последовавшая за «господами» в Сибирь. Н. И. Лорер относился к ней с большим уважением и в конце «Записок» посвятил ей ряд строк.

[221] В подлиннике «кватерем» — очевидно, экватором. Тут Н. И. Лорер намекает на перенесение праха Наполеона в Париж.

[222] Приписка к письму расположена на полях первых трех страниц письма.

[223] Далее непонятное и несогласованное с предыдущим «est amie» (может быть, «et amie»?).

[224] Очевидно, Калугина — фамилия (в замужестве) той особы, на которой Н. И. Лорер хотел жениться в Сибири, о чем он пишет в своих «Записках».

[225] Здесь и в следующей фразе в тексте оригинала вырваны два-три слова.

[226] В подлиннике: Ребендера. В тексте «Записок» Н. И. Лорера — Ребиндера.

[227] Невеста Лорера — Надежда Васильевна Изотова.

[228] «образом» вписано над строкой. После него зачеркнуто «обед», ошибочно написанное вторично в этой фразе.

[229] «тебя» ошибочно написано дважды.

[230] В подлиннике: дранвственное. Очевидно, эта транскрипция отражает выговор Лорером слова «нравственное».

[231] В подлиннике: у меня у тебя.

[232] Речь идет о докторе Н. В. Мейере: в транскрипции Лорера чаще всего: Меер.

[233] Приписка помещена сбоку на полях первой страницы письма.

[234] В подлиннике: получивши.

[235] В подлиннике: познакомись.

[236] В подлиннике: рекомендовала.

[237] «есть» вписано над строкой.

[238] Здесь — очевидно, при распечатывании сургучной печати — из письма вырван кусок бумаги вместе с текстом. Все слова, части слов и буквы, вставленные далее в квадратных скобках до слова «[по]сылает» включительно, приблизительно восполняют этот пробел.

[239] Приписка к письму сделана на полях первой страницы.

[240] В подлиннике: отказываются.

[241] «с тем» вписано над строкой.

[242] Конец слова «любезный» вырван вместе с кусочком письма.

[243] «вас» вписано над строкой.

[244] «вас» («вась») вписано над строкой.

[245] В подлиннике: кладеть спать, шить все сама для ных, и ей нет минути свободного времени.

[246] Тут верхний слой бумаги сорван сургучной печатью (очевидно, при распечатывании) вместе с концом слова «искренно».

[247] Т. е. наскучают (надоедают) мне.

[248] Н. И. Лорер был при разжаловании и ссылке в Сибирь лишен своего состояния, перешедшего к его старшему брату. Во время ссылки брат ему посылал деньги, а по возвращении его в с. Водяное давал деньги на содержание. Лишь в 1851 г. брат Н. И. Лорера Д. И. Лорер испросил разрешение после смерти своей завещать имение Водяное декабристу. Надо отметить, что под давлением дворянского общественного мнения многие родственники декабристов вернули им их имущество после амнистии — Д. И. Лорер не последовал их примеру.

[249] После «любящий» зачеркнуто «тебя».

[250] «тебя» вписано над строкой.

[251] В подлиннике: лишивши свою мать.

[252] В подлиннике: Галицину. Очевидно, речь идет о Валериане Голицыне.

[253] Фраза осталась незаконченной.

[254] Т. е. подготовка похорон.

[255] В подлиннике: скономичит.

[256] «же» вписано над строкой.

[257] «и теплого» вписано над строкой.

[258] «зиму» вписано над строкой.

[259] «здоровие» вписано над строкой.

[260] В подлиннике: которых.

[261] В подлиннике: найдуть. Слова «где найдуть» вписаны над строкой.

[262] Приписка к письму частью расположена в конце письма под подписью, частью на полях первой и последней страниц письма. Возможно, что произношение Лорера передало через «Лазерова» — фамилию «Лазарева».

[263] Письмо Н. И. Лорера к П. И. Бартеневу печатается по тексту, опубликованному в «Русском архиве», 1912, кн. 2, с. 473 (письмо IV). Очевидно, письмо написано во время пребывания Н. И. Лорера в Москве (разрешение временно приезжать в Москву он получил в 1851 г.).

[264] Письмо Н. И. Лорера к Е. И. Якушкину хранится в архиве Якушкиных. Письмо интересно упоминанием о портрете Новикова — очевидно, речь идет о декабристе Михаиле Николаевиче Новикове, умершем в 1822 г.

[265] «бога» вписано над строкой.

[266] Речь идет о рассказе Н. И. Лорера «Из воспоминаний русского офицера» — см. с. 289 и сл. Далее сообщение Н. И. Лорера о своем проекте писать воспоминания отчеркнуто кем-то на полях вертикальной карандашной чертой.

[267] «не» вписано над строкой.

[268] Приписка сделана сбоку, на полях последней страницы письма.

[269] Письмо Н. И. Лорера к Мих. Ив. Семевскому печатается с текста, помещенного в приложениях к кн.: Тимощук В. Михаил Иванович Семевский, основатель исторического журнала «Русская старина». Его жизнь и деятельность, 1837—1892. Биогр. очерк. С предисл. и под ред. Н. Шильдера. СПб., 1895, прил., с. 9 (№ XVI).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

9(С)15
Л78

Л78 Лорер Н. И. Записки декабриста/Издание второе, подготовлено академиком М. В. Нечкиной. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984. — 416 с., ил.
2 р. 70 к.

Записки декабриста Н. И. Лорера — один из самых замечательных памятников декабристской мемуаристики. Деятельный член Южного общества, близкий друг П. И. Пестеля, Н. И. Лорер оставил чрезвычайно интересные воспоминания, содержащие подчас уникальные сведения об истории движения декабристов, общественной мысли и литературы начала прошлого века. Публикуются по изданию 1931 года.

Л $\frac{0505010000-58}{М141(03)-84}$ 59—84 9(С)15

Н. И. ЛОРЕР. Записки декабриста
Художник серии А. М. Муравьев
Художник А. Е. Шпирко
На обложке портрет Н. И. Лорера художницы Н. П. Нератовой, барельеф скульптора Е. Скачкова.
На фронтисписе портрет Н. И. Лорера с акварели Н. А. Бестужева. 1832—1833 гг.

Редактор А. В. Глюк
Художественный редактор Е. Г. Касьянов
Технический редактор А. В. Пономарева
Корректоры Г. Ф. Клешнина, В. М. Ермакова

ИБ № 1028

Сдано в набор 30.11.83. Подписано в печать 20.06.84. НЕ 02697. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Типографская № 2. Гарнитура академическая. Высокая печать. Кр.-отт. 22,67. Усл. печ. л. 21,94. Уч.-изд. л. 24,71. Тираж 50000 экз. Заказ 1968. Цена 2 р. 70 к.
Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.

д-
ч-

ь-
к-
ил
ь-
с-
ию

15

й,

у-

ат
сь.
За-

СР
ск,

ск,

ое





2 р. 70 к.

ИРКУТСК 1984


Н.И. ЛОРЕР